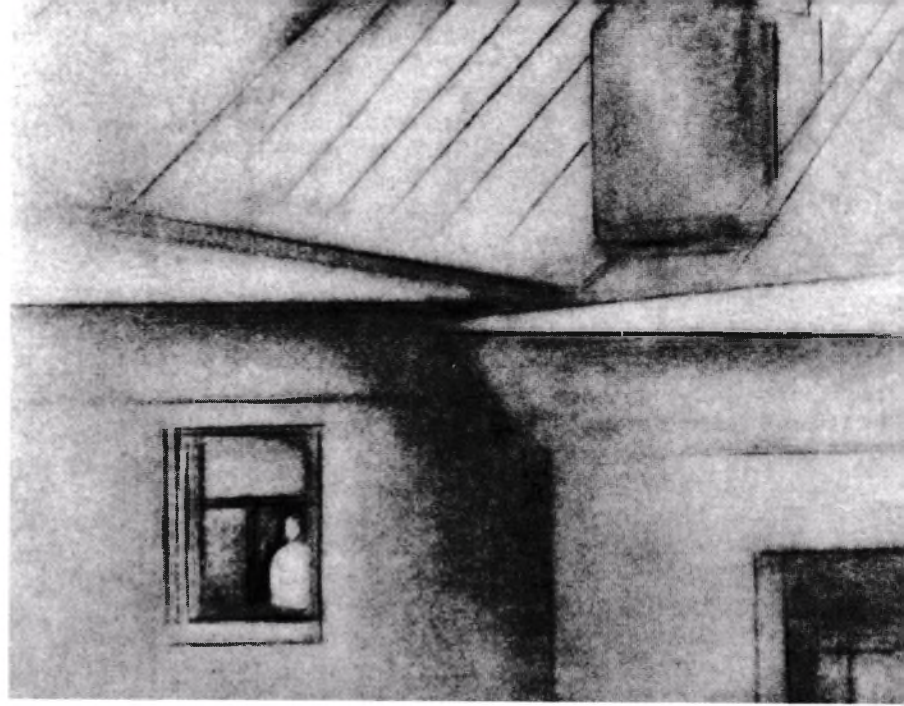


ХРЕСТОМАТИЯ  
ДЛЯ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

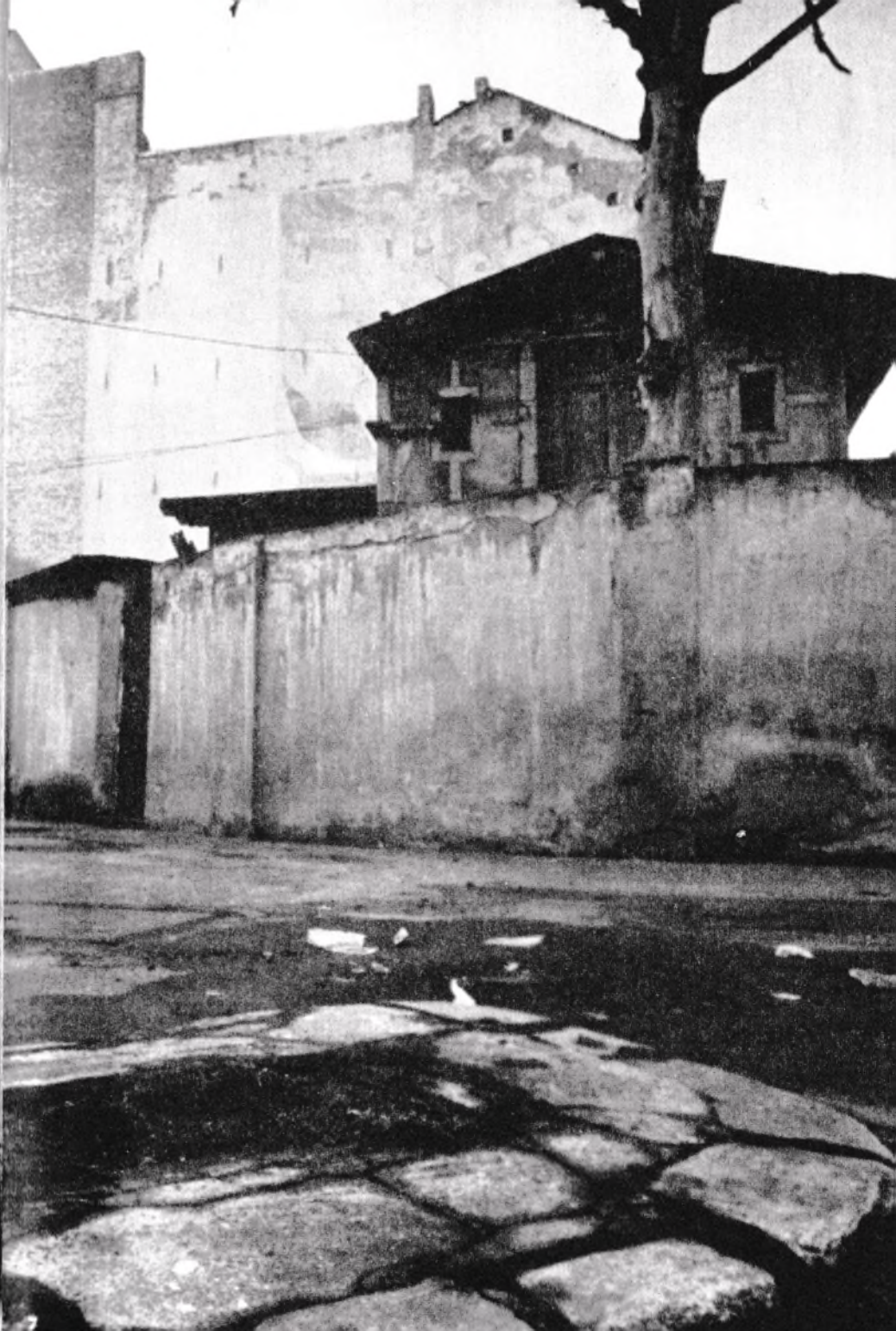
ЕСТЬ ВСЮДУ СВЕТ...

ЕСТЬ ВСЮДУ СВЕТ...



ЧЕЛОВЕК В ТОТАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ  
*ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ*





# ЕСТЬ ВСЮДУ СВЕТ...

Человек в тоталитарном обществе

*Хрестоматия для старшеклассников*

Москва  
Возвращение  
2001

ББК 84(2Рос=Рус)бя72  
Е86

Составитель  
*Семен Виленский*

Второе издание

ISBN 5-7157-0127-9

© «Возвращение», 2001  
© Виленский С.С. Составление, 2001  
© Меркуров Ф.С. Оформление, 2001

*Дорогие старшеклассники! Прежде чем вы начнете знакомиться с этой книгой, хотелось бы поразмышлять с вами о вашем будущем. Речь не о том, какие профессии вы изберете, а о том, в какой стране будете жить — свободной, демократической или несвободной.*

*Что я разумею под словом «несвободной»?*

*Представьте себе своего сверстника, которого арестовали только за то, что он читал или просто держал в руках книгу, запрещенную теми, кто распоряжается людьми, имеет над ними власть, кто считает, что только они знают, как люди должны жить, что читать и даже что они должны думать.*

*Его начинают допрашивать: кто дал книгу? Он отвечает: нашел на чердаке — и в самом деле, было так. Но ему не верят, кричат: «Гаденыш, говори правду! А ты, оказывается, из молодых да ранних!»*

*Осудят школьника или отпустят — в любом случае на него заведут секретное дело, устроят так, чтобы на него доносили его же сверстники, учителя, потом сослуживцы. Одни откажутся, а других запугают, заставят. И все потому, что он читал запретную книгу, а значит, знает то, что не положено знать, думает так, как не положено думать.*

*Знаю это не понаслышке — нечто подобное происходило со мной.*

*Отличались ли наши правители от фашистских? Те устраивали из неудобных им книг костры, а наши — изымали из библиотек «вредную для народа» литературу, и запуганные граждане сами «чистили» свои домашние библиотеки, сжигали запретные книги, рвали и по ночам выбрасывали на свалку. Но немецкие фашисты были у власти двенадцать лет, а большевики — семьдесят!*

*Людей, которые протестовали против такого порядка, бросали в лагеря, за колючую проволоку. А по другую сторону ее «свободные граждане» пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Пели и те, кто вовсе так не считал. Привычным становилось двоедушие. Людям внушали, что они — самые лучшие в мире, что они — строители светлого будущего.*

*Хотите жить в такой стране? Если не хотите – читайте эту книгу.*

*Ошибочно полагать, что история – это вчерашний день, что завтра все начнется заново, с чистой страницы. Нет! Жизнь прошедших поколений продолжается в сегодняшнем, в нас самих, в наших представлениях, духовном складе, в событиях, запрограммированных в прошлом. Не верите? – читайте фрагменты романа Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая».*

*...1944 год. Чеченцы, как и некоторые другие народы, по приказу Сталина насильно вывезены в Среднюю Азию. Избежавшие этой участи взялись за оружие. Руководители карательной операции не останавливаются ни перед чем, даже разоряют родовые кладбища чеченцев, мостят могильными камнями дорогу в горы.*

*Разве то, что происходит сегодня в Чечне, где взаимное ожесточение достигло предела, не последствие случившегося полвека назад?*

*И вот гибнут чеченцы, гибнут российские солдаты – мальчишки, еще недавно сидевшие за школьными партами.*

*Так прошлое отзывается в настоящем.*

*...В сорок втором, когда мне исполнилось четырнадцать лет, судьба забросила меня в маленький уральский городок. Работал там в военном госпитале возчиком, ездил на станцию встречать санитарные поезда, приходившие с фронта. Вместе с такими же, как я, подростками с трудом подымал носилки с тяжелоранеными, осторожно укладывал на сено в телегу...*

*Я вел лошадь под уздцы по разбитой дороге, изо всех сил придерживая ее на ухабах. А за спиной – стоны, голос: «Полегче, сынок!»*

*В один из таких дней получил я письмо отца: «Сын мой, не могу держать тебя в неведении: умерла мама». Представляю, с какой мукой писалось оно!*

*Это человеческое НЕ МОГУ было абсолютно чуждым большевистским правителям – для них не то что «держать в неведении», но и лгать людям было все одно, что умываться по утрам.*

*Эта ложь порой походила на черный юмор.*

*В 1937–1938 годах на запросы родных сообщалось: «осужден на 10 лет без права переписки» (а человек расстрелян). Минуло 10 лет, 20 – на запросы детей и внуков стали приходиться ответы: умер в лагере в 43-м, 44-м – от инфаркта, воспаления легких...*

*В 60-е годы моя знакомая Елена Адамовна Стриковская, вдова одного из расстрелянных, сама отбывшая лагерный срок и реабилитированная, попросилась на прием к председателю Президиума Верховного Совета СССР Микояну, и он ее принял. В прошлом ее покойный муж был помощником Микояна и они дружили семьями.*

*Увидев постаревшую, скромно одетую женщину, он, видимо, решил: пришла просить прибавки к пенсии — и сам заговорил об этом. Но Елена Адамовна от прибавки отказалась. Пришла она совсем по другому делу. Ее сын работал в каком-то закрытом конструкторском бюро, «ящике», как тогда называли, и должен был заполнить длинную анкету. Причем в графе «отец» указать не только дату, но и причину смерти.*

*— Вам что, не ответили на запрос?*

*— Ответили...*

*Она протянула ему бумагу.*

*— «Умер по решению суда», — вслух прочитал Микоян и взглянул на своего помощника.*

*Тот наклонился к шефу, вполголоса произнес: «Вообще-то так отвечать не принято». И добавил громче:*

*— Анастас Иванович, мы с Еленой Адамовной сами вопрос решим.*

*Потом, провожая ее, поинтересовался:*

*— Сердечная недостаточность вас устроит?*

*Конец 60-х годов. В стране идет подготовка к 100-летию со дня рождения Ленина. Кинодраматургу Фридриху Горенштейну заказывают сценарий фильма «II съезд». Именно на нем в 1903 году произошел раскол русских социал-демократов на большевиков во главе с Владимиром Лениным и меньшевиков во главе с Юлием Мартовым. Сценаристу дали возможность ознакомиться с засекреченной стенограммой съезда.*

*— Ленин, — рассказывал мне Фридрих, — со всеми был на «вы», только с Мартовым на «ты». Спорили они о том, какой должна быть партия. «Та партия, которую ты, Юля, предлагаешь, замечательная. Каждый — личность, каждый отстаивает свое мнение. Но с такой партией нельзя взять власть». — «А с той, которую предлагаешь ты, Володя, власть взять можно. Но зачем? Ведь люди, отказавшиеся от своего «я», натворят такое, что и в страшном сне не привидится!»*

*И натворили.*

*История никогда не знала такого затмения души и ума, планомерного уничтожения десятков миллионов людей, которые принесли с собой тоталитарные системы XX века, и прежде всего советская, возникшая раньше всех. «Вы напрасно верите в мировую революцию, — предупреждал в 1934 году в своем открытом письме в Совет Народных Комиссаров СССР великий физиолог лауреат Нобелевской премии академик Павлов. — Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Все остальные правительства вовсе не желают у себя то, что было и что есть у нас, и, конечно, вовремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались Вы, — террор и насилие».*

*Террор, насилие и ложь — вот три кита, на которых держался большевизм. И еще одно слово — вера. Да, я не оговорился — вера. Вера простых людей: «Пусть не нам, а нашим внукам суждено стать счастливыми — ведь не напрасны же были все наши жертвы и лишения!»*

*Они верили в то, над чем посмеивались их вожди за высокими заборами правительственных дач.*

*В послевоенные годы по всей стране возникали нелегальные школьные и студенческие организации. Ребятам арестовывали, били на допросах, отправляли в лагеря и даже расстреливали. Они считали себя ленинцами, уверенные, что зло и несправедливость в нашей стране от того, что Сталин свернул с ленинского пути. Сужу по себе: в колымском лагере меня, вчерашнего студента, называли «красным». А ведь к тому времени я прошел через одиночку мрачной Сухановки и печально известную Лубянскую тюрьму.*

*Вскоре после смерти Сталина началась растянувшаяся почти на полвека и еще не завершившаяся реабилитация жертв режима. Причем всю вину возложили на «культ личности» Сталина. Мы, дескать, шли по верному пути, но из-за «культа личности» пострадали некоторые граждане. Ни о подлинных масштабах трагедии, ни о причастности к ней множества людей речь не шла.*

*Народу пообещали: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Произнес это не кто-нибудь, а Никита Хрущев — в ту пору первый секретарь ЦК коммунистической партии.*

*Потом был Брежнев и один за другим недолговечные генсеки. Это время застоя, разложения советского государства, требова-*



ния перемен. Появились правозащитники, среди них люди известные в стране: Солженицын, академик Сахаров, генерал Григоренко... Советские журналы «Новый мир» и «Знамя» стали печатать авторов, прежде запрещенных. Произведения эти, хотя порой в урезанном виде, пробивались к читателям.

Но суть власти не менялась. Репрессии обрушились на инакомыслящих. Власть действовала изоциренно, в карательных целях стали использовать психиатрию, объявлять нормальных людей сумасшедшими. Как и прежде, судили за «антисоветскую агитацию». Но размах преследований был уже не тот: арестовывали тысячи, а не сотни тысяч. Приходилось действовать с оглядкой на Запад, с которым налаживались экономические отношения. В США и Канаде покупались миллионы тонн зерна. Несмотря на огромные просторы и богатейшие недра, страна не могла прокормить себя.

Спустя 30 лет после смерти Сталина была объявлена «перестройка». За этим туманным словом скрывалось невольное признание провала коммунистического эксперимента и тем самым правоты реформаторов — русских социал-демократов в их давнишнем споре с экстремистами — большевиками. Ведь именно под влиянием социал-демократов и других демократических партий в XX веке в развитых странах окончательно сформировалось гражданское общество, гарантирующее людям их основные права.

Перестройка на деле оказалась весьма трудной и даже мучительной для нашего народа, тем более что ее начали реализовывать партийные и комсомольские боссы, чья психология и навыки оставались советскими. Да что говорить о них, когда многие люди, особенно старшего возраста, саму нашу победу в Великой Отечественной войне связывают с советским строем.

Хаос в обществе и умах, безработица, коррупция, разгул криминала, нищета — все это вместе с ущемленным чувством национального достоинства порождает у многих ностальгические чувства по прошлой, пусть несвободной, убогой, но привычной, регламентированной жизни. Возникла тоска по сильной руке. Одни говорят: «Сталина нет на них». Другие: «Нужен российский Пиночет, диктатор, только он наведет в стране порядок».

Не приведи Господь еще раз наступить на те же грабли...

Когда говорят «история вынесет приговор», имеют в виду людей нового поколения, их оценку прошлого. А новое поколение — это вы.

Но чтобы судить о прошлом, его надо знать. В этом вам помогут авторы нашей книги. Некоторые из них увидели только начало советского строя и поняли, куда он может завести. Одни всю жизнь прожили в своей истерзанной стране, другие вынуждены были покинуть ее. Многие прошли через ГУЛАГ – советские концлагеря. Все вместе они олицетворяют духовную силу России.

«Мне была дана жизнью неповторимая возможность – я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры, – пишет в послесловии к своему роману «Факультет ненужных вещей» Юрий Домбровский. – Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем».

Суд идет.

И судьбы вы...

# 1

**МИРОВОЙ ПОЖАР РАЗДУЕМ**



В письме <В.Г. Короленко> рассказывается о ребенке, пятилетней девочке, которая всем говорила правду в глаза. Человеку, который не очень нравился этой девочке, она говорила: «Ты смешной». Более привлекательному она сообщала: «Ты не смешной, хороший». В.Г. Короленко она сообщала: «Здравствуй, Короленко. Я тебя люблю» — и целовала его в лицо. Придя в гости к писателю, ребенок старался помочь ему справиться с работой. Узнав, что резинка необходима для того, чтобы стирать сделанные ошибки, девочка интересовалась: «А у тебя есть сделанная ошибка?» — и, получив ответ, что ошибка есть, предлагала: «Дай я ее сотру». Стирая «ошибку», девочка отлично понимает, что она делает пользу, работает, а если даже ее работа и не очень нужна, то ребенок видит оправдание своего присутствия в другом: «Я не мешаю. Потому что когда любишь, так не можешь помешать». Управившись с одной «ошибкой», девочка просит еще «ошибок». Услышав, что их больше нет, она делает их сама; чтобы избавить от них писателя, она проводит каракули на чистой бумаге и стирает их. «Вот видишь, — говорит она бонне, — я ему не мешаю. Я ему помогаю; сама за него сделала ошибку, сама стираю... А он себе работает другую работу... А я за него делаю ошибки. Вот стерла. Нужно еще?» — «Нужно». — «Ну вот. Ему нужно. Я опять за него сделаю...»

Этот превосходный рассказ характеризует самого В.Г. Короленко. Писатель всю жизнь говорил правду в глаза и делал правду на глазах. Писатель всю жизнь «стирал ошибки» своего общества и своего времени — не мнимые ошибки ребенка, не каракули, а ошибки, от которых содрогались, мучились и погибали люди его времени. Это «стирание ошибок», ликвидация заблуждений, уменьшение страданий в России заняли большую часть сил и способностей В.Г. Короленко; их меньшая часть была обращена на литературно-художественную работу.

...Интересы народа Короленко понимал как реалист, потому что в результате своего жизненного опыта он являлся одним из лучших знатоков народа – народа не воображаемого, не мистического, не святого, не мнимого, а того, который действительно живет, работает, думает и мечтает на русской земле.

...В чем же сила и значение Короленко?

В том, что через все произведения Короленко – большие и малые, через его очерки, записные книжки, письма и через его огромную, блестящую общественную деятельность проходит вера в человека, вера в бессмертие, непобедимое и побеждающее благородство его природы и разума. И хотя это благородство исторически временно подавлено в нем – оно, однако, прочней костей человека, прочней даже его жизни.

Самое же важное и постоянно ценное в творчестве Короленко – то, что свое убеждение в прекрасной сущности человека он открыл не интуитивным путем, не придумал, не облек в образы свою внутреннюю идею, – он долго и тщательно изучал людей народа в действительности и лишь затем открыл в них истинную их сущность. Художественная правда вошла в произведения Короленко из реального большого мира...

*1940*

*Письма В.Г. Короленко к А.В. Луначарскому многие десятилетия в СССР не публиковались. Инициатива переписки принадлежала В.И. Ленину, знавшему о резко отрицательном отношении Короленко к политике большевиков. «Надо просить А.В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как комиссару народного просвещения, и к тому же писателю». Это была попытка склонить на свою сторону писателя, имя которого стало символом чело­веколюбия и гражданского мужества.*

*После встречи с Луначарским Короленко написал шесть писем, но ни одного ответа не получил.*

*Сам Луначарский, отвечая в 1930 году на предложение профессора Н.К. Пиксанова переиздать его переписку с Короленко, писал: «Что касается моей переписки с Короленко, то ее издать никак нельзя. Ибо и переписки-то не было».*

*Письма распространялись в списках, а в 1922 году были изданы в Париже.*

#### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Анатолий Васильевич.

Я, конечно, не забыл своего обещания написать обстоятельное письмо, тем более что это было и мое искреннее желание. Высказывать откровенно свои взгляды о важнейших мотивах общественной жизни давно стало для меня, как и для многих искренних писателей, насущнейшей потребностью. Благодаря установившейся ныне «свободе слова» этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыслящим, приходится писать не статьи, а докладные записки. Мне казалось, что с вами мне это будет легче. Впечатление от вашего посещения укрепило во мне это намерение, и я ждал времени, когда я сяду за стол, чтобы обменяться мнениями с товарищем писателем о болящих вопросах современности.

Но вот кошмарный эпизод с расстрелами во время вашего приезда<sup>1</sup> как будто лег между нами такой преградой, что я не могу говорить ни о чем, пока не разделаюсь с ним. Мне невольно приходится начинать с этого эпизода.

Уже приступая к разговору с вами (вернее, к ходатайству) перед митингом, я нервничал, смутно чувствуя, что мне придется говорить напрасные слова над только что зарытой могилой. Но – так хотелось поверить, что слова начальника Чрезв. комиссии имеют же какое-нибудь основание и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже и по общему тону вашей речи чувствовалось, что даже и вы считали бы этот кошмар в порядке вещей... но... человеку свойственно надеяться...

И вот на следующий день, еще до получения вашей записки, я узнал, что мое смутное предчувствие есть факт: пять бессудных расстрелов, пять трупов легли между моими тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стесненным сердцем берусь за перо. Только два-три дня назад мы узнали из местных «Известий» имена жертв. Перед свиданием с вами я видел родных Аронова и Миркина, и это отблеск личного драматизма на эти безвестные для меня тени.

Я привез тогда на митинг, во-первых, копию официального заключения лица, ведающего продовольствием. В нем значилось, что в деяниях Аронова продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов. Во-вторых, я привез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что рабочие не считали его грубым эксплуататором и спекулянтom. Таким образом, по вопросу об этих двух жизнях были разные, даже официальные мнения, требовавшие во всяком случае осторожности и проверки. И действительно, за полторы недели до этого в Чрезвычайную комиссию поступило предложение губисполкома, согласно заключению юрисконсульта, освободить Аронова или передать его дело в революционный трибунал.

Вместо этого он расстрелян в административном порядке.

Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я «сеял не одни розы»<sup>2</sup>. При царской власти я много писал о смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасти уже обреченные жертвы военных судов, и были случаи, когда после приостановления казни получались

---

<sup>1</sup> См. комментарии на с. 43.

<sup>2</sup> Выражение ваше в одной из статей обо мне. – *Примеч. В. Г. Короленко.*



доказательства невинности и жертвы освобождались (напр., в деле Юсупова<sup>2</sup>), хотя бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в деле Глускера<sup>3</sup> и др.).

Но казни без суда, казни в административном порядке – это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я помню только один случай, когда озверевший Скалон (варшавский генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило такое негодование даже в военно-судных сферах, что только «одобрение» после факта неумного царя спасло Скалона от предания суду. Даже члены главного военного суда уверяли меня, что повторение этого более невозможно.

Много и в то время, и после этого творилось невероятных безобразий, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бывало. Деятельность большевистских Чрезвычайных следственных комиссий представляет пример, может быть, единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов Всеукраинской ЧК, встретив меня в полтавской Чрезвычайной ком., куда я часто приходил и тогда с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил: если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь.

На это мой собеседник ответил:

– Но ведь это для блага народа.

Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему и продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. Однажды, в прошлом году, мне пришлось описать в письме к Христ. Георг. Раковскому<sup>4</sup> один эпизод, когда на улице чекисты расстреляли несколько так называемых контрреволюционеров. Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они действительно пытались бежать (немудрено), и их пристрелили тут же на улице из ручных пулеметов. Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи крови, которую лизали собаки, и слушал в толпе рассказы окрестных жителей о ночном происшествии. Я тогда спрашивал у Х.Г. Раковского: считает ли он, что эти несколько человек, будь они даже деятельнейшие агитаторы, могли бы расказать этой толпе что-нибудь более яркое и более возбуждаю-

щее, чем эта картина? Должен сказать, что тогда и местный губисполком, и центральная киевская власть немедленно прекращали (два раза) попытки таких коллективных расстрелов и потребовали передачи дела революционному трибуналу. Суд одного из обреченных Чрезв. комис. к расстрелу оправдал, и этот приговор был встречен рукоплесканиями всей публики. Аплодировали даже часовые красноармейцы, отложив ружья. После, когда пришли деникинцы, они вытащили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ<sup>5</sup>. Впечатление было ужасное, но – к тому времени они сами расстреляли уже без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид? Да, обоюдное озверение достигло уже крайних пределов, и мне горько думать, что историку придется отметить эту страницу «административной деятельности» ЧК в истории первой Российской Республики, и притом не в XVIII, а в XX столетии.

Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обгабившей улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как расстрел заложников коммунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только лицемерное негодование версальцев, которые далеко превзошли в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их друзей... Надолго это кидало омрачающую и заглушающую тень и на самое социалистическое движение.

В сообщении по поводу расстрела Аронова и Миркина, появившемся наконец 11 и 12 июня в «Известиях», говорится, что они казнены за хлебную спекуляцию. Пусть даже так, хотя все-таки невольно вспоминается, что продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов, и это разногласие заслуживало хотя [бы] судебной проверки. Вообще, все это мрачное происшествие напоминает общественный эпизод Великой французской революции. Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это также самым близоруким образом – происками аристократов и спекулянтов и возбуждало слепую ярость толпы. Конвент «пошел навстречу народному чувству», и головы тогдашних Ароновых и Миркиных летели десятками под ножом гильотины. Ничто, однако, не помогало, дороговизна только росла. Наконец парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они обратились к конвенту с петицией, в которой говорили: «Мы просим хлеба, а вы думаете нас накормить казнями». По мнению

Мишле, историка-социалиста, из этого утомления казнями в С.-Антуанском предместье взметнулись первые взрывы контрреволюции.

Можно ли думать, что расстрелы в административном порядке могут лучше нормировать цены, чем гильотина?

В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 мая, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное население делает заключение, что список неполон. Называют еще другие имена... Между тем если есть что-нибудь, где гласность всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти. Теперь население живет под давлением кошмара. Говорят, будто только часть [казненных] приводится в списке. Доходят до чудовищных слухов, будто даже прежняя процедура еще упрощается до невозможного отсутствия всяких форм, говорят, что теперь можно обходиться даже без допроса подсудимого. Думаю, что это только испуганный бред... Но — как выбить из голов населения мысль, что теперь бредит порой и сама действительность?..

Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева, — в своей речи высказали как будто солидарность с этими «административными расстрелами». В передаче местных газет это звучит именно так. От души желаю, чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то родило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая несправедливость остаются целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в будущее...

Вот, я теперь высказал все, что камнем лежало на моем сознании, и теперь, думаю, моя мысль освободилась от мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое желание — высказаться об общих вопросах.

До следующего письма.

*19 июня 1920 года*

## ПИСЬМО ВТОРОЕ\*

Это второе письмо я начну с конкретного примера. Так мне легче. Я не политик, не экономист. Я только человек, много присматривавшийся к народной жизни и выработавший некоторое чутье к ее явлениям.

В 1893 году я был на всемирной выставке в Чикаго. Приготовления к выставке и сама выставка привлекли в Чикаго массу рабочего люда. После выставки вспыхнули крупные волнения, вызванные наступившей безработицей, и одно время пульмановский городок недалеко от Чикаго и самый город Чикаго оказались во власти восставших рабочих. В предвидении этого тяжелого положения губернатор штата Иллинойс, по фамилии Алтгелдж, человек своеобразный и прямо замечательный по смелости мысли и действий, один из лучших представителей американской демократии, сам стал еще до конца выставки призывать рабочих к тому, чтобы они заранее обдумали свое положение и старались организовать для взаимопомощи.

И вот однажды на огромной площади у так называемого дворца искусств, недалеко от берега Мичигана, собрался митинг безработных. Он был грандиозен, как все в Америке. Огромная площадь оказалась залитой целым морем людских голов. Число участников, по предварительному подсчету полиции, далеко превысило двести тысяч еще задолго до часа, назначенного для открытия митинга.

Я тоже пошел туда. Картина была своеобразна: над морем людских голов возвышались платформы, каждая на двух очень высоких колесах, и с каждой платформы к толпе обращался отдельный оратор. Я слышал тут знаменитого Генри Джорджа, проповедовавшего свой «единый налог», который должен был сразу разрешить социальный вопрос уничтожением земельной ренты. Социалист Морган, простой кузнец в блузе с засученными рукавами, взывал к силе рабочего класса. Указывая на огромные дома, окружавшие обширную площадь, он говорил: «Вы голодаете, а ведь все это ваше». С третьей платформы щебетала молоденькая мисс, в то время довольно популярная и усиленно рекомендовавшая... справочные конторы как лекарство от безработицы. Был и такой оратор-рабочий, который горячо доказывал, что капитал, организуя производство, служит одновременно

---

\* Это и последующие письма В.Г. Короленко печатаются в сокращенном виде. — *Ред.*

интересам рабочих и что между этими двумя классами – капиталистами и рабочими – должно установиться прочное дружеское сотрудничество. Ораторы на платформах сменялись, но с каждой говорили люди единомышленные, звучали однородные призывы. В публике все время происходило соответственное движение: переходя от платформы к платформе, каждый имел возможность ознакомиться со взглядами всех партий. Все это, очевидно, тяготело не к тому, чтобы в результате митинга получилось единое мнение, а лишь к тому, чтобы каждый мог получить разносторонние данные для собственного вывода...

Около меня послышался глубокий вздох. Вздыхал человек в поношенном костюме рабочего, может быть, тоже безработный.

– Эх... все это не то, – сказал он, обращаясь ко мне. – Надо было бы им всем сначала сговориться, а сюда прийти с одним выводом. Вот тогда был бы толк.

В говорившем мы узнали соотечественника... В компании, с которой я пришел на митинг, был очень интересный человек... Звали его мистер Стон. Он был, помнится, ремесленник, но уже обратил на себя внимание статьями по рабочему вопросу и поэтому, с одной стороны, играл видную роль в социалистической партии Чикаго, а с другой – губернатор Алтгелдж нашел возможным предложить ему место одного из фабричных инспекторов для официальной охраны интересов фабричных рабочих. В Америке такие парадоксы не редкость.

Я обратился к нему с вопросом:

– А как вы думаете, мистер Стон? Хотели бы вы, чтобы желание нашего соотечественника исполнилось?

– То есть? – спросил мистер Стон, добиваясь более точной формулы, а может быть, и не разобрав значения слов говорившего.

– То есть желали бы вы, чтобы во всех этих головах повернулась сразу какая-то логическая машинка и они, да не одни они, а, пожалуй, весь народ обратился бы к вам, социалистам, и сказал бы: «Мы в вашей власти. Устраивайте нашу жизнь?»

– Сохрани Бог, – ответил американский социалист решительно.

– Почему же?

– Ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки еще к этому не готовы. Я – марксист. По нашему мнению, капитализм еще не закончил своего дела. Недавно здесь был Энгельс. Он говорил: «Ваш капитал отлично исполняет свою роль. Все эти дома-монстры отлично послужат будущему обществу. Но роль его еще далеко не закончена». И это правда.

Общество не есть организм, но в обществе есть много органического, развивающегося по своим законам. Новые формы назревают в нем так же, как растут на дне океана коралловые рифы. Как известно, такой риф есть сплетение отдельных животных, развивающихся по законам собственной жизни. Сплетаясь, они образуют гряду, которая все растет. То, что можно бы сравнить с социальной революцией, – это тот момент, когда риф поднялся над поверхностью океана. В это время он подвергается свирепым ударам океанских волн, стремящихся снести неожиданное препятствие, с одной стороны. С другой – влияние атмосферы стремится зародить жизнь на этой новой основе. Нужна была долгая органическая работа под водой, чтобы дать для этого устойчивое основание.

Не то же ли в обществе? Нужно много условий, как политическая свобода, просвещение, нужна выработка новых общественных сплетений на прежней почве, нужны растущие перемены в учреждениях и в человеческих нравах...

Но разве мы не видим, что как раз те страны, где есть наиболее развитые объективные и субъективные условия, как Англия, Франция, Америка, отказываются примкнуть к социальной революции, тогда как, наоборот, Венгрия уже объявила у себя советскую республику? Не передовая в развитии социализма Германия, где социалистические организации развиты более всех стран, а отсталая Россия, которая до февральской революции не знала совсем легальных социалистических организаций, выкинула знамя социальной революции...

Приезд делегации английских рабочих закончился горьким письмом к ним Ленина<sup>6</sup>, которое звучит охлаждением и разочарованием. Зато с Востока Советская республика получает горячие приветствия. Но – следует только вдуматься, что знаменуют эта холодность английских рабочих-социалистов и приветы фанатического Востока, чтобы представить себе ясно их значение.

На днях я прочитал в одной из советских газет возмущенное возражение турецкому «социалисту» Балиеву, статьи которого по армянскому вопросу отзывают прямыми призывами к армянской резне. Таков этот восточный социализм даже в европейской Турции. Когда же вы захотите ясно представить себе картину этих своеобразных восточных митингов на площадях перед мечетями, где странствующие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вме-

---

\* Эта полемика велась в то время, когда в Венгрии существовала, хотя и кратковременная, советская республика. – *Примеч. В.Г. Короленко.*

сте к приветствию русской Советской республики, то едва ли вы скажете, что тут речь идет о прогрессе в смысле Маркса и Энгельса... Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что чувствует в нас родного, азиатского.

До следующего письма.

*11 июля 1920 года*

### ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В моих письмах к вам опять произошел значительный перерыв. Отчасти это случилось потому, что я был нездоров, но только отчасти. Главная же причина в том, что я был занят другим. Опять «конкретные случаи» не оставляли времени для общих вопросов. Вы легко догадываетесь, какие это конкретные случаи. Бессудные расстрелы происходят у нас десятками, и — опять мои запоздалые или безуспешные ходатайства. Вы скажете: вольно же во время междоусобия проповедовать кротость. Нет, это не то. Я никогда не думал, что мои протесты против смертной казни, начавшиеся с «Бытового явления»<sup>7</sup> еще при царской власти, когда-нибудь сведутся на скромные протесты против казней бессудных или против детоубийства. Вот мое письмо к председателю нашего губисполкома товарищу Порайко, из которого вы увидите, какие конкретные случаи отвлекли меня от обсуждения общих вопросов:

«Товарищ Порайко.

Я получил от вас любезный ответ на свое письмо. Очевидно, заботясь о моем душевном спокойствии, вы сообщили, что дело, о котором я писал, «передано в Харьков». Благодарю вас за эту любезность по отношению ко мне лично, но я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне, в том числе одна девушка 17 лет и еще двое малолетних. Теперь мне известно, что Чрезвычайная комиссия «судит» и других миргородчан и опять является возможностью бессудных казней. Я называю их бессудными потому, что ни в одной стране в мире роль следственных комиссий не соединяется с правом постановлять приговоры, да еще к смертной казни. Всюду действия следственной комиссии проверяются судом при участии защиты. Это было даже при царях.

Чтобы не запоздать, как в тот раз, я заранее заявляю свой протест. Насколько мой слабый голос будет в силах, я до последнего издыхания не перестану протестовать против бессудных расстрелов и против детоубийства».

По такому же поводу мне пришлось еще писать к Христиану Георгиевичу Раковскому и председателю Всеукраинского Центр.

Исполнительного Комитета тов. Петровскому. Последнее письмо считаю тоже не лишним привести здесь.

«Многоуважаемый товарищ Петровский.

Я уже обращался по этому делу к тов. Раковскому. Теперь решаюсь обратиться к вам. Дело это – ходатайство относительно малолетней дочери крестьянина Евдокии Пищалки, приговоренной полтавской ЧК к расстрелу. Двенадцать человек по этому делу уже расстреляны\*. Пищалка пока оставлена до решения ее участи в харьковских центральных учреждениях. Я не могу поверить, чтобы в этих высших инстанциях могли одобрить расстрел малолетней, в чем уже усомнилась даже здешняя Чрезвычай. комис. Сестра Пищалки едет к вам с последней надеждой. Неужели возможно, что она вернется без успеха и эта девочка\*\* – пережившая уже ужас близкой казни и агонию нескольких дней ожидания – будет все-таки расстреляна?

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить еще следующее: теперь решается судьба людей, привлеченных к делу о прошлогоднем миргородском восстании, по которому уже была объявлена амнистия. Говорят, это ошибка миргородской Чрезвычайной комиссии, которая не имела права объявлять амнистии. Как бы то ни было, она была объявлена, и о ней были расклеены официальные объявления на улицах Миргорода после того, как карательный отряд расстрелял 14 человек. Это было сделано официально, от имени советской власти. Может ли быть, чтобы люди, доверившиеся слову советской власти, были расстреляны в прямое нарушение обещания?»

Тов. Петровский дал телеграмму в Полтаву – не приводить приговора над малолетней в исполнение, и Пищалка, как говорят, отправлена в Харьков. Но так как «отправить в Харьков» – это формула, которая у нас равносильна «отправить на тот свет» (так в справочном бюро отвечают родным о расстрелянных), то в глазах населения судьба Пищалки остается мрачно-сомнительной. Так же, по-видимому, не казнили до сих пор амнистированных, и они пока содержатся в заключении. Надо заметить, что после амнистии некоторые из них находились даже на советской службе и, по-видимому, в новых проступках не обвиняются.

---

\* Кажется, ошибка. В официальной газете приведено 9 фамилий. – *Примеч. В.Г. Короленко.*

\*\* Ей недавно исполнилось только 17 лет. – *Примеч. В.Г. Короленко.*



Как раз на этом месте моего письма мне сообщили, что ко мне пришла какая-то девочка. Я вышел и узнал, что эта девочка и есть Пищалка. Она вернулась из Харькова свободной. Это доставило мне глубокую радость за нее и за ее семью. Но – я не могу радоваться за нашу родину, где могла идти речь о расстреле этого ребенка и где ее уж вывели из арестантских рот вместе с другими, которые назад не вернулись.

Знаю, что наше время доставляет много таких «конкретных случаев», даже более потрясающих и трагических. Но я счел не лишним привести их здесь как фон, на котором мы с вами ведем теперь обсуждение общих вопросов\*.

Возвращаюсь к параллели, поставленной в предыдущем письме.

Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешел... к коммунизму, по крайней мере коммунистическому правительству.

Нравы остались прежние, уклад жизни тоже. Уровень просвещения за время войны сильно подняться не мог, однако выводы стали радикально противоположные. От диктатуры дворянства («совет объединенного дворянства») мы перешли к «диктатуре пролетариата». Вы, партия большевиков, провозгласили ее, и народ прямо от самодержавия пришел к вам и сказал: «Устраивайте нашу жизнь».

Народ поверил, что вы можете это сделать. Вы не отказались. Вам это казалось легко, и вы непосредственно после политического переворота начали социальную революцию.

Известный вам английский историк Карлейль говорил, что правительства чаще всего погибают от лжи. Я знаю, теперь такие категории, как истина или ложь, правда или неправда, менее всего в ходу и кажутся «отвлеченностями». На исторические процессы влияет только «игра эгоизмов». Карлейль был убежден и доказывал, что вопросы правды или лжи отражаются в конце концов на самых реальных результатах этой «игры эгоизмов», и я думаю, что он прав. Вашей диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, долго тяготевшей над Россией. Отчего у нас после крестьянской реформы

---

\* После отправки этого письма, в конце августа, освободили по распоряжению из Харькова также амнистированных ранее миргородцев. – *Примеч. В.Г. Короленко.*

богатство страны не растет, а идет на убыль и страна впадает во все растущие голодовки? Дворянская диктатура отвечала: от му- жицкой лени и пьянства. Голодовки растут не оттого, что у нас воцарился мертвящий застой, что наша главная сила, земледелие, скована дурными земельными порядками, а исключительно от недостатка опеки над народом лентяев и пьяниц. Мне с товарищами в голодные годы приходилось много бороться в литературе и в собраниях с этой чудовищной ложью. Что у нас пьянства было много, это была правда, но правда только частичная. Основная же сущность крестьянства как класса состояла не в пьянстве, а в труде, и притом труде, плохо вознаграждаемом и не дававшем надежды на прочное улучшение положения. Вся политика последних десятилетий царизма была основана на этой лжи. Отсюда всевластие земского начальника и преобладание дворянства во всем гражданском строе и в земстве. Эта вопиющая ложь проникала всю нашу жизнь... Образованное общество пыталось с нею бороться, и в этой «оппозиции» участвовали даже лучшие элементы самого дворянства. Но народные массы верили только царям и помогали им подавлять всякое свободолюбивое движение. У самодержавного строя не было умных людей, которые поняли бы, как эта ложь, поддерживаемая слепой силой, самым реальным образом ведет строй к гибели. <...>

И строй рухнул.

Теперь я ставлю вопрос: всё ли правда и в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы успели теперь внушить народу?

По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит такой же широкий, «классовый» характер. Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия («буржуй») представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, и – ничего больше.

Правда ли это? Можете ли вы искренно говорить это?

В особенности можете ли это говорить вы – марксисты?

Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то недавнее время, когда вы – марксисты – вели ожесточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что России необходимо и благотельно пройти через «стадию капитализма». Что же вы разумели тогда под этой благотельной стадией? Неужели только тунеядство буржуев и стрижку купонов?

Очевидно, тогда вы разумели другое. Капиталистический класс вам тогда представлялся классом, худо ли, хорошо ли,

организующим производство. Несмотря на все его недостатки, вы считали, совершенно согласно с учением Маркса, что такая организация благотельна для отсталых в промышленном отношении стран, каковы, например, Румыния, Венгрия и... Россия.

Почему же теперь иностранное слово «буржуа» – целое огромное сложное понятие – с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов?

Совершенно так же, как ложь дворянской диктатуры, подменившая классовое значение крестьянства представлением о тунеядце и пьянице, ваша формула подменила роль организатора производства – пускай и плохого организатора – представлением исключительно грабителя. И посмотрите опять, насколько прав Карлейль со своей формулой. Грабительские инстинкты были раздуты у нас войной и потом беспорядками, неизбежными при всякой революции. Борьбсь с ними необходимо было всякому революционному правительству. К этому же побуждало и чувство правды, которое обязывало вас, марксистов, разьяснить искренно и честно ваше представление о роли капитализма в отсталых странах. Вы этого не сделали. Тактическим соображениям вы пожертвовали долгом перед истиной. Тактически вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм, как натравливают боевой отряд на крепость. И вы не остановились перед извращением истины. Частичную истину вы выдали за всю истину (ведь и пьянство тоже было). И теперь это принесло плоды. Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость – народное достояние, добытое «благотельным процессом», что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению. Вы внушили народу, что все это – только плод грабежа, подлежащий разграблению в свою очередь. Говоря это, я имею в виду не одни материальные ценности в виде созданных капитализмом фабрик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые процессы и навыки, ту новую социальную структуру, которую вы, марксисты, сами имели в виду, когда доказывали благотельность капиталистической стадии.

В 1902 году разыгрались в некоторых местах Полтавской и смежной Харьковской губернии широкие аграрные беспорядки.

Крестьяне вдруг кинулись грабить помещичьи экономии и затем, по прибытии властей, покорно становились на колени и так же покорно ложились под розги. Когда их вдобавок стали судить, то мне пришлось одно время служить посредником между ними и с организовавшейся защитой. В это время в моем кабинете в Полтаве крестьяне собирались порой в значительном количестве, и я старался присмотреться к их взглядам на происшедшее. Сами они были о нем не очень высокого мнения. Они называли все движение «грабижкой», и самые благоразумные из них объясняли возникновение этой «грабижки» по-своему: «Як дитина не плаче, то и мати не баче». Они понимали, что грабеж не подходящий приступ для каких бы то ни было улучшений, но, доведенные до отчаяния, старались хоть чем-нибудь обратить внимание «благодетеля царя» на свое положение. Остальное сделала слепая жадность, и движение приняло широкие размеры. Но царское правительство было слепое и глухое. Оно знало только необходимость дальнейшей опеки и «вечность незыблемых основ» и из внезапно грозно прокинувшейся «грабижки» не сумело сделать вывода. Попытка (довольно разумная) аграрной реформы первой Думы была задушена, а побуждения, двигавшие крестьянскими массами во время «грабижки», остались до времени революции. Вы, большевики, отлили их в окончательную форму. Своим лозунгом «грабь награбленное» вы сделали то, что деревенская «грабижка», погубившая огромные количества сельскохозяйственного имущества без всякой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в города, где быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный аппарат.

Борьба с этим строем приняла характер какой-то осады неприятельской крепости. Всякое разрушение осаждаемой крепости, всякий пожар в ней, всякое уничтожение ее запасов выгодны для осаждающих. И вы тоже считали своими успехами всякое разрушение, наносимое капиталистическому строю, забывая, что истинная победа социальной революции, если бы ей суждено было совершиться, состояла бы не в разрушении капиталистического производственного аппарата, а в овладении им и в его работе на новых началах.

Теперь вы спохватились, но, к сожалению, слишком поздно, когда страна стоит в страшной опасности перед одним забытым вами фронтом. Фронт этот – враждебные силы природы.

До следующего письма.

*4 августа 1920 года*

## ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

На этот раз можно, кажется, обойтись без конкретных случаев, и я попытаюсь сразу перейти к общим вопросам, пока события не завладели еще моим настроением.

Начинаю это письмо под впечатлением английской делегации. В нашем местном официозе напечатана или перепечатана откуда-то статья «Наша скорбь», сопровождающая письмо Ленина к английским рабочим. В ней прямо говорится, что наряду с гордостью, нашим революционным первенством, русские коммунисты переживают «трагедию одиночества». В письме Ленина звучит, по мнению автора, недоумение по поводу «самой возможности в нашу беспримерную эпоху таких «вождей» рабочих масс, каковы большинство приехавших в Россию английских делегатов»... «Английские тред-юнионисты, ничему, в сущности, не научившиеся, к несчастью, все еще представляют огромные массы английских рабочих».

Так как вы, партия коммунистов, являетесь только представителями «диктатуры русского пролетариата», то отсюда следует вывод, что наш пролетариат в своей массе шагнул далеко вперед в сравнении с английскими тред-юнионистами, движение которых представляет уже целую историю. В других советских газетах не раз уже повторялось, что вожди старого немецкого социализма, даже такие, как Каутский, являются презренными соглашателями и даже продались буржуазии\*.

Отбросив то, что можно объяснить полемической несдержанностью и увлечением, остается все-таки факт: европейский пролетариат за вами не пошел и его настроение в массе является настроением того американского социалиста Стона, мнение которого я приводил во втором письме. Они думают, что капитализм даже в Европе не завершил своего дела и что его работа еще может быть полезной для будущего. При переходе к этому будущему от настоящего не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати, для них не простые «буржуазные предрассудки», а необходимое орудие дальнейшего будущего, своего рода палладиум, который человечество добыло путем долгой и не бесплодной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их «буржуазным предрассудком», лишь тормозящим дело справедливости.

---

\* Полтавские «Известия» («Вісти»), № 24, 27 июня 1920 года. — *Примеч.*  
*В.Г. Короленко.*

Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем «народе-богоносце» и еще более – нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошел и которому все удастся без труда, по щучьему велению. Самая легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а, наоборот, на незрелость нашего народа. Механика знает полезное и вредное сопротивление. Вредное мешает работе механизма и подлежит устранению. Но без полезного сопротивления механизм будет вращаться впустую, не производя нужной работы. Это именно случилось и у нас. Вы выкинули самые максималистские лозунги, вы воюете во имя социализма, вы побеждаете его именем на полях сражения, но вся эта суета во имя коммунизма нисколько не знаменует его победы.

В Румынии, которая во многом напоминает Россию, мне рассказывали случаи, яркий, как нарочно придуманный анекдот, но тем не менее действительный. Там сохранились еще крупные поместья со всеми признаками нашего старинного боярства. Даже зовутся владельцы боярами, несомненно от славянского слова.

Порой такие бояре, особенно из молодых, склонны к крайним партиям, и многие из них проходили школу социализма Доброджану. Как-то один из таких бояр, путешествуя по Швейцарии, заинтересовался анархизмом и познакомился с ученым садовником-анархистом. Пили брудершафт и так понравились друг другу, что боярин стал звать анархиста в Румынию. У него на родине огромные имения, в том числе много земли под лесом, и он решил часть этого леса обратить в общественный парк. Это соответствовало взглядам анархиста: все имения боярина он охотно превратил бы в общую собственность, и он честно предупредил об этом приятеля. Он предвидит, что румыны, у которых есть такие «бояре», очевидно, представляют молодой народ, не зараженный еще, как швейцарцы, буржуазными предрассудками, и потому там легче провести анархические идеи. Он предупреждает, что при первых признаках революции он не только не станет защищать частной собственности боярина, но, наоборот, сейчас же предоставит ее народу. Боярин согласился, – может быть, потому, что опасность не казалась ему такой близкой..

И вот в одном углу Румынии ученый садовник-анархист на деньги и на земле боярина завел образцовый парк общественного пользования. Вскоре, однако, раскрылись неудобства, истекающие из «молодости народа»: на столах, на скамьях, на стенах появились скабрзные надписи, цветы бесцеремонно срыва-

лись, ветви на невиданных деревьях обламывались, ретирады превратились в клоаки. Анархист обратился с красноречивым воззванием, в котором объяснил, что парк отдается в распоряжение и под защиту населения: не надо срывать цветов, не надо обламывать ветви, не надо неприличных надписей... Но «молодой народ» ответил на пафос анархиста-теоретика своеобразным юмором: надписи появились уже вырезанными ножами, цветы и деревья уничтожались с ожесточением, ретирады еще более загажены. Тогда садовник пришел к боярину и сказал:

— Я не могу жить в вашей стране. Народ, который не научился, как вести себя в публичных местах, еще слишком далек от анархизма в моем смысле.

Этот случай объясняет суть моей мысли. Не всякое отсутствие навыков буржуазного общества знаменует готовность к социализму. Когда-то наш анархист Бакунин написал: «...нам надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли»<sup>8</sup>. Он был теоретик по преимуществу и анархист, отрицавший собственность в теории. Вор отрицает ее практически. Пусть практика сольется с теорией. Нам теперь такое рассуждение кажется великой наивностью: между отрицанием собственности анархиста-философа, далеко заглянувшего в будущее, и таким же отрицанием простого вора лежит целая бездна. Вору нужно сначала вернуться назад, выработать в себе честное отношение к чужой собственности, т. е. то, чему учит «капиталистическая стадия», и уже затем не индивидуально, а вместе со всем народом думать об общественном отрицании собственности.

Вы скажете, что наш народ непохож на тех румын, о каких мне рассказывали. Я знаю: в степени есть разница даже и в самой Румынии. Но — давайте честно и с любовью к истине поговорим о том, что такое теперь представляет наш народ. Вы допустите, вероятно, что я не менее любого большевика люблю наш народ; допустите и то, что я доказал это всей приходящей к концу жизнью... Но я люблю его не слепо, как среду, удобную для тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности. Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием думал о том, что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени разыгрался в одном из южных штатов: негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть преступление, убил ее. Население городка устроило суд и сожгло его живым на костре. Корреспонденты описывали шаг за шагом такие подробности: веревки перегорели, и несчастный сполз с костра. Толпа предоставила отцу убитой особую честь: он взял негра на свои дюжие руки и опять бросил в костер.

Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озверения, у нас подобное явление невозможно. Славянская натура нашего народа мягче англосаксонской. У нас даже смертная казнь введена только греками вместе с христианством. Но это не мешает мне признать, что в Америке нравственная культура гораздо выше. Случай с негром – явление настолько исключительное, что эта исключительность и вызвала такой зверский суд толпы. В обычное же время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью общественных нравов. Можно ли то же сказать о наших нравах? У нас такая путешественница может на всяком шагу попасть в сети общей нашей распущенности и развращенности. По натуре, по природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того самоуважения, которое заставляет воздерживаться от известных поступков, даже когда этого никто не узнает. Это надо признать, и надо вывести из этого необходимые последствия.

Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. Вы говорите о коммунизме. Не говоря о том, что коммунизм есть еще нечто неоформленное и неопределенное и вы до сих пор не выяснили, что вы под ним разумеете, – для социального переворота в этом направлении нужны другие нравы. Из одного и того же вещества углерода получаются и чудные кристаллы алмаза и аморфный уголь. Значит, есть какая-то разница во внутреннем строении самих атомов. То же нужно сказать и о человеческих атомах, из которых составляется общество: не всякую форму можно немедленно скристаллизовать из данного общества. Во многих городах Швейцарии уже теперь вы можете безопасно оставить любую вещь на бульваре и, вернувшись, останете ее на том же месте. А у нас – будем говорить прямо... Точный учет в таком вопросе, конечно, труден, но вы знаете, у нас есть поговорка: не клади плохо, не вводи вора в грех. И вы, вероятно, согласитесь, что на тысячу человек, которые прошли бы мимо какой-нибудь плохо лежащей вещи, в Европе процент соблазвившихся будет гораздо меньше, чем в России. А ведь и такая разница уже имеет огромное значение для кристалла. Прошлую осень я был в украинской деревне и много разговаривал с крестьянами обо всем происходящем. Когда я рассказал о том, как в Тулузе моя дочь с мужем прожили год на квартире, населенной рабочими, ни разу не запирая на ночь дверей, – это возбудило величайшее удивление.



– А у нас, – грустно сказал на это один хороший и разумный крестьянин, – особенно в нынешнее время, если хлопчик принесет матери чужое, то иная мать его даже похвалит: хорошо, что несешь в дом, а не из дому.

И это с тех пор, как вы провозгласили коммунизм, не ослабло, а усилилось в огромной степени.

Маленький, но многозначительный пример: чтобы хоть несколько ослабить недостаток в продовольствии, городское управление Полтавы (еще «буржуазное») поощряло разработку всех свободных участков земли. Таким образом, участки перед домами на улицах оказались засаженными картошкой, морковью и пр. То же и относительно свободных мест в городском саду. Это уже несколько лет стало традицией.

В этот год картофель уродился превосходный, но... его пришлось выкопать всюду задолго до того, как он поспел, потому что по ночам его просто крали. Кто крал – на этот раз это не важно. Дело, однако, в том, что одни трудились, другие пользовались. Треть урожая погибла потому, что картофель не дорос, запасов на зиму из остальной части сделать не пришлось потому, что недоспевший картофель гнил. Я видел группу бедных женщин, которые утром стояли и плакали над разоренными ночью грядками. Они работали, сеяли, вскапывали, пололи. А пришли другие, порвали кусты, многое затоптали, вырвали мелочь, которой еще надо было доходить два месяца, и сделали это в какой-нибудь час.

Это пример, указывающий, что такую вещь, как нравственные свойства народа, можно выразить в цифрах. При одном уровне нравственности урожай был бы такой-то, и городское население до известной степени было бы обеспечено от зимнего голода. У нашего народа «при коммунизме» огромная часть урожая прямо погибла от наших нравов. Еще больший ущерб предстоит оттого, что на будущий год многие задумаются обрабатывать пустые места – никому неохота трудиться для воров... И никакими расстрелами вы с этой стихией не справитесь. Тут нужно нечто другое, и во всяком случае до коммунизма еще далеко...

*19 августа 1920 года*

#### ПИСЬМО ПЯТОЕ

Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими вожаками социализма и вами, вождями российского коммунизма. Ваша монополярная печать объясняет его тем, что вожди социализма в Западной Европе продались

буржуазии. Но это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкупности со стороны Германии.

Нет надобности искать низких причин для объяснения факта этого разлада. Он коренится гораздо глубже, в огромной разнице настроений. Дело в том, что вожди европейского социализма в течение уже десятков лет руководили легально массовой борьбой своего пролетариата, давно проникли в эти массы, создали широкую и стройную организацию, добились ее легального признания.

Вы никогда не были в таком положении. Вы только конспирировали и – самое большое – руководили конспирацией, пытавшейся проникнуть в рабочую среду. Это создает совершенно другое настроение, другую психологию.

Европейские руководители социализма, принимая то или другое решение, рекомендуя его своим последователям, привыкли взвешивать все стороны этого шага. Когда, например, объявлялась стачка, то вождям приходилось обдумывать не только ее агитационное значение, но и всесторонние последствия ее для самой рабочей среды, в том числе данное состояние промышленности. Сможет ли масса выдержать стачку, в состоянии ли капитал уступить без расстройтва самого производства, которое отразится опять на тех же рабочих? Одним словом, они принимали ответственность не только за саму борьбу, но и за то, как отразится рекомендуемая ими мера на благосостоянии рабочих. Они привыкли чувствовать взаимную зависимость между капиталом и трудом.

Вы в таком положении никогда не были, потому что благодаря бессмысленному давлению самодержавия никогда не выступали легально. Вам лично приходилось тоже рисковать, приходилось сидеть в тюрьмах за то, что во всей Европе уже было признано правом массы и правом ее вождей, и этот риск тюрьмы, ссылки, каторги заменял для вас в ваших собственных глазах и в глазах рабочих всякую иную ответственность. Если от ошибки в том или другом вашем плане рабочим и их семьям приходилось напрасно голодать и терпеть крайнюю нужду, то и вы получали свою долю страдания в другой форме.

И вот почему вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу из схемы, к конечному результату. Вот почему вы не могли выработать чутья к жизни, к сложным возможностям самой борьбы, и вот откуда у вас одностороннее представление о капитале как исключительно о хищнике...

И отсюда же ваше разочарование и горечь по отношению к западноевропейскому социализму.

Рабочие вначале пошли за вами. Еще бы. После идиотского преследования всяких попыток к борьбе с капиталом вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим это льстило и много обещало... Они ринулись за вами, т. е. за мечтой немедленного осуществления социализма.

Но действительность остается действительностью. Для рабочей массы тут все-таки не простая схема, не один конечный результат, как для вас, а вопрос непосредственной жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности... Увлеченным односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до ужасного положения. Когда-то в своей книге «В голодный год»<sup>9</sup> я пытался нарисовать то мрачное состояние, к которому вело самодержавие: огромные области хлебной России голодали, и голодовки усиливались. Теперь гораздо хуже, голодом поражена вся Россия, начиная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. Теперь, говорят, вы успели наладить питание в Москве и Петербурге (надолго ли и какой ценой?). Но зато голод охватывает пространства гораздо большие, чем в 1891–1892 годах в провинции. И главное – вы разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни: естественную связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными мерами, «принудительным отчуждением», реквизициями при посредстве карательных отрядов. Когда деревня не получает не только сельскохозяйственных орудий, но за иголку вынуждена платить по 200 рублей и больше – в это время вы устанавливаете такие твердые цены на хлеб, которые деревне явно невыгодны. <...>

Каждый земледелец видит только, что у него берут то, что он произвел, за вознаграждение, явно не эквивалентное его труду, и делает свой вывод: прячет хлеб в ямы. Вы его находите, реквизируете, проходите по деревням России и Украины каленым железом, сжигаете целые деревни и радуетесь успехам продовольственной политики. Если прибавить к этому, что многие области в России тоже поражены голодом, что оттуда в нашу Украину, например, слепо бегут толпы голодных людей, причем отцы семей, курские и рязанские мужики, за неимением скота сами впрягаются в оглобли и тащат телеги с детьми

и скарбом, то картина выходит более поразительная, чем все, что мне приходилось отмечать в голодном году... И все это не ограничивается местностями, пораженными неурожаем. <...> Народ нашел уже и формулу, в которой кратко обобщил это положение. Один крестьянин, давно живущий в городе и занимающийся ломовым извозом, сказал мне как-то с горькой и злой улыбкой:

Як був у нас Микола-дурачок,  
То хліб був пятачок,  
А як прийшли розумни комуністи,  
То нічого стало людям істи,  
Хліба ні за які гроші не дістанешь.

Этого не выдумаешь нарочно, это то, что само рождается из воздуха, из непосредственного ощущения, из очевидных фактов.

И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основную ошибку, и в ней являются настроения, которые вы так осуждаете в огромном большинстве западноевропейских социалистов; в ней явно усиливается меньшевизм, т. е. социализм, но не максималистского типа. Он не признает немедленного и полного социального переворота, начинающегося с разрушения капитализма как неприятельской крепости. Он признает, что некоторые достижения буржуазного строя представляют общенародное достояние. Вы боретесь с этим настроением. Когда-то признавалось, что Россией самодержавно правит воля царя. Но едва где-нибудь проявлялась воля этого бедняги самодержца, не вполне согласная с намерением правившей бюрократии, у последней были тысячи способов привести самодержца к повиновению. Не то же ли с таким же беднягой, нынешним «диктатором»? Как вы узнаете и как вы выражаете его волю? Свободной печати у нас нет, свободы голосования – также. Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрассудок. Между тем отсутствие свободной печати делает вас глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди слепо «бредут врозь» (старое русское выражение) от голоду. Провозглашаются победы коммунизма в украинской деревне в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гневом и чрезвычайки уже подумывают о расстреле деревенских заложников. В городах начался голод, идет грозная зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения пролетариата. Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоятельная мысль в среде рабочих, не вполне согласная с направлением вашей политики, коммунисты тотчас же принимают свои меры.

Данное правление профессионального союза получает наименование белого или желтого, члены его арестуются, само правление распускается, а затем является торжествующая статья в вашем официозе: «Дорогу красному печатнику» или иной красной группе рабочих, которые до тех пор были в меньшинстве. Из суммы таких явлений и слагается то, что вы зовете «диктатурой пролетариата». <...>

Когда-то, еще при самодержавии, в один из периодов попеременного усиления то цензуры, то освобождавшей своими усилиями печати в одном юмористическом органе был изображен самодержец, сидящий на штыках. Подпись: «Неудобное положение» – или что-то в этом роде. В таком же неудобном положении находится теперь ваша Коммунистическая правящая партия. Положение ее в деревне прямо трагическое. То и дело оттуда приносят коммунистов и комиссаров, изувеченных и убитых. Официозы пишут пышные некрологи, и ваша партия утешает себя тем, что это только куркули (деревенские богачи), что не мешает вам выжигать целые деревни сплошь – и богачей, и бедных одинаково. Но и в городах вы держитесь только военной силой, иначе ваше представительство быстро изменилось бы. Ближайшие ваши союзники, социалисты-меньшевики, сидят в тюрьмах. Мне приходится то и дело наблюдать такие явления. В 1905 году, когда я был здоров и более деятелен, мне приходилось одно время бороться с нараставшим настроением еврейских погромов, которое несомненно имело в виду не одних евреев, но и бастовавших рабочих. В это время наборщики местной типографии, нарушая забастовку, печатали воззвания газеты «Полтавщина» и мои. Это невольно сблизило меня со средой наборщиков. Помню одного: он был несомненно левый по направлению и очень горячий по темпераменту. Его выступления навлекли на него внимание жандармских властей, и с началом реакции он был выслан сначала в Вологду, потом в Усть-Сысольск. Фамилия его Навроцкий. Теперь он в Полтаве и... арестован вашей чрезвычайкой за одно из выступлений на собрании печатников\*. Когда теперь я читаю о «желтых» печатниках Москвы и Петербурга, то мне невольно приходит на мысль: сколько таких Навроцких, доказавших в борьбе с царской реакцией свою предан-

---

\* В октябре Навроцкий был выслан по решению ЧК в северные губернии. Мне пришлось писать по этому поводу в Харьков. Мои «докладные записки» по начальству не имели успеха. Теперь Навроцкий свободен, но зато выслан в северные губернии его сын, уже раз, еще в детстве, бывший в ссылке вместе с отцом. Очевидно, история повторяется. – *Примеч. В.Г. Короленко.*

ность действительному освобождению рабочих, арестуются коммунистами чрезвычайки под видом «желтых», т. е. «неблагонадежных» социалистов. Одно время шел вопрос даже о расстреле Навроцкого за его речь против новых притеснений свободы мнений в рабочей среде. Чего доброго – это легко могло случиться, и тогда была бы ярко подчеркнута разница чрезвычайек и прежних жандармских управлений. Последние не имели права расстреливать – ваши чрезвычайки имеют это право и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью.

#### ПИСЬМО ШЕСТОЕ

...Сердце сжимается при мысли о судьбе того слоя русского общества, который принято называть интеллигенцией. Рассмотрите ставки ваших жалований и сравните их с ценами хотя бы на хлеб. Вы увидите, какое тут смешное, вернее, трагическое несоответствие. И все-таки живут... Да, живут, но чем? – Продают остатки прежнего имущества: скатерти, платочки, кофты, пальто, пиджаки, брюки. Если перевести это на образный язык, то окажется, что они проедают все, заготовленное при прежнем буржуазном строе, который приготовил некоторые излишки. Теперь не хватает необходимого, и это растет как лавина. Вы убили буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от этого трупа. Все разрушается: дома, отнятые у прежних владельцев и никем не реставрируемые, разваливаются, заборы разбираются на топливо, одним словом, идет общий развал.

Ясно, что дальше так идти не может и стране грозят неслыханные бедствия. Первой жертвой их явится интеллигенция. Потом городские рабочие. Дольше всех будут держаться хорошо устроившиеся коммунисты и Красная Армия. Но уже и в этой среде среди добросовестных людей заметны признаки обнищания. Лучше всего живется всякого рода грабителям. И это естественно: вы строите все на эгоизме, а сами требуете самоотвержения. Докажите же, что вооруженному человеку выгодно умереть с голоду, воздерживаясь от грабежа человека безоружного.

Я говорил выше об одной характерной мелочи чисто бытового свойства, о грабеже огородов, принявшем такие размеры, что это лишает на будущее время побуждения к труду, не говоря только, какую роль при этом играли красноармейцы. Порой хозяева огородов делали засаду на воров. Когда они застигали при этом людей штатского звания, те конфузились и убегали. Только красноармейцы отвечали просто: что же нам, сидеть голодными,

что ли? И продолжали грабить, переходя с данного участка на участок соседа. Теперь еще одна такая же мелочь. Не далее двух недель тому назад из Полтавы уходил на фронт красноармейский полк. Штаб его помещался рядом с моей квартирой, и потому с утра вдоль нашей улицы выстроились ряды солдат. Во дворе дома, где я живу, есть несколько ореховых деревьев. Это привлекло солдат, и в ожидании отправки наш двор переполнился красноармейцами. Трудно описать, что тут происходило. Влезали на деревья, ломали ветви, и, постепенно входя в какое-то торопливое ожесточение, торопясь, как дети, солдаты стали хватать поленья дров, кирпичи, камни и швырять все это на деревья с опасностью попасть в сидящих на деревьях или в окна нашего дома. Несколько раз поленья попадали в рамы, к счастью, не в стекла. Вы ведь знаете, что значит теперь разбить стекло. Пришлось обратиться к начальству, но и начальство могло прекратить это только на самое короткое время. Через минуту двор опять был полон солдат, и мне едва удалось уговорить, чтобы не кидали поленьев и камней с опасностью побить окна. Все деревья были оборваны, и только тогда красноармейцы ушли, после торжественной речи командира, в которой говорилось, что Красная Армия идет строить новое общество... А я с печалью думал о близком бедствии, когда нужда не в орехах, а в хлебе, топливе, в одежде, обуви заставит этих людей, с опасным простодушием детей, кидаться теперь на орехи, так же кидаться на предметы первой необходимости. Тогда может оказаться, что вместо социализма мы ввели только грубую солдатчину вроде янычарства.

<...> Чувствую, что мои письма надо кончать. Они слишком затянулись и мешают мне отдаться другой работе. К тому же об этом предмете надо бы сказать гораздо больше и с большим изучением, а для этого у меня нет ни времени, ни здоровья. Поэтому закончу кратко: вы с легким сердцем приступили к своему схематическому эксперименту в надежде, что это будет только сигналом для всемирной максималистской революции. Вы должны уже сами видеть, что в этом вы ошиблись: после приезда иностранной рабочей делегации, после письма Сегрю и ответа Ленина эта мечта исчезает даже для вашего оптимизма. Вам приходится довольствоваться легкой победой последовательного схематического оптимизма над «согласателями», но уже ясно, что в общем рабочая Европа не пойдет вашим путем, и Россия, привыкшая подчиняться всякому угнетению, не выработавшая формы для выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном одиночестве.

Куда? Что представляет ваш фантастический коммунизм? Известно, что еще в прошедшем столетии являлись попытки перевести коммунистическую мечту в действительность. Вы знаете, чем они кончились. Роберт Оуэн, фурьеристы, сенсимонисты, кабэтисты – таков длинный ряд коммунистических опытов в Европе и в Америке. Все они кончались печальной неудачей, раздорами, трагедиями для инициаторов, вроде трагедии Кабэ. И все эти благородные мечтатели кончали сознанием, что человечество должно переродиться прежде, чем уничтожить собственность и переходить к коммунальным формам жизни (если вообще коммуна осуществима). Социалист историк Ренар говорит, что Кабэ и коммунисты его пошиба прибегали к слишком упрощенному решению вопроса: «Среди предметов, окружающих нас, есть такие, которые могут и должны остаться в индивидуальном владении, и другие, которые должны перейти в коллективную собственность». Вообще, процесс этого распределения, за которое вы взялись с таким легким сердцем, представляет процесс долгой и трудной подготовки «объективных и субъективных условий», для которого необходимо все напряжение общей самодеятельности и, главное, свободы. Только такая самодеятельность, только свобода всяких опытов могут указать, что выдержит критику практической жизни и что обречено на гибель. «Кабэ, – говорит Ренар (и другие утописты, прибавляю я), – не сумел еще найти принципа, который установил бы эту раздельную линию. Он уделял слишком много места власти и единству. Государство-община, о котором он мечтал, напоминает пансион, где молодым людям обеспечивают здоровую умеренную пищу, где одевают в мундир их ум, как тело, приучают их работать, есть, вставать по звонку. Однообразие этой суровой дисциплины порождает скуку и отвращение. Этот монастырский интернат слишком тесен, чтобы человечество могло в нем двигаться, не разбив его». Вы вместо монастырского интерната ввели свой коммунизм в казарму (достаточно вспомнить «милитаризацию труда»). По обыкновению самоуверенно, недолго раздумывая над разграничительной чертой, вы нарушили неприкосновенность и свободу частной жизни, ворвались в жилье («Мой дом – моя крепость», – говорят англичане), стали производить немедленный дележ необходимейших вещей, как интимных проявлений вкуса и интеллекта, наложили руку на частные коллекции картин и книг... Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный коммунизм, вы надолго



отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности.

Очевидец рассказывал мне следующую бытовую картину: с одного из съездов возвращались уполномоченные волостных комитетов. На этом съезде, по обыкновению, были приняты резолюции в самом коммунистическом духе. Среди крестьян, подписавших эти резолюции, царило угрюмое настроение. Они ехали в свои деревни, а там, как известно, настроение далеко не коммунистическое. В этой компании ехал горячий и, по видимому, убежденный коммунист, доказывавший преимущества коммунистического строя. Ответом на его горячие тирады было угрюмое молчание. Тогда он решил пробить этот лед и прямо обратился к одному из собеседников, умному солидному мужику, в упор предложив вопрос: почему вы молчите и что думаете о том, что я говорил вам?

– Ось бачите, – ответил мужик серьезно, – все это, может быть, и правда... да беда в том, что руки у человека так устроены, что ему легче горнуть до себе, а не вид себе (загребать к себе, а не от себя).

Как видите, это как раз то самое, к чему в конце опыта приходят мечтатели утопического коммунизма. Дело, конечно, не в руках, а в душах. Души должны переродиться. А для этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начинания для творчества новых форм жизни. Силой задерживать эту самодеятельность в обществе и в народе – это преступление, которое совершало наше недавнее павшее правительство. Но есть и другое, пожалуй, не меньшее – это силой навязывать новые формы жизни, удобства которых народ еще не сознал и с которыми не мог еще ознакомиться на творческом опыте. И вы в нем виноваты. Инстинкт вы заменили приказом и ждете, что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждет расплата.

Социальная справедливость – дело очень важное, и вы справедливо указываете, что без нее нет и полной свободы. Но и без свободы невозможно достигнуть справедливости. Корабль будущего приходится провести между Сциллой рабства и Харибдой несправедливости, никогда не теряя из виду обеих вместе. Сколько бы вы ни утверждали, что буржуазная свобода является только обманом, закрепощающим рабочий класс, в этом вам не удастся убедить европейских рабочих. Английские рабо-

чие, надеющиеся теперь провести ваши опыты (если бы, конечно, они оказались удачны) через парламент, не могут забыть, что буржуа Гладстон, действовавший под знаменем самодовлеющей свободы, чуть не всю жизнь боролся за расширение их избирательных прав. И всякое политическое преобразование в этом духе вело к возможности борьбы за социальную справедливость, а всякая политическая реакция давала обратные результаты. Политических революций было много, социальной не было еще ни одной. Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы.

Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь. <...>

\*\*\*

Я кончаю. Где же исход? В прошлом, 1919 году ко мне приезжал корреспондент вашего правительственного Телеграфного агентства, чтобы предложить мне несколько вопросов о том, что я думаю о происходящем. Я не люблю таких интервью. Помимо того, что я писатель и мог бы сам формулировать свои мысли, — эти интервью почти всегда бывают не точны. Но опять-таки — я писатель, т. е. человек, стремящийся к тому, чтобы его мысли стали известны. А вы убили свободную печать. И я согласился отвечать корреспонденту, выразив только сомнение, чтобы мои мысли нашли место в большевистской печати. Он ответил, что за это он не ручается, но агентство разошлет это интервью руководителям советской власти.

Интервью в печати не появилось. Не знаю, было ли оно прислано вам и нашли ли вы время, чтобы с ним ознакомиться...

Тот румынский анархист, о котором я говорил ранее, пришел к заключению, что народ, который до такой степени не умеет вести себя в публичных местах, еще очень далек от идеального строя. Я скажу иначе: народ, который еще не научился владеть аппаратом голосования, который не умеет формулировать преобладающее в нем мнение, который приступает к устройству социальной справедливости через индивидуальные грабежи (ваше: «грабь награбленное»), который начинает царство справедливости допущением массовых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ еще далек от того, чтобы стать во главе лучших стремлений человечества. Ему нужно еще учиться самому, а не учить других.

Вы победили добровольцев Деникина, победили Юденича, Колчака, поляков, вероятно, победите и Врангеля. Возможно, что вооруженное вмешательство Антанты тоже окончилось бы вашей победой: оно пробудило бы в народе дух патриотизма, который напрасно старались убить во имя интернационализма, забывая, что идея отечества до сих пор еще является наибольшим достижением на пути человечества к единству, которое, наверно, будет достигнуто только объединением отечеств.

<...> Россия стоит в раздумье между двумя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, выбирая, в какую утопию ей ринуться. Внешнее вмешательство только затемнило бы опыт, а генералы, вероятно, опять предводительствуют элементами, вздыхающими о прошлом и готовыми в пользу прошлого так же злоупотреблять властью, как и вы в пользу будущего. По мнению многих, положение России теперь таково, что остается надежда только на чудо. В разговоре с корреспондентом, о котором я говорил выше, я закончил призывом к вам, вожакам скороспелого коммунизма, отказаться от эксперимента и самим взять в руки здоровую реакцию, чтобы иметь возможность овладеть ею и обуздать реакцию нездоровую, свирепую и неразумную. Мне говорят, что это значило бы рассчитывать на чудо. Может быть, это и правда. Конечно, для этого понадобилось бы все напряжение честности и добросовестности для того, чтобы признать свою огромную ошибку. Подавить свое самолюбие и свернуть на иную дорогу – на дорогу, которую вы называете соглашательством.

Сознаю, что в таком предположении много наивности. Но я оптимист и художник, а этот путь представляется мне единственным, дающим России достойный выход из настоящего невозможного положения. К тому же давно сказано, что всякий народ заслуживает того правительства, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила... Вы являетесь только настоящим выражением ее прошлого, с рабской покорностью перед самодержавием даже в то время, когда, истощив все творческие силы в крестьянской реформе и еще нескольких, за ней последовавших, оно перешло к слепой реакции и много лет подавляло органический рост страны. В это время народ был на его стороне, а Россия была обречена на гниль и разложение. Нормально, чтобы в стране были представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, даже порой неразумные. Живая борьба препятствует гниению и претворяет даже неразумные

стремления в своего рода прививку: то, что неразумно и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для будущего.

Но под влиянием упорно ретроградного правительства у нас было не то. Общественная мысль прекращалась и насильно подгонялась под ранжир. В земледелии воцарился безнадежный застой, нарастающие слои промышленных рабочих оставались вне возможности борьбы за улучшение своего положения. Дружественная трудящемуся народу интеллигенция загонялась в подполье, в Сибирь, в эмиграцию и вела мечтательно-озлобленную жизнь вне открытых связей с родной действительностью. А это, в свою очередь, извращало интеллигентскую мысль, направляя ее на путь схематизма и максимализма.

Затем случайности истории внезапно разрушили эту перегородку между народом, жившим так долго без политической мысли, и интеллигенцией, жившей без народа, т. е. без связи с действительностью. И вот, когда перегородка внезапно рухнула, смесь чуждых так долго элементов вышла ядовитой. Произошел взрыв, но не тот плодотворный взрыв, который разрушает только то, что мешало нормальному развитию страны, а глубоко задевший живые ткани общественного организма. И вы явились естественными представителями русского народа с его привычкой к произволу, с его наивными ожиданиями «всего сразу», с отсутствием даже начатков разумной организации и творчества. Немудрено, что взрыв только разрушал, не созидая.

И вот истинное благотворное чудо состояло бы в том, чтобы вы наконец сознали свое одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к вашему коммунизму, — сознались бы и отказались от губительного пути насилия. Но это надо делать честно и полно. Может быть, у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно и что возможная мера социализма может войти только в свободную страну.

Правительства погибают от лжи... Может быть, есть еще время вернуться к правде, и я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания пойдет по пути возвращения к свободе. Если не для вас и не для вашего правительства, то это будет благотельно для страны и для роста в ней социалистического сознания.

Но... возможно ли это для вас? Не поздно ли, если бы вы даже захотели это сделать?

22 сентября 1920 года

#### КОММЕНТАРИИ К ПИСЬМАМ В.Г. КОРОЛЕНКО

<sup>1</sup> А.В. Луначарский приехал в Полтаву для встречи с В.Г. Короленко 7 июня 1920 г. На митинге в городском театре Короленко обратился к нему с просьбой спасти пятерых местных жителей, приговоренных к расстрелу. На следующее утро Короленко получил записку уже отбывшего из Полтавы Луначарского: «Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради Вас, – но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский» (Вопросы литературы. 1970. № 7. С. 37).

<sup>2</sup> В 1899 году Короленко спас от смертной казни невинно осужденного чеченца Юсупова (*Короленко В.Г. Собрание сочинений* в 10 т. М., 1955. Т. 9. С. 528–534).

<sup>3</sup> Там же. С. 534–549.

<sup>4</sup> В то время Х.Г. Раковский был председателем Совнаркома Украины, впоследствии – полпред СССР в Англии и Франции. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в марте 1938 г. Расстрелян 11 сентября 1941 г. в орловской тюрьме. Реабилитирован в 1988 г. Короленко познакомился с Раковским до революции, во время своих поездок в Румынию.

<sup>5</sup> Эксгумация жертв ЧК в Полтаве происходила 3 августа 1919 г.

<sup>6</sup> См.: *Ленин В.И. Полное собрание сочинений*. Т. 41. С. 124–128.

<sup>7</sup> Статья В.Г. Короленко «Бытовое явление (Заметки публициста о смертной казни)» впервые опубликована в журнале «Русское богатство» в марте–апреле 1910 г.

<sup>8</sup> На эту мысль Бакунина Короленко указывает также в «Истории моего современника» (М., 1965. С. 376) и в письме М.П. Сажину от 14 ноября 1920 г. (*Русская литература*. 1973. № 1. С. 108–109).

<sup>9</sup> Корреспонденции В.Г. Короленко, переработанные автором в очерки «В голодный год», печатались в 1892–1893 гг. в газете «Русские ведомости». Отдельной книгой выпущены в конце 1893 г.

*Составлены А.В. Храбровицким*

*В 1921 году единственным независимым печатным изданием в Советской республике, ставившим своей задачей «быть отголоском нового, великого бедствия, обрушившегося на русский народ», стала «Помощь» — газета Всесоюзного Комитета помощи голодающим, почетным председателем которого был В.Г. Короленко. Выходила она недолго. Читатели получили только два номера. Третий — уже набранный — был запрещен цензурой. Заведующий типографией М.И. Чуванов сумел сохранить верстку. Много лет спустя он переслал микрофильм Т.А. Осоргиной, вдове писателя и главного редактора «Помощи» — М.А. Осоргина. В 1991 году все три номера газеты были изданы в Лондоне.*

*Перед вами — статья Михаила Геллера, предваряющая лондонское издание.*

*Публикуется в сокращении.*

#### ГОЛОД

Летом 1921 г. на Россию обрушился голод, какого она никогда еще не знала в своей истории. В обращении к международному пролетариату, опубликованному «Правдой» 6 августа 1921 г., Ленин писал: «Несколько губерний России поражены голодом не менее страшным, чем голод 1891 г.» К этому времени официальная цифра голодающих составляла около 37 млн. человек. За две недели до призыва Ленина газета «Правда» (21 июля) обратилась ко всем членам и организациям коммунистической партии, констатируя: «Неурожай захватил Самарскую, Уральскую, Татарскую республику, Астраханскую, Царицынскую, Немкоммуну, Чувашскую область и часть Вятской, Пензенской и Оренбургской и других областей». Если вспомнить, что число голодающего населения в Поволжье в 1891 г. было определено в 964 627 человек, станет очевидным чудовищное преуменьшение Лениным размеров бедствия.

Ленин не случайно вспомнил в своем обращении к «международному пролетариату» голод 1891 г. Молодой, шел ему тогда 21-й год, помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов жил в Самаре, центре

голодающего Поволжья. Он был единственным из местной интеллигенции, который не только не участвовал в общественной помощи голодающим, но был категорически, принципиально против такой помощи. «В конце 1891 г., – вспоминал современник, – разговоры о борьбе с голодом привели к созданию в Самаре особого комитета для помощи голодающим. В комитет входила самая разнообразная публика – от чиновников, занимавших высокие посты в местной служебной иерархии, до лиц, явно неблагонадежных, даже прямо поднадзорных... На собраниях и сходках молодежи Ленин вел систематическую и решительную пропаганду против комитета...» Владимир Ильич, рассказывает друг Ленина по Самаре, «имел мужество открыто заявить, что последствия голода – народное рождение промышленного пролетариата, этого могильщика буржуазного строя, – явление прогрессивное, ибо содействует росту индустрии и двигает нас к нашей конечной цели, к социализму, через капитализм... Голод, разрушая крестьянское хозяйство, одновременно разбивает веру не только в царя, но и в Бога и со временем, несомненно, толкнет крестьянина на путь революции и облегчит победу революции». Свое отношение к комитету помощи голодающим, т. е. к тем, кто пытался помешать «прогрессивному явлению», будущий вождь Октября выражал, по свидетельству друга, чрезвычайно ясно и просто: с членами комитета есть только один способ разговора: «рукой за горло и коленкой в грудь». Мы увидим потом, что в этом случае Ленин своих убеждений на менял.

Голод 1891 г. вспомнился Ленину 30 лет спустя, когда он был главой государства. Владимир Ильич утверждал только одно: «Правительство – единственный виновник голода и “всероссийского разорения”». В 1921 г. нужно было искать другие причины: революция победила, и правительство, председателем которого был бывший помощник самарского присяжного поверенного, ни в коем случае не считало себя виновником бедствия.

Прежде всего – с этого начинают – вину возлагают на засуху. 12 июля «Правда» печатает обращение «Ко всем гражданам РСФСР», подписанное президиумом ВЦИК: «В обширных районах засуха этого года свела на нет урожай и травы»... Затем Ленин объявляет: «...голод явился чудовищным результатом гражданской войны...»

В перечне многочисленных причин страшного голода не было лишь одной: политики советской власти с первого же дня

ее рождения. Отсталость русского сельского хозяйства была фактом, однако же Россия до Первой мировой войны являлась одним из крупнейших в мире экспортеров зерна. Война – сначала с Германией, потом Гражданская – нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству. 1920-й, а в особенности 1921 год – были засушливыми. Однако важнейшей причиной катастрофы была политика партии, захватившей власть в октябре 1917 г., последовательно, упорно проводимая Лениным до марта 1921 г. В речи на 2-м Всероссийском съезде политпросветов (17.X.1921 г.) Ленин изложил основы этой политики: «Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, – и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение». Редко удавалось вождю революции так ясно и откровенно представить суть своих взглядов: мы решили; нам дадут; мы разверстаем; выйдет у нас. Что будет с ними, с теми, за кого мы все решаем, архитектора нового мира не интересовало. До тех пор, пока он не увидел реальную угрозу своей власти: крестьянскую войну, загремевшую кронштадтскими орудиями у ворот Петрограда.

Перебои с доставкой продовольствия в Петроград были важнейшим поводом, вызвавшим свержение царской власти – февральскую революцию. Перебои эти были связаны прежде всего с транспортными трудностями, носили, если можно так выразиться, технический характер. Голод, ставший неотъемлемым элементом жизни Советской республики после Октябрьского переворота, носил характер политический. Он был результатом политики партии большевиков: национализации хлебной торговли...

Летом 1918 г. у Ленина не было сомнений. Начинается – «борьба за хлеб». Телеграммы председателя Совнаркома, адресованные продовольственным комиссарам, красноречиво свидетельствуют о характере борьбы. 10 августа 1918 г. – в Саратовскую губернию: «...взять в каждой хлебной волости 25–30 заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков». 19 августа – в Орловскую губернию: беспощадно подавить кулацкое лево-эсеровское восстание «с конфискацией всего хлеба у кулаков». 1 октября – для всей страны: «...вдесятеро больше усилий на добычу хлеба... Запасы все очистить и для нас, и для немецких рабочих». Ежедневно, иногда по нескольку раз в день отправляет председатель Совнаркома депеши, требующие конфискации, реквизиции, «добычи» хлеба. Он действует, как за-



хватчик в оккупированной стране, используя в качестве вооруженной силы продотряды – «первый и величайший шаг социалистической революции в деревне».

О размахе крестьянских восстаний против политики Ленина, слившихся в крестьянскую войну, лучше всего свидетельствуют усилия советской власти, направленные на их подавление. В мае 1921 г. под командованием Тухачевского в Тамбовской губернии находилось 25 тысяч штыков, около 10 тысяч сабель, несколько сотен пулеметов, свыше 60 орудий... Иначе как войной нельзя назвать и вооруженные действия против сибирских крестьян зимой и весной 1921 г. В Поволжье крестьянским отрядам удалось временно захватывать города. Против них были брошены крупные воинские соединения.

Не менее серьезную угрозу, чем вооруженное сопротивление, представляло для советской власти пассивное сопротивление крестьян. Летом 1921 г. Л. Каменев признал, что в 1920 г. площадь посевов сократилась на 25%.

Засуха, страшные размеры которой становятся очевидными уже весной 1921 г., предвещает новый голод в условиях мирного времени, после окончания Гражданской войны. Перед советским правительством возникает проблема, которую – впервые – нельзя решить с помощью силы. Все, что было можно, – реквизировано. Отсутствие запасов превращает наступавший голод в смертный приговор для миллионов.

Невозможность силовыми методами решить проблему будет всегда ставить советскую систему перед неразрешимыми задачами. 1921 год был модельной ситуацией. Прежде всего советское правительство делает вид, что голода нет. После полного молчания в июне «Правда» 2 июля публикует на последней странице сообщение под заголовком «Виды на урожай хлебов и трав»: «В нынешнем году урожай хлебов будет ниже среднего за десятилетие (1905–1914)». Ниже среднего – следовало читать: не катастрофический. 22 июля «Правда» писала: «...Нулевой урожай в Поволжье компенсирует прекрасный урожай на Украине». Утверждение о «прекрасном урожае на Украине» было ложью. Голод начался в 1921 г., а к 1 мая 1922 г. на Украине голодало 4 034 732 человека, т. е. почти 50% населения пяти губерний: Запорожской, Екатеринославской, Николаевской, Одесской и Донецкой. К тому же, как полагали в то время наблюдатели, официальные цифры были занижены, в действительности голодало примерно семь миллионов.

Отрицать очевидное становилось невозможным. В начале 30-х годов организованный советской властью голод, необходимый, по мысли Сталина, элемент коллективизации, был скрыт от мира. В начале 20-х годов это было слишком опасно: крестьянство поднялось против партии большевиков, и для борьбы с ним одного оружия оказалось недостаточно. В том самом номере «Правды», в котором говорилось о «прекрасном урожае на Украине», были опубликованы сообщение о состоявшемся 21 июля в Москве «предварительном заседании Всероссийского общественного Комитета помощи голодающим» и декрет ВЦИК о создании Комитета. Так начался удивительный, единственный в советской истории эпизод сотрудничества коммунистической власти и общественности.

### СОТРУДНИЧЕСТВО

Идея участия общественности в помощи голодающим рождается в Москве в июне 1921 г. 18 июня на VII Всероссийском съезде по сельскохозяйственному опытному делу рассматривался вопрос о засухе. Кооператор М.И. Куховаренко и агроном профессор Рыбников, приехавшие из Саратова, рассказали об огромных размерах бедствия, преуменьшаемого советской печатью. На совместном заседании съезда и общества М.И. Куховаренко прочитал доклад «Неурожай Юго-Востока и необходимость государственной и общественной помощи», а известный экономист, бывший министр продовольствия Временного правительства профессор Прокопович говорил «о засухе и борьбе с голодом». Собравшиеся решили образовать при Московском обществе сельского хозяйства общественный комитет по борьбе с голодом. Была выбрана делегация для посылки в Кремль, к председателю Совнаркома. Русские общественники – агрономы, кооператоры, экономисты – действовали по знакомому дореволюционному образцу, так, как многие из них действовали в 1891 г. во время голода. Они предложили правительству общественную помощь, совместные действия для борьбы с катастрофой.

На следующий день стало известно, что Ленин делегацию принять отказался. Не принял ее и нарком земледелия Теодорович.

По ходатайству Горького председатель Московского совета, член Политбюро Л.Б. Каменев приглашает делегацию в Кремль. В ее составе: Е. Кускова, агроном А.П. Левицкий, председатель правления с/х кооперативов профессор П.А. Садырин, врач профессор Л.А. Тарасевич. В Политбюро шли споры относи-

тельно необходимости сотрудничать с общественностью. 12 июля против Комитета помощи голодающим выступает нарком здравоохранения Семашко. Ленин отвечает ему запиской, в которой излагает свою точку зрения и тактику: «Директива сегодня в Политбюро: строго обезвредить Кускову. Вы в «ячейке коммунистов» не зевайте, блюдите строго. От Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей (и этаким) сочувствует. Больше ни-че-го!»

Решение использовать имя и подпись Кусковой для получения «пары вагонов» продовольствия означало признание Лениным катастрофического положения в стране, грозившего власти.

Помочь могли только капиталистические страны, прежде всего США, ибо истощенная войной Западная Европа была едва ли в состоянии прокормить себя. В первой половине 1921 г. отказ капиталистических стран помогать государству, которое открыто ставило своей целью мировую революцию и ликвидацию капиталистического мира, казался Ленину поведением как нельзя более естественным. Кускова объясняла Каменеву: «Помочь может только заграница. Помощь не притечет: будут думать, что помогают вам, Красной Армии, но не голодающим». Запад имел все основания думать, что помощь будет оказываться очень выборочно, с учетом критериев, не имевших к голоду отношения. Вскоре после Октябрьского переворота в городах вводится классовый паек, категоричность питания для различных групп трудящихся и для нетрудового населения. Большевики присвоили себе право решать: кого нужно кормить, кого следует оставить умирать с голоду. Было формально объявлено об отказе признавать право людей на равенство перед лицом голода, голодной смерти. Это не могло не вызывать сомнений относительно использования помощи, которая могла прийти только с Запада. «Нужна какая-то гарантия, – заявила Е. Кускова Каменеву. – Вот мы и предлагаем дать возможность старым общественникам эту гарантию дать».

«Старые общественники», о которых говорит Екатерина Кускова, – это виднейшие представители русской науки, культуры, литературы, известные на Западе, активно участвовавшие в организации помощи голодающим в 1891 г. Только они могли гарантировать распределение помощи голодающим в соответствии с категориями гуманности, отвергнутыми Октябрем. Они готовы были дать эти гарантии, хотя многие сомневались в возможностях сотрудничества, «соглашательства» с советской властью. Поэтому они

требовали гарантий со стороны правительства, требовали «конституции», т. е. официального утверждения статуса Комитета помощи голодающим. 21 июля председатель ВЦИК М. Калинин подписал «Декрет Всероссийского Центрального Комитета о Всероссийском Комитете помощи голодающим» и «Положение о Всероссийском Комитете помощи голодающим».

ВЦИК постановил «учредить Всероссийский Комитет помощи голодающим в целях борьбы с голодом и другими последствиями неурожая». Комитету был присвоен знак Красного Креста. Ему были предоставлены права: приобретать в России и за границей продовольствие, фураж, медикаменты и другие предметы, необходимые для голодающего населения; распределять материальный фонд Комитета среди нуждающегося населения, пострадавшего от неурожая; пользоваться внеочередностью перевозок своих грузов, а также использовать свои перевозочные средства; устраивать все необходимое для общественного питания; оказывать медицинскую помощь; устраивать общественные работы для голодающих; собирать пожертвования и вообще принимать другие меры, необходимые для достижения поставленных Комитету целей. Комитет получил право организации местных комитетов и отделений... Все учреждения республики, как в центре, так и на местах, обязаны оказывать полное содействие Комитету. И автономия Комитета закреплялась освобождением «от ревизии Рабоче-Крестьянской инспекции», которой принадлежали все организации и учреждения Советской республики. Комитет настаивал на издании газеты. Разрешение было дано, с тем, однако, что «Помощь» должна была именоваться «бюллетенем».

ВЦИК утвердил первоначальный состав Комитета, предоставив ему право дальнейшего избрания новых членов.

Никогда в истории Советского государства, ни до июля 1921 г., ни после августа того же года, ни одна общественная организация не получала таких прав. Быть может, потому, что никогда положение советской власти не было таким шатким. В памяти руководителей большевистской партии были живы сравнительно недавние события февраля 1917 г., когда задержка с доставкой хлеба в Петроград стала толчком, свалившим царское правительство.

#### КОМИТЕТ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ

ВЦИК утвердил первоначальный состав Комитета из 63 человек. Знакомство со списком, опубликованным не только в

«Помощи», но также в «Известиях» и «Правде», позволяет прежде всего установить, что утверждение советских историков, будто «Комитет был создан группой буржуазных деятелей кадетской партии», что «во главе Комитета стояли Е.Д. Кускова, Н.М. Кишкин, С.Н. Прокопович...», противоречит фактам. Председателем был назначен Л.Б. Каменев, его заместителем – зампред Совета труда и обороны А.И. Рыков. В состав Комитета была включена, как выразился Ленин, «ячейка коммунистов», насчитывающая, вместе с Каменевым и Рыковым, 12 человек. В нее входили представители важнейших народных комиссариатов: иностранных дел (М. Литвинов), внешней торговли (Л. Красин), здравоохранения (Н. Семашко), земледелия, продовольствия, социального обеспечения, путей сообщения, просвещения (А. Луначарский), профсоюзы представлял А. Шляпников. Советское правительство сделало все, чтобы подчеркнуть свое серьезное намерение сотрудничать с общественностью.

Из 73 членов 12 представляли власть, 61 – русскую общественность. Наиболее широко – 20 человек – были представлены специалисты сельского хозяйства: агрономы, экономисты, статистики. Широкой известностью пользовались среди них профессора С.Н. Прокопович и Н.Д. Кондратьев, экономист А.В. Чаянов, председатель правления с/х кооперативов П.А. Садырин, ректор зоотехнического института М.М. Щепкин, председатель Московского общества сельского хозяйства А.И. Угримов.

Всем своим авторитетом поддержала Комитет помощи голодающим Академия наук. В его состав вошли президент академии А.П. Карпинский, вице-президент В.А. Стеклов, председатель Комиссии по изучению производительных сил России П.П. Лазарев, академики В.Н. Ипатьев, А.И. Ферсман, Н.И. Курнаков, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург. Русскую культуру представляли А.М. Горький, А.И. Южин-Сумбатов, К.С. Станиславский, Б.К. Зайцев, М.А. Осоргин, П.П. Муратов, А.К. Дживелегов и другие. Кроме того, в Комитет вошли известные врачи; толстовцы, имевшие опыт помощи голодающим, – П.И. Бирюков, В.Ф. Булгаков, А.Л. Толстая; представители сектантов – менонитов, баптистов, адвентистов, – имевших широкие международные связи; старая революционерка Вера Фигнер. Пост почетного председателя Всероссийского Комитета помощи голодающим принял В.Г. Короленко, единственный человек в России, моральный авторитет которого признавали все.

«Медовый месяц» сотрудничества советской власти и русской общественности длился менее шести недель: постановление об учреждении Всероссийского Комитета помощи голодающим было подписано председателем ВЦИК Калининым 21 июля 1921 г., постановление о ликвидации ВКПГ было подписано заместителем председателя ВЦИК П. Залуцким 27 августа того же года.

23 июля 1921 г. Герберт Гувер, в тот момент министр торговли США и одновременно глава крупнейшей в мире частной филантропической организации АРА, откликнулся на призыв Горького и предложил помощь. Он поставил условия: освобождение всех американцев, арестованных ВЧК; гарантия, что работники АРА будут пользоваться полной свободой передвижения в Советской республике, смогут свободно выбирать русских сотрудников для распределения продовольствия, и полный иммунитет от советских властей.

21 августа М. Литвинов подписал в Риге соглашение между советским правительством и американской организацией помощи. Американцы заявили о немедленной высылке первых вагонов продовольствия. Гувер обещал, что ежемесячно будет расходоваться 1,2–1,5 млн. долларов на продовольственные поставки в Россию. 27 августа от имени международной организации помощи соглашение о помощи голодающим подписал Фритьюф Хансен. Однако знаменитый полярный путешественник еще до подписания соглашения совершил серьезную «политическую» ошибку: назначил в число сотрудников своей организации члена ВКПГ.

М. Горький говорил Кусковой о различном отношении к Комитету в «Кремле» и на «Лубянке». Он не говорил (или не понимал?), что главным врагом Комитета, руководителем «Лубянки» в «Кремле» был Ленин. 26 августа он пишет письмо «Сталину и всем членам Политбюро ЦК РКП(б)», в котором детально излагает инструкцию по ликвидации ВКПГ. «Предлагаю, – пишет Ленин, – выразив возмущение «наглейшим поведением Хансена» и поведением «Кукишей»\*, – сегодня же, в пятницу 26.08 постановлением ВЦИКа распустить «Кукиш»... Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в противоправительственной речи и продержать месяца три... Остальных членов «Кукиша» тотчас же,

---

\* «Кукиши» – члены Всероссийского Комитета помощи голодающим (по фамилиям Е.Д. Кусковой и Н.М. Кишкина).

сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах, по возможности без железных дорог, под надзор». Вождь партии и глава правительства в одном лице сочетает следователя, прокурора, судью и надзирателя. В одной фразе формулирует он обвинение, приговор и меру наказания. Ленин торопится: трижды повторяет он «сегодня же».

Наказание тех, кого председатель Совнаркома счел виновными, – это первая часть письма. Вторая – посвящена технике обработки общественного мнения: «Напечатаем завтра же пять строк короткого, сухого «правительственного сообщения»: распущен (ВКПГ. – *М.Г.*) за нежелание работать. Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать «Кукишей». Баричи, белогвардейцы, хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места... Изю всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев». Ленин резюмирует: «Больной зуб будет удален сразу и с большой пользой во всех отношениях... Иностранцы начнут приезжать, надо «очистить Москву от “Кукишей”...»

Письмо Ленина стало руководством к – почти – немедленному действию. Не «в тот же день», как он настаивал, а на следующий, в субботу 27 августа, члены Всероссийского Комитета помощи голодающим собрались на очередное заседание. Председатель Л.Б. Каменев – задерживался. Вместо него явился отряд чекистов, окруживших дом. Весь состав Комитета (отсутствовал М. Горький, видимо предупрежденный) был арестован. Исключение сделали для Веры Фигнер (ей было тогда 69 лет) и председателя сельскохозяйственной кооперации П.А. Садырина.

Главный редактор «Помощи» Михаил Осоргин – вместе с Е. Кусковой подлинный историк Комитета, неоднократно писавший позднее о его деятельности и судьбе его членов, – очень хорошо понимал смысл и причины ликвидации ВКПГ. После ареста, в ожидании отправки в тюрьму, Кускова спросила: «Как думаете, Михаил Андреевич, расстреляют нас?» – «Думаю, Екатерина Дмитриевна, что да». – «И я тоже думаю». – «Они логически мыслящие люди, – продолжал М. Осоргин, – ясно понимали затруднительное положение правительства. Обвинять нас, конечно, не в чем: единственное, в чем виноваты, – хотели сделать то, чего правители сами сделать не могут, – помочь голодающим». Во «Временах» М. Осоргин с присущей ему лаконичностью сказал о деятельности Комитета: «Нескольких дней ока-

залось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей – из центра и Сибири, как в кассу общественного Комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать Комитету официально. Огромная работа была проведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный Комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряжения, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны... Октябрьская власть должна была убить Комитет прежде, чем он разовьет работу. В Приволжье погибло пять миллионов человек, но политическое положение было спасено».

ВКПГ становился – хотел он этого или нет – центром восстановления разгромленного революцией русского общества. Именно этого больше всего опасался Ленин. Преступлениями Комитета были его существование, глубокий кризис, вынудивший советскую власть дать согласие на это существование, политика Комитета, стремившегося объединить всех, кто мог помочь спасти от голодной смерти миллионы людей. Преступлением было и непонимание того, что спасение от голодной смерти силами общественности, в то время как государство не могло ничего сделать, было актом политическим. Преступлением, наконец, было обращение к Православной Церкви за помощью. Комитет решил обратиться к Церкви, прежде всего к Патриарху Тихону, «проживавшему в кельях Троицкого монастыря под строжайшим чекистским надзором», по двум главным причинам: священники были крепче всех связаны с крестьянством; Русская Церковь и, прежде всего, Патриарх Тихон могли побудить за границу принести помощь голодающим. Узнав о посещении двумя членами ВКПГ – Н. Кишкиным и С. Прокоповичем – Патриарха Тихона, благословившего деятельность Комитета и обещавшего помощь, Каменев выразил неудовольствие: «Для чего Комитет берет на себя эту организацию сил контрреволюции?» Тем не менее правительство согласилось разрешить публикацию в «Помощи» воззвания Патриарха и даже передать его по радио.

Всероссийский Комитет помощи голодающим был ликвидирован, многие члены его арестованы и заключены во внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянке. «Тюрьма была страшная, – вспоминает М. Осоргин – достоверный свидетель: он уже побывал на Лубянке в 1919 г., знал и царскую тюрьму. – Без всякой возмож-



ности общения между камерами и с внешним миром; в царских тюрьмах эта возможность была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа; вобла гнилая и червивая...» Е. Кускова пишет, что «Чека приговорила к смертной казни» трех членов Комитета: ее, Н.М. Кишкина, С.Н. Прокоповича. М. Осоргин говорит о шести приговоренных к расстрелу, добавляя двух видных кооператоров – Д.С. Коробова, И.А. Черкасова – и себя, редактора бюллетеня «Помощь». Вмешательство Фригьофа Нансена спасло членов Комитета от расстрела. Арестованных стали освобождать. «Зачинщики»: Е. Кускова, Н. Кишкин, С. Прокопович, М. Осоргин, Д. Коробов и А. Черкасов – после нескольких месяцев заключения были высланы «во внутренние губернии». Советская власть – по личному указанию Ленина – впервые использовала эту старую, испытанную форму репрессии для устранения неугодных ей лиц. «Тогда это делалось так, – вспоминал М. Осоргин, – ночью вывезли нас на грузовике из тюрьмы Особого отдела, втокнули в вагон с разбитыми окнами и трое суток везли по морозу до первого этапа (моим была Казань). Зима была свирепая, а вагоны не отапливались. Кроме того, был сыпняк и некуда было укрыться от насекомых».

«Преступления» ВКПГ не были забыты. Арест и ссылка были только началом репрессий по отношению к членам Комитета. Его деятельность была воспринята Лениным как еще одно свидетельство враждебности «старой интеллигенции» к его революции, как свидетельство смертельной опасности, которую она представляет для советской власти.

## РУКА ПОМОЩИ

Гибель ВКПГ была очередным поражением русской общественности: большевики использовали ее искреннее желание помочь голодающим в целях спасения своей власти. Существование – всего лишь пятидневное – Комитета было одновременно победой общественности. Ее призыв был услышан миром. Запад пришел на помощь голодающей Советской республике. Большая советская энциклопедия (3-е издание), не стесняясь, «информирует»: «Катастрофическая засуха 1921 г. благодаря эффективным мерам Советского государства не повлекла обычных тяжелых последствий». Советский историк И. Трифонов идет еще дальше: «Наиболее мощной из всех заграничных организаций, в связи с голодом работавших в России, была АРА.

Ее руководители преследовали определенные экономические и политические цели. Они были врагами Советской власти. Но Советское правительство сумело использовать в интересах трудящихся даже такую организацию, как АРА. К сентябрю 1922 г. АРА доставила в Советскую республику около 30 млн. пудов продовольствия, одежды, медикаментов. В мае 1922 г. советские и заграничные организации обеспечили питанием 11 млн. человек, или  $\frac{3}{4}$  всех голодающих».

Бисмарку принадлежит хлесткая фраза: «Австрия удивит мир своей неблагодарностью». «Железному канцлеру», видимо, не приходило в голову, что может быть неблагодарность значительно циничнее австрийской.

Сравнительно точное представление о размерах помощи можно обнаружить в публикациях 1921–1922 гг. В публикации, подводившей некоторые итоги голодного года, приводились следующие цифры: на АРА падало 83% всего ввозимого продовольствия; вторым шел Нансен, ввезенное им количество грузов составляет 13,7%; остальные 3% падают на Межрабпомгол и прочие организации. АРА кормила 9550 тыс. человек. Всю помощь АРА координировали примерно 200 американцев, приехавших в Советскую республику, а всю работу выполняли около 100 тыс. русских общественников. На местах в голодных районах создавались комитеты, в которые включались школьный учитель, доктор или фельдшер, священник, представитель от местного голодного комитета (он был в каждой деревне), представитель кооператива, агроном, представитель местной власти.

26 июня 1922 г., во время конференции в Гааге, замнаркома иностранных дел Литвинов заявил представителям иностранной печати: «Со времени Генуи (апрель–май 1922 г.) в России произошли крупные изменения, угрожавший тогда голод избегнут. Урожай обещает быть великолепным и позволит даже вывоз хлеба за границу». Вывоз хлеба начался, когда голод еще свирепствовал вовсю, когда АРА еще продолжала присылать продовольствие для голодающих.

#### ВМЕСТО СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Непосредственная связь ликвидации Комитета помощи голодающим и первого применения в советской России неизвестного в царское время наказания – высылки за границу – была очевидна в то время для всех. Между разгоном ВКПГ и высылкой за границу «людей мысли», как тогда говорили, прошел год.

Целый ряд причин вызвал эту задержку. Прежде всего, после ареста членов Комитета шла подготовка к расстрелу инициаторов его создания. Давление заграницы вынудило Ленина отказаться от радикальных мер, ограничившись только высылкой в «места отдаленные». Затем необходимо было изобрести «высылку».

19 мая 1922 г. Ленин пишет письмо Дзержинскому, в котором, по своему обыкновению, детально излагает полицейскую инструкцию по подготовке «высылки за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции». В мае Ленин редактирует Уголовный кодекс и указывает, в частности, в письме наркому юстиции: «...т. Курский! По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)». Идея Ленина получает свое юридическое оформление в декрете об административной высылке (принят 10 августа 1922 г.), разрешающем без суда применять высылку за границу или в определенные местности РСФСР на срок не свыше трех лет.

Переход к новой экономической политике показался русской интеллигенции началом новой эры. Разгон ВКПГ и арест его членов не смогли охладить надежд на возможность демократизации режима. На II Всероссийском съезде врачей (май 1922 г.) критиковалась «советская медицина» и восхвалялась медицина земская, выдвигались требования создания самостоятельного профсоюза и выпуска своего печатного органа. На III агрономическом съезде (март 1922 г.) крупнейшие русские экономисты сельского хозяйства – Б. Бруцкус, Н. Кондратьев, А. Чаянов – выступали против вмешательства государства в сельское хозяйство, за развитие частной инициативы. 10 марта 1922 г. в Доме Союзов был организован публичный диспут между «марксистами-аграрниками» и их критиками. «Правда» на другой день писала, что множество желающих попасть в зал и не доставших билеты «рвались до позднего вечера, осаждая все входы и выходы Дома Союзов». Все хотели послушать Б. Бруцкуса и А. Чаянова. Голод еще свирепствовал на русской земле, и все хотели услышать объяснение его причин. Для профессора Бруцкуса сомнений не было: в голоде виноваты политика советской власти и разверстка. «Мы не можем признать, – говорил он, – принципа национализации земли совместимым с требованием нормального развития народного хозяйства». Аграрник-марксист С. Дубровский отвечал в поэтической форме: «Бруцкус оттачивал стре-

лы частной собственности, чтобы их направить в сердце земельной политики Советской власти – в национализацию земли».

Этого рода научные дебаты представляются Ленину опасными и бессмысленными. Он, знаток Маркса, считает необходимым вместо оружия критики использовать критику оружием. На тексте записки наркомздрава Семашко о «важных и опасных течениях в медицинской среде», проявившихся на съезде врачей, Ленин пишет указание «т. Сталину» поручить «Дзержинскому (ГПУ) при помощи Семашко выработать план мер и доложить в Политбюро (в 2 недели срок)». Записка Сталину следует сразу же после письма Дзержинскому о подготовке высылки «профессоров и писателей».

В июне 1922 г. в Москве проходит процесс социалистов-революционеров. Это был первый большой «показательный» процесс-спектакль, которому была придана международная огласка. М. Горький, выехавший под давлением Ленина за границу, рассматривал процесс эсеров как удар по интеллигенции. Сначала он пишет Анатолию Франсу, называя «суд над социалистами-революционерами... публичным приготовлением к убийству людей, искренне служивших делу освобождения народа», и просит ходатайствовать о «сохранении ценных жизней социалистов». Затем буреветник революции обращается к Рыкову, подчеркнуто минуя председателя Совнаркома: «Алексей Иванович! Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством, – это будет убийство. Я прошу Вас, сообщите Л.Д. Троцкому и другим [нетрудно понять, кто имелся в виду под «другими». – *М.Г.*], что это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо Вам известно, что за все время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступление истребления интеллигенции в нашей безграмотной, некультурной стране».

В дни, когда начался процесс эсеров, в защиту которых Горький выступил сам и мобилизовал западную общественность, был утвержден приговор о расстреле 5 из 11 обвиняемых по делу «о сокрытии церковных ценностей». Этот приговор должен был, по выражению советского публициста, «не только отрезать горячие контрреволюционные поповские головы, но и преподать уроки элементарной политической азбуки Новому Высшему Церковному Управлению». В августе, полагая, видимо, что московский урок «элементарной политической азбуки» был недостаточен, президиум ВЦИК утвердил еще 4 смертных пригово-

вора (из 10) по делу петроградского духовенства и верующих. В числе расстрелянных был митрополит Вениамин.

К смертной казни были приговорены 12 обвиняемых по делу эсеров, но исполнение приговора суд решил приостановить. Тем самым было выполнено пожелание Ленина, настаивавшего на расстреле и негодовавшего на Бухарина и Радека, обещавших за поддержку советской власти социалистическим Интернационалом пощадить обвиняемых. Но суд прислушался и к пожеланиям Горького и мирового общественного мнения. Приговор был приведен в исполнение несколько лет спустя.

Духовенству и эсерам были предъявлены конкретные обвинения: отказ сдать церковные ценности в фонд помощи голодающим, антисоветские террористические акты. Хотя церковь соглашалась сдать ценности, хотя антисоветская деятельность социалистов-революционеров относилась к годам Гражданской войны и была амнистирована либо ранее наказана – обвинения было легко использовать в пропагандных целях. Труднее было подыскать «преступления» для профессоров и писателей: Комитет помощи голодающим представили как белогвардейский центр, связанный одновременно с Антоновым, Милюковым и Клемансо; надо было изобразить контрреволюционными заговорщиками авторов философских книг, ученых-экономистов, врачей только за то, что они высказывали неразрешенные идеи.

Высылка за границу была решением радикальным и одновременно, по сравнению со смертными приговорами, выносимыми на публичных процессах, мерой «гуманной». Наказание имело и то преимущество, что могло быть массовым: единовременный расстрел ста или двухсот виднейших представителей русской культуры и науки представлялся в начале 20-х гг. предприятием рискованным, могущим вызвать неблагоприятное впечатление за границей.

В середине 1921 г. происходит событие, которое открыло коммунистической партии новые возможности в борьбе на идеологическом фронте. В Праге выходит сборник «Смена вех», оформляющий «сменовеховство», движение, начавшееся в Советском Союзе и активно поддержанное партией.

Сменовеховство дает идеологию той части русской интеллигенции, которая боролась с советской властью, потерпела поражение и решила сдаться на милость победителей. Этой идеологией был «патриотизм»: признание Октябрьской революции – русской революцией, советской власти – русской властью. Как

сформулировал Троцкий: сменовеховцы «подошли к советской власти через ворота патриотизма».

Для партии «ворота» значения не имели, важно было место прибытия. Не имело значения и то, что идеологами сменовеховства были представители крайне правых дореволюционных партий: октябристов, правых кадетов, даже монархистов. Большевики всегда подозрительно относились к «левым».

Огромное значение имело прежде всего то, что «сменовеховство» позволило расколоть интеллигенцию и дать модель «полезной советской интеллигенции». «Полезная интеллигенция», сдавшаяся на милость победителей, отказывалась от всех претензий на участие в руководстве страной, наукой или культурой, отказывалась от критики. Она просила лишь одного – дать ей возможность работать под руководством коммунистической партии, выполнять задания партии.

### ХЛЫСТ ДИКТАТУРЫ

В мае 1922 г., незадолго до первого приступа болезни, Ленин пишет письмо Дзержинскому, поручая начать подготовку к высылке «профессоров и писателей». Письмо это – секретное. Но 2 июня «Правда» публикует статью под заголовком «Диктатура, где твой хлыст?», в которой излагает план Ленина и определяет круг жертв. Статья, подписанная одной лишь буквой «О», выделяется своим беспримерно грубым языком.

Публикация появилась в дни процесса эсеров, процессов духовенства. Статья в «Правде» намечала круг новых жертв, называла новую форму репрессий.

В числе первых были высланы – в июне – Е. Кускова и С. Прокопович. Основная группа изгоняемых была «подготовлена» к августу.

31 августа «Правда» публикует сообщение о мерах по «очистке» Советской республики под заголовком «Первое предостережение»:

«По постановлению Государственного Политического Управления наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов высланы в северные губернии, часть – за границу». В сообщении выражается уверенность, что «принятые советской властью меры предосторожности будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены со стороны русских рабочих и крестьян, которые с нетерпением ждут, когда, наконец, эти идеологические вранге-

левцы и колчаковцы будут выброшены с территории РСФСР», формула эта представляет собой исторический интерес как первый вариант обязательного многие годы клише: «идя навстречу пожеланиям трудящихся...»

30 августа Троцкий в интервью американской журналистке Луизе Брайант (подруге Джона Рида), корреспондентке «Интернейшенл Ньюс Сервис», объяснял причины высылки: «Те элементы, которые мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений, а они, несмотря на все наше миролюбие, не исключены, – все эти наши непримиримые и неисправные элементы окажутся военно-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем расстрелять их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас в спокойный период выслать их заблаговременно. И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением».

Пришли на помощь «сменовеховцы». Виднейший идеолог «сменовеховства» Николай Устрялов, который на протяжении всей первой половины 20-х гг. будет вести подлинный диалог с вождями партии – Лениным, Троцким, Зиновьевым, Сталиным (это был первый опыт использования лояльной оппозиции в советских целях), отмечая, что «самый факт репрессии», сама высылка могут произвести неблагоприятное впечатление, приводит три соображения, помогающие преодолевать пессимистические порывы, рождающиеся в «чересчур впечатлительных людях в связи с новой мерой советской власти». Первое соображение повторяет мысль Троцкого: «мера пресечения» – относительно гуманная; если так пойдет дальше, если режим будет и дальше смягчаться такими же темпами – жаловаться грех. Второе соображение можно назвать физиологическим. В России, рассуждает Устрялов, происходит чисто животный процесс восстановления органических государственных тканей. «Мозг страны» не должен мешать этому процессу, необходимо, чтобы он (на короткое время, полагает публицист) «воздержался от выполнения своей прямой функции – мысли». Наконец, третье соображение – историческое: разве мы, русские интеллигенты, люди мысли, не ждали революции, не способствовали ей, не тосковали о «новых гуннах», не звали их растоптать старый мир? Так нечего жаловаться, когда и впрямь появился «скиф» с исконны-

ми чертами варвара. Атилла, напоминает Устрялов, «не знал хорошего тона. И покуда он был нужен истории, молчало римское право».

Н. Устрялов убежден, что большевики, Октябрьская революция нужны истории, нужны России.

Все большевистские вожди были за высылку – очищение страны от вредных «профессоров и писателей». Но опубликованные документы, даже без использования остающихся секретными, не оставляют сомнения: инициатором новой формы репрессии – «гуманной» меры – был Ленин. Для Ленина демократия и контрреволюция – после прихода к власти – стали взаимозаменяемыми синонимами. Ленину принадлежит и первый проскрипционный список: обозначение круга лиц и профессий, подлежащих изгнанию, а также ряд имен.

Профессиональный состав высланных красноречив. Были высланы ректор МГУ профессор Новиков (зоолог), ректор Петроградского университета профессор Карсавин (философ), значительная группа математиков во главе с деканом математического факультета МГУ профессором Стратоновым; тяжелый урон понесли сельскохозяйственные науки – агрономия, экономика (в числе высланных профессоров Бруцкус, Зворыкин, Лодыженский, Прокопович, агрономы Угримов, Велихов и др.). В эту же группу следует отнести кооператоров (А. Изюмова, В. Кудрявцева, А. Булатова) – с их высылкой был ликвидирован кооператив «Задруга». Тяжкий удар был нанесен историкам – были высланы А. Кизиветтер, А. Флоровский, В. Мякотин, А. Боголепов. Выслали социолога Питирима Сорокина, которого «почтил» специальной злой статьей Ленин.

В сообщении ГПУ подчеркивалось: «среди высылаемых почти нет крупных научных имен». ГПУ успокаивало: почти нет... Но вынуждено было признать, что все же кое-какие «крупные научные» – были. Список высланных «гуманитариев» представляет собой перечень крупнейших русских философов XX в.: Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский, С. Булгаков, Ф. Степун, Б. Вышеславцев, И. Лапшин, И. Ильин, Л. Карсавин, А. Изгоев, С. Трубецкой. Этот список был почти полностью составлен лично Лениным.

Не был, конечно, забыт Всероссийский Комитет помощи голодающим – он убедительно продемонстрировал возможности общественной деятельности и показался грозным конкурентом партии. Видимо, потому среди высланных – многие авторы статей, информации, появившихся на страницах «Помощи».



Операция «высылка за границу» была проведена по всей стране: в Москве, Петрограде, Киеве, Ялте, Одессе, Казани, Нижнем Новгороде и других городах были произведены аресты включенных в список, все они были сопровождены в тюрьмы, где, просидев – в зависимости от порядков, царивших в данной тюрьме, – от нескольких дней до двух месяцев, должны были подписать бумагу, в которой говорилось, что в случае возвращения в РСФСР выслаемый будет подвергнут расстрелу. Как справедливо замечает юрист по образованию М. Осоргин, «по закону» это не полагалось, закон предусматривает высылку на три года, но устно было разъяснено, что высылка – навсегда. Выслаемым разрешалось взять с собой: одно зимнее и летнее пальто, один костюм и по две штуки всякого белья, две дневные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Золотые вещи, драгоценные камни, нательные кресты были к вывозу запрещены. Кроме вещей разрешалось взять по 20 долларов валюты. Осенью 1922 г. два немецких парохода – «Обербюргеймстер Хакен» и «Прейссен» – привезли в Германию, <по выражению М. Осоргина>, «единственный товар, который нынешнее русское правительство поставляет Европе обильно и бесплатно: хранителей культурных заветов России».

#### ОТСУТСТВУЮЩИЙ ФАКТОР

Трудно (если вообще возможно) оценить влияние на жизнь страны и народа отсутствующего фактора – группы «профессоров и писателей», «людей мысли», людей, независимо мыслящих. Изгнание «людей мысли» из Советской республики было результатом кризиса 1921 г., когда Ленин, оказавшись перед лицом катастрофы, неразрешимой собственными средствами, вынужден был заключить «похабный» договор с общественностью и согласиться на создание ВКПГ, уступив тем самым частицу своей власти, нарушив тем самым священный принцип ленинской политики – нераздельность власти.

Существование Всероссийского Комитета помощи голодающим, плодотворность его – прерванной в самом начале – деятельности показали Ленину, что «красный террор» эпохи «военного коммунизма» еще не уничтожил общества, человеческих связей, не ликвидировал памяти о прошлом. «Сменеховство» – идеология капитуляции, признание за победителями права на выражение «русской идеи» – облегчило Ленину нанесение тяжелейшего удара по обществу, по русской интел-

лигенции. Прежде всего по тем, кто оставался в стране, надеясь найти *modus vivendi*\* с победителем на основе взаимного уважения и – сотрудничества. На новом – советском – языке высылка за границу означала ультиматум интеллигенции: сдача на милость победителям или гибель.

Интеллигенция приняла ультиматум: сдалась. Направляясь перед отъездом за границу на последнее заседание Всероссийского союза писателей, одним из организаторов и руководителей которого он был, Михаил Осоргин подготовил краткую речь в ответ на «прощальное приветствие, которое естественно ожидал». Приветствия не было. «И внезапно я догадываюсь, – вспоминает писатель, – что Союз уже достаточно напуган, что он уже не тот и будущее его предопределено».

Будущее предопределено на долгие десятилетия. В процессе ликвидации русского общества, в процессе порабощения мысли период с августа 1921-го по август 1922 г. играет важнейшую роль.

1991

---

\* Способ существования (*лат.*).

# 2

**ПО ОБЕ СТОРОНЫ  
КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ**



Булгаков дописывал роман в атмосфере «большого террора», охватившей страну в 1936–1938 гг., когда и количество ежедневно арестуемых людей, и гадание о причинах ареста того или иного близкого или знакомого превысило возможности человеческого воображения. Не обратить на это внимание писателю его масштаба было невозможно. Но эта атмосфера была и необычайно трудна для воплощения — тем более если автор хотя бы в какой-то степени имел расчет на печатание своего сочинения. И Булгаков выбирает гротескно-ироническую форму для своего отклика на явление времени, пройти мимо которого казалось ему, видимо, невозможно: изображает таинственные исчезновения одного за другим жильцов в квартире № 50, принадлежащей вдове ювелира. Дурашливым тоном, а на самом деле играя с огнем, автор описывает, как в ночь исчезновения последней жилицы — домработницы Анфисы — по рассказам жильцов других квартир, «будто бы в № 50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра горел электрический свет», а наутро Анфиса исчезла! То есть описываются всем тогда известные признаки идушего в квартире в ночь ареста обыска — а между тем автор делает вид, что описывает таинственные, непонятные явления. Одна за другой идут детали описания других исчезновений, хорошо знакомые современникам: так и было, что человека, как жильца квартиры № 50, просили «на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться», он предупреждал соседей, что «вернется через десять минут», и исчезал навсегда. Ведь об арестах нельзя было даже упоминать по телефону: если звонили человеку, которого только что арестовали, его родственники или соседи отвечали: «Он заболел» или «Он уехал». И главное — звонящий понимал по самому тону, что именно произошло!

Целый пласт деталей в «московских» главах романа «Мастер и Маргарита» рассчитан главным образом на *советского* читателя — соотечественника и современника Булгакова. Писатель старался сказать в своем романе (в процессе работы он то надеялся его напечатать, то терял надежду) о том, о чем почти никто в эти годы

не решался писать, – о страхе, всеобщей подозрительности. Когда Аззелло приглашает Маргариту к «одному очень знатному иностранцу», она отвечает, «невесело» усмехнувшись: «...но я никогда не вижу никаких иностранцев, общаться с ними у меня нет никакой охоты... и кроме того, мой муж... Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным», – то Аззелло «с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь», но прекрасно ее понял. Действительно, – ее речь непонятна была бы ни в одной стране мира, как и в сегодняшней России (как это она не видит «никаких иностранцев»? ). Но в советской России «бессвязное» имело внутреннюю связь: подразумевается, что общение с иностранцами – проступок, портящий карьеру советского человека.

Булгаков тщательно разрабатывает в романе тему «иностранца» и взаимоотношений с ним советских людей. Он связывает с этой темой мотив *доносительства*. Кроме него, почти никто из писателей 30-х гг. не попытался вывести это пронизавшее невидимыми нитями всю советскую жизнь явление на поверхность литературы.

Поведение Берлиоза и Ивана в первой сцене романа подчеркнуто окрашено ксенофобией (то есть подозрительным, враждебным отношениям к «чужим»). Непохожий на них человек не интересен, не любопытен им, а только подозрителен. Это уже привитый за десятилетия советской власти комплекс советских людей. Что же их настораживает? Только то, что он иностранец и при этом хорошо говорит по-русски! Значит, он не должен в СССР быть на свободе! Иностранец, хорошо говорящий по-русски, вызывает равную реакцию и у невежественного Ивана Бездомного, и у «начитанного» Берлиоза – здесь они понимают друг друга с полуслова.

«– Вот что, Миша, – зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, – он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет...»

– Ты думаешь? – встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав...»

Автор демонстрирует шпиономанию, охватившую в годы работы над романом всю страну. Тонким иносказанием он дает понять мрачный смысл эпизодов. Иностранец «Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли». Это нарочитое авторское за-

труднение в выборе слов должно приковать внимание читателя и прояснить для него смысл сцены. «Интерес» Берлиоза к незнакомцу – это зловещее и весьма характерное для эпохи Большого Террора настороженное внимание к «чужому», резко отличному от других человеку как к *потенциальной жертве*.

Ведь оба литератора вполне готовы к тому, чтобы задержать «заинтересовавшего» их «иностранца» – и отдать его на расправу ГПУ. И потому развернувшаяся сразу вслед картина страшной гибели Берлиоза могла наводить читателя и на мысль о *возмездии* за эту постоянную готовность к доносу, который в те годы, как знал каждый читатель, вел к неременному аресту и весьма реальной гибели задержанного.

В романе продемонстрировано и безусловное возмездие – совершаемая в квартире № 50 на глазах у Маргариты казнь барона Майгеля. Имя прозрачно намекало на «барона» Б. Штейера, постоянно сопровождавшего иностранцев в Москве, присутствовавшего на всех приемах, то есть почти штатного, а может быть и штатного, осведомителя, известного в этой своей функции всей Москве. К тому времени, когда дописывался роман, барон уже бесследно исчез в подвалах Лубянки. И Воланд нравоучительно объяснял в романе его двойнику в последние минуты жизни смысл происходящего: «...разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности» и «злые языки уже уронили слово – наушник и шпион» – так заменяет автор слова «осведомитель», «сексот», «стукач» – этими людьми были наводнены школы, институты, любые учреждения, но употреблять их печатно или публично было нельзя. Цепочку «наушников» замыкает Алоизий Могарыч (по вине которого был арестован Мастер, а когда он вернулся в свой подвальчик, где был написан роман о Иешуа и Пилате, там уже жили другие люди...). В описании его зловещего участия в судьбе Мастера слово «донос», также не употребительное в советском *общественном* быту (советские люди не *доносили* друг на друга, а исключительно *выполняли свой гражданский долг*), заменено подчеркнуто неподходящим (что и должно было послужить для читателя сигналом – «тут о чем-то другом!») словом «жалоба»: «Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу?» – спрашивает Азazelло у доставленного прямо с потолка в квартиру № 50 Алоизия Могарыча. «Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

– Вы хотели переехать в его комнаты? – как можно задушевнее прогнул Азazelло».

Показан и *действительно* «подозрительный» иностранец – «сиреневый джентльмен», неожиданно заговоривший в Торгсине по-русски (то есть – сотрудник ГПУ, выдающий себя за иностранца в целях слежки и за иностранцами, и за «своими»).

...Когда весной 1939 года автор читал роман четыре вечера подряд избранному кругу друзей, и роман пленял их, будоражил, не давал покоя, они не могли дождаться следующего вечера, – то в день последнего чтения был напечатан на машинке, по свидетельству Елены Сергеевны (и по авторской датировке), эпилог романа. Елена Сергеевна подчеркивала внезапность для нее этого решения автора: «Мне так нравились последние слова романа! Я не понимала, зачем что-то добавлять после них». Можно попытаться высказать догадку о происхождении эпилога – о том, что толкнуло Булгакова написать его.

Той зимой как раз происходили странные вещи на самом «верху» – там, где в течение трех последних лет принимались решения об арестах и расстрелах сотен тысяч невинных людей – неизвестно, с какой целью. 20 июля 1938 года заместителем главы НКВД Ежова (его портрет и чугунные рукавицы со страшными шипами с подписью «Ежовые рукавицы» смотрели с плакатов на всех углах) стал Берия, 8 декабря того же года он сменил его на посту наркома, а «в середине февраля 1939 года Ежов бесследно исчез» (как пишет Р. Конквест, замечательный исследователь тех лет, в своей книге «Большой террор» – он и дал страшным годам это название) – как жильцы квартиры № 50. Берия же выпустил несколько десятков тысяч людей – так же необъяснимо, как необъясним был их арест. (Впрочем, вскоре многих из них посадили снова.)

Булгакову был весьма свойственен вкус ко всякого рода разгадыванию. Но в эпилоге, писавшемся весной 1939 года, он уже издевается над любыми попытками разгадывания того, что разгадыванию не поддается. В те годы люди бесконечное количество раз задавали друг другу один и тот же вопрос: «А его-то за что?..» Ответа не было. В эпилоге романа – следы психологической усталости от ужасных событий и от постоянных гаданий по их поводу. Как автор передает нам это ощущение усталости и бессмыслицы постоянных гаданий? Он предлагает одно объяснение за другим всему происходившему в Москве в дни пребывания в ней Воланда (то есть дьявола), но сам, однако, ото-



двигается, дистанцируется от этих объяснений. Ни одно из них он не признает достоверным и передоверяет всю область предположений и выводов «наиболее развитым и культурным людям», которые в «рассказах о нечистой силе никакого участия не принимали и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить». Автор, поставив точку в финале романа, далее устранялся от событий, в нем изложенных, как и от объяснений. *Сделанное сделано* – лейтмотив эпилога. *То, что произошло, – произошло.*

Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» – Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».

Не то что встать, – ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если он только это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазами яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона.

Степа старался что-то припомнить, но припомнилось только одно – что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» – а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»

Ни какая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца – Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал.

Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице.

Надо сказать, что квартира эта – №50 – давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому – с утраченной фамилией.

И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.

Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер.

Набожная, а откровеннее сказать – суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беломут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась.

Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Но, увы, и то и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными.

Два дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу... Нужно ли говорить, что она не вернулась!

Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в №50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет!

Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сучонья и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке двадцать пять крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружили сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки... И прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, за то не ручаемся.

Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились – покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно, в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице...

Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости... что никакого пирамидону у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша... Миша...», но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина.

Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил.

Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило.

Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытою черной щетиною физиономией, с за-

плывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках.

Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете.

Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.

Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова:

– Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!

Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил:

– Что вам угодно? – и сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» – басом, а «угодно» у него совсем не вышло.

Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил одиннадцать раз и сказал:

– Одиннадцать! И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!

Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:

– Извините... – надел их и хрипло спросил: – Скажите, пожалуйста, вашу фамилию?

Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.

– Как? Вы и фамилию мою забыли? – тут неизвестный улыбнулся.

– Простите... – прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.

– Дорогой Степан Богданович, – заговорил посетитель, проникательно улыбаясь, – никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.

Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.

– Откровенно сказать, – начал он, еле ворочая языком, – вчера я немножко...

– Ни слова больше! – ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно – он помешался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело.

Незнакомец не дал Степину изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.

– А вы? – пискнул Степа.

– С удовольствием!

Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожеывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова:

– А вы что же... закусить?

– Благодарствуйте, я не закусываю никогда, – ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю – в ней оказались сосиски в томате.

И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело вчера было на Сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у «Метрополя», был еще при этом какой-то актер не актер... с патефоном в чемоданчике. Да, да, да, это было на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной... черт ее знает, кто она... кажется, в радио служит, а может быть, и нет.

Вчерашний день, таким образом, помаленьку высветлялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить!

– Ну, что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?

Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками.

– Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!

– Я хочу вас попросить, чтоб это осталось между нами, – заискивающе сказал Степа.

– О, конечно, конечно! Но за Хустова я, само собой разумеется, не ручаюсь.

– А вы разве знаете Хустова?

– Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он – сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно!» – подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.

Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал.

– Профессор черной магии Воланд, – веско сказал визитер, видя Степины затруднения, и рассказал все по порядку.

Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... Вот Воланд и пришел!

Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...

– Позвольте с вами рассчитаться, – проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.

– О, какой вздор! – воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.

Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть: он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.

– Разрешите взглянуть на контракт, – тихо попросил Степа.

– Пожалуйста, пожалуйста...

Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись! Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за семь выступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. Более того: тут же расписка Воланда в том, что он эти десять тысяч уже получил!

«Что же это такое?!» – подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти?! Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни:

– Груня!

Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте! – рявкнул кто-то в голове у Степы. – Этого еще не доставало!» – И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом, – а тут еще ко всему этому, не угодно ли, и печать на двери! То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, – не поверит, ей-ей, не поверит! Однако печать, вот она! Да-с...

И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая! И никчемная, и деньги-то маленькие...

Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминанье о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, двадцать четвертого апреля вечером тут же, в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя (не пошел бы Степа на такой разговор), но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печача-



ти, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печати...

«Ах, Берлиоз, Берлиоз! – вскипало в голове у Степы. – Ведь это в голову не лезет!»

Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на тридцать пять тысяч рублей?» Так спрашивать не годится!

– Да! – послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского.

– Здравствуйте, Григорий Данилович, – тихо заговорил Степа, – это Лиходеев. Вот какое дело... гм... гм... у меня сидит этот... э... артист Воланд... Так вот... я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?..

– Ах, черный маг? – отозвался в трубке Римский, – афиши сейчас будут.

– Ага, – слабым голосом сказал Степа, – ну, пока...

– А вы скоро придете? – спросил Римский.

– Через полчаса, – ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А?

Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план: всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выпросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе Варьете?

Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помешавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой Груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта – длинного, как жердь, и в пенсне (ах, если б здесь был Иван Николаевич! Он узнал бы этого субъекта сразу!). А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал.

У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся.

«Что же это такое? – подумал он, – уж не схожу ли я с ума? Откуда ж эти отражения?!» – Он заглянул в переднюю и испуганно закричал:

– Груня! Какой тут кот у нас шляется? откуда он? и кто-то еще с ним??

– Не беспокойтесь, Степан Богданович, – отозвался голос, но не Грунин, а гостя из спальни, – кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет, я уснул ее в Воронеж, на родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска.

Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота.

Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден: усы-перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно – жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.

Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» – подумал он и ухватился за притолоку.

– Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович? – осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы, – а между тем удивляться нечему. Это моя свита.

Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке вниз.

– И свита эта требует места, – продолжал Воланд, – так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний – именно вы!

– Они, они! – козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе, – вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!

– Машину зря гоняет казенную! – наябедничал и кот, жуя гриб.

И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолоку.

Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта

клым, безобразным и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий.

– Я, – вступил в разговор этот новый, – вообще не понимаю, как он попал в директора, – рыжий гнусавил все больше и больше, – он такой же директор, как я архиерей!

– Ты не похож на архиерея, Аззелло, – заметил кот, накладывая себе сосисек на тарелку.

– Я это и говорю, – прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: – Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?

– Брысь!! – вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.

И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю...»

Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл, как следует, глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, – волна качивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади – красивый город на горах.

Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.

На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:

– Умоляю, скажите, какой это город?

– Однако! – сказал бездушный курильщик.

– Я не пьян, – хрипло ответил Степа, – я болен, со мной что-то случилось, я болен... Где я? Какой это город?..

– Ну, Ялта...

Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола.

*1929 – 1940*

*В концентрационном мире, где душа обнажена, лак воспитания, образованности слетает так же быстро, как эмаль с упавшей посуды. Тот, кто прошел через блюминги КГБ, через страдания духовные и телесные, способен оценить и измерить человека с первого, и единственного, взгляда, ибо только катализатор, называемый «жизнью ГУЛАГа», позволяет безошибочно уловить разницу между добрыми и злыми, сделать выбор. Голод, холод, страх, ужас, убивающий труд способны обнаружить настоящую ценность человеческой личности. В эпоху ГУЛАГа было весьма сложно остаться Дон Кихотом. Тем не менее я с ним повстречался.*

*Юрий Домбровский умер. Его творчество будет жить. Его книги войдут в мировую литературу сквозь парадные двери.*

*Он не переносил трусости и подхалимства тех, кто шел на любые унижения, чтобы выжить. Для Юрия в лагерях существовало два сорта зэков: способные к борьбе и «ждущие освобождения по амнистии» (он употреблял аббревиатуру этого выражения).*

*...Нас в камере шестеро.*

*— Сколько братьев наших погибло, сколько жертв на совести этой системы? Неужели мы никогда этого не узнаем? — спрашивает Морозов и печально качает головой.*

*— Разумеется, узнаем, — говорит Юрий. — Каждый из нас может сделать простой расчет с помощью обыкновенной арифметики и данных, официально опубликованных. Население страны составляло в 1917 году что-то около 140 миллионов. Средний процент демографического роста по Союзу статистика дает как 1,7, иначе говоря, прирост за год — 2 миллиона 380 тысяч. С 1917 года по 1940-й — 23 года, умножим 2 миллиона 380 тысяч на 23, получаем 54 миллиона 740 тысяч, прибавляем их к 140 миллионам — это будет 194 миллиона 740 тысяч. Такова цифра, представляющая количество населения Союза в 1940 году.*

— Почему в 1940-м?

— Потому что в 39–40-м годах было присоединено множество территорий и стран. Это дает что-то около 20 миллионов. Стало быть, вместе получается 214 миллионов 740 тысяч. Это ясно?

— Ясно, ясно.

— Так. Теперь умножим 214 миллионов 740 тысяч на 1,7 и, получим 3 650 580 новых граждан в год. С 1940 по настоящий 1955-й — 15 лет, умножим на 3 650 580, получается 54 миллиона 758 700, прибавляем к 214 740 000 и получаем общий результат 269 498 700, — скажем, 270 миллионов населения. Но вы, как и я, читали в газетах, что население этой страны 200 миллионов.

Холодный пот выступил у всех на лбу. Мы онемели от этой простой логики.

— Юрий, — сказал дрожащим голосом Морозов, — не хватает 70 миллионов. 70 миллионов мертвых?

*Арман Малумян (Франция), 1978 год*

\* \* \*

В одном из кривых арбатских переулков стоит и до сих пор большое красное кирпичное здание. Когда меня впервые привели туда, это была уже обыкновенная советская школа одного светлого, но теперь уже совсем забытого профессорского имени. А лет семь до того тут была гимназия, принадлежавшая тоже профессору, и тоже именитому.

Гимназию эту профессор построил по последнему слову тогдашней педагогической индустрии — высокое светлое парадное с разлетающимися дверями, триумфальная лестница под красными дорожками. Двусветные рекреационные залы с турниками («В здоровом теле здоровый дух!» Профессор преподавал римское право). Классы. Лаборатории. Школьный музей. А вверху, на пятом этаже, на этаж выше, чем учительские, святая святых — кабинет директора. Там висело авторское повторение Репина (Державин слушает молодого Пушкина), стоял стол стиля ампир с бронзовым прибором и наполеоновскими безделушками и под прямым углом к нему другой стол, весь уставленный сухарницами и продолговатыми фаянсовыми блюдами в виде большого листа.

Здесь собирался педагогический совет.

А рядом была другая комната — лакейская, что ли, то есть я не знаю, как ее называли тогда, но в ней на полке рядком стояли

орденоносные самовары, причем одни необъятной величины; был буфет с посудой, мельхиором, ведерочками для шампанского и подносами. Отсюда во время совета чинно и величественно выходил личный служитель профессора с бакенбардами, а за ним его жена, спокойная тощая старушка, и они разносили чай. (Я их хорошо помню, они жили где-то рядом и часто приходили посидеть в передней и поговорить о прошлом.)

На этот пятый этаж, по словам старых служителей, не смел подниматься без вызова ни один из учащихся. Здесь и воздух был иной. По утрам кабинет spryskivali хвойной водой из пульверизатора. Так вот, когда я пришел в школу, самой страшной комнатой был не этот кабинет – в нем сидела заведующая, – а лакейская комната с бумажкой, написанной от руки: «Учком. Ячейка РКСМ».

Ты был председателем учкома. Заведующая все наши немощные души поручила тебе и ни во что не вмешивалась. Учителей тоже отсылала к тебе – ты один казнил и миловал. И скоро каким-то ловким маневром переселил заведующую в лакейскую, а сам занял кабинет директора.

Заведующая была старая дама, фальшивая и лживая, она носила на шее бархоточку и черный медальон с алмазным сердечком. Любила, когда на школьных вечерах читали Бальмонта и «Белое покрывало», но нюх у нее был собачий, то есть она боялась тебя так же, как свое прямое начальство.

А впрочем, кем же ты был, как не ее прямым начальством? Ты, Георгий Эдинов, председатель учкома, секретарь комсомольской ячейки, руководитель драмкружка, еще кто-то, сильный, здоровый, скуластый, высокий, с бескровным кремовым лицом (у меня был такой башлык), в крагах и кожаной куртке!

Никто не знал, откуда ты взялся и кто тебя взял. Официально тебя, конечно, выбрали, но мы все отлично знали, что тебя никто не выбирал. Ты просто появился, и всё тут. Ты появился и стал ходить по школе, по всем пяти этажам ее, все засекал, все усекал, во все проникать. Ты говорил, проходя мимо кого-нибудь из нас: «Зайди-ка ко мне во время большой перемены», – и мы сразу же обмирали. А чего нам, кажется, было бояться? Ведь все это происходило не в царской гимназии, а в честной советской трудовой школе. И вызывал нас опять-таки не класный инспектор, а товарищ, наш товарищ.

Вот это была первая и самая гнусная ложь. От нее шли все остальные лжи – и крохотные, и побольше, и, наконец, та наи-

большая, во имя которой ты и возник, Эдинов. Я ведь потому ничего и не сумел собрать и написать о тебе, что так и не понял – кто же ты в самом деле? Просто, как пишет Достоевский, «мальчишка развитой и развращенный» (этот тип я постиг вполне) или чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым – тоже еще на свет не родившимся (писатели двадцатых годов еще не были так умудрены, как их знаменитые и увенчанные коллеги тридцатых и пятидесятых годов).

Во всяком случае, ты был весь обращен в будущее. И на Павлика, пожалуй, походил не по прямой, а какой-то очень-очень косвенной линии. Кто этот в самом деле бедный, злодейски убиенный пацанок? Не о таких ли написал Гёте: «*Du, armes Kind, was hat man dir gethan*»\*. Представь, я до сих пор не знаю этого. Я только вижу, чем все это кончилось. А начиналось все вполне невинно. Вот, скажем, санитарная тройка. Сначала это были действительно только девчонки с чисто вымытыми розовыми лапками. На переменах они ловили нас и осматривали наши ногти и воротнички. Но ведь девчонки что? Кто их слушал? От них выворачивались, откупались обещаниями, просто показывали язык и убегали. Ты быстро покончил с этой кустарщиной. «Во-первых, – приказал ты, – надо составлять акт и подавать в учком», во-вторых, вслед за девочкой шел верзила – он хватал меня за шиворот и волок в учительскую.

Вот в этом и была твоя гениальность. Ты ввел порядок и понял, из кого должны состоять твои тройки. Вместо первых и законопослушных учеников ты стал набирать в тройки самых отпетых – хулиганов, ловчил, тупиц, – было бы мальчишеской совести поменьше да кулаки побольше. И все переменялось. Эта шобла была тебе предана, как шайка молодых шипачей своему тертому пахану, и поэтому они из самых последних превратились, само собой, в самых первых. И исчезли все безнадежные, успеваемость скакнула чуть не на сто процентов (наши бедные педагоги боялись тебя больше, чем мы). Так ты весомо, грубо и зримо продемонстрировал силу товарищеского воздействия, мощь коллектива и талант руководителя.

И что по сравнению с тобой, действительно, стоили все демоны и бесы старой гимназии! Они были просто глупы и беспомощны! Им лгали с истинным упоением и вдохновением. А тебе не вдали. Ты быстро покончил с этим ремесленничеством. Лю-

---

\* Бедное дитя, что с тобой сделали.

бой староста отвечал на любой твой вопрос: о чем ты его спрашивал, о том он и рассказывал. О родном брате и то рассказал бы. И попробовал бы тот его тронуть! Ого! Ты и с этим покончил сразу же.

Правда, старички постарше, из тех, кто еще от отцов слышал о каких-то белых традициях товарищества – не об этих, которые так успешно насаждал и насадил ты, а о тех допотопных, когда человек был еще человеку не «друг», а иногда враг и друзья объединялись и блюли друг друга, – те могли еще увернуться от ответа или просто соврать. Но малыши были честны, неподкупны и суровы – они все несли в учком к его председателю в кожанке и поскрипывающих крагах... Бог знает, куда ты все это нес, Георгий Эдинов. Но во всяком случае все наши немощные души ты крепко держал в кулаке. Вернее, в клеенчатой общей тетради, такой книге живота нашего.

Мне тоже однажды пришлось ее увидеть.

Тогда в нашем классе случился криминал, и мне пришлось говорить с тобой. Это был первый в моей жизни разговор с государством, один на один, в казенном пустом кабинете, по казенной надобности. Правда, история была на редкость неприятная.

Как-то после последнего урока у нас в классе появился и пошел по рукам револьвер. Конечно, без единого патрона, со сбитой ручкой, но с бойко вращающимся барабаном. Все крутили его по очереди. Подержать в руке настоящий бельгийский кольт – ого-го! Это чего-то стоило! А потом после уроков кто-то с этим кольтом подбежал к чинной стайке девчонок в углу двора и прицелился в них. Те, разумеется, бросились врассыпную, а потом быстро успокоились, вместе с нами гоняли этот барабан и целились друг в друга.

После этого кольт пропал. Кто его принес – так и осталось нераскрытым. Но прошла неделя, кто-то стукнул, и началась паника. Боевое оружие! Заряженное! Оставшееся от белых! С полной обоймой! С гравировкой «За веру, царя и отечество!» Двуглавым орлом! (Ни орла, ни надписи этой, конечно, не было, но шептались именно о них – ты был и правда большим талантом, Эдинов!) Немедленно найти и выяснить, чей он. Выяснить, выяснить, выявить, выявить, выявить!

Сначала собрали старостат просто. Потом старостат с тройками. Потом заседал педсовет совместно с учкомом. А раз после занятий пришел в класс физкультурник и провел беседу. (Это был вялый высокий блондин с красными полосками бровей и постоянно лупящимся носом. Мы к нему относились как к



своему.) Бесполезно. Никто ничего не знал (к счастью, староста наша болела). А через три дня объявили нечто чрезвычайное – общее собрание обеих смен. Явка обязательна.

Мы пришли. На сцене стоял стол под красным сукном, и сидел за столом под пальмами костистый дядька лет сорока, во френче и в пронзительном троцкистском пенсне. Кто-то из учкома объявил собрание открытым и предоставил слово тебе. Ты скромно поднялся с одной из средних скамеек и взошел на сцену. Ровно такой же ученик, как и мы все. «Вот, ребята, – сказал ты, – нашу школу посетил один из руководящих работников райкома партии. Он хочет с вами поговорить».

Товарищ из райкома поднялся и заговорил. Голос у него был мягкий, переливчатый, но с таким металлом.

– Меня что больше всего удивляет в этой нехорошей истории с кольцом? – сказал он просто. – Не он сам, нет. Больше всего удивляет ваше отношение к своим же ребятам, своим товарищам. Они вас спрашивают, а вы либо молчите, либо говорите им неправду. Зачем лгать своим друзьям? Вот это совсем мне непостижимо! Обманывать Жору Эдинова? Водить за нос Благушина? (Был у нас такой подонок, раньше из самых отпетых, сейчас самый ответственный.) Ведь вы с ними на одной парте сидите, на переменах в футбол играете, вместе домой идете, завтраками делитесь – и лжете им? Почему? Не верите, что ли? Никак не умещается это у меня в голове, ребята! И другое совсем непонятно – вот я узнаю, у вас начались разговоры о фискалах, доносах, доносчиках, ябедниках. Какие фискалы? Какие ябедники? Ведь это же давным-давно умершие понятия нашего проклятого прошлого, и я не пойму, кто и зачем их воскрешает. Мы давным-давно осиновый кол в них забили. Среди вас не может быть доносчиков, нельзя же доносить на самого себя. Верно, ребята? – Тут он даже немного посмеялся. – Но, – и тут он сразу, мгновенно построжел, – вы должны быть сознательными друзьями, и если ваш друг вольно или невольно повел себя не так, как следует в нашем социалистическом обществе (были тогда действительно сказаны эти слова о социалистическом обществе? Сейчас я уже сомневаюсь. Может быть, это просто историческая aberrация, обман слуха, и я услышал то, что говорилось много позже), вы обязаны во имя его самого же довести до сведения ваших старших товарищей, ваших старших товарищей!

На эту тему он говорил еще с час. Так вот, после этого собрания ты и вызвал меня, Эдинов. В учкоме никого не было.

Уже горело электричество. Ты сидел за столом, я сидел поодаль. «Ну так что скажешь?» – спросил ты. А чего я мог сказать, я молчал – и все! Тогда ты сказал: «Ты знаешь, кто принес колыт. Учти – у тебя плохая успеваемость по математике и отвратительное поведение. А школа держит первенство по Москве. Сейчас самое время тебе об этом подумать!» Я молчал. «Верно?» – спросил ты. Я опять-таки молчал, потому что и это была правда.

Ты посидел, посмотрел на меня таинственно и сказал, что вызвал меня только потому, что хотел, чтобы я сам во всем честно разобрался. Вот я только что слышал прекрасную речь ответственного товарища. Товарищ этот мне объяснил все, так неужели я и дальше буду запираюсь? И губить себя? В нашей стране не может быть неисправимых. Помню ли я, каким был Николай Благушин хотя бы в прошлом году? Хорошо! А сейчас? Вот он все осознал и исправился по-настоящему. А я? Нет, так советские учащиеся себя не ведут. Во всяком случае, учащиеся советской образцовой школы, носящей такое светлое имя великого ученого Михаила Ковалевского (ей-Богу, ты сказал именно так, может быть, и издеваясь), так не могут себя вести.

Так ты говорил, строго и ласково, глядя прямо в мои лживые глаза. Пятнадцатилетний капитан – тебе вряд ли было больше – нашего бестолкового школьного корабля. А я изворачивался, мекал, не знал, куда себя девать, просто сгорал от конфуза и злости. Я ненавидел себя, тебя, всех, кто тебя поставил над нами. А ты уличал меня на каждом шагу, не особенно настаивая, но и не отступая, – ты просто преследовал меня по пятам. Наконец мне все как-то осточертело, на его «ты должен...» (подумать? решить? сказать?) я рывкнул: «Ничего я тебе не должен, и пошел бы ты от меня...»

Вот тогда ты выдвинул ящик, вытащил книгу живота и ласково погладил ее. «Ну зачем же так, – спросил ты с мягкой наглостью. – Все равно ведь скажешь, некуда тебе деться. Вот где ты у меня. Прочитать?» – «Прочитай!» – крикнул я. «Да, я прочту, пожалуй, – сказал ты с той же ласковой ненавидящей улыбкой, – но тогда тебя на следующем заседании педсовета исключат из школы. С чем ты придешь домой? Ведь тебя бить будут. Ремнем. Тебя бьют дома, я знаю. Бьют, а?» – ты подмигнул мне.

Ты был прав, дома меня били, но, если бы у меня был этот самый колыт, да еще если бы он стрелял, – я бы не задумываясь разрядил его весь в эту наглую ухмыляющуюся морду. Но у меня не было его, и я молчал. Я дошел до такой грани отчаяния и

унижения, что дальше идти было уже невозможно. Теперь мне уже было все равно. Я просто ничем не мог помочь себе.

И тут вдруг ты, Эдинов, обнял меня за плечи. «Ну и дурачок же, – сказал ты ласково и простецки, – ненормальный и не лечишься. Смотри!» Он снова выдвинул ящик стола, вытащил кольт и бросил его на стол. «На! Смотри! Герой! У него же курка нет! Мы в тот же день его и забрали, но нам важно было сознание, сознание! А тут круговая порука. Разве это в советской школе терпимо? Закуришь?» – он вынул кожаный портсигар и протянул мне.

Это было актом величайшего доверия. За курение исключали на три дня, на неделю, совсем. Ходили, правда, слухи, что Эдинов курит, но видеть этого никто не видел. Впрочем, может быть, один исправившийся Коля Благушин...

Так мы и расстались, выкурив перед этим, как он сказал, «трубку мира», и ты больше никогда не вызывал меня в учком, лишь встречаясь, заговорщицки улыбался. Ведь у нас с тобой была тайна, да и весь ты жил в этих тайнах – ответственный, осведомленный, все понимающий с высшей точки зрения, – таинственный...

Где ты сейчас? Жив ли? По-прежнему ли улавливаешь души или и твою уже успел кто-то уловить? А это вполне может случиться. Ведь над твоим столом висел портрет Льва Давыдовича, да и тот, кого ты приводил к нам, носил звонкую партийную фамилию, но лет через десять я прочел ее с таким титулом: «ныне разоблаченный враг народа», – а ты потом, кажется, у него работал, так что все в конце жизни может быть.

К ИСТОРИКУ

*Послесловие к роману*

Вот и всё. 10 декабря 1964 года – 5 марта 1975.

И одиннадцати лет как не было.

Это послесловие я пишу не для читателя: с ним все яснее ясного. Оно ему не нужно... «Писатель пописывает, читатель почитывает»; с писателем беда стряслась – читатель в подворотню юркнул.

И не для критиков: они на все наши объяснения просто плевали – сгустил, скосил, не выразил, «а зачем?» – вот и весь разговор.

А для историков, следователей и работников прокуратуры.

Вот почему для историков. Коль скоро эта книга попадет им

в руки, они, конечно, захотят посмотреть на нее не только как на чисто человеческий документ, но как на материал истории.

Вот почему для прокуроров и следователей. Прочитав книгу, они, вероятно, потянутся к моим делам, а их по числу посадок четыре и посмотрят, насколько я злостно уклонился от действительности истины. Смотрите, граждане, и оценивайте. Я даже фамилии оставил подлинными – Хрипушин, Мячин, Смотряев, Буддо. Так что все описанное было. В одном я только допустил маленькую перестановку: мое последнее следствие велось не во время Ежова, а через несколько месяцев после него, при раннем Берии. Этим и объясняется сравнительная мягкость всего, что со мной происходило. При раннем Ежове или позднем Берии меня бы просто затоптали сапогами, вот и все. В 1939 году же славные органы переживали состояние некоего шока, некой стыдливой недоуменности, поэтому орать-то орали, а били уж по выбору. (Совершенно гениальное наблюдение есть у Э. Грина: «Пытка – это соглашение между тем, кто пытается, и тем, кого пытаются». (Цитирую по памяти.) Надо только сказать, что не ко всем эпохам и статьям это относится.)

Кстати, вещь почти невероятная. Три моих следствия из четырех проходили в Алма-Ате, в Казахстане, а Ежов долго был секретарем одного из казахстанских обкомов (Семипалатинского). Многие из моих сокамерников, особенно партийцев, с ним сталкивались по работе или лично. Так вот не было ни одного, который сказал бы о нем плохо. Это был отзывчивый, гуманный, мягкий, тактичный человек. (А ведь годы-то в Казахстане были страшные – голод, банды, бескормица, откочевка в Китай целых аулов.) Любое неприятное личное дело он обязательно стремился решить келейно, спустить на тормозах.

Повторяю – это общий отзыв. Так неужели все лгали? Ведь разговаривали мы уже после падения «кровавого карлика». Многие его так и называли: «кровавый карлик». И действительно, вряд ли был в истории человек кровавее его. Сравнения античные, средневековые, нового времени просто тут не подходят. Не было в ту пору столько людей.

Ой какая сильная вещь – система бесправия. И еще одно – беда, когда слабый и непоследовательный человек начинает проявлять силу воли. Он такого наломает вокруг! И сам рухнет, высунув язык. Помню это по своему детству – когда бессилие взялось воспитывать во мне силу воли.

Сталин тоже был не ахти какой герой и силач – вспомните, как в начале войны он нырнул куда-то, и его не могли сыскать ни с какими собаками. Или как, чуть оправившись, он хлюпал и звенел перед микрофоном, – но таким товаром, как бессовестная продажная воля, он себя обеспечил сверх головы. Его душегубки и костодробилки гудели и хлопали – день и ночь, день и ночь, в течение почти четверти столетия. Это чего-нибудь да стоило. Казахи вот говорят, что если Аллаха бить каждый день, то и он сдохнет. Мы-то знаем, что это так.

Вот поэтому мне и сейчас не кажется, что «рой тонкошеих вождей» был подобран вождем только по признаку их бесчестности, твердокаменности и бесчеловечности. Вероятно, были у них и какие-то чисто деловые качества, только разглядеть-то их мы не можем через горы содеянного. Неужели, скажем, Молотов, Рыков, Ягода, Каганович – только нравственные уроды, морально-дефективные люди? Ведь нет же, нет. А ведь, кроме кровавых и дымящихся ям, они после себя ничего не оставили. Ни в памяти, ни в делах, ни в истории.

Иное дело Крыленко, Вышинский и присные с ними – большие и малые бесы наших лихолетий. Они, юристы, твердо знали, что хотят, разрушая закон. Очевидно, сейчас уже не приходится сомневаться в том, что профессор права государственник М. Рейснер был членом охраны. (В свое время в каком-то архиве было найдено даже его агентурное дело – знаю из первых источников.) Так что, возглавляя течение, которое на Западе называлось школой уголовной социологии, а у нас уже и не знаю как, он твердо знал, что делает. Принципы – «самое понятие справедливого и несправедливого у судьи, принадлежащего к буржуазным кругам, иное, чем у людей, принадлежащих к трудящимся классам», или вместо «вины» – вред, вместо наказания – «средства социальной защиты» – в конечном счете были направлены на распад государства, т. е. общества.

Во всей нашей печальной истории нет ничего более страшного, чем лишить человека его естественного убежища – закона и права. Падут они, и нас унесут с собою. Мы сами себя слопаем. Нет в мире более чреватого будущими катастрофами преступления, чем распространить на право теорию морально-политической и социальной относительности. Оно – вещь изначальная. Оно входит во все составы нашей личной и государственной жизни.

Пало право, и настал 37-й год. Он и не мог не настать. Сталинский конвейер – это сфинкс без загадки. Если уничтожить не

за что-то, а во имя чего-то – то остановиться нельзя. У твоей жертвы – жена, дети, семья, друзья. И все они могут стать врагами (т. е., вероятно, не станут, просто струсят и отрекутся, но ведь, может, это и есть теория «соцзащиты»? ). Ну, ладно, сейчас струсят, отрекутся, а что потом будет, когда вместо тебя сядет другой, а? Значит, бей врагов! Убивай, убивай и убивай! И остановиться невозможно. Просто не на ком. Каждый труп врага – начало твоей смерти. Смотрите киевскую былинку «Как перевелись богатыри на Святой Руси». Но ведь то были богатыри, а на московских процессах были филера, дешевки, политические коты, они исходили слюной и соплями. «Если государство только сочтет возможным оставить мне жизнь, клянусь...» А у Ульриха нет вот такой возможности – он сам на гицелей косится. Вот-вот пригонят собачью клетку и повезут. Гадают, почему Радек, Зиновьев, Рыков сознавались. Десятки теорий и объяснений на это есть. Господи, как скучно это читать! Сознавались потому, что знали, что не люди они, а салтыковские трезорки (помните «Лай, Трезорка, лай – дать Трезорке помоев!»). А награда Трезорке от хозяина всегда одна: цепь и ошейник. Доложили хозяину, что Трезорка запаршивел, потянул он Трезорку за цепь – и всё! На живодерню, пес! Кроме нее, нигде тебе больше места нет.

И никакой тайны в их истерических самоговорах нет. Просто жить хотели. Вы что, не видели, как клянется и размазывает слезы и слюны трамвайная стервь и срань, когда ее прихватят, захомутают и потащат в отделение?! Но те хоть своим корешам нужны, а эти кому?

Теперь последнее. Почему я одиннадцать лет сидел за этой толстой рукописью. Тут все очень просто – не написать ее я никак не мог. Мне была дана жизнью неповторимая возможность – я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем. А об ответственности, будьте уверены, я давно уже предупрежден.

*1964 – 1975*

Вечером в правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа и потрескивал батарейный радиоприемник. Передавались марши, но их почти не было слышно. За сосновым квадратным столом сидели четыре собеседника, а табачного дыму было столько, что огонек в лампе еле-еле дышал, как в часы большого собрания. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму в избе много. На столе для окурков стоял глиняный горшок, он был уже полон. Временами в горшке от брошенной сигарки вспыхивал огонь, тогда бородатый животновод Ципышев прикрывал горшок осколком настольного стекла. При этом каждый раз кто-нибудь произносил одну и ту же шутку:

— Сожжешь бороду — коровы бояться перестанут!

На что Ципышев неизменно отвечал:

— Бояться перестанут, может, удоя прибавят.

И все смеялись. Пепел с сигарки стряхивали на пол, на подоконники, а в горшок кидали только окурки.

Сидели долго, разговаривали неторопливо — обо всем понемногу и доверительно, без всяких оглядок, как старые добрые товарищи.

Сквозь полумрак на бревенчатых стенах проглядывались кое-какие плакаты и лозунги, список членов колхоза с указанием по месяцам количества выработанных трудодней, обрывок старой стенной газеты и пустая, вся черная, доска, разделенная белой чертой на две равные части: на одной половине мелом было написано «черная», на другой половине — «красная».

— А ведь сахар-то в сельпо на днях опять привозили! — сказал кладовщик Шукин, самый молодой из собеседников, в одежде которого замечалась уже городская школа: на нем была рубашка с галстуком, из нагрудного кармана пиджака торчали авторучка и расческа.

— Донес, что ли, кто? — лукаво спросил его третий из сидевших за столом, человек без левой руки, полный, рыхловатый, в затасканном, чуть ли еще не фронтальном брезентовом плаще внакидку.

– Никто не доносил, а сам Микола с бабой послал мне на дом килограмма два, сказал – после рассчитаемся.

– И ты взял?

– Нет, не взял... Не брать, так всю жизнь без сахара просидишь. И ты бы взял.

– Ну, тебе-то, Петр Кузьмич, он не пошлет! – засмеялся в бороду Ципышев, глянув на однорукого сбоку, с прищуркой. – Злой он на тебя. А Серега ему свой человек, – обернулся он к Шукину. – Серега его не снимал с кладовой, хоть и сел на его место.

Сергей Шукин совсем недавно был рядовым колхозником. Вступил в партию с месяц назад, он начал поговаривать о том, что все командные высоты в колхозе должны занимать коммунисты и что ему теперь просто неудобно не продвигаться по должности. С ним согласились. Вспомнили, что колхозный кладовщик имеет уже несколько замечаний за воровство, и поставили в кладовую Шукина. На очередном общем собрании никто против этого решения возражать не стал. Шукин купил себе авторучку и стал носить галстук. А предшественник его ушел на работу в сельпо. О нем сейчас и шел разговор.

– Взять-то я взял, – сказал Шукин после некоторого раздумья, – но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где всё?

После этих громких слов он достал расческу и стал приглаживать густые, молодые, непокорные волосы.

Тогда дал о себе знать и четвертый собеседник:

– Зачем тебе правда, ты сейчас – кладовщик?

Четвертый был человеком средних лет, но уже с сединой, бледный и, по-видимому, не очень здоровый. Он курил беспрерывно, больше всех, и много кашлял. Когда протягивал руку к горшку, чтобы выкинуть обжигавший пальцы окурочек, видны были его большие толстые ногти и под ногтями – земля, не грязь, а земля. Это был бригадир полеводческой бригады Иван Коноплев. Слыл он мужиком справедливым, но злым, говорил редко, но едко. На резкие слова его обычно никто не обижался, видимо, люди не чувствовали в них нелюбви к себе. Не обиделся и Шукин.

А однорукий, которого все называли по имени и отчеству, Петром Кузьмичом, возразил:

– Ну, правда – она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается. Вот ведь сказали – планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утвер-



ждают. Третий раз вернули для поправок. Видно, собрали все колхозные планы, сбалансировали, и вышло – с районным планом не сходятся. А районный план дают сверху. Тут кумекать много тоже нельзя. Ну, и нашла коса на камень. Искры летят, а толку нет. От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда! Не верят нам.

– Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы, чтобы не обижалась да помалкивала, – сказал бледный Коноплев и бросил окурочек в горшок.

Ввернул свое слово и Щукин:

– Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима – так, что ли, выходит?

На лице бородатого животновода Ципышева вдруг промелькнула настороженность и какое-то чувство неловкости – казалось, ему перестал нравиться этот доверительный разговор.

– Ладно, руби, да знай, куда шепки летят, – жестко заметил он Щукину. И тут же изменил тон, словно пожалел о своей грубости. – Правда, брат, она есть правда... А вот тебя посади в почетный президиум, ты и перестанешь землю видеть, – сказал и засмеялся, раздувая усы и бороду.

Борода у Ципышева росла не только на подбородке, но и на щеках и за ушами, сливалась с густыми рыжеватыми бровями, нависавшими на глаза, и когда Ципышев смеялся – смеялось все его лицо, все волосы, а глаза поблескивали откуда-то из глубины их.

– Был я на днях в райкоме, у самого, – продолжал Петр Кузьмич, называя так первого секретаря райкома. – Что же, говорю, вы с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять, обидятся. Нам лен нужен. Под лен и лучшую землю отводить следует. А опыты у нас уже были и с кроликами, и с травопольем. Сколько людей зря извели! Хлеба не стало – государству же во вред. Дайте, говорю, под кукурузу хоть десять, ну двадцать гектар на первый раз, а не сто, не тысячу. Привыкнем – сами прибавим, сами будем просить больше. Давайте не сразу... «Нет, – говорит, – сразу. Надо, – говорит, – план перевыполнить, надо активно внедрять новое». Активно-то, говорю, активно, да ведь у нас север, и народу мало, и земля – она своего требует. Людей убеждать надо. Ленин указывал – активно убеждать надо. А он говорит: «Вот ты и убеждай! Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали, а сейчас ты убеждай других, проводи

партийную линию. Вы, – говорит, – теперь наши рычаги в деревне». Говорит, а сам руками разводит, видно, ему тоже не все сладко. А гибкости в нем нет, не понимает он, чего хочет партия, боится понять.

– Накаленная атмосфера! – как бы пояснил его слова Щукин и снова потянулся за расческой.

– И не будет сладко. Он все равно долго здесь не усидит, – сказал Ципышев. – Не так себя поставил, строго очень. Людей не слушает, все сам решает. Люди для него – только рычаги. А я так понимаю, ребята, что это и есть бюрократизм. Вот, скажем, приходим мы к нему на собрание. Ну, поговори, как человек, по душам. Нет, не может без строгости, обязательно строгость соблюдает. Как оглядит всех сверху да буркнет: «Начнем, товарищи! Все в сборе?» – ну, душа в пятки уходит, сидим, ждем выволочки... Скажи прямо, если что неладно, – народ горы своротит за одно прямое слово. Нет, не может.

– Он думает, что партия авторитет потеряет, если он с народом будет разговаривать, как человек, по-простому. Ведь знает, что получаем в колхозе по сто граммов на трудодень, а твердит одно: с каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние. Коров в нашем колхозе не стало, а он: с каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство. Скажи: мол, живете вы неважно потому-то и потому-то... но будем жить лучше. Скажи – и люди охотнее за работу возьмутся.

– Накаленная атмосфера! – снова заключил Щукин горячие слова Петра Кузьмича.

Иван Коноплев докуривал новую сигарку, нервничал и все порывался сказать что-то – видно, резкое и едкое, но тяжелый астматический кашель вдруг схватил его и вывел из-за стола. У порога Коноплев поднял веник и долго плевал в угол. А животновод Ципышев с сочувствием выговаривал ему:

– Опять, наверно, табак сменил? Я тебе давно наказывал – кури одну махорку, да корешковую, легче будет.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, Коноплев поднял голову и сказал с хрипотцой:

– Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать. На рычаги надеются. Дома заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые. А как люди, что люди,

с чем они остались?.. – И Коноплев опять мучительно закашлялся.

– Ладно, ладно, помолчи, а то вся душа наружу выскочит! – Ципышев встал из-за стола и пошел к порогу, к Коноплеву. – Вот погоди, Иван, мы тебе путевку через райком выхлопочем. Съездишь к морю за воздухом, заодно посмотришь, как люди там живут, поучишься и нам расскажешь. Смелости всем добавишь.

Коноплев сделал навстречу ему нетерпеливое движение рукой – сиди, дескать, зачем сюда лезешь, уйди! – но сказать из-за кашля ничего не смог. Ципышев вернулся к столу.

– Женка ему такую путевку пропишет, что и родных не узнает, – сказал Шукин. – Она у него наблюдательная: кашляй сколько хочешь, кури, пей, только чтобы от нее ни на шаг.

– Воздух у нас свой не хуже морского, – мечтательно заметил Петр Кузьмич. – Воздух-то есть! Раньше, бывало, лечиться от кашля ходили на смолокурни или живицу гнать. В сосняке поживет человек недели три-четыре, пособирает эту живицу из коробочек в бочки – глядишь, и деньги заработает, и дыханье легче станет. Закупают ли нынче где эту живицу? Что-то я не слышал. Терпентин из нее какой-то делали да канифоль для скрипачей. Сейчас, поди, без канифоли играют.

– Пластмассой заменили. Вот! – Шукин показал свою расческу. – Она тоже из пластмассы.

На расческу Шукина никто не взглянул.

– А лампа у нас совсем гаснет, ребята, – поднял кверху свою бороду Ципышев.

От порога отозвался Коноплев:

– Погаснешь без воздуху. Лампе тоже воздух нужен.

Коноплев последний раз пошумел сухим веником и вернулся к столу. Лицо у него было бледное, дыхание тяжелое.

– Я так понимаю наши дела, – сказал он. – Пока нет доверия к рядовому мужику в колхозе, не будет и настоящих порядков, еще хлебнем горя немало. Пишут у нас: появился новый человек. Верно – появился! Колхоз переделал крестьянина. Верно – переделал. Мужик уже не тот стал. Хорошо! Так этому мужику доверять надо. У него тоже ум есть.

– Не волк съел, – подтвердил Ципышев.

– Вот! И нас не только учить – и слушать надо. А то все сверху да сверху. Планы спускали сверху, председателей сверху, урожайность сверху. Убеждать-то некогда, да и нужды нет, так

оно легче. Только спускай знай да рекомендуй. Культурную работу свернули – хлопотно, клубы да читальни только в отчетах действуют, лекции и доклады проводить некому. Остались кампании по разным заготовкам да сборам – пятидневки, декадни-ки, месячники...

Коноплев передохнул, и Петр Кузьмич воспользовался этим, вставил слово:

– Бывает и так: клин не лезет, а дерево виновато, говорят – дерево с гнильцой. Поди-ка не согласишься в районе. Они тебе дают совет, рекомендацию, а это не совет, а приказ. Не выполнишь – значит, вожжи распустил. Колхозники не соглашаются – значит, политический провал.

– А почему – провал?! – почти крикнул Коноплев. – Разве мы не за одно дело болеем, разве у нас интересы разные?

– Ну, райком тоже, брат, по головке не глядят, коли что. И с них требуется дай боже.

– Дай боже, дай боже! – горячился Коноплев. – Рядом, в Груздихинском районе, другие порядки. Шурин приезжал на днях, рассказывает: там у председателей поджилки не дрожат, когда начальство их в район вызывает. Нет этого страха. Секретарь в колхоз приходит запросто, разговаривает с людьми не по бумажке.

На полке в переднем углу слышнее заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель, но теперь сквозь шипение и потрескивание пробивалась не музыка, а окающая, с запинками, речь. Передавались письма с целинных земель. Какой-то паренек рассказывал о своих трудовых успехах на Алтае. Собеседники прислушались.

«Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем. Урожай в прошлом году выдался небывалый. В пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят таких хлебов. Для ссыпки не хватало мест, тяжело было...»

Паренек обращался к своей дорогой маме, но так, будто никогда раньше не произносил этого имени. Он явно робел перед микрофоном.

– Ты смотри, – сказал Петр Кузьмич, – и там свои беды: хлеб ссыпать некуда. Хоть бы навесы какие-нибудь понастроили, чтобы зерно не гноить. – Он ткнул рукой в сторону радио-

приемника, и брезентовый плащ соскользнул с его левого безрукого плеча.

– Не всем же на Алтай ехать! – буркнул Коноплев и, закашлявшись снова, поднялся из-за стола, взял обеими руками горшок с окурками, пошел к порогу. Там он откинул ногой веник и вывалил окурки в угол.

И тогда обнаружилось, что в избе во все время этого разговора присутствовал еще один человек. Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик:

– Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать. Пол только вымыла, опять запаскудили весь.

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись. Бывает нечто подобное в зимнюю ночь, когда рассказывает кто-нибудь страшную сказку и вдруг от мороза оглушительно треснет угол избы или настезь откроется дверь.

– Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?

– Чего надо... За вами слежу! Подпалите контору, а меня на суд потянут. Метла сухая, вдруг – искра, не приведи бог...

– Иди-ка ты домой.

– Когда надо будет – уйду.

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми.

На мгновение стала слышна улица, шум ветра, далекая девичья песня.

Сергей Шукин выключил приемник, голоса целинников пропали.

Мужики снова стали отрывать клочки газеты, понемногу вытягивая ее из-под разбитого стекла, и скручивать сигарки и «козьи ножки». Долго молчали, курили... А когда опять начали перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы – ни о чем и ни для кого. Про погоду – дрянная стоит погодка, в такую погоду кости ломит; про газеты – они ведь разные бывают, из другой свернешь сигарку, так горечь одна и табаком не пахнет; потом что-то про вчерашний день – сходить куда-то надо было, да не ходил; потом про завтрашний день – надо бы встать пораньше, в кои-то веки баба собирается блинами накормить... Пустые фразы, но даже и такие произносили уже приглушенно, тихо, то и дело оглядываясь по сторонам да на печку, словно за ней скрывалась не Марфа, конторская уборщица, а какой-то посторонний, непонятный человек, которого следует остерегаться. Ципышев посерьезнел, больше не

разговаривал, не улыбался, только раза три спросил, так, не обращаясь ни к кому:

– Что это учительница замешкалась? Начинать бы надо партийное собрание.

Один Щукин вдруг повел себя несколько странно; ему не сиделось на месте, табуретка под ним поскрипывала, глаза – молодые, озорные, с хитринкой – блестели и смотрели на всех с вызовом. Казалось, Щукин вдруг увидел что-то такое, чего никто другой еще не видел, и потому почувствовал свое превосходство над другими. Наконец он не выдержал и громко захохотал:

– Ох и напугала же нас проклятая баба!

Петр Кузьмич и Коноплев переглянулись и тоже захохотали.

– И верно – дьяволица! Вдруг из-за печки как рывкнет. Ну, думаю... – Иван Коноплев с трудом закончил фразу: – Ну, думаю, сам приехал, застукал нас...

– Перепугались, как мальчишки на чужом горохе.

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие.

– И чего мы боимся, мужики? – раздумчиво и немного грустно произнес вдруг Петр Кузьмич. – Ведь самих себя уже боимся!

Но Ципышев не улыбнулся и на этот раз. Он словно не заметил, что заливались и Коноплев, и Петр Кузьмич, а только на Сергея Щукина взглянул строго, как старший.

– Молод ты еще, чтобы над этим смеяться! Поживи с наше...

Но Щукин уже не унимался. К тому же и Петр Кузьмич, и Коноплев были явно на его стороне. Они оживленно подмаргивали ему и продолжали смеяться.

– Вот так и боимся! – сказал Коноплев.

Марфа за печкой молчала.

В контору ввалились два паренька комсомольского возраста.

– Вы зачем? – повернулся к ним Ципышев всем телом.

– Радио хотим послушать.

– Нельзя. У нас сейчас партсобрание будет.

– А нам куда? Тут нас много.

– Куда хотите.

Сказав это, Ципышев оглянулся на своих друзей, словно хотел узнать, одобряют ли они его поведение.

Петр Кузьмич не одобрил.

– Вот что, молодцы, – сказал он, обращаясь к ребятам. – Мы

тут провернем партсобрание, поговорим, а потом уж вы занимайте позиции.

Наконец пришла и учительница, Акулина Семеновна, – молодая, низкорослая, почти девочка. Она устало распутала и сняла с головы серый шерстяной платок и ткнулась в уголок под деревянную полку с приемником. С ее приходом немного оживился и Ципышев. Но это его оживление выразилось в том, что он преувеличенно строго, по-начальнически заговорил с учительницей:

– Ты что это, Акулина Семеновна, всех ждать заставляешь?

Акулина Семеновна виновато посмотрела на Ципышева, на Петра Кузьмича, потом на горшок с окурками, на лампу и опустила глаза.

– Ну... задержалась... в школе. Вот, Петр Кузьмич, – обратилась она к однокласснику, – я бы хотела до начала собрания решить вопрос. В школе дров нет...

– О делах потом, – оборвал ее Ципышев, – сейчас собрание проводить надо. Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а мы и одного сговориться запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

Иван Коноплев при этом крикнул, и Ципышев опять на какое-то мгновение словно бы почувствовал неловкость, неуверенность в себе и робко оглянулся вокруг, будто просил извинения за свои слова. Но все промолчали. Тогда голос Ципышева окончательно приобрел твердость и властность. Что произошло? Борода его расправилась, удлинилась, глаза посуровели, в них исчез живой огонек, который поблескивал в минуты простой дружеской беседы. К уборщице Марфе Ципышев обратился уже тоном приказа:

– Ты, Марфа, выйди! Мы тут партийное собрание проведем. Говорить будем.

И Марфа словно почувствовала происшедшую перемену – она не ослушалась, не заворчала.

– Говорите, говорите. Разве я не понимаю. Выйду.

Когда за притихшей Марфой тихо закрылась дверь, Ципышев встал и произнес те самые слова, которые в подобных случаях произносил секретарь райкома партии, и даже тем же сухим, строгим и словно бы заговорщицким голосом, каким говорил перед началом собраний секретарь райкома:

– Начнем, товарищи! Все в сборе?

Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чу-

додейственного механизма: все в избе начало преобразаться до неузнаваемости – люди, и вещи, и, кажется, даже воздух.

Щукин и Коноплев бесшумно отодвинулись от стола. Петр Кузьмич остался сидеть, где сидел, только подобрал наполовину свалившийся с плеч брезентовый плащ и положил его в сторону, на лавку. Учительница Акулина Семеновна еще больше втянулась в угол под радиоприемник. Лица у всех стали сосредоточенными, напряженными и скучными, будто люди готовились к чему-то очень давно знакомому, но все же торжественному и важному. Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем еще привычную и понятную для этих простых, сердечных людей.

– Все в сборе? – повторил Ципышев, оглядывая присутствующих, словно их было по крайней мере не один десяток.

А было их сейчас, как мы уже знаем, всего-навсего пятеро.

Животновод Степан Ципышев оказался секретарем парторганизации. В секретари его избрали недавно по рекомендации райкома. Польщенный этим, Ципышев старался как можно лучше исполнять свою роль и, будучи человеком неискушенным, невольно начал во всем подражать «хозяину района». Правда, иногда он сам иронизировал над собою, но всякое указание сверху исполнял все же с таким рвением и с такой буквальностью, – все из робости допустить какую-нибудь ошибку, – что порой не хуже было бы, если бы не всякая спица ставилась им в колесницу. Присутствовавший при избрании Ципышева зональный инструктор райкома пошутил, что у товарища Ципышева есть немало достоинств, но есть и недостатки, и главным его недостатком является борода. Ципышев принял эту шутку всерьез, как указание, и решил про себя, что бороду и все прочие волосы с лица обязательно снимет, но пока для этого не было подходящего случая.

Петр Кузьмич Кудрявцев, однорукий, оказался председателем колхоза. Иван Коноплев, как уже упоминалось, – бригадиром-полеводом. Сергей Щукин – кладовщиком.

С тех пор как Щукина поставили кладовщиком, а его предшественник снялся с учета в связи с переходом на работу в сельпо, рядовых колхозников в парторганизации не было. Акулина Семеновна – та уж совсем из интеллигенции, хотя была своя, односельчанка, и во всем зависела от правления колхоза.



– Первое слово по ходу дня предоставляю председателю нашего колхоза товарищу Петру Кузьмичу.

Кудрявцев Петр Кузьмич встал.

Ципышев сел.

Партийное собрание началось.

И началось то самое, о чем с такой откровенностью и прощательностью только что говорили между собой члены партийной организации, в том числе и сам секретарь ее, понося казенщину, бюрократизм, буквоедство в делах и в речах.

– Товарищи! – сказал председатель колхоза. – Райком и райисполком не утвердили нашего производственного плана. Я считаю, что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне – на это нам указали в райкоме и в райисполкоме...

А в прениях выступали и Акулина Семеновна, и Шукин, и Коноплев. Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания; правда, сейчас согласованность и единодушие проявлялись несколько в ином, можно сказать, в обратном значении.

Ципышев был удовлетворен сплоченностью коммунистов и по второму вопросу выступал сам.

Как-то зональный секретарь райкома партии обратил внимание на то, что в колхозе не развернута политико-воспитательная работа, и о соответствующих фактах сообщил докладной запиской первому секретарю райкома.

– Лучших мы, товарищи, не поощряем, – говорил в связи с этим Ципышев, – отсталых не наказываем, соревнования нет. Посмотрите хотя бы на нашу красно-черную доску – картина ясная. Надо возглавить массы, товарищи! Думаю так: наметить для премирования несколько объектов, для этого на каждом объекте подобрать одного-двух человек... А кое-кого штрафануть, чтобы в обе стороны правильно было... В райкоме нас одобряют...

Собрание единогласно постановило выделить пять человек на премию, трех – на штраф. Разговор возник только о том, на каких объектах нужно искать людей для поощрения, на каких – для наказания.

– Давайте подумаем, – предложил Ципышев. – Вот, скажем, за постройку скотного двора как будем? Премировать?

Решили штрафовать.

Ни одной резолюции написать не успели – вернулась Марфа, чтобы прибрать и запереть контору. Петр Кузьмич предложил составление резолюций поручить секретарю.

– Ты напиши знаешь как, – шептал он, довольный, что собрание подошло к концу, – «В обстановке высокого трудового подъема по всему колхозу развертывается...»

«По всей стране...» – подсказал Щукин...

1956

...Давно, в ноябре 1962 года, открылась страница журнала — и цепко, железными пальцами ээка схватил за плечо никому неведомый прежде автор — и не выпустил из рук до последних строк.

Что-то очень новое в советской литературе ощущалось с самых первых слов: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака». Личное восприятие старожила, старожителя еще неведомых читателю мест (мы не знаем еще, где именно происходит действие!) проступило в словах «как всегда». Это был не привычный для литературы тех лет безличный автор — кто-то имел здесь опыт личного наблюдения, достаточный для такого обобщения.

В следующих абзацах появлялись новые для литературы — и не всем тогда известные — слова: барак, надзиратель, параша, зона, лагерь.

Медленно, как хорошо закатанный в брезент труп в финале одного французского фильма, труп, случайно подцепленный тросом судна и теперь неминуемо должный погубить судьбу главного героя, всплывал в этой повести с невидимого дна жизни страны на свет литературы тщательно затопленный, никому доселе не видимый мир — со своими законами морали и быта, со своими правилами поведения. И становилось ясно, что этот мир огромен, что в нем перебивало полстраны безвинных, оторванных от семьи, от возможности полезной деятельности людей...

Мариэтта Чудакова

В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить.

Шухов никогда не просыпал подъёма, всегда вставал по нему – до развода было часа полтора времени своего, не казённого, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптёркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку – тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное – если в миске что осталось, не удержишься, начнёшь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина – старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет, и своему пополнению, привезённому с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

– Здесь, ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.

Насчёт кума – это, конечно, он загнул. Те-то себя берегут. Только береженье их – на чужой крови.

Всегда Шухов по подъёму вставал, а сегодня не встал. Ещё с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось – то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Всё не хотелось, чтобы утро.

Но утро пришло своим чередом.

Да и где тут угреешься – на окне наледи намётано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку – здоровый барак! – паутина белая. Иней.

Шухов не вставал. Он лежал наверху *вагонки*, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвёрнутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам всё понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается инвалид, лёгкая работа, а ну-ка поди вынеси, не проля! Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот – и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Пом-

бригадир сейчас в хлеборезку пойдёт, а бригадир – в штабной барак, к нарядчикам.

Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит, – Шухов вспомнил: сегодня судьба решается – хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект «Соцгородок». А Соцгородок тот – поле голое, в увалах снежных, и, прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать – чтоб не убежать. А потом строить.

Там, верное дело, месяц погреться негде будет – ни конурки. И костра не разведёшь – чем топить? Вкалывай на совесть – одно спасение.

Бригадир озабочен, уладить идёт. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм.

Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти *косануть*, от работы на денёк освободиться? Ну прямо всё тело разнимает.

И ещё – кто из надзирателей сегодня дежурит?

Дежурит – вспомнил – Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь – прямо страшно, а узнали его – из всех дежурняков покладистей: ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятым барак.

Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: наверху – сосед Шухова баптист Алёшка, а внизу – Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг.

Старики дневальные, вынеся обе параша, забранились, кому идти за кипятком. Бранились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рывкнул:

– Эй, *фитилі!* – и запустил в них валенком. – Помирю!

Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали.

В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир:

– Василь Фёдорыч! В продстоле передёрнули, гады: было девятисоток четыре, а стало три только. Кому ж недодать?

Он тихо это сказал, но уж конечно вся та бригада слышала и затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут.

А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала – или забило бы в ознобе, или ломота прошла. А ни то ни сё.

Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно:

– Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных!  
И Шухов решил – идти в санчасть.

И тут же чья-то имеющая власть рука сдёрнула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой Татарин.

Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.

– Ше-восемьсот пятьдесят четыре! – прочёл Татарин с белой латки на спине чёрного бушлата. – Трое суток *кондея с выводом!*

И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всём полутёмном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопьяных вагонок спало двести человек, сразу заворочались и стали поспешно одеваться все, кто ещё не встал.

– За что, гражданин начальник? – придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов.

С выводом на работу – это ещё полкарцера, и горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер – это когда *без вывода.*

– По подъёму не встал? Пошли в комендатуру, – пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей.

На безволосом мятом лице Татарина ничего не выразилось. Он обернулся, ища второго кого бы, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в чёрные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу – переждать Татарина на дворе.

Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил, – не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь (повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нём выведен чёрной, уже поблекшей краской номер Щ-854), надел телогрейку (на ней таких номера было два – на груди один и один на спине), выбрал свои ва-

ленки из кучи на полу, шапку надел (с таким же лоскутом и номером спереди) и вышел вслед за Татаринцом.

Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал, ни к чему, да и что скажешь? Бригадир бы мог маленько вступитья, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал. Татарина не стал дразнить. Прибегут завтрак, догадаются.

Так и вышли вдвоём.

Мороз был со мглой, прихватывающей дыхание. Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звёзды.

Скрипя валенками по снегу, быстро пробежали ээки по своим делам – кто в уборную, кто в каптёрку, иной – на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть.

А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шёл ровно, и мороз как будто совсем его не брал.

Они прошли мимо высокого дощаного заплота вокруг БУРа – каменной внутрилагерной тюрьмы; мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключённых; мимо угла штабного барака, где, толстой проволокою подхваченный, висел на столбе обындевший рельс; мимо другого столба, где в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обмётанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку: если б он показал сорок один, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на сорок.

Вошли в штабной барак и сразу же – в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге: никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол.

Мыть пол в надзирательской было дело специального ээка, которого не выводили за зону, – дневального по штабному бараку прямое дело. Но, давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора, и начальника режима, и

кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чём дело, и стали *дёргать* на полы из работяг.

В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастёрок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой.

Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение:

– Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залёживаться.

Закон здесь был простой: кончишь – уйдёшь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек (наскорях забыл их под подушкой) пошёл к колодцу.

Бригадиры, ходившие в ППЧ – планово-производственную часть, столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирает термометр.

Снизу советовали:

– Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

– Фуимется! – поднимется!.. не влияет.

Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал.

А тот хрипло сказал со столба:

– Двадцать семь с половиной, хреновина.

И ещё доглядев для верности, прыгнул.

– Да он неправильный, всегда брешет, – сказал кто-то. – Разве правильный в зоне повесят?

Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но незавязанными наушниками поламывало уши морозом.

Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва пролезало в дыру ведро. И верёвка стояла колбм.

Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потёпло.

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки и сон и спорили, по скольку им дадут в ян-



варе пшена (в посёлке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой).

– Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! – отвлёкся один из них.

Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться не во что, хоть и в барак побеги. Разных порядков с обувью наглядился Шухов за восемь лет сидки: бывало, и вовсе без валенок зиму пережаживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилось: в октябре получил Шухов (а почему получил – с помбригадиром вместе в каптёрку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две тёплых портянки. С неделю ходил как именинник, всё новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели – житуха, умирать не надо. Так какой-то чёрт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, беспорядок – чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навывлет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берёг, солидолом умягчал, ботинки новёхонькие, ах! – ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут. Точно, как лошадей в колхоз сгоняли.

Сейчас Шухов так догадался: проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки (ложка звякнула на пол; как быстро ни снаряжался в карцер, а ложку не забыл) и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям.

– Ты! гад! потише! – спохватился один, подбирая ноги на стул.

– Рис? Рис по другой норме идёт, с рисом ты не равняй!

– Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет?

– Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въелась грязь-то...

– Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка?

Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цынгой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом

начисто его проносило, истощённый желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявень от того времени и осталось.

– От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомню, какая она и баба.

– Так вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить.

– Да на хрена его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвёртый! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда.

– Рис! Пшёнку с рисом ты не равняй!

Шухов бойко управлялся.

Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь – дай показуху.

А иначе б давно все подошли, дело известное.

Шухов протёр доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, – и наискось, мимо бани, мимо тёмного охолодавшего здания клуба, надал к столовой.

Надо было ещё и в санчасть поспеть, ломало опять всего. И ещё надо было перед столовой надзирателям не попасться: был приказ начальника лагеря строгий – одиночек отставших ловить и сажать в карцер.

Перед столовой сегодня – случай такой дивный – толпа не густилась, очереди не было. Заходи.

Внутри стоял пар, как в бане, – напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И всё равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной – по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать.

Там, за столом, ещё ложку не окунумши, парень молодой крестится. Бендеровец, значит, и то новичок: старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста отстали.

А русские – и какой рукой креститься, забыли.

Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбёшки из-под листьев чёрной капусты и выплёвывая косточки на стол. Когда их наберётся гора на столе – перед новой бригадой кто-нибудь смахнёт, и там они дохрястывают на полу.

А прямо на пол кости плевать – считается вроде бы неаккуратно.

Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков, стерёг ему завтрак. Это был из последних бригадников, поплоче Шухова. Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно – ступеньками идёт. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмёт, есть пониже.

Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место.

– Уж застыло всё. Я за тебя есть хотел, думал – ты в кондее.

И – не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукатурит дочиста.

Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал её в песке из алюминиевого провода, на ней и наколка стояла: «Усть-Ижма, 1944».

Потом Шухов снял шапку с бритой головы – как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке – и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не с начала бака наливали, но и не доболтки. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из неё картошку выловил.

Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная. Однако он стал есть её так же медленно, внимчиво. Уж тут хоть крыша гори – спешить не надо. Не считая сна, лагерник живёт для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином.

Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело – какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну солёную морковку – так и прошла баланда на чистой моркошке с

сентября до июня. А нонче – капуста чёрная. Самое сытное время лагернику – июнь: всякий овощ кончается, и заменяют крупой. Самое худое время – июль: крапиву в котёл секут.

Из рыбки мелкой попадались всё больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбьего скелета не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов ещё мял зубами, высасывал скелет – и выплёвывал на стол. В любой рыбе ел он всё, хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно – большие рыбьи глаза – не ел. Над ним за то смеялись.

Сегодня Шухов сэкономил: в барак не зашедши, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб – его потом отдельно нажать можно, ещё сытей.

На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов её отламывал кусочками. Магара не то что холодная – она и горячая ни вкуса, ни сытости не оставляет: трава и трава, только жёлтая, под вид пшена. Придумали давать её вместо крупы, говорят – от китайцев. В варёном весе триста грамм тянет – и лады: каша не каша, а идёт за кашу.

Облизав ложку и засунув её на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошёл в санчасть.

Было всё так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звёзды. И всё так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь, Особый, зачинали – ещё фронтowych ракет осветительных больно много было у охраны, чуть погаснет свет – сыпят ракетами над зоной, белыми, зелёными, красными, война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дороги обходятся?

Была всё та же ночь, что и при подъёме, но опытному глазу по разным мелким приметам легко было определить, что скоро ударят развод. Помощник Хромого (дневальный по столовой Хромой от себя кормил и держал ещё помощника) пошёл звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. В культурно-воспитательную часть поплёлся старый художник с бородкой – за краской и кисточкой, номера писать. Опять же Татарин широкими шагами, спеша, пересек линейку в сторону штабного бара-

ка. И вообще снаружи народу поменело, – значит, все при-  
ткнулись и греются последние сладкие минуты.

Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадёшься – опять пригребётся. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам – перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредёт, как слепой, ему всё равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали, псы клятые. Нет уж, за углом перестоим.

Миновал Татарин – и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из седьмого барака прийти купить два стакана самосада, а Шухов захлопотался, из головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку, и, может, завтра уж этого самосада не будет, жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой.

Раздосадовался Шухов, затоптался – не повернуть ли к седьмому бараку. Но до санчасти совсем мало оставалось, и он потрусил к крыльцу санчасти.

Слышно скрипел снег под ногами.

В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель.

Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, ещё с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер – молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате – и что-то писал.

Никого больше не было.

Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от края, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это – не работа, а по левой, но ему до того не было дела.

– Вот что... Николай Семёныч... я вроде это... болен... – совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов.

Вдовушкин поднял от работы спокойные, большие глаза. На нём был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было.

– Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришёл? Ты же знаешь, что утром приёма нет? Список освобождённых уже в ППЧ.

Всё это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще.

– Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит...

– А что – оно? Оно – что болит?

– Да разобраться, бывает, и ничего не болит. А недужит всего.

Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек – и двух он уже освободил, и под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека и подведена черта.

– Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты – под самый развод? На!

Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтёр от раствора и дал Шухову держать.

Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая и что пришёл он в неё за малым.

А Вдовушкин писал дальше.

Санчасть была в самом глухом, дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали – заключённым часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли – всех их повыловил больничный кот, на то поставленный.

Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых пять минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены – ничего на них не нашёл. Осмотрел телогрейку свою – номер на груди пообтёрся, каб не зацапали, надо подновить. Свободной рукой ещё бороду опробовал на лице – здоровая выперла, с той бани растёт, дней боле десяти. А и не мешает. Ещё дня через три баня будет,

тогда и поброют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого.

Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришёл туда с повреждённой челюстью и – недотыка ж хренова! – доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать.

Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три, не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, – лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым – лады.

Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлёжу нет. С каким-то этапом новый доктор появился – Степан Григорьич, гонкий такой да звонкий, сам сумутится, и больным нет покою: выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице: загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой – снегозадержание. Говорит, от болезни работа – первое лекарство.

От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке – небось бы тихо сидел.

...А Вдовушкин писал своё. Он вправду занимался работой «левой», но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьичу, тому самому врачу.

Как это делается только в лагерях, Степан Григорьич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на тёмных работягах да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле.

...Сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стёкла еле слышно донёсся звонок развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел.

– Видишь, ни то ни сё, тридцать семь и две. Было бы тридцать восемь, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчи-

тает доктор больным – освободит, а здоровым – отказчик, и в БУР. Сходи уж лучше за зону.

Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Тёплый зяблого разве когда поймёт?

Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова, вынудил его закашляться. В морозе было двадцать семь, в Шухове тридцать семь. Теперь кто кого.

Трусой побежал Шухов в барак. Линейка напролёт была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минута короткая, разморчивая, когда уже всё оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в тёплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам, – тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтёры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю цыгарку перед обыском. А заключённые, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми верёвочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, – лежат на нарах поверх одеял в валенках и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет: «Па-дъём!»

Дремала со всем девятым баракком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком да на верхних нарах баптист Алёшка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина евангелия.

Шухов вбежал хоть и стремглав, а тихо совсем, и – к помбригадировой вагонке.

Павло поднял голову.

– Нэ посадылы, Иван Денисыч? Живы? – (Украинцев западных никак не переучат, они и в лагере по отечеству да выкают.)

И, со стола взявши, протянул пайку. А на пайке – сахару черпачок опрокинут холмиком белым.

Очень спешил Шухов и всё же ответил прилично (помбригадир – тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря). Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник – лезть наверх постель заправлять, – а пайку так и так посмотрел и рукой на лету взвесил: есть ли в ней те пятьсот пятьдесят грамм, что положены. Паек этих тысячу не одну



переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и *качать права* он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке – только какая, велика ли? Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить – может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все?

Грамм двадцать не дотягивает, – решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит (на фабрике телогрейки для эков шьют без карманов). Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же, да наспех еда не еда, пройдёт даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал: вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий.

И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из неё иголочку с ниточкой (тоже запрятана глубоко, на *шмоне* шапки тоже шупают: одна́ надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил). Стежь, стежь, стежь – вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Всё в Шухове было напряжено до крайности – вот сейчас нарядчик в дверях заорёт. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперёд, располагала, что дальше.

Баптист читал евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание (может, для Шухова нарочно, они ведь, эти баптисты, любят агитировать, вроде политруков):

– «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.»

За что Алёшка молодец: эту книжечку свою так заса́вывает ловко в щель в стене – ни на едином *шмоне* ещё не нашли.

Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, ещё пару худых портянок, верёвочку и тряпочку с двумя ру-

безками. Опилки в матрасе чудок разровнял (тяжёлые они, сбитые), одеяло вкруговую подоткнул, подушку кинул на место – босиком же слез вниз и стал обуваться, сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие, поверх.

И тут бригадир прогаркнулся, встал и объявил:

– Кон-чай ночевать, сто четвёртая! Вы-ходи!

И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир девятнадцать лет сидит, он на развод минутой раньше не выгонит. Сказал – «выходи!» – значит, край выходить.

И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил: «Вы-ходи!» – Шухов доспел валенки обуть на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться верёвочкой (ремни кожаные были у кого, так отобрали – нельзя в Особлаге ремень).

Так Шухов всё успел и в сенях нагнал последних своих бригадников – спины их с номерами выходили через дверь на крылечко. Толстоватые, навернувшие на себя всё, что только было из одёжки, бригадники наискосок, гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали.

Всё ещё темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий, злой потягивал с восхода ветерок.

Вот этой минуты горше нет – на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь.

У линейки метался младший нарядчик.

– Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься?

Младшего-то нарядчика разве Шухов боится, только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит, топает себе молча. И бригада за ним по снегу: топ-топ, скрип-скрип.

А килограмм сала, должно, отнёс – потому что опять в свою колонну пришла 104-я, по соседним бригадам видать. На Соцгородок победней да поглупей кого погонят. Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!

Бригадиру сала много надо: и в ППЧ нести и своё брюхо утولاкивать. Бригадир хоть сам посылки не получает – без сала не сидит. Кто из бригады получит – сейчас ему дар несёт.

А иначе не проживёшь.

Старший нарядчик отмечает по дощечке:

– У тебя, Тюрин, сегодня один болен, на выходе двадцать три?

– Двадцать три, – бригадир кивает.

Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен?

И сразу шу-шу-шу по бригаде: Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, *опер* его оставил. Опять будет стучать на кого-то.

Днём его вызовут без помех, хоть три часа держи, никто не видел, не слышал.

А проводят по санчасти...

Вся линейка чернела от бушлатов – и вдоль её медленно переталкивались бригады вперёд, к шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке, протискался через линейку на тот бок. Там к художнику два-три зэка в очереди стояли. И Шухов стал. Номер нашему брату – один вред, по нему издали надзиратель тебя заметит, и конвой запишет, а не обновить номера в пору – тебе же и кондей: зачем об номере не заботишься?

Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные, а ещё в черёд ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой – ну точно как поп миром лбы мажет.

Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука окостеневает, чисел не выводит.

Художник обновил Шухову «Щ-854» на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до шмона оставалось недалеко, с верёвочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел: однобригадник его Цезарь курил, и курил не трубку, а сигарету, – значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и вполоборота глядел мимо него.

Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки (Цезарь затягивался редко, в задумчивости) ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя её и подбираясь к мундштуку.

Тут же и Фетюков, шакал, подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят.

У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть – он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, – но он бы себя не уронил и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел.

В Цезаре всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган – не поймёшь. Молодой ещё. Картины снимал для кино. Но и первой не доснял, как его посадили. У него усы чёрные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке.

– Цезарь Маркович! – не выдержав, прослюнявил Фетюков. – Да-айте разок потянуть!

И лицо его передёргивалось от жадности и желания.

...Цезарь приоткрыл веки, полупущенные над чёрными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтоб не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел: «Оставь докурить!»

...Цезарь повернулся к Шухову и сказал:

– Возьми, Иван Денисыч!

И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука.

Шухов встрепенулся (он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит), одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а вторую страховал снизу, чтоб не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке (у кого рот чистый, а у кого и гунявый), и пальцы его закаленные не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фетюкова-шакала пересёк и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. М-м-м-м! Дым разошёлся по голодному телу, и в ногах отдалось и в голове.

И только эта благодать по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул:

– Рубахи нижние отбирают!..

Так и вся жизнь у ээка. Шухов привык: только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись.

Почему – рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал?.. Не, не так...

Уж до шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела: подошёл от штабного барака начальник режима лейтенант Волковóй и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонавшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери, а старшина их крикнул:

– Ра-ас-стегнуть рубахи!

Волкового не то что эски и не то что надзиратели – сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму метит, фамилицу дал! – иначе, как волк, Волковой не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный – и носится быстро. Вынырнет из барака: «А тут что собрались?» Не ухоронишься. Поперву он ещё плётку таскал, как рука до локтя, кожаную, кручёную. В БУРе ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся эски у барака, а он подкрадется сзади да хлесь плетью по шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от него толпу шархнет. Обожжённый за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб ещё БУРа не дал.

Теперь что-то не стал плётку носить.

В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий: заключённый растёгивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали эска по бокам запоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, лентясь: «Это – что?»

Утром что́ искать у эска? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несёт ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так так этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чём тут они, враги, предполагали выгадать – нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, всё равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменяй ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на

автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять всяк себе.

Ещё проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский под зёковский? Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отменены и до конца срока не отдадут, сказали. А кон-ца срока в этом лагере ни у кого ещё не было.

И проверить – письма не несёт ли, чтоб через вольного толкнуть? Да только у каждого письмо искать – до обеда проканителишься.

Но крикнул что-то Волковой искать – и надзиратели быстро перчатки снимали, телогрейки велят распустить (где каждый тепло барачное спрятал), рубахи расстегнуть – и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено зэку две рубахи – нижняя да верхняя, остальное снять! – вот как передали зэки из ряда в ряд приказ Волкового. Какие раньше бригады прошли – ихее счастье, уж и за воротами некоторые, а эти – открывайся! У кого поддето – скидай тут же на морозе!

Так и начали, да неурядка у них вышла: в воротах уже прочистилось, конвой с вахты орёт: давай, давай! И Волковой на 104-й сменил гнев на милость: записывать, на ком что лишнее, вечером сами пусть в каптёрку сдадут и объяснительную напишут: как и почему скрыли.

На Шухове-то всё казённое, на, шупай – грудь да душа, а у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского, кесь, жилетик или напузник какой-то. Буйновский – в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трёх месяцев нет:

– Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы д е в я т у ю статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь.

– Вы не советские люди! – долбаёт их капитан.

Статью из кодекса ещё терпел Волковой, а тут, как молния чёрная, передёрнулся:

– Десять суток строгого!

И потише старшине:

– К вечеру оформишь.

Они по утрам-то не любят в карцер брать: человеко-выход теряется. День пусть спину погнёт, а вечером его в БУР.

Тут же и БУР по левую руку от линейки: каменный, в два крыла. Второе крыло этой осенью достроили – в одном помещаться не стали. На восемнадцать камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная.

Холод под рубаху зашёл, теперь не выгонишь. Что укутаны были эки – всё зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную лечь бы сейчас – и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжелее.

Стоят эки перед воротами, застёгиваются, завязываются, а снаружи конвой:

– Давай! Давай!

И нарядчик в спины пихает:

– Давай! Давай!

Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты.

– Стой! – шумит вахтёр. – Как баранов стадо. Разберись по пять!

Уже рассмеркивалось. Догорал костёр конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костёр – чтобы греться и чтоб считать виднее.

Один вахтёр громко, резко отсчитывал:

– Первая! Вторая! Третья!

И пятёрки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног.

А второй вахтёр – контролёр, у других перил молча стоит, только проверяет, счёт правильный ли.

И ещё лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек – дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет – свою голову туда добавишь.

И опять бригада слилась вся вместе.

И теперь сержант конвоя считает:

– Первая! Вторая! Третья!

И пятёрки опять отделяются и идут цепочками отдельными.

И помощник начальника караула с другой стороны проверяет.

И ещё лейтенант.

Это от конвоя.

Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься – своей головой заменишь.

А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеётся над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные: тот надевает, кому на вышку идти.

И ещё раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятёркам.

– На восходе самый большой мороз бывает! – объявил кавторанг. – Потому что это последняя точка ночного охлаждения.

Капитан любит вообще объяснять. Месяц какой – молодой ли, старый, – рассчитает тебе на любой год, на любой день.

На глазах доходит капитан, щёки ввалились, – а бодрый.

Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему притерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет по дороге на ТЭЦ дуть всё время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей рубезочки провёл, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Ещё передний отворот шапчёнки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бечёвочкой. Всё теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тёр и хлопал ими, зная, что сейчас придётся взять их за спину и так держать всю дорогу.

Начальник караула прочёл ежедневную надоевшую арестантскую «молитву»:

– Внимание, заключённые! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятёрки в пятёрку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад! Шаг вправо, шаг влево – считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения! Направляющий, шагом марш!



И, должно, пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и конвой, – справа и слева от колонны шагах в двадцати, а друг за другом через десять шагов, – пошёл, держа автоматы наготове.

Снегу не было уже с неделю, дорога проторена, убита. Обогнули лагерь – стал ветер наискось в лицо. Руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна, как на похороны. И видно тебе только ноги у передних двух-трёх да клочок земли утопанной, куда своими ногами переступить. От времени до времени какой конвоир крикнет: «Ю-сорок восемь! Руки назад!», «Бэ-пятьсот два! Подтянуться!» Потом и они реже кричать стали: ветер сечёт, смотреть мешает. Им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная...

В колонне, когда потеплей, все разговаривают – кричи не кричи на них. А сегодня пригнулись все, каждый за спину переднего хоронится, и ушли в свои думки.

Дума арестантская – и та несвободная, всё к тому ж возвращается, всё снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? В санчасти освободят ли вечером? Посадят капитана или не посадят? И как Цезарь на руки раздобыл своё бельё тёплое? Наверно, подмазал в каптёрке личных вещей, откуда ж?

Из-за того, что без пайки завтракал и что холодное всё съел, чувствовал себя Шухов сегодня несатым. И чтобы брюхо не занывало, есть не просило, перестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро домой писать.

Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного эками, мимо жилого квартала (собирали бараки тоже эки, а живут вольные), мимо клуба нового (тоже эки всё, от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят), и вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного.

Начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нём Шухов право на два письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Усть-Ижме, там иначе был порядок, пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне.

Из дому Шухов ушёл двадцать третьего июня сорок первого года. В воскресенье народ из Поломни пришёл от обедни и говорит: война. В Поломне узнала почта, а в Темгенёве ни у

кого до войны радио не было. Сейчас-то, пишут, в каждой избе радио галдит, проводное.

Писать теперь – что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло – тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильдигсом, латышом, больше об чём говорить, чем с домашними.

Да и они два раза в год напишут – жизни их не поймёшь. Председатель колхоза де новый – так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили – так его и ране укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, ещё кто нормы трудодней не выполняет – огороды поджали до пятнадцати соток, а кому и под самый дом обрезали. Ещё, писала когда-то баба, был закон за норму ту судить и кто не выполнит – в тюрьму сажать, но как-то тот закон не вступил.

Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись – колхоза не признают: живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырёх лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких ещё с тридцатого года загнали, а как они свалятся – и колхоз сдохнет.

Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь одиночную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали – этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?

Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, весёлый – это ковры красить. Привёз кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков *красилей* набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку даёт, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей

стране и даже в самолётах летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры мажут: пятьдесят рублей ковёр на любой простыне старой, какую дают, какую не жалко, – а рисовать тот ковёр будто бы час один, не боле. И очень жена надежду таит, что вернётся Иван и тоже в колхоз ни ногой, и тоже таким красилём станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьётся, детей в техникум отдадут, и вместо старой избы гнилой новую поставят. Все красили себе дома новые ставят, близ железной дороги стали дома теперь не пять тысяч, как раньше, а двадцать пять.

Хоть сидеть Шухову ещё немало, зиму-лето да зиму-лето, а всё ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет лишение прав или ссылка. Просил он тогда жену описать – как же он будет красилём, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что́ на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трёх сортов: один ковёр «Тройка» – в упряжи красивой тройка везёт офицера гусарского, второй ковёр – «Олень», а третий – под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковёр не пятьдесят рублей, а тысячи стоит.

Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...

По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что́ завтра, что́ через год да чем семью кормить. Обо всём за него начальство думает – оно будто и легче. А как на волю вступишь?..

Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы.

В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, лёгкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился.

Лёгкие деньги – они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что

не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова ещё добрые, смогают, неуж он себе на воле верной работы не найдёт?

Да ещё пустят ли когда на ту волю? Не навесят ли ещё *десятки* ни за так?..

Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны *объекта*. Ещё раньше, с угла зоны, два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займёт, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошёл на вахту. А из вахты, из трубы, дым не переставая клубится: вольный вахтёр всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент.

Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, – солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алёшка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла. Щёки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает – чему рад? По воскресеньям всё с другими баптистами шепчется. С них лагеря как с гуся вода. По двадцать пять лет вкатили им за баптистскую веру – неуж думают тем от веры отвадить?

Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания и кой-где морозом прихватилась, коркой стала ледяной. Шухов её ссунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки озябли в худых рукавичках да онемели пальцы на левой ноге: валенок-то левый горетый, второй раз подшитый.

Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает – как работать?

Оглянулся – и на бригадира лицом попал, тот в задней пятёрке шёл. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смахуёчками он бригаду свою не жалуется, а кормит – ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын Гулага, лагерный обычай знает напрожог.

Бригадир в лагере – это всё: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов ещё по Усть-Ижме, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы, из общего лагеря, перегнали пятьдесят восьмую статью сюда, в каторжный, – тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами

Шухов дела не имеет: везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнёт бровью или пальцем покажет – беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьича не обманывай. И будешь жив.

И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить, – а боязно перебивать его высокую думу. Только что Соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает, от неё пять следующих дней питания зависят.

Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы. Стоит против ветра – не поморщится, кожа на лице – как кора дубовая.

Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок! Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят – опять в зону не пускают. Бдительность травят.

Ну! Вышли начкар с контролёром из вахты, по обоим сторонам ворот стали, и ворота развели.

– Р-раз-берись по пятёркам! Пер-рвая! Втор-ра-я!

Зашагали арестанты как на парад, шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, а там не учи, что делать.

За вахтой вскоре – будка конторы, около конторы стоит прораб, бригадиров заворачивает, да они и сами к нему. И Дэр туда, десятник из эзков, сволочь хорошая, своего брата-зэка хуже собак гоняет.

Восемь часов, пять минут девятого (только что энергопоезд прогудел), начальство боится, как бы зэки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались – а у эзков день большой, на всё время хватит. Кто в зону зайдёт, наклоняется: там щепочка, здесь щепочка, нашей печке огонь. И в норы зауркивают.

Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, – и *придурком* работает в конторе, помощником нормировщика.

А остальная 104-я сразу в сторону, и дёру, дёру.

Солнце взошло красное, мглистое над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено, авторемонтные мас-

терские под перекрытие выведены, а на бугре – ТЭЦ в начале второго этажа.

И – попрятались все. Только шесть часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть! Старший прораб сколько, говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера – а никак не наладят. Потому что с вечера до утра у них всё наоборот поворачивается.

А миг – наш! Пока начальство разберётся – приткнись, где потеплей, сядь, сиди, ещё наломаешь спину. Хорошо, если около печки, – портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут тёплые. А и без печки – всё одно хорошо.

Сто четвёртая бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени и 38-я бригада бетонные плиты льёт. Одни плиты в формах лежат, другие стоймя наставлены, там арматура сетками. До верху высоко и пол земляной, тепло тут не будет тепло, а всё ж этот зал обтапливают, угля не жалеют: не для того, чтоб людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит.

Тридцать восьмая, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обседа, портянки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку, ничего.

Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку упёрся. И когда он отклонился – натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он ощутил, как подавливает твёрдое что-то. Это твёрдое было – из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда – пять часов, протяжно.

А что в спине поламывало – теперь в ноги перешло, ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы!..

Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа её в запазушке, чтобы ни крошка

мимо той тряпицы не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронёс под двумя одёжками, грел его собственным теплом – и оттого он не мёрзлый был ничуть.

В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку – целыми сковородами, кашу – чугунками, а ещё раньше, по-без-колхозов, мясо – ломтями здоровыми. Да молоко дули – пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо – чтоб думка была на одной еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнёшь, и щеками подсасываешь – и такой тебе духовитый этот хлеб чёрный сырой. Чтó Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го!

Так Шухов занят был своими двумястами граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я.

Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, по очереди, курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. И ели они всё пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились – всё промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда Советы уставились, ребёнком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад, дурандай, на родину, институт кончать. Тут его и взяли сразу.

Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал – плохих людей ему не попадалось.

И все сидели – кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый в мысли свои упёрся, молчит. Фетюков-шакал насобирали где-то окурков (он их и из плевательницы вывернет, не погребует), теперь на коленях их разворачивал и непереговоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей трое, но как сел – от него все отказались, а жена замуж вышла: так помощи ему ниоткуда.

Буйновский косился-косился на Фетюкова, да и гавкнул:  
– Ну, что заразу всякую собираешь? Губы тебе сифилисом обмечет! Брось!

Кавторанг – он командовать привык, он со всеми людьми так разговаривает, как командует.

Но Фетюков от Буйновского ни в чём не зависит – кавторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал:

– Подожди, кавторанг, восемь лет посидишь – ещё и ты собирать будешь.

Это верно, и гордей кавторанга люди в лагерь приходили...

– Чего-чего? – недослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал – про то разговор идёт, как Буйновский сегодня на разводе погорел. – Залупаться не надо было! – сокрушённо покачал он головой. – Обошлось бы всё.

Сенька Клевшин – он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, ещё в сорок первом. Потом в плен попал, бежал три раза, излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул, теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадёшь.

Это верно, кряхти да гнись. А упрёшься – переломишься.

Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает.

Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок – полукруглой верхней корочки – оставил. Потому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов, пусть теперь на работу шлют. А лучше б и ещё помедлили.

Тридцать восьмая бригада встала, разошлась: кто к расвторомешалке, кто за водой, кто к арматуре.

Но ни Тюрин не шёл к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут двадцать, а день рабочий – зимний, укороченный – был у них до шести, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко.

– Эх, буранов давно нет! – вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильдигс. – За всю зиму – ни бурана! Что за зима?!



– Да... буранов... буранов... – перевздохнула бригада.

Когда задует в местности здешней буран, так не то что на работу не ведут, а из барака вывести бояться: от барака до столовой если верёвку не протянешь, то и заблудишься. Замёрзнет арестант в снегу – так пёс его ешь. А ну-ка убежит? Случаи были. Снег при буране мелочкий-мелочкий, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу, через проволоку перемётанному, и уходили.

Недалеко, правда.

От бурана, если рассудить, пользы никакой: сидят ээки под замком; уголь не вовремя, тепло из барака выдувает; муки в лагерь не подвезут – хлеба нет; там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул – три ли дня, неделю ли, – эти дни засчитывают за выходные и столько воскресений подряд на работу выгонят.

А всё равно любят ээки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернёт – все на небо запрокидываются: матерьяльчику бы! матерьяльчику!

Снежку, значит.

Потому что от позёмки никогда бурана стоящего не разыграется.

Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады, его оттуда шуранули.

Тут в зал вошёл и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники: что-то делать надо, и быстро.

– Та-ак, – огляделся Тюрин. – Все здесь, сто четвёртая?

И, не проверяя и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих да Клевшина с Гопчиком послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уж из того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Ещё двоих послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ, и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Ещё двоим велел в зале том печь топить – углем и досок спереть, поколоть. И одному цемент на санках туда везти. И двоим воду носить, а двоим песок, и ещё одному из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать.

И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдигс – первые в бригаде мастера. И, отозвав их, бригадир им сказал:

– Вот что, ребята! – (А был не старше их, но привычка такая у него была – «ребята».) – С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью шестая бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там три окна больших, их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам ещё людей на помощь дам, только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная и обогревалка. Не нагреем – помёрзнем как собаки, поняли?

И может быть, ещё б чего сказал, да прибежал за ним Гопчик, хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросёнок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не даёт, дерутся. И Тюрин умахнул туда.

Как ни тяжело было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это и важно было переступить, только его.

Шухов и Кильдигс посмотрели друг на друга. Они не раз уж работали вдвоём и уважали друг в друге и плотника и каменщика. Издобыть на снегу голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильдигс сказал:

– Ваня! Там, где дома сборные, знаю я такое местечко – лежит здоровый рулон толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнём?

Кильдигс хотя и латыш, но русский знает как родной, – у них рядом деревня была старообрядческая, сыздетства и научился. А в лагерях Кильдигс только два года, но уже всё понимает: не выкусишь – не выпросишь. Зовут Кильдигса Ян, Шухов тоже зовёт его Ваня.

Решили идти за толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок – большое дело для каменщика, если он по руке и лёгóк. Однако на каждом объекте такой порядок: весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь – это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берёт. Конечно, погнали б сегодня 104-ю на Соцгородок – и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в шёлку пальцы засунул – вот он, вытянул.

Шухов и Кильдигс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шёл от их дыхания.

Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали – не столбы ли? – кивнул Шухов Кильдигсу.

– А нам столбы не мешают, – отмахнулся Кильдигс и засмеялся. – Лишь бы от столба до столба колючку не натянули, ты вот что смотри.

Кильдигс без шутки слова не знает. За то его вся бригада любит. А уж латыши со всего лагеря его почитают как! Ну, правда, питается Кильдигс нормально, две посылки каждый месяц, румяный, как и не в лагере он вовсе. Будешь шутить.

Ихъего объекта зона здоровá – пока-а пройдёшь через всю! Попались по дороге из 82-й бригады ребяташки – опять их ямки долбать заставили. Ямки нужны невелики: пятьдесят на пятьдесят и глубины пятьдесят, да земля та и летом как камень, а сейчас морозом схваченная, пойдёшь её угрызи. Долбают её киркой – скользит кирка, и только искры сыплются, а земля – ни крошки. Стоят ребяташки каждый над своей ямкой, оглянутся – греться им негде, отойти не велят, – давай опять за кирку. От неё всё тепло.

Увидел среди них Шухов знакомого одного, вятича, и посоветовал:

– Вы бы, слышь, землерубы, над каждой ямкой тёплянку развели. Она б и оттаяла, земля-та.

– Не велят, – вздохнул вятич. – Дров не дают.

– Найти надо.

А Кильдигс только плюнул.

– Ну, скажи, Ваня, если б начальство умное было – разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?

Ещё Кильдигс выругался несколько раз неразборчиво и смолк, на морозе не разговоришься. Шли они дальше и дальше и подошли к тому месту, где под снегом были погребены щиты сборных домов.

С Кильдигсом Шухов любит работать, у него одно только плохо – не курит, и табаку в его посылках не бывает.

И правда, приметчив Кильдигс: приподняли вдвоём доску, другую – а под них толя рулон закатан.

Вынули. Теперь – как нести? С вышки заметят – это ничто: у попок только та забота, чтоб эки не разбежались, а внутри рабочей зоны хоть все щиты на щепки поруби. И надзиратель лагерный если навстречу попадётся – тоже

ничто: он сам приглядывается, что б ему в хозяйство пошло. И работягам всем на эти сборные дома наплевать. И бригадирам тоже. Печётся об них только прораб вольный, да десятник из эков, да Шкуропатенко долговязый. Никто он, Шкуропатенко, просто эк, но душа вертухайская. Выписывают ему наряд-повременку за то одно, что он сборные дома от эков караулит, не даёт растаскивать. Вот этот-то Шкуропатенко их скорей всего на открытом прозоре и подловит.

– Вот что, Ваня, плашмя нести нельзя, – придумал Шухов, – давай его стоямя в обнимку возьмём и пойдём так легонько, собой прикрывая. Издаля не разберёт.

Ладно придумал Шухов. Взять рулон неудобно, так не взяли, а стиснули между собой, как человека третьего, – и пошли. И со стороны только и увидишь, что два человека идут плотно.

– А потом на окнах прораб увидит этот толь, всё одно догадается, – высказал Шухов.

– А мы при чём? – удивился Кильдигс. – Пришли на ТЭЦ, а уж там, мол, *было так*. Неужто срывать?

И то верно.

Ну, пальцы в худых рукавицах окостенели, прямо совсем не слышно. А валенок левый держит. Валенки – это главное. Руки в работе разойдутся.

Прошли целиною снежной – вышли на санный полоз от инструменталки к ТЭЦ. Должно быть, цемент вперёд провезли.

ТЭЦ стоит на бугре, а за ней зона кончается. Давно уж на ТЭЦ никто не бывал, все подступы к ней снегом ровным опеленаты. Тем ясней полоз санный и тропка свежая, глубокие следы – наши прошли. И чистят уже лопатами деревянными около ТЭЦ и дорогу для машины.

Хорошо бы подъёмничек на ТЭЦ работал. Да там мотор перегорел, и с тех пор, кажись, не чинили. Это опять, значит, на второй этаж всё на себе. Раствор. И шлакоблоки.

Стояла ТЭЦ два месяца как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чём её души держатся? – брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозяка трещит; ни обогривалки, ни огня искорки. А всё ж пришла 104-я – и опять жизнь начинается.

У самого входа в машинный зал развалился ящик растворный. Он дряхлый был, ящик, Шухов и не чаял, что его

донесут целым. Бригадир поматюгался для порядка, но видит – никто не виноват. А тут катят Кильдигс с Шуховым, толь меж собой несут. Обрадовался бригадир и сейчас перестановку затеял: Шухову – трубу к печке ладить, чтоб скорей растопить; Кильдигсу – ящик чинить, а эстонцы ему два на помощь, а Сеньке Клевшину – на́ топор, и планок долгих наколоть, чтоб на них толь набивать: толь-то уже окна в два раза. Откуда планок брать? Чтобы обогревалку сделать, на это прораб досок не выпишет. Оглянулся бригадир, и все оглянулись, один выход: отбить пару досок, что как перила к трапам на второй этаж пристроены. Ходить – не зевать, так не свалиться. А что ж делать?

Кажется, чего бы эзку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша.

Да не выйдет. На то придумана – бригада. Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада – это такое устройство, чтоб не начальство эзков понукало, а эзки друг друга. Тут так: или всем *дополнительное*, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!

А ещё подождёт такой момент, как сейчас, тем боле не рассидишься. Волен не волен, а скачи да прыгай, поворачивайся. Если через два часа обогревалки себе не сделаем – пропадём тут все на хрен.

Инструмент Павло принёс уже, только разбирай. И труб несколько. По жестяному делу инструмента, правда, нет, но есть молоточек слесарный да топорик. Как-нибудь.

Похлопает Шухов рукавицами друг об друга, и составляет трубы, и оббивает в стыках. Опять похлопает и опять оббивает. (А мастерок тут же и спрятал недалеко. Хоть в бригаде люди свои, а подменить могут. Тот же и Кильдигс.)

И – как вымело все мысли из головы. Ни о чём Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал – как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило. Гопчика послал проволоку искать – подвесить трубу у окна на выходе.

А в углу ещё приземистая печь есть с кирпичным выводом. У ней плита железная поверху, она калится, и на ней песок отмерзает и сохнет. Так ту печь уже растопили, и на неё

кавторанг с Фетюковым носилками песок носят. Чтоб носилки носить – ума не надо. Вот и ставит бригадир на ту работу бывших начальников. Фетюков, кесь, в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил.

Фетюков по первым дням на кавторанга даже хвост поднял, покрикивал. Но кавторанг ему двинул в зубы раз, на том и поладили.

Уж к печи с песком сунулись ребята греться, но бригадир предупредил:

– Эх, сейчас кого-то в лоб огрею! Оборудуйте сперва!

Битой собаке только плеть покажи. И мороз лют, но бригадир лютей. Разошлись ребята опять по работам.

А бригадир, слышит Шухов, тихо Павлú:

– Ты оставайся тут, держи крепко. Мне сейчас процентовку закрывать идти.

От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный – тот не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано – докажи, что сделано; за что дешёво платят – оберни так, чтоб дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже *нести* надо.

А разобраться – для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребают да своим лейтенантам премии выписывают. Тому ж Волковому за его плётку. А тебе – хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят. На двести граммах Беломорканал построен.

Принесли воды два ведра, а она по дороге льдом схватилась. Рассудил Павло – нечего её и носить. Скорее тут из снега натопим. Поставили вёдра на печку.

Припёр Гопчик проволоки алюминиевой новой – той, что провода электрики тянут. Докладывает:

– Иван Денисыч! На ложки хорошая проволока. Меня научите ложку отлить?

Этого Гопчика, плута, любит Иван Денисыч (собственный его сын помер маленьким, дома дочка две взрослых). Посадили Гопчика за то, что бендеровцам в лес молоко носил. Срок дали как взрослому. Он – телёнок ласковый, ко всем мужикам ластится. А уж и хитрость у него: посылки свои в одиночку ест, иногда по ночам жуёт.

Да ведь всех и не накормишь.

Отломили проволоки на ложки, спрятали в углу. Состроил Шухов две доски, вроде стремянки, послал по ней Гопчика подвесить трубу. Гопчик, как белка, лёгкий – по перекладинам взобрался, прибил гвоздь, проволоку накинуд и под трубу подпустил. Не поленился Шухов, самый-то выпуск трубы ещё с одним коленом вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет – так чтоб дыму не задувало. Надо понимать, печка эта – для себя.

А Сенька Клевшин уже планок долгих наколол. Гопчика-хлопчика и прибывать заставили. Лазит, чертёныш, кричит сверху.

Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало – и алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней!

– В январе солнышко коровке бок согрело! – объявил Шухов.

Кильдигс ящик растворный сбивать кончил, ещё топориком пристукнул, закричал:

– Слышь, Павло, за эту работу с бригадира сто рублей, меньше не возьму!

Смеётся Павло:

– Сто грамм получишь.

– Прокурор добавит! – кричит Гопчик сверху.

– Не трогъте, не трогъте! – Шухов закричал. (Не так толь резать стали.)

Показал – как.

К печке жестяной народу налезло, разогнал их Павло. Кильдигсу помощь дал и велел растворные корытца делать – наверх раствор носить. На подноску песка ещё пару людей добавил. Наверх послал – чистить от снега подмости и саму кладку. И ещё внутри одного – песок разогретый с плиты в ящик растворный кидать.

А снаружи мотор зафырчал – шлакоблоки возить стали, машина пробивается. Выбежал Павло руками махать – показывать, куда шлакоблоки скидывать.

Одну полосу толя нашили, вторую. От толя – какое укрывище? Бумага – она бумага и есть. А всё ж вроде стенка сплошная стала. И – темней внутри. Оттого печь ярче.

Алёшка угля принёс. Одни кричат ему: сыпь! Другие: не сыпь! хоть при дровах погреемся! Стал, не знает, кого слушать.

Фетюков к печке пристроился и суёт же, дурак, валенки к самому огню. Кавторанг его за шиворот поднял и к носилкам пихает:

– Иди песок носить, фитиль!

Кавторанг – он и на лагерную работу как на морскую службу смотрит: сказано делать – значит, делай! Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет.

Долго ли, коротко ли – вот все три окна толем зашили. Только от дверей теперь и свету. И холоду от них же. Велел Павло верхнюю часть дверей забить, а нижнюю покинуть – так, чтоб, голову нагнувши, человек войти мог. Забили.

Тем временем шлакоблоков три самосвала привезли и сбросили. Задача теперь – поднимать их как без подъёмника?

– Каменщики! Ходимте, подывымось! – пригласил Павло.

Это – дело почётное. Поднялись Шухов и Кильдигс с Павлом наверх. Трап и без того узок был, да ещё теперь Сенька перила сбил – жмись к стене, каб вниз не опрокинуться. Ещё то плохо – к перекладинам трапа снег примёрз, округлил их, ноге упору нет – как раствор носить будут?

Поглядели, где стены класть, уж с них лопатами снег снимают. Вот тут. Надо будет со старой кладки топориком лёд сколоть да веничком промести.

Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули. Так и решили: чем по трапу таскать, четверых снизу поставить кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут ещё двоих, перекидывать, а по второму этажу ещё двоих, подносить, – и всё ж быстрее будет.

Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будем. А за начатую кладку зайдёшь, укроешься – ничего, теплей намного.

Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идёт! Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся – не оглянешься. А срок сам – ничуть не идёт, не убавляется его вовсе.

Спустились вниз, а там уж все к печке уселись, только кавторанг с Фетюковым песок носят. Разгневался Павло, восемь человек сразу выгнал на шлакоблоки, двум велел цементу в ящик насыпать и с песком насухую размешивать, того – за водой, того – за углем. А Кильдигс – своей команде:



– Ну, мальцы, надо носилки кончать.

– Бывает, и я им помогу? – Шухов сам у Павла́ работу просит.

– Поможить. – Павло кивает.

Тут бак принесли, снег растапливать для раствора. Слышали от кого-то, будто двенадцать часов уже.

– Не иначе как двенадцать, – объявил и Шухов. – Солнышко на перевале уже.

– Если на перевале, – отозвался кавторанг, – так, значит, не двенадцать, а час.

– Это почему ж? – поразился Шухов. – Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит.

– То – дедам! – отрубил кавторанг. – А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.

– Чей же эт декрет?

– Советской власти!

Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?

Побили ещё, постучали, четыре корытца сколотили.

– Ладно, посыдымо, погриемось, – двоим каменщикам сказал Павло. – И вы, Сенька, писля обида тоже будэтэ ложить. Сидайтэ!

И – сели к печке законно. Всё равно до обеда уж кладки не начинать, а раствор разводить некстати, замёрзнет.

Уголь накалился помалу, теперь устойчивый жар даёт. Только около печи его и чуешь, а по всему залу – холод, как был.

Рукавицы сняли, руками близ печки водят все четверо.

А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо. Если ботинки, так в них кожа растрескается, а если валенки – отсыреют, парок пойдёт, ничуть тебе теплей не станет. А ещё ближе к огню сунешь – сожжёшь. Так с дырой до весны и протопаешь, других не жди.

– Да Шухову что? – Кильдигс подначивает. – Шухов, братцы, одной ногой почти дома.

– Вон той, босой, – подкинул кто-то. Рассмеялись. (Шухов левый горетый валенок снял и портянку согревает.)

– Шухов срок кончает.

Самому-то Кильдигсу двадцать пять дали. Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребёнку десять давали.

А с сорок девятого такая полоса пошла – всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то ещё можно прожить, не околев, – а ну, двадцать пять проживи?!

Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот он де срок кончает, – но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок шестого года. У кого и основного-то срока три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон – он выворотной. Кончится десятка – скажут: на тебе ещё одну. Или в ссылку.

А иной раз подумаешь – дух сопрёт: срок-то всё ж кончается, катушка-то на размоте... Господи! Своими ногами – да на волю, а?

Только вслух об том высказывать старому лагернику непристойно. И Шухов Кильдигсу:

– Двадцать пять ты свои не считай. Двадцать пять сидеть ли, нет ли, это ещё вилами по воде. А уж я отсидел восемь полных, так это точно.

Так вот живёшь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?

Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание – ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто – задание.

В контрразведке били Шухова много. И расчёт был у Шухова простой: не подпишешь – бушлат деревянный, подпишешь – хоть поживёшь ещё малость. Подписал.

А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолётов им ничего жрать не бросали, а и самолётов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, – и убежали они впятером. И ещё по лесам, по болотам покрались – чудом к своим попали. Только двоих автоматчик свой на месте уложил, третий от ран умер, – двое их и дошло. Были б умней – сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого. Из плена?? Мать вашу так!

Фашистские агенты! И за решётку. Было б их пять, может, сличили показания, поверили б, а двоим никак: сговорились, мол, гады, насчёт побега.

Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко:

– Я из плена три раза бежал. И три раза ловили.

Сенька, терпелик, всё молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били.

– Ты, Ваня, восемь сидел – в каких лагерях? – Кильдигс перечит. – Ты в бытовых сидел, вы там с бабами жили. Вы номеров не носили. А вот в каторжном восемь лет посиди. Ещё никто не просидел.

– С бабами!.. С *баланами*, а не с бабами...

С брёвнами, значит.

В огонь печной Шухов уставился, и вспомнились ему семь лет его на севере. И как он на бревнотаске три года укачивал тарный кряж да шпальник. И костра вот так же огонь переменный – на лесоповале, да не дневном, а ночном повале. Закон был такой у начальника: бригада, не выполнившая дневного задания, остаётся на ночь в лесу.

Уж за полночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес.

– Не-ет, братцы... здесь поспокойней, пожалуй, – прошепелявил он. – Тут съём – закон. Выполнил, не выполнил – катись в зону. И гарантийка тут на сто грамм выше. Тут – жить можно. Особый – и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера.

– Поспокойней! – Фетюков шипит (дело к перерыву, и все к печке подтянулись). – Людей в постелях режут! Поспокойней!..

– Нэ людын, а стукачів! – Павло палец поднял, грозит Фетюкову.

И правда, чего-то новое в лагере началось. Двух стукачей известных прямо на вагонке зарезали, по подъёму. И потом ещё работягу невинного – место, что ль, спутали. И один стукач сам к начальству в БУР убежал, там его, в тюрьме каменной, и спрятали. Чудно... Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было...

Вдруг прогудел гудок с энергопоезда. Он не сразу во всю мочь загудел, а сперва хрипловато так, будто горло прочищал.

Полдня – долой! Перерыв обеденный!

Эх, пропустили! Давно б в столовую идти, очередь заниматься. На объекте одиннадцать бригад, а в столовую больше двух не входит.

Бригадира всё нет. Павло окинул оком быстрым и так решил:

– Шухов и Гопчик – со мной! Кильдигс! Як Гопчика до вас пришлю – ведить з́араз бригаду!

Места их у печи тут же и захватили, окружили ту печку, как бабу, все обнимать лезут.

– Кончай ночевать! – кричат ребята. – Закуривай!

И друг на друга смотрят – кто закурит. А закуривать некому – или табака нет, или зажимают, показать не хотят.

Вышли наружу с Павлом. И Гопчик сзади зайчишкой бежит.

– Потёплело, – сразу определил Шухов. – Градусов восемнадцать, не боле. Хорошо будет класть.

Оглянулись на шлакоблоки – уж ребята на подмости покидали многие, а какие и на перекрытие, на второй этаж.

И солнце тоже Шухов проверил, сощурясь, – насчёт кавторангова декрета.

А наоткрыте, где ветру простор, всё же потягивает, пощипывает. Не забывайся, мол, помни январь.

Производственная кухня – это халабуда маленькая, из тёсу сколоченная вокруг печи, да ещё жостью проржавленной обитая, чтобы щели закрыть. Внутри халабуду надвое делит перегородка – на кухню и на столовую. Одинаково, что на кухне полы не стелены, что в столовой. Как землю заторили ногами, так и осталась в буграх да в ямках. А кухня вся – печь квадратная, в неё котёл вмазан.

Орудуют на той кухне двое – повар и санинструктор. С утра, как из лагеря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу. На брата, наверно, грамм по пятьдесят, на бригаду – кило, а на объект получается немногим меньше пуда. Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, даёт нести *шестёрке*. Чем самому спину ломать, лучше тому шестёрке выделить порцию лишнюю за счёт работяг. Воду принести, дров, печку растопить – тоже не сам

повар делает, тоже работяги да доходяги – и им он по порции, чужого не жалко. Ещё положено, чтоб ели, не выходя со столовой: миски тоже из лагеря носить приходится (на объекте не оставишь, ночью вольные сопрут), так носят их полсотни, не больше, а тут моют да оборачивают побыстрей (носчику мисок – тоже порция сверх). Чтоб мисок из столовой не выносили – ставят ещё нового шестёрку на дверях – не выпускать мисок. Но как он ни стереги – всё равно унесут, уговорят ли, глаза ли отведут. Так ещё надо по всему, по всему объекту сборщика пустить: миски собирать грязные и опять их на кухню стаскивать. И тому порцию. И тому порцию.

Сам повар только вот что делает: крупу да соль в котёл сыпает, жиры делит – в котёл и себе. (Хороший жир до работяг не доходит, плохой жир – весь в котле. Так ээки больше любят, чтоб со склада отпускали жиры плохие.) Ещё – помещивает кашу, как доспевает. А санинструктор и этого не делает: сидит-смотрит. Дошла каша – сейчас санинструктору: ешь от пуза. И сам – от пуза. Тут дежурный бригадир приходит – меняются они ежедён – пробу снимать, проверять будто, можно ли такой кашей работяг кормить. За дежурство ему – двойную порцию. Да с бригадой получит.

Тут и гудок. Тут приходят бригады в черёд, и выдаёт повар в окошко миски, а в мисках тех дно покрыто кашицей, и сколько там твоей крупы – не спросишь и не взвесишь, только сто тебе редек в рот, если рот откроешь.

Свистит над голой степью ветер – летом суховеяный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя – и подавно. Хлеб растёт в хлеборезке одной, овёс колосится – на продскладе. И хоть спину тут в работе переломи, хоть животом ляжь – из земли еды не выколотишь, больше, чем начальник тебе выпишет, не получишь. А и того не получишь за поварами, да за шестёрками, да за придурками. И здесь воруют, и в зоне воруют, и ещё раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают. А ты – вкалывай и бери, что дают. И отходи от окошка.

Кто кого сможет, тот того и гложет.

Вошли Павло с Шуховым и с Гопчиком в столовую – там прямо один к одному стоят, не видно за спинами ни столов

кущих, ни лавок. Кто сидя ест, а больше стоя. 82-я бригада, какая ямки долбала без угреву полдня, – она-то первые места по гудку и захватила. Теперь и поевши не уйдёт – уходить ей некуда. Ругаются на неё другие, а ей что по спине, что по стене – всё отрадней, чем на морозе.

Пробились Павло и Шухов локтями. Хорошо пришли: одна бригада получает, да одна всего в очереди, тоже помбригадир у окошка стоят. Остальные, значит, за нами будут.

– Миски! Миски! – повар кричит из окошка, и уж ему суют отсюда, и Шухов тоже собирает и суёт – не ради каши лишней, а быстрее чтоб.

Ещё там сейчас за перегородкой шестёрки миски моют – это тоже за кашу.

Начал получать тот помбригадир, что перед Павлом, – Павло крикнул через головы:

– Гопчик!

– Я! – от двери. Тонюсенький у него голосочек, как у козлёнка.

– Зови бригаду!

Убёг.

Главное, каша сегодня хороша, лучшая каша – овсянка. Не часто она бывает. Больше идёт магара по два раза в день или мучная затирка. В овсянке между зёрнами – навар этот сытен, он-то и дорог.

Сколища Шухов смолоду овса лошадям скормил – никогда не думал, что будет всей душой изнывать по горсточке этого овса.

– Мисок! Мисок! – кричат из окошка.

Подходит и 104-й очередь. Передний помбригадир в свою миску получил двойную «бригадирскую», отвалил от окошка.

Тоже за счёт работяг идёт – и тоже никто не перечит. На каждого бригадира такую дают, а он хоть сам ешь, хоть помощнику отдавай. Тюрин Павлу отдаёт.

Шухову сейчас работа такая: вклинился он за столом, двух доходяг согнал, одного работягу по-хорошему попросил, очистил стола кусок мисок на двенадцать, если вплоть их ставить, да на них вторым этажом шесть станут, да ещё сверху две, теперь надо от Павла миски принимать, счёт его повторять и доглядывать, чтоб чужой никто миску со стола не увёл. И не толкнул бы локтем никто, не опрокинул. А тут же рядом вы-

лезают с лавки, влезают, едят. Надо глазом границу держать: миску – свою едят? или в нашу залезли?

– Две! Четыре! Шесть! – считает повар за окошком. Он сразу по две в руки даёт. Так ему легче, по одной сбиться можно.

– Дви, чотыри, шисть, – негромко повторяет Павло туда ему в окошко. И сразу по две миски передаёт Шухову, а Шухов на стол ставит. Шухов вслух ничего не повторяет, а считает острей их.

– Восемь, десять.

Что это Кильдигс бригаду не ведёт?

– Двенадцать, четырнадцать... – идёт счёт.

Да мисок недостало на кухне. Мимо головы и плеча Павла видно и Шухову: две руки повара поставили две миски в окошечке и, держась за них, остановились, как бы в раздумьи. Должно, он повернулся и посудомоев ругает. А тут ему в окошечко ещё стопку мисок опорожненных суют. Он с тех нижних мисок руки стронул, стопку порожних назад передаёт.

Шухов покинул всю гору мисок своих за столом, ногой через скамью перемахнул, обе миски потянул и, вроде не для повара, а для Павла, повторил не очень громко:

– Четырнадцать.

– Стой! Куда потянул? – заорал повар.

– Наш, наш, – подтвердил Павло.

– Ваш-то ваш, да счёта не сбивай!

– Четырнáйцать, – пожал плечами Павло. Он-то бы сам не стал миски *косить*, ему, как помбригадиру, авторитет надо держать, ну, а тут повторил за Шуховым, на него же и свалить можно.

– Я «четырнадцать» уже говорил! – разоряется повар.

– Ну что ж, что говорил! А сам не дал, руками задержал! – шумнул Шухов. – Иди, считай, не веришь? Вот они, на столе все!

Шухов кричал повару, но уже заметил двух эстонцев, пробивавшихся к нему, и две миски с ходу им сунул. И ещё он успел вернуться к столу, и ещё успел сочнуть, что все на месте, соседи спереть ничего не успели, а свободно могли.

В окошке вполноту показалась красная рожа повара.

– Где миски? – строго спросил он.

– На, пожалуйста! – кричал Шухов. – Отодвинься ты, друг ситный, не засть! – толкнул он кого-то. – Вот две! – он две миски второго этажа поднял повыше. – И вон три ряда по четыре, акурат, считай.

– А бригада не пришла? – недоверчиво смотрел повар в том маленьком просторе, который давало ему окошко, для того и узкое, чтоб к нему из столовой не подглядывали, сколько там в котле осталось.

– Ни, нэма ще бригады, – покачал головой Павло.

– Так какого ж вы хрена миски занимаете, когда бригады нет? – рассвирепел повар.

– Вон, вон бригада! – закричал Шухов.

И все услышали окрики кавторанга в дверях, как с капитанского мостика:

– Чего столпились? Поели – и выходи! Дай другим!

Повар пробуркотел ещё, выпрямился, и опять в окошке появились его руки.

– Шестнадцать, восемнадцать...

И, последнюю налив, двойную:

– Двадцать три. Всё! Следующая!

Стали пробиваться бригадники, и Павло протягивал им миски, кому через головы сидящих, на второй стол.

На скамейке на каждой летом село бы человек по пять, но как сейчас все одеты были толсто – еле по четыре умещалось, и то ложками им двигать было несправно.

Рассчитывая, что из закошенных двух порций уж хоть одна-то будет его, Шухов быстро принялся за свою кровную. Для того он колено правое подтянул к животу, из-под валеного голенища вытянул ложку «Усть-Ижма, 1944», шапку снял, поджал под левую мышку, а ложкою обтронул кашу с краёв.

Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, бережно в рот доносить, а там языком переминать. Но приходилось поспешить, чтобы Павло увидел, что он уже кончил, и предложил бы ему вторую кашу. А тут ещё Фетюков, который пришёл с эстонцами вместе, всё подметил, как две каши закосили, стал прямо против Павла и ел стоя, поглядывая на четыре оставшихся неразобранных бригадных порции. Он хотел тем показать



Павлу, что ему тоже надо бы дать если не порцию, то хоть полпорции.

Смуглый молодой Павло, однако, спокойно ел свою двойную, и по его лицу никак было не знать, видит ли он, кто тут рядом, и помнит ли, что две порции лишних.

Шухов доел кашу. Оттого, что он желудок свой разявил сразу на две – от одной ему не стало сытно, как становилось всегда от овсянки. Шухов полез во внутренний карман, из тряпицы беленькой достал свой незамёрзлый полукруглый кусочек верхней корочки, ею стал бережно вытирать все остатки овсяной размазни со дна и разложистых боковин миски. Насобирав, он слизывал кашу с корочки языком и ещё собирал корочкою с эстолько. Наконец миска была чиста, как вымыта, разве чуть замутнена. Он через плечо отдал миску сборщику и продолжал минуту сидеть со снятой шапкой.

Хоть закосил миски Шухов, а хозяин им – помбригадир.

Павло потомил ещё немного, пока тоже кончил свою миску, но не вылизывал, а только ложку облизал, спрятал, перекрестился. И тогда тронул слегка – передвинуть было тесно – две миски из четырёх, как бы тем отдавая их Шухову.

– Иван Денисович. Одну соби визмíть, а одну Цезарю отдастьé.

Шухов помнил, что одну миску надо Цезарю нести в контору (Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере), – помнил, но, когда Павло коснулся сразу двух мисок, сердце Шухова обмерло: не обе ли лишние ему отдавал Павло? И сейчас же опять пошло сердце своим ходом.

И сейчас же он наклонился над своей законной добычей и стал есть рассудительно, не чувствуя, как толкали его в спину новые бригады. Он досадовал только, не отдали бы вторую кашу Фетюкову. Шакалить Фетюков всегда мастак, а закосить бы смелости не хватило.

...А вблизи от них сидел за столом кавторанг Буйновский. Он давно уже кончил свою кашу и не знал, что в бригаде есть лишние, и не оглядывался, сколько их там осталось у помбригадира. Он просто разомлел, разогрелся, не имел сил встать и идти на мороз или в холодную, необогревающую обогревалку. Он так же занимал сейчас незаконное место здесь и мешал новоприбывающим бригадам, как те, кого пять

минут назад он изгонял своим металлическим голосом. Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы.

...На него уже кричали и в спину толкали, чтоб он освобождал место.

Павло сказал:

– Капитан! А, капитан?

Буйновский вздрогнул, как просыпаясь, и оглянулся.

Павло протянул ему кашу, не спрашивая, хочет ли он.

Брови Буйновского поднялись, глаза его смотрели на кашу, как на чудо невиданное.

– Берить, берить, – успокоил его Павло и, забрав последнюю кашу для бригадира, ушёл.

Виноватая улыбка раздвинула истресканные губы капитана, ходившего и вокруг Европы, и Великим северным путём. И он наклонился, счастливый, над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, – над овсом и водой.

Фетюков злобно посмотрел на Шухова, на капитана и отошёл.

А по Шухову, правильно, что капитану отдали. Придёт пора, и капитан жить научится, а пока не умеет.

Ещё Шухов слабую надежду имел – не отдаст ли ему и Цезарь своей каши? Но не должен бы отдать, потому что посылки не получал уже две недели.

После второй каши так же вылизав донце и развал миски корочкой хлеба и так же слизывая с корочки каждый раз, Шухов напоследок съел и саму корочку. После чего взял охолодевшую кашу Цезаря и пошёл.

– В контору! – оттолкнул он шестёрку на дверях, не пропуская с миской.

Контора была – рубленая изба близ вахты. Дым, как утром, и посейчас всё валил из её трубы. Топил там печку дневальный, он же и посыльный, повременку ему выписывают. А щепок да палочья для конторы не жалеют.

Заскрипел Шухов дверью тамбура, ещё потом одной дверью, обитой паклею, и, вваливая клубы морозного пара,

вошёл внутрь и быстренько притянул за собой дверь (спеша, чтоб не крикнули на него: «Эй, ты, вахлак, дверь закрой!»).

Жара ему показалась в конторе, ровно в бане. Через окна с обтаявшим льдом солнышко играло уже не зло, как там, на верху ТЭЦ, а весело. И расходился в луче широкий дым от трубки Цезаря, как ладан в церкви. А печка вся красно насквозь светилась, так раскалили, идола. И трубы докрасна.

В таком тепле только присядь на миг – и заснёшь тут же.

Комнат в конторе две. Второй, прорабской, дверь недоприкрыта, и оттуда голос прораба гремит:

– Мы имеем перерасход по фонду заработной платы и перерасход по стройматериалам. Ценнейшие доски, не говорю уже о сборных щитах, у вас заключённые на дрова рубят и в обогревалках сжигают, а вы не видите ничего. А цемент около склада на днях заключённые разгружали на сильном ветру и ещё носилками носили по десяти метров, так вся площадка вокруг склада в цементе по шиколотку, и рабочие ушли не чёрные, а серые. Сколько потерь!

Совещание, значит, у прораба. Должно, с десятниками.

У входа в углу сидит дневальный на табуретке, разомлел. Дальше Шкуропатенко, Б-219, жердь кривая, бельмом уставился в окошко, доглядает и сейчас, не прут ли его дома сборные. Толь-то проахал, дядя.

Бухгалтера два, тоже ээки, хлеб поджаривают на печке. Чтоб не горел – сеточку такую подстроили из проволоки.

Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной, не видит.

А против него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.

– Нет, батенька, – мягко этак, попуская, говорит Цезарь, – объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

– Кривлянье! – ложку перед ротом задержал, сердится Х-123. – Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба засушного! И потом же гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции! – (Кашу ест ротом бесчувственным, она ему не впрок.)

– Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

– Ах, пропустили бы? Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!

– Гм, гм, – откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну и тоже стоять ему тут было ни к чему.

Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, – и за своё:

– Но слушайте, искусство – это не *что*, а *как*.

Подхватился X-123 и ребром ладони по столу, по столу:

– Нет уж, к чёртовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!

Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной.

И Шухов, повертясь, ушёл тихо.

Ничего, не шибко холодно на улице. Кладка сегодня как ни то пойдёт.

Шёл Шухов тропкою и увидел на снегу кусок стальной ножёвки, полотно поломанного кусок. Хоть ни для какой надобности ему такой кусок не определялся, однако нужды своей вперёд не знаешь. Подобрал, сунул в карман брюк. Спрятать её на ТЭЦ. Запасливый лучше богатого.

На ТЭЦ придя, прежде всего он достал спрятанный мастерок и засунул его за свою верёвочную опоясочку. Потом уж нырнул в растворную.

Там после солнца совсем темно ему показалось и не теплей, чем на улице. Сыроватей как-то.

Сгрудились все около круглой печурки, поставленной Шуховым, и около той, где песок греется, пуская из себя парок. Кому места не хватило – сидят на ребре ящика растворного. Бригадир у самой печки сидит, кашу доедает. На печке ему Павло кашу разогрел.

Шу-шу – среди ребят. Повеселели ребята. И Иван Денисычу тоже тихо говорят: бригадир процентовку хорошо закрыл. Весёлый пришёл.

Уж где он там работу нашёл, какую – это его, бригадирова, ума дело. Сегодня вот за полдня что сделали? Ничего. Установку печки не оплатят, и обогривалку не оплатят: это для

себя делали, не для производства. А в наряде что-то писать надо. Может, ещё Цезарь бригадир что в нарядах подмучает – уважителен к нему бригадир, зря бы не стал.

«Хорошо закрыл» – значит, теперь пять дней пайки хорошие будут. Пять, положим, не пять, а четыре только: из пяти дней один захалтыривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень, и лучших и худших. Вроде не обидно никому, всем ведь поровну, а экономят на нашем брюхе. Ладно, зэка желудок всё перетерпливает: сегодня как-нибудь, а завтра наедемся. С этой мечтой и спать ложится лагерь в день гарантийки.

А разобраться – пять дней работаем, а четыре дня едим.

Не шумит бригада. У кого есть – покуривают втихомолку. Струдились во теми – и на огонь смотрят. Как семья большая. Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадир у печки двум-трём рассказывает. Он слов зря никогда не роняет, уж если рассказывать пустился – значит, в доброй душе.

Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьич. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, как у всех, а и в печном огне видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяно.

– ...Я и перед командиром батальона дрожал, а тут комполка! «Красноармеец Тюрин по вашему распоряжению...» Из-под бровей диких уставился: «А зовут как, а по отчеству?» Говорю. «Год рождения?» Говорю. Мне тогда, в тридцатом году, что ж, двадцать два годика было, телёнок. «Ну, как служишь, Тюрин?» – «Служу трудовому народу!» Как вскипятится, да двумя руками по столу – хлоп! «Служишь ты трудовому народу, да кто ты сам, подлец?!» Так меня варом внутри!.. Но креплюсь: «Стрелок-пулемётчик, первый номер. Отличник боевой и полити...» – «Ка-кой первый номер, гад? Отец твой кулак! Вот, из Камня бумажка пришла! Отец твой кулак, а ты скрылся, второй год тебя ищут!» Побледнел я, молчу. Год писем домой не писал, чтоб следа не нашли. И живы ли там, ничего не знал, ни дома про меня. «Какая ж у тебя совесть, – орёт, четыре шпалы трясутся, – обманывать рабочекрестьянскую власть?» Я думал, бить будет. Нет, не стал. Подписал приказ – шесть часов и за ворота выгнать... А на дворе – ноябрь. Обмундирование зимнее содрали, выдали летнее, б/у, третьего срока носки, шинельку кургузую. Я –

раз...бай был, не знал, что могу не сдать, послать их... И лю-  
тую справочку на руки: «Уволен из рядов... как сын кулака».  
Только на работу с той справкой. Добираться мне поездом  
четверо суток – литеры железнодорожной не выписали, доволь-  
ствия не выдали ни на день единый. Накормили обедом по-  
следний раз и выпихнули из военного городка.

...Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пе-  
ресылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему де-  
сятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка и комиссар –  
обая расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они проле-  
тарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекре-  
стился я и говорю: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго  
терпишь, да больно бьёшь.»

После двух мисок каши закурить хотелось Шухову горше  
смерти. И, располагая купить у латыша из седьмого барака два  
стакана самосада и тогда рассчитаться, Шухов тихо сказал  
эстонцу-рыбаку:

– Слышь, Эйно, на одну закрутку займи мне до завтра.  
Ведь я не обману.

Эйно посмотрел Шухову в глаза прямо, потом не спеша  
так же перевёл на брата названного. Всё у них пополам, ни та-  
бачинки один не потратит. Чего-то промычали друг другу, и  
достал Эйно кисет, расписанный розовым шнуром. Из кисета  
того вынул щепоть табаку фабричной резки, положил на ла-  
донь Шухову, примерился и ещё несколько ленточек добавил.  
Как раз на одну завёртку, не больше.

А газетка у Шухова есть. Оторвал, скрутил, поднял уго-  
лёк, скатившийся меж ног бригадира, – и потянул! и потянул!  
И кружь такая пошла по телу всему, и даже как будто хмель  
в ноги и в голову.

Только закурил, а уж через всю растворную на него глаза  
зелёные вспыхнули: Фетюков. Можно б и смиловаться, дать  
ему, шакалу, да уж он сегодня подстреливал, Шухов видел.  
А лучше Сеньке Клевшину оставить. Он и не слышит, чего  
там бригадир рассказывает, сидит, горюня, перед огнём, на-  
бок голову склоня.

Бригадира лицо рябое освещено из печи. Рассказывает без  
жалости, как не об себе:

– Барахольце, какое было, загнал скупщику за четверть  
цены. Купил из-под полы две буханки хлеба, уж карточки

тогда были. Думал товарными добираться, но и против того законы суровые вышли: стрелять на товарных поездах... А билетов, кто помнит, и за деньги не купить было, не то что без денег. Все привокзальные площади мужицкими тулупами выстланы. Там же с голоду и подыхали, не уехав. Билеты известно кому выдавали – ГПУ, армии, командировочным. На перрон тоже не было ходу: в дверях милиция, с обеих сторон станции охранники по путям бродят. Солнце холодное клонится, подстывают лужи – где ночевать?.. Осилил я каменную гладкую стенку, перемахнул с буханками – и в перронную уборную. Там постоял – никто не гонится. Выхожу как пассажир, солдатик. А на пути стоит как раз Владивосток – Москва. За кипятком – свалка, друг друга котелками по головам. Кружится девушка в синей кофточке с двухлитровым чайником, а подступить к кипятильнику боится. Ноги у неё крохотулечные, обшпарят или отдавят. «На, говорю, буханки мои, сейчас тебе кипятку!» Пока налил, а поезд трогает. Она буханки мои дёржит, плачет, что с ими делать, чайник бросить рада. «Беги, кричу, беги, я за тобой!» Она вперёд, я следом. Догнал, одной рукой подсаживаю, – а поезд гону! Я – тоже на подножку. Не стал меня кондуктор ни по пальцам бить, ни в грудки спихивать: ехали другие бойцы в вагоне, он меня с ними попутал.

Толкнул Шухов Сеньку под бок: на, докури, мол, недобычник. С мундштуком ему своим деревянным и дал, пусть пососёт, нечего тут. Сенька, он чудак, как артист: руку одну к сердцу прижал и головой кивает. Ну да что с глухого!..

Рассказывает бригадир:

– Шесть их, девушек, в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуяслице, плащи на крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. Едут мимо жизни, семафоры зелёные... Поговорили, пошутили, чаю вместе выпили. А вы, спрашивают, из какого вагона? Вздыхнул я и открылся: из такого я, девушки, вагона, что вам жить, а мне умирать...

Тихо в растворной. Печка горит.

– Ахали, охали, совещались... Всё ж прикрыли меня плащами на третьей полке. Тогда кондуктора с гепеушниками ходили. Не о билете шло – о шкуре. До Новосибирска дотаили, довели... Между прочим, одну из тех девочек я потом на

Печоре отблагодарил: она в тридцать пятом в кировском потоке попала, доходила на *общих*, я её в портняжную устроил.

– Може, раствор робить? – Павло шёпотом бригадира спрашивает.

Не слышит бригадир.

– Домой я ночью пришёл с огородов. Отца уже угнали, мать с ребятишками этапа ждала. Уж была обо мне телеграмма, и сельсовет искал меня взять. Трясёмся, свет погасили и на пол сели под стенку, а то активисты по деревне ходили и в окна заглядывали. Тою же ночью я маленького братишку прихватил и повёз в тёплые страны, во Фрунзю. Кормить было нечем что его, что себя. Во Фрунзи асфальт варили в котле, и шпана кругом сидела. Я подсел к ним: «Слушай, господа бесштаные! Возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить!» Взяли... Жалею, что и сам к блатным не пристал...

– И никогда больше брата не встречали? – кавторанг спросил.

Тюрин зевнул.

– Не, никогда не встречал. – Ещё зевнул. Сказал: – Ну, не горюй, ребята! Обживёмся и на ТЭЦ. Кому раствор разводить – начинайте, гудка не ждите.

Вот это оно и есть – бригада. Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал – работать, значит – работать. Потому что он кормит, бригадир. И зря не заставит тоже.

По гудку если раствор разводить, так каменщикам – стой? Вздохнул Шухов и поднялся.

– Пойти лёд сколоть.

Взял с собой для лёду топорик и метёлку, а для кладки – молоточек каменотёсный, рейку, шнурок, отвес.

Кильдигс румяный посмотрел на Шухова, скривился – мол, чего поперёк бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильдигсу не думать, из чего бригаду кормить: ему, лысому, хоть на двести грамм хлеба и помене – он с посылками проживёт.

А всё же встаёт, понимает. Бригаду держать из-за себя нельзя.

– Подожди, Ваня, и я пойду! – обзывает.

Небось, небось, толстощёкий. На себя б работал – ещё б раньше поднялся.



(А ещё потому Шухов поспешил, чтоб отвес прежде Кильдигса захватить, отвес-то из инструменталки взят один.)

Павло спросил бригадира:

– Мают класть утрёх? Ще одного нэ поставимо? Або раствора нэ выставе?

Бригадир насупился, подумал.

– Четвёртым я сам стану, Павло. А ты тут – раствор! Ящик велик, поставь человек шесть, и так: из одной половины готовый раствор выбирать, в другой половине новый замешивать. Чтобы мне перерыву ни минуты!

– Эх! – Павло вскочил, парень молодой, кровь свежая, лагерями ещё не трёпан, на галушках украинских ряжка отъеденная. – Як вы сами класть, так я сам – раствор робыть! А подывымось, кто бильш наробэ! А дэ тут найдлинниша лопата!

Вот это и есть бригада! Стрелял Павло из-под леса да на районы ночью налётывал – стал бы он тут горбить! А для бригадира – это дело другое!

Вышли Шухов с Кильдигсом наверх, слышат – и Сенька сзади по трапу скрипит. Догадался, глухой.

На втором этаже стены только начаты кладкой: в три ряда кругом и редко где подняты выше. Самая это спорая кладка – от колен до груди, без подмостей.

А подмости, какие тут раньше были, и козелки – всё зэки растащили: что на другие здания унесли, что спалили – лишь бы чужим бригадам не досталось. Теперь, по-хозяйски ведя, уже завтра надо козелки сбивать, а то остановимся.

Далеко видно с верха ТЭЦ: и вся зона вокруг заснеженная, пустынная (попрятались зэки, греются до гудка), и вышки чёрные, и столбы заострённые, под колючку. Сама колючка по солнцу видна, а против – нет. Солнце яро блещет, глаз не раскроешь.

А ещё невдали видно – энергопоезд. Ну, дымит, небо коптит! И – задышал тяжко. Хрип такой больной всегда у него перед гудком. Вот и загудел. Не много и переработали.

– Эй, стакановец! Ты с отвесиком побыстрей управляйся! – Кильдигс подгоняет.

– Да на твоей стене смотри лёду сколько! Ты лёд к вечеру сколешь ли? Мастерка-то бы зря наверх не таскал, – изгаляется над ним и Шухов.

Хотели по тем стенкам становиться, как до обеда их разделили, а тут бригадир снизу кричит:

– Эй, ребята! Чтоб раствор в ящиках не мёрз, по двое станем. Шухов! Ты на свою стену Клевшина возьми, а я с Кильдигсом буду. А пока Гопчик за меня у Кильдигса стенку очистит.

Переглянулись Шухов с Кильдигсом. Верно. Так спорей. И – схватились за топоры.

И не видел больше Шухов ни озера дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги – кто ямки долбать, с утра не додолбанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою – от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и кильдигсова. Он указал Сеньке, где тому снимать лёд, и сам ретиво рубил его то обухом, то лезвием, так что брызги льда разлетались вокруг и в морду тоже, работу эту он правил лихо, но вовсе не думая. А думка его и глаза его вычуивали из-подо льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтура, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут – провалина, её выровнять за один ряд нельзя, придётся ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась – это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой – до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильдигса. Там, на углу, рассчитал он, Кильдигс не удержится, за Сеньку малость положит, вот ему и легче будет. А пока те на уголке будут ковыряться, Шухов тут погонит больше полстены, чтоб наша пара не отставала. И наметил он, куда ему сколько шлакоблоков класть. И лишь подносчики шлакоблоков наверх взлезли, он тут же Алёшку заарканил:

– Мне носи! Вот сюда клади! И сюда.

Сенька лёд докалывал, а Шухов уже схватил метёлку из проволоки стальной, двумя руками схватил и туда-сюда, туда-сюда пошёл ею стену драить, очищая верхний ряд шлакоблоков хоть не дочиста, но до лёгкой сединки снежной, и особенно из швов.

Взлез наверх и бригадир, и, пока Шухов ещё с метёлкой чушкался, прибил бригадир рейку на углу. А по краям у Шухова и Кильдигса давно стоят.

– Гэй! – кричит Павло снизу. – Чи там е жива людына на-вэрси? Тримайтэ раствор!

Шухов аж взопрел: шнур-то ещё не натянут! Запалился. Так решил: шнур натянуть не на ряд, не на два, а сразу на три, с запасом. А чтобы Сеньке легче было, ещё прихватить у него кусок наружного ряда, а чуть внутреннего ему покинуть.

Шнур по верхней бровке натягивая, объяснил Сеньке и словами и знаками, где ему класть. Понял глухой. Губы закуся, глаза перекосив, в сторону бригадировой стены кивает – мол, дадим огоньку? Не отстанем! Смеётся.

А уж по трапу и раствор несут. Раствор будут четыре пары носить. Решил бригадир ящиков растворных близ каменщиков не ставить никаких – ведь раствор от перекалывания только мёрзнуть будет. А прямо носилки поставили – и разбирай два каменщика на стену, клади. Тем временем подносчикам, чтобы не мёрзнуть на верхотуре зря, шлакоблоки поверху подбрасывать. Как вычерпают их носилки, снизу без перерыву – вторые, а эти катись вниз. Там носилки у печки оттаивай от замёрзшего раствору, ну и сами сколько успеете.

Принесли двое носилок сразу – на кильдигсову стену и на шуховскую. Раствор парует на морозе, дымится, а тепла в нём чуть. Мастерком его на стену шлёпнув да зазеваешься – он и прихвачен. И бить его тогда тесачком молотка, мастерком не собьёшь. А и шлакоблок положишь чуть не так – и уж примёрз, перекособоченный. Теперь только обухом топора тот шлакоблок сбивать да раствор скалывать.

Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом – сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждёт.

Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор – и на то место бросает и запоминает, где прошёл нижний шов (на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить). Раствора бросает он ровно столько, сколько под один шлакоблок. И хватает из кучки шлакоблок (но с осторожкою хватает – не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно). И ещё раствор мастерком разровняв – шлёп туда шлакоблок! И сейчас же, сейчас его подровнять, боком мастера подбить, если не так: чтоб наружная стена шла по отвесу, и чтобы вдлинь кир-

пич плашмя лежал, и чтобы поперёк тоже плашмя. И уж он схвачен, примёрз.

Теперь, если по бокам из-под него выдавилось раствору, раствор этот ребром же мастерка отбить поскорей, со стены сошвырнуть (летом он под следующий кирпич идёт, сейчас и не думай) и опять нижние швы посмотреть – бывает, там не целый блок, а накрошено их, – и раствору опять бросить, да чтобы под левый бок толще, и шлакоблок не просто класть, а справа налево полозом, он и выдавит этот лишек раствора меж собой и слева соседом. Глазом по отвесу. Глазом плашмя. Схвачено. Следующий!

Пошла работа. Два ряда как выложим да старые огрехи подровняем, так вовсе гладко пойдёт. А сейчас – зорче смотреть!

И погнал, и погнал наружный ряд к Сеньке навстречу. И Сенька там на углу с бригадиром разошёлся, тоже сюда идёт.

Подносчиком мигнул Шухов – раствор, раствор под руку перетаскивайте, живо! Такая пошла работа – недосуг носу утереть.

Как сошлись с Сенькой да почали из одного ящика черпать – а уж и с заскрёбом.

– Раствору! – орёт Шухов через стенку.

– Да-е-мо! – Павло кричит.

Принесли носилки. Вычерпали сколько было жидкого, а уж по стенкам схватился – выцарапывай сами! Нарастёт коростой – вам же таскать вверх-вниз. Отваливай! Следующий!

Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой хватчивой работы прошёл по ним сперва первый жарок – тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок – тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок лёгкий, потягивающий – не могли их мыслей отвлечь от кладки. Только Клевшин нога об ногу постукивал: у него, несчастного, сорок шестой размер, валенки ему подобрали от разных пар, тесноватые.

Бригадир от поры до поры крикнет: «Раство-ору!» И Шухов своё: «Раство-ору!» Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становится. Шухову надо не от-

стать от той пары, он сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял бы.

Буйновский сперва, с обеда, с Фетюковым вместе раствор носил. По трапу и круто, и оступчиво, не очень он тянул поначалу, Шухов его подгонял легонько:

– Кавторанг, побыстрей! Кавторанг, шлакоблоков!

Только с каждым носилками кавторанг становился расторопнее, а Фетюков всё ленивее: идёт, сучье вымя, носилки наклонит и раствор выхлюпывает, чтоб легче нести.

Костыльнул Шухов в спину разок:

– У, гадская кровь! А директором был – небось с рабочих требовал?

– Бригадир! – кричит кавторанг. – Поставь меня с человеком! Не буду я с этим м...ком носить!

Переставил бригадир: Фетюкова шлакоблоки снизу на подмости кидать, да так поставил, чтоб отдельно считать, сколько он шлакоблоков вскинет, а Алёшку-баптиста – с кавторангом. Алёшка – тихий, над ним не командует только кто не хочет.

– Аврал, салага! – ему кавторанг внушает. – Видишь, кладка пошла!

Улыбается Алёшка уступчиво:

– Если нужно побыстрей – давайте побыстрей. Как вы скажете.

И потопали вниз.

Смирный – в бригаде клад.

Кому-то вниз бригадир кричит. Оказывается, ещё одна машина со шлакоблоками подошла. То полгода ни одной не было, то как прорвало их. Пока и работать, что шлакоблоки возят. Первый день. А потом простой будет, не разгонишься.

И ещё вниз ругается бригадир. Что-то о подъёмнике. И узнать Шухову хочется, и некогда: стену выравнивает. Подошли подносчики, рассказали: пришёл монтёр на подъёмнике мотор исправлять и с ним прораб по электроработам, вольный. Монтёр копаётся, прораб смотрит.

Это – как положено: один работает, один смотрит.

Сейчас бы исправили подъёмник – можно б и шлакоблоки им подымать, и раствор.

Уж повёл Шухов третий ряд (и Кильдигс тоже третий начал), как по трапу прётся ещё один дозорщик, ещё один начальник – строительный десятник Дэр. Москвич. Говорят, в министерстве работал.

Шухов от Кильдигса близко стоял, показал ему на Дэра.

– А-а! – отмахивается Кильдигс. – Я с начальством вообще дела не имею. Только если он с трапа свалится, тогда меня позовёшь.

Сейчас станет среди каменщиков и будет смотреть. Вот этих наблюдателей пуще всего Шухов не терпит. В инженеры лезет, свинячья морда! А один раз показывал, как кирпичи класть, так Шухов обхохотался. По-нашему, вот построй один дом своими руками, тогда инженер будешь.

В Темгенёве каменных домов не знали, избы из дерева. И школа тоже рубленая, из заказника лес привозили в шесть саженой. А в лагере понадобилось на каменщика – и Шухов, пожалуйста, каменщик. Кто два дела руками знает, тот ещё и десять подхватит.

Нет, не свалился Дэр, только споткнулся раз. Вбежал наверх чуть не бегом.

– Тю-урин! – кричит, и глаза навывкате. – Тю-рин!

А вслед ему по трапу Павло взбегает с лопатой, как был.

Бушлат у Дэра лагерный, но новенький, чистенький. Шапка отличная, кожаная. А номер и на ней как у всех: Б-731.

– Ну? – Тюрин к нему с мастерком вышел. Шапка бригадирова съехала набок, на один глаз.

Что-то небывалое. И пропустить никак нельзя, и раствор стынет в корытце. Кладёт Шухов, кладёт и слушает.

– Да ты что?! – Дэр кричит, слюной брызгает. – Это не карцером пахнет! Это уголовное дело, Тюрин! Третий срок получишь!

Только тут прострельнуло Шухова, в чём дело. На Кильдигса глянул – и тот уж понял. Толь! Толь увидал на окнах.

За себя Шухов ничуть не боится, бригадир его не продаст. Боится за бригадира. Для нас бригадир – отец, а для них – пешка. За такие дела второй срок на севере бригадиру вполне паяли.

Ух, как лицо бригадирова перекосило! Ка-ак швырнёт мастерок под ноги! И к Дэру – шаг! Дэр оглянулся – Павло лопату наотмашь подымает.

Лопату-то! Лопату-то он не зря прихватил...

И Сенька, даром что глухой, – понял: тоже руки в боки и подошёл. А он здоровый, леший.

Дэр заморгал, забеспокоился, смотрит, где пятый угол.

Бригадир наклонился к Дэру и тихо так совсем, а явственно здесь наверху:

– Прошло ваше время, заразы, срока́ давать. Ес-сли ты слово скажешь, кровосос, – день последний живёшь, запомни!

Трясёт бригадира всего. Трясёт, не уймётся никак.

И Павло остролицый прямо глазом Дэра режет, прямо режет.

– Ну что вы, что вы, ребята! – Дэр бледный стал – и от трапа подальше.

Ничего бригадир больше не сказал, поправил шапку, мастерок поднял изогнутый и пошёл к своей стене.

И Павло с лопатой медленно пошёл вниз.

Ме-едленно...

Да-а... Вот она, кровь-то резаных этих... Троиx зарезали, а лагеря не узнать.

И оставаться Дэру страшно, и спускаться страшно. Спрятался за Кильдигса, стоит.

А Кильдигс кладёт – в аптеке так лекарства вешают: личностью доктор и не торопится ничуть. К Дэру он всё спиной, будто его и не видал.

Подкрадывается Дэр к бригадиру. Где и спесь его вся.

– Что ж я прорабу скажу, Тюрин?

Бригадир кладёт, головы не поворачивая:

– А скажете – *было так*. Пришли – так было.

Постоял ещё Дэр. Видит, убивать его сейчас не будут. Прошёлся тихонько, руки в карманы заложил.

– Э, Ща-восемьсот пятьдесят четыре, – пробурчал. – Раствора почему тонкий слой кладёшь?

На ком-то надо отыграться. У Шухова ни к перекосам, ни к швам не подкопаешься – так вот раствор тонок.

– Дозвольте заметить, – прошепелявил он, а с насмешечкой, – что если слой толстый сейчас ложить, весной эта ТЭЦ потечёт вся.

– Ты – каменщик и слушай, что тебе десятник говорит, – нахмурился Дэр и щёки поднадул, привычка у него такая.

Ну, кой-где, может, и тонко, можно бы и потолще, да ведь это если класть не зимой, а по-человечески. Надо ж и людей пожалеть. Выработка нужна. Да чего объяснять, если человек не понимает.

И пошёл Дэр по трапу тихо.

– Вы мне подъёмник наладьте! – бригадир ему со стены вослед. – Что мы – ишаки? На второй этаж шлакоблоки вручную!

– Тебе подъём оплачивают, – Дэр ему с трапа, но смирно.

– «На тачках»? А ну, возьмите тачку, прокатите по трапу. «На носилках» оплачивайте!

– Да что мне, жалко? Не проведёт бухгалтерия «на носилках».

– Бухгалтерия! У меня вся бригада работает, чтоб четырёх каменщиков обслужить. Сколько я заработаю?

Кричит бригадир, а сам кладёт без отрыву.

– Раство-ор! – кричит вниз.

– Раство-ор! – перенимает Шухов. Всё подровняли на третьем ряду, а на четвёртом и развернуться. Надо б шнур на рядок вверх перетянуть, да живёт и так, рядок без шнура прогоним.

Пошёл себе Дэр по полю, съёжился. В контору, греться. Неприютно ему небось. А и думать надо, прежде чем на такого волка идти, как Тюрин. С такими бригадирами он бы ладил, ему б и хлопот ни о чём: горбить не требуют, пайка высокая, живёт в кабине отдельной – чего ещё? Так ум выставляет.

Пришли снизу, говорят: и прораб по электромонтажным ушёл, и монтёр ушёл – нельзя подъёмника наладить.

Значит, ишачь!

Сколько Шухов производств повидал, техника эта или сама ломается, или зэки её ломают. Бревнотаску ломали: в цепь дырин вставят и поднажмут. Чтоб отдохнуть. Балан-то велят к балану класть, не разогнёшься.

– Шлакоблоков! Шлакоблоков! – кричит бригадир, разошёлся. И в мать их, и в мать, подбросчиков и подносчиков.

– Павло спрашивает, с раствором как? – снизу шумят.

– Разводить, как!

– Так разведенного пол-ящика!

– Значит, ещё ящик!

Ну, заваруха! Пятый ряд погнали. То скрючимшись первый гнали, а сейчас уж под грудь, гляди! Да ещё б их не гнать, как ни окон, ни дверей, глухих две стены на смычку и шлакоблоков вдоволь. И надо б шнур перетянуть, да поздно.



– Восемьдесят вторая инструменты сдавать понесла, – Гопчик докладывает.

Бригадир на него только глазами сверкнул.

– Своё дело знай, сморчок! Таскай кирпичи!

Оглянулся Шухов. Да, солнышко на заходе. С краснинкой заходит и в туман вроде бы седенький. А разогнались – лучше не надо. Теперь уж пятый начали – пятый и кончить. Подровнять.

Подносчики – как лошади запышенные. Кавторанг даже посерел. Ему ведь лет, кавторангу, сорок не сорок, а около.

Холод градусы набирает. Руки в работе, а пальцы всё ж поламывает сквозь рукавички худые. И в левый валенок мороза натягивает. Топ-топ им Шухов, топ-топ.

К стене теперь нагибаться не надо стало, а вот за шлакоблоками – поломай спину за каждым, да ещё за каждой ложкой раствора.

– Ребята! Ребята! – Шухов теребит. – Вы бы мне шлакоблоки на стенку! на стенку подымали!

Уж кавторанг и рад бы, да нет сил. Непривычный он. А Алёшка:

– Хорошо, Иван Денисыч. Куда класть – покажите.

Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит – отчего не пособить? Это верно у них.

По всей зоне и до ТЭЦ ясно донеслось: об рельс звонят. Съём! Прихватил с раствором. Эх, расстарались!..

– Давай раствор! Давай раствор! – кричит бригадир.

А там ящик новый только заделан! Теперь – класть, выхода нет: если ящика не выбрать, завтра весь тот ящик к свиньям разбивай, раствор окаменеет, его киркой не выколупнешь.

– Ну, не удай, братцы! – Шухов кличет.

Кильдигс злой стал. Не любит авралов. У них в Латвии, говорит, работали все потихоньку, и богатые все были. А жмёт и он, куда денешься!

Снизу Павло прибежал, в носилки впрягшись, и мастеров в руке. И тоже класть. В пять мастеров.

Теперь только стыки успевай заделывать! Заране глазом умерит Шухов, какой ему кирпич на стык, и Алёшке молоток подталкивает:

– На, теши мне, теши!

Быстро – хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит, а стену доглядает. Сеньку налево перетолкнул, сам – направо, к главному углу. Сейчас, если стену напустить или угол завалить, – это про́пасть, завтра на полдня работы.

– Стой! – Павла от кирпича отбил, сам его поправляет. А оттуда, с угла, глядь – у Сеньки вроде прогибик получается. К Сеньке кинулся, двумя кирпичами направил.

Кавторанг припёр носилки, как мерин добрый.

– Ещё, – кричит, – носилок двое!

С ног уж валится кавторанг, а тянет. Такой мерин и у Шухова был, до колхоза. Шухов-то его приберегал, а в чужих руках подрезался он живо. И шкуру с его сняли.

Солнце и закрайком верхним за землю ушло. Теперь уж и без Гопчика видать: не только все бригады инструмент отнесли, а валом повалил народ к вахте. (Сразу после звонка никто не выходит, дурных нет мёрзнуть там. Сидят все в обогревалках. Но настаёт такой момент, что сговариваются бригадиры, и все бригады вместе сыпят. Если не договориться, так это ж такой злоупорный народ, арестанты, – друг друга пересиживая, будут до полуночи в обогревалках сидеть.)

Опамятовался и бригадир, сам видит, что перепозднился. Уж инструментальщик, наверно, его в десять матов обкладывает.

– Эх, – кричит, – дерьма не жалко! Подносчики! Катите вниз, большой ящик выскребайте, и что наберёте – отнесите в яму вон ту и сверху снегом присыпьте, чтоб не видно! А ты, Павло, бери двоих, инструмент собирай, тащи сдавать. Я тебе с Гопчиком три мастерка дошлю, вот эту пару носилок последнюю выложим.

Накинулись. Молоток у Шухова забрали, шнур отвязали. Подносчики, подбросчики – все убегли вниз в растворную, делать им больше тут нечего. Остались сверху каменщиков трое – Кильдигс, Клевшин да Шухов. Бригадир ходит, обсматривает, сколько выложили. Доволен.

– Хорошо положили, а? За полдня. Без подъёмника, без фуёмника.

Шухов видит – у Кильдигса в корытце мало осталось. Тужит Шухов – в инструменталке бригадира бы не ругали за мастерки.

– Слышь, ребята, – Шухов доник, – мастерки-то несите Гопчику, мой – нескитанный, сдавать не надо, я им доложу.

Смеётся бригадир:

– Ну как тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет!

Смеётся и Шухов. Кладёт.

Унёс Кильдигс мастерки. Сенька Шухову шлакоблоки подса́ывает, раствор кильдигсов сюда в корытце перевалили.

Побежал Гопчик через всё поле к инструменталке, Павла догонять. И 104-я сама пошла через поле, без бригадира. Бригадир – сила, но конвой – сила посильней. Перепишут опоздавших – и в кондей.

Грозно сгустело у вахты. Все собрались. Кажись, что и конвой вышел – пересчитывают.

(Считают два раза на выходе: один раз при закрытых воротах, чтоб знать, что можно ворота открыть; второй раз – сквозь открытые ворота пропуская. А если померещится ещё не так – и за воротами считают.)

– Драть его в лоб с раствором! – машет бригадир. – Выкидывай его через стенку!

– Иди, бригадир! Иди, ты там нужней! – (Зовёт Шухов его Андрей Прокофьевичем, но сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся. Не то чтоб думал так: «Вот я сравнялся», а просто чует, что так.) И шутит вслед бригадиру, широким шагом сходящему по трапу: – Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадёшь – уж и съём!

Остались вдвоём с глухим. С этим много не поговоришь, да с ним и говорить незачем: он всех умней, без слов понимает.

Шлёп раствор! Шлёп шлакоблок! Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок...

Кажется, и бригадир велел – раствору не жалеть, за стенку его – и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули.

Раствор! Шлакоблок! Раствор! Шлакоблок!

– Кончили, мать твою за ногу! – Сенька кричит. – Айда!

Носилки схватил – и по трапу.

А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал – и

через стенку, слева, справа. Эх, глаз – ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится.

Побежал по трапу.

Сенька – из растворной и по пригорку бегом.

– Ну! Ну! – оборачивается.

– Беги, я сейчас! – Шухов машет.

А сам – в растворную. Мастерка так просто бросить нельзя. Может, завтра Шухов не выйдет, может, бригаду на Соцгородок затурнут, может, сюда ещё полгода не попадёшь – а мастеров пропадай? *Заначить* так заначить!

В растворной все печи погашены. Темно. Страшно. Не то страшно, что темно, а что ушли все, недосчитаются его одного на вахте, и бить будет конвой.

А всё ж зырь-зырь, довидел камень здоровый в углу, отвалил его, под него мастеров подсунул и накрыл. Порядок!

Теперь скорей Сеньку догонять. А он отбежал шагов на сто, дальше не идёт. Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать – так вместе.

Побежали вровень – маленький и большой. Сенька на полторы головы выше Шухова, да и голова-то сама у него экая здоровая уродилась.

Есть же бездельники – на стадионе доброй волей наперегонки бегают. Вот так бы их погонять, чертей, после целого дня рабочего, со спиной, ещё не разогнутой, в рукавицах мокрых, в валенках стоптанных – да по холоду.

Запалились, как собаки бешеные, только слышно: хы-хы! хы-хы!

Ну, да бригадир на вахте, объяснит же.

Вот прямо на толпу бегут, страшно.

Сотни глоток сразу как заулюлюкали: и в мать их, и в отца, и в рот, и в нос, и в ребро. Как пятьсот человек на тебя разъярятся – ещё б не страшно!

Но главное – конвой как?

Нет, конвой ничего. И бригадир тут же, в последнем ряду. Объяснил, значит, на себя вину взял.

А ребята орут, а ребята матюгаются! Так орут – даже Сенька многое услышал, дух перевёл да как завернёт со своей высоты! Всю жизнь молчит – ну и как гахнет! Кулаки поднял, сейчас драться кинется. Замолчали. Смеются кой-кто.

– Эй, сто четвёртая! Так он у вас не глухой? – кричат. – Мы проверяли.

Смеются все. И конвой тоже.

– Разобраться по пять!

А ворот не открывают. Сами себе не верят. Подали толпу от ворот назад. (К воротам все прилипли, как глупые, будто от того быстрее будет.)

– Р-разобраться по пять! Первая! Вторая! Третья!..

И как пятёрку назовут, та вперёд проходит метров на несколько.

Отпыхался Шухов пока, оглянулся – а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез. И ущербляться, кесь, чуть начал. Вчера об эту пору выше много он стоял.

Шухову весело, что всё сошло гладко, кавторанга под бок бьёт и закидывает:

– Слышь, кавторанг, а как по науке вашей – старый месяц куда потом девается?

– Как куда? Невежество! Просто не виден!

Шухов головой крутит, смеётся:

– Так если не виден – откуда ж ты знаешь, что он есть?

– Так что ж, по-твоему, – дивится капитан, – каждый месяц луна новая?

– А что чудного? Люди вон что ни день рождаются, так месяцу раз в четыре недели можно?

– Тьфу! – плюнул капитан. – Ещё ни одного такого дурного матроса не встречал. Так куда ж старый девается?

– Вот я ж и спрашиваю тебя – куда? – Шухов зубы раскрыл.

– Ну? Куда?

Шухов вздохнул и поведал, шепелявя чуть:

– У нас так говорили: старый месяц Бог на звёзды крошит.

– Вот дикари! – Капитан смеётся. – Никогда не слышал! Так ты что ж, в Бога веришь, Шухов?

– А то? – удивился Шухов. – Как гроыхнёт – пойдёшь не поверь!

– И зачем же Бог это делает?

– Чего?

– Месяц на звёзды крошит – зачем?

– Ну, чего не понять! – Шухов пожал плечами. – Звёзды-те от времени падают, пополнять нужно.

– Повернись, мать... – конвой орёт. – Разберись!

Уж до них счёт дошёл. Прошла пятёрка двенадцатая пятой сотни, и их двое сзади – Буйновский да Шухов.

Конвой сумутится, толкует по дощечкам счётным. Не хватает! Опять у них не хватает. Хоть бы считать-то умели, собаки!

Насчитали четыреста шестьдесят два, а должно быть, толкуют, четыреста шестьдесят три.

Опять всех оттолкали от ворот (к воротам снова притиснулись) – и ну:

– Р-разобраться по пять! Первая! Вторая!

Эти пересчёты ихие тем досадливы, что время уходит уже не казённое, а своё. Это пока ещё степью до лагеря допрёшься да перед лагерем очередь на шмон выстоишь! Все объекты бегма бегут, друг перед другом расстарываются, чтоб раньше на шмон и, значит, в лагерь раньше юркнуть. Какой объект в лагерь первый придёт, тот сегодня и княжествует: столовая его ждет, на посылки он первый, и в камеру хранения первый, и в индивидуальную кухню, в КВЧ за письмами или в цензуру своё письмо сдать, в санчасть, в парикмахерскую – везде он первый.

Да бывает, конвою тоже скорее нас сдать – да к себе в лагерь. Солдату тоже не разгуляешься: дел много, времени мало.

А вот не сходится счёт их.

Как последние пятёрки стали перепускать, померещилось Шухову, что в самом конце трое их будет. А нет, опять двое.

Счётчики к начкару, с дощечками. Толкуют. Начкар кричит:

– Бригадир сто четвёртой!

Тюрин выступил на полшага:

– Я.

– У тебя на ТЭЦ никого не осталось? Подумай.

– Нет.

– Подумай, голову оторву!

– Нет, точно говорю!

А сам на Павла косится – не заснул ли кто там, в растворной?

– Ра-а-азберись по бригадам! – кричит начкар.

А стояли по пятёркам как попало, кто с кем. Теперь затолкались, загудели. Там кричат: «Семьдесят шестая – ко мне!» Там: «Тринадцатая! Сюда!» Там: «Тридцать вторая!»

А 104-я как сзади всех была, так и собралась сзади. И видит Шухов: бригада вся с руками порожними, до того заработались, дурни, что и щепок не подсобрали. Только у двоих вязаночки малые.

Игра эта идёт каждый день: перед съёмом собирают работы щепочек, палочек, дранки ломаной, обвяжут тесёмочкой тряпичной или верёвочкой худой и несут. Первая облава – у вахты прораб или из десятников кто. Если стоит, сейчас велит всё кидать (миллионы уже через трубу спустили, так они щепками навестать думают). Но у работяги свой расчёт: если каждый из бригады хоть по чутку палочек принесёт, в бараке теплей будет. А то дают дневальным на каждую печку по пять килограмм угольной пыли, от неё тепла не дождёшься. Поэтому и так делают, что палочек наломают, напилят покороче да суют их себе под бушлат. Так прораба и минуют.

Конвой же здесь, на объекте, никогда не велит дрова кидать: конвою тоже дрова нужны, да нести самим нельзя. Одно дело – мундир не велит, другое – руки автоматами заняты, чтобы по нам стрелять. Конвой как к лагерю подведёт, тут и скомандует: «От такого до такого ряда бросить дрова вот сюда.» Но берут по-божески: и для лагерных надзирателей оставить надо, и для самих зэков, а то вовсе носить не будут.

Так и получается: носи дрова каждый зэк и каждый день. Не знаешь, когда донесёшь, когда отымут.

Пока Шухов глазами рыскал, нет ли где щепочек под ногами подсобрать, а бригадир уже всех счёл и доложил начкару:

– Сто четвёртая – вся!

И Цезарь тут, от конторских к своим подошёл. Огнём красным из трубки на себя попыхивает, усы его чёрные обындевели, спрашивает:

– Ну как, капитан, дела?

Гретому мёрзлого не понять. Пустой вопрос – дела как?

– Да как? – поводит капитан плечами. – Нароботался вот, еле спину распрямил.

Ты, мол, закурить догадайся дать.

Даёт Цезарь и закурить. Он в бригаде одного кавторанга и придерживается, больше ему не с кем душу отвести.

– В тридцать второй человека нет! В тридцать второй! – шумят все.

Улупил помощник бригадира 32-й и ещё с ним парень один – туда, к авторемонтным, искать. А по толпе: кто? да что? – спрашивают. И дошло до Шухова: нету молдавана маленького чернявого. Какой же это молдаван? Не тот ли молдаван, что, говорят, шпионом был румынским, настоящим шпионом?

Шпионов – в каждой бригаде по пять человек, но это шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. И Шухов такой же шпион.

А тот молдаван – настоящий.

Начкар как глянул в список, так и почернел весь. Ведь если шпион сбежал – это что начкару будет?

А толпу всю и Шухова зло берёт. Ведь это что за стерва, гад, падаль, паскуда, загребанец? Уж небо тёмно, свет, считай, от месяца идёт, звёзды вон, мороз силу ночную забирает – а его, пашенка, нет! Что, не наработался, падло? Казённого дня мало, одиннадцать часов, от света до света? Прокурор добавит, подожди!

И Шухову чудно́, чтобы кто-то так мог работать, звонка не замечая.

Шухов совсем забыл, что сам он только что так же работал, – и досадовал, что слишком рано собираются к вахте. Сейчас он зяб со всеми, и лютел со всеми, и ещё бы, кажется, полчаса подержи их этот молдаван, да отдал бы его конвой толпе – разодрали б, как волки телёнка!

Вот когда стал мороз забирать! Никто не стоит – или на месте переступает, или ходит два шага вперёд, два назад.

Толкуют люди – мог ли убежать молдаван? Ну, если днём ещё убёг – другое дело, а если схоронился и ждёт, чтобы с вышек охрану сняли, не дождётся. Если следа под проволокой не осталось, где уполз, – трое суток в зоне не разыщут и трое суток будут на вышках сидеть. И хоть неделю – тоже. Это уж их устав, старые арестанты знают. Вообще, если кто бежал – конвою жизнь кончается, гоняют их безо сна и еды. Так так иногда разъярятся – не берут беглеца живым. Пристреливают.

Уговаривает Цезарь кавторанга:

– Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

– М-да... – Кавторанг табачок покуривает.

– Или коляска по лестнице – катится, катится.



– Да... Но морская жизнь там кукольная.

– Видите ли, мы избалованы современной техникой съёмки...

– Офицеры все до одного мерзавцы...

– Исторически так и было!

– А кто ж их в бой водил?.. Потом черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были?

– Но более мелких средствами кино не покажешь!

– Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки говённой, да не моя, не скребя в котёл бы ухнули, так мы бы...

– А-а-а! – завопили зэки. – У-у-у!

Увидели: из авторемонтных три фигурки выскочило, – значит, с молдаваном.

– У-у-у! – люлюкает толпа от ворот.

А как те ближе подбежали, так:

– Чу-ма-а! Шко-одник! Шушера! Сука позорная! Мерзотина! Стервоза!!

И Шухов тоже кричит:

– Чу-ма!

Да ведь шутка сказать, больше полчаса времени у пятисот человек отнял!

Вобрал голову, бежит, как мышонок.

– Стой! – конвой кричит. И записывает: – Кэ-четыреста шестьдесят. Где был?

А сам подходит и прикладом карабин поворачивает.

Из толпы всё кричат:

– Сволочь! Блевотина! Паскуда!

А другие, как только сержант стал карабин прикладом оборачивать, затихли.

Молчит молдаван, голову нагнул, от конвоя пятится. Помбригадир 32-й выступил вперёд:

– Он, падло, на леса штукатурные залез, от меня прятался, а там угрелся и заснул.

И по захрястку его кулаком! И по холке!

А тем самым отогнал от конвоира.

Отшатнулся молдаван, а тут мадьяр выскочил из той же 32-й да ногой его под зад, да ногой под зад! (Мадьяры вообще румын не любят.)

Это тебе не то, что шпионить. Шпионить и дурак может. У шпиона жизнь чистая, весёлая. А попробуй в каторжном лагере оттянуть десяточку на общих!

Опустил конвоир карабин.

А начкар орёт:

– А-тайди от ворот! Ра́-зобраться по пять!

Вот собаки, опять считать! Чего ж теперь считать, как и без того ясно? Загудели ээки. Всё зло с молдавана на конвой переметнулось. Загудели и не отходят от ворот.

– Что-о? – начкар заорал. – На снег посадить? Сейчас посажу. До утра держать буду!

Ничего мудрого, и посадит. Сколь раз сажали. И клали даже: «Ложись! Оружие к бою!» Бывало это всё, знают ээки. И стали легонько от ворот оттрагивать.

– Ат-ходи! Ат-ходи! – понуждает конвой.

– Да и чего, правда, к воротам-то жмётесь, стервы? – задние на передних злятся. И отходят под натиском.

– Ра-зобраться по пять! Первая! Вторая! Третья!

А уж месяц в силу полную светит. Просветлился, багровость с него сошла. Поднялся уж на четверть добрую. Пропал вечер!.. Молдаван проклятый. Конвой проклятый. Жизнь проклятая...

Передние, кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть: в пятёрке последней двое останется или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит.

Показалось было Шухову, что в последней пятёрке их четверо останется. Обомлел со страху: лишний! Опять пересчитывать! А оказалось, Фетюков, шакал, у кавторанга окурков достреливал, зазевался, в свою пятёрку не переступил вовремя, и тут вышел вроде лишний.

Помначкар со зла его по шее, Фетюкова.

Правильно!

В последней – три человека. Сошлось, слава тебе, Господи!

– А-тайди от ворот! – опять конвой понуждает.

Но в этот раз ээки не ворчат, видят: выходят солдаты из вахты и оцепляют плац с той стороны ворот.

Значит, выпускать будут.

Десятников вольных не видать, прораба тоже, несут ребя-тишки дрова.

Распахнули ворота. И уж там, за ними, у переводин бревенчатых, опять начкар и контролёр:

– Пер-рвая! Вторая! Третья!..

Ещё раз если сойдётся – снимать будут часовых с вышек.

А от вышек дальних вдоль зоны хо-го сколько топать! Как последнего зэка из зоны выведут и счёт сойдётся – тогда только по телефону на все вышки звонят: сойти! И если начкар умный – тут же и трогает, знает, что зэку бежать некуда и что те, с вышек, колонну нагонят. А какой начкар дурак – боится, что ему войска не хватит против зэков, и ждёт.

Из тех остолопов и сегодняшний начкар. Ждёт.

Целый день на морозе зэки, смерть чистая, так озябли. И, после съёма стоячи, целый час зябнуть. Но и всё же их не так мороз разбирает, как зло: пропал вечер! Уж никаких дел в зоне не сделаешь.

– А откуда вы так хорошо знаете быт английского флота? – спрашивают в соседней пятёрке.

– Да, видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюту. Я сопровождал морской конвой. Был офицером связи у них.

– Ах, вот как! Ну, уже достаточно, чтобы вмазать вам двадцать пять.

– Нет, знаете, этого либерального критицизма я не придерживаюсь. Я лучшего мнения о нашем законодательстве.

(Дуди-дуди, Шухов про себя думает, не встречая. Сенька Клевшин с американцами два дня жил, так ему четвертную закатали, а ты месяц на ихем корабле околачивался, – так сколько ж тебе давать?)

– Но уже после войны английский адмирал, чёрт его дёрнул, прислал мне памятный подарок. «В знак благодарности». Удивляюсь и проклиная!..

Чудно. Чудно вот так посмотреть: степь голая, зона покинутая, снег под месяцем блещет. Конвоиры уже расстановились – десять шагов друг от друга, оружие на изготовку. Стадо чёрное этих зэков, и в таком же бушлате Щ-311 – человек, кому без золотых погонов и жизни было не знато, с адмиралом английским якшался, а теперь с Фетюковым носилки таскает.

Человека можно и так повернуть, и так...

Ну, собрался конвой. Без молитвы прямо:

– Шагом марш! Побыстрой!

Нет уж, хрен вам теперь – побыстрее! Ото всех объектов отстали, так спешить нечего. Зэки и не сговариваясь поняли все: вы нас держали – теперь мы вас подержим. Вам небось тоже к теплу хоц-ца...

– Шире шаг! – кричит начкар. – Шире шаг, направляющий!

Хрен тебе – «шире шаг»! Идут зэки размеренно, понурясь, как на похороны. Нам уже терять нечего, всё равно в лагерь последние. Не хотел по-человечески с нами – хоть разорвись теперь от крику.

Покричал-покричал начкар «шире шаг!» – понял: не пойдут зэки быстрее. И стрелять нельзя: идут пятёрками, колонной, согласно. Нет у начкара власти гнать зэков быстрее. (Утром только этим зэки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро бегаёт, тому сроку в лагере не дожить – упарится, свалится.)

Так и пошли ровненько, без разгону. Скрипят себе снежком. Кто разговаривает тихонько, а кто и так. Стал Шухов вспоминать – чего это он с утра ещё в зоне не доделал? И вспомнил – санчасть! Вот диво-то, совсем про санчасть забыл за работой.

Как раз сейчас приём в санчасти. Ещё б можно успеть, если не поужинать. Так теперь вроде и не ломает. И температуры не намерят... Время тратить! Перемогся без докторов. Доктора эти в бушлат деревянный залечат.

Не санчасть его теперь манила – а как бы ещё к ужину добавить? Надежда вся была, что Цезарь посылку получит, уж давно ему пора.

И вдруг колонну зэков как подменили. Заколыхалась, сбилась с ровной ноги, дёрнулась, загудела, загудела – и вот уже хвостовые пятёрки и середь них Шухов не стали догонять идущих впереди, стали подбегать за ними.

Пройдут шагов несколько и опять бегом.

Как хвост на холм вывалил, так и Шухов увидел: справа от них, далеко в степи, чернелась ещё колонна, шла она нашей колонне наперекос и, должно быть увидав, тоже пропустила.

Могла быть эта колонна только мехзавода, в ней человек триста. И им, значит, не повезло, задержали тоже. А их за что?

Их, случается, и по работе задерживают: машину какую не доремонтировали. Да им-то по́пустя, они в тепле целый день.

Ну, теперь кто кого! Бегут ребята, просто бегут. И конвой взялся рысцой, только начкар покрикивает:

– Не растягиваться! Сзади подтянуться! Подтянуться!

Да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь? Неужто мы не подтягиваемся?

И кто о чём говорил, и кто о чём думал – всё забыли, и один остался во всей колонне интерес:

– Обогнать! Обжать!

И так всё смешалось, кислое с пресным, что уже конвой зэкам не враг, а друг. Враг же – та колонна, другая.

Развеселились сразу все, и зло прошло.

– Давай! Давай! – задние передним кричат.

Дорвалась наша колонна до улицы, а мехзаводская позади жилого квартала скрылась. Пошла гонка втёмную. Тут нашей колонне торней стало, посеред улицы. И конвоирам с боков тоже не так спотычливо. Тут-то мы их и обжать должны!

Ещё потому мехзаводцев обжать надо, что их на лагерной вахте особо долго шмонают. С того случая, как в лагере резать стали, начальство считает, что ножи делаются на мехзаводе, в лагерь притекают оттуда. И потому на входе в лагерь мехзаводцев особо шмонают. Поздней осенью, уж земля стужёная, им всё кричали:

– Снять ботинки, мехзавод! Взять ботинки в руки!

Так босиком и шмонали.

А и теперь, мороз не мороз, ткнут по выбору:

– А ну-ка, сними правый валенок! А ты – левый сними!

Снимет валенок зэк и должен, на одной ноге пока прыгая, тот валенок опрокинуть и портянкой потрясти – мол, нет ножа.

А слышал Шухов, не знает – правда ли, неправда, – что мехзаводцы ещё летом два волейбольных столба в лагерь принесли и в тех-то столбах были все ножи запряты. По десять длинных в каждом. Теперь их в лагере и находят изредка – там, здесь.

Так полубегом клуб новый миновали, и жилой квартал, и деревообделочный – и выперли на прямой поворот к лагерной вахте.

– Ху-гу-у! – колонна так и кликнет единым голосом.

На этот-то стык дорог и метили! Мехзаводцы – метров полтора справа, отстали.

Ну, теперь спокойно пошли. Рады все в колонне. Заячья радость: мол, лягушки ещё и нас боятся.

И вот – лагерь. Какой утром оставили, такой он и сейчас: ночь, огни по зоне над сплошным забором, и особо густо горят фонари перед вахтой, вся площадка для шмона как солнцем залита.

Но, ещё не доходя вахты...

– Стой! – кричит помначкар. И, отдав автомат свой солдату, подбегает к колонне близко (им с автоматом не велят близко). – Все, кто справа стоят и дрова в руках, – брось дрова направо!

А снаружи-то их открыто и несли, ему всех видно. Одна, другая вязочка полетела, третья. Иные хотят укрыть дровишки внутри колонны, а соседи на них:

– Из-за тебя и у других отымут! Бросай по-хорошему!

Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальство.

– Ма-арш! – кричит помначкар.

И пошли к вахте.

К вахте сходятся пять дорог, часом раньше на них все объекты толпились. Если по этим всем дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь с памятником. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться.

Надзиратели уж на вахте грелись. Выходят, поперёк дороги становятся.

– Рас-стегнуть бушлаты! Телогрейки расстегнуть!

И руки разводят. Обнимать собираются, шмоная. По бокам хлопать. Ну как утром, в общем.

Сейчас расстёгивать не страшно, домой идём.

Так и говорят все – «домой».

О другом доме за день и вспомнить некогда.

Уж голову колонны шмонали, когда Шухов подошёл к Цезарю и сказал:

– Цезарь Маркович! Я от вахты побегу сразу в посылочную и займу очередь.

Повернул Цезарь к Шухову усы литые, чёрные, а сейчас белые снизу:

– Чего ж, Иван Денисыч, занимать? Может, и посылки не будет.

– Ну, а не будет – мне лихо какое? Десять минут подожду, не придёте – я и в барак.

(Сам Шухов думает: не Цезарь, так, может, кто другой придёт, кому место продать в очереди.)

Видно, истомился Цезарь по посылке:

– Ну ладно, Иван Денисыч, беги, занимай. Десять минут жди, не больше.

А уж шмон вот-вот, достигает. Сегодня от шмона прятать Шухову нечего, подходит он безбоязно. Расстегнул бушлат не торопясь и телогрейку тоже распустил под брезентовым пояском.

И хотя ничего он за собой запрещённого не помнил сегодня, но настороженность восьми лет сидки вошла в привычку. И он сунул руку в брючный наколенный карман – проверить, что там пусто, как он и знал хорошо.

Но там была ножёвка, кусок ножёвочного полотна! Ножёвка, которую из хозяйственности он подобрал сегодня среди рабочей зоны и вовсе не собирался проносить в лагерь.

Он не собирался её проносить, но теперь, когда уже донёс, – бросать было жалко край! Ведь её отточить в маленький ножичек – хоть на сапожный лад, хоть на портновский!

Если б он думал её проносить, он бы придумал хорошо и как спрятать. А сейчас оставалось всего два ряда перед ним, и вот уже первая из этих пятёрок отделилась и пошла на шмон.

И надо было быстрее ветра решать: или, затеянь последней пятёркой, незаметно сбросить её на снег (где её следом найдут, но не будут знать чья), или нести!

За ножёвку эту могли дать десять суток карцера, если бы признали её ножом.

Но сапожный ножичек был заработок, был хлеб!

Бросать было жалко.

И Шухов сунул её в ватную рукавицу.

Тут скомандовали пройти на шмон следующей пятёрке.

И на полном свету их осталось последних трое: Сенька, Шухов и парень из 32-й, бегавший за молдаваном.

Из-за того, что их было трое, а надзирателей стояло против них пять, можно было словчить – выбрать, к кому из двух

правых подойти. Шухов выбрал не молодого румяного, а седоусого старого. Старый был, конечно, опытен и легко бы нашёл, если б захотел, но потому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серы горючей.

А тем временем Шухов обе рукавицы, с ножёвкой и пустую, снял с рук, захватил их в одну руку (рукавицу пустую вперёд оттопыря), в ту же руку схватил и верёвочку-опояску, телогрейку расстегнул дочиста, полы бушлата и телогрейки угодливо подхватил вверх (никогда он так услужлив не был на шмоне, а сейчас хотел показать, что открыт он весь – на, бери меня!) – и по команде пошёл к седоусому.

Седоусый надзиратель обхлопал Шухова по бокам и спине, по наколенному карману сверху хлопнул – нет ничего, промял в руках полы телогрейки и бушлата – тоже нет, и, уже отпуская, для верности смял в руке ещё выставленную рукавицу Шухова – пустую.

Надзиратель рукавицу сжал, а Шухова внутри клешнями сжало. Ещё один такой жим по второй рукавице – и он *горел* в карцер на триста грамм в день, и горячая пища только на третий день. Сразу он представил, как ослабеет там, оголодает и трудно ему будет вернуться в то жилистое, не голодное и не сытое состояние, что сейчас.

И тут же он остро, возносившись помолился про себя: «Господи! Спаси! Не дай мне карцера!»

И все эти думки пронеслись в нём, только пока надзиратель первую рукавицу смял и перенёс руку, чтоб так же смять и вторую, заднюю (он смял бы их зараз двумя руками, если бы Шухов держал рукавицы в разных руках, а не в одной). Но тут послышалось, как старший на шмоне, торопясь скорей освободиться, крикнул конвою:

– Ну, подводи мехзавод!

И седоусый надзиратель, вместо того чтобы взяться за вторую рукавицу Шухова, махнул рукою – проходи, мол. И отпустил.

Шухов побежал догонять своих. Они уже выстроены были по пять меж двумя долгими бревенчатыми переводинами, похожими на коновязь базарную и образующими как бы загон для колонны. Бежал он лёгкий, земли не чувствуя, и не помолился ещё раз, с благодарностью, потому что некогда было, да уже и некстати.



Конвой, который вёл их колонну, весь теперь ушёл в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода, и ждал только своего начальника. Дрова все, брошенные их колонной до шмона, конвоиры собрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу у вахты.

Месяц выкатывал всё выше, в белой светлой ночи настаивался мороз.

Начальник конвоя, идя на вахту, чтоб там ему расписку вернули за четыреста шестьдесят три головы, поговорил с Пряхой, помощником Волкового, и тот крикнул:

– Кэ-четыреста шестьдесят!

Молдаван, схоронившийся в гущу колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он так же всё голову держал поникшей и в плечи вобранной.

– Иди сюда! – показал ему Пряха вокруг коновязи.

Молдаван обошёл. И велено ему было руки взять назад и стоять тут.

Значит, будут паять ему попытку к побегу. В БУР возьмут.

Не доходя ворот, справа и слева за загоном, стали два вахтёра, ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда:

– Раз-зберись по пять! – («Отойди от ворот» тут не надо: всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, чтоб, если эки и толпой изнутри на них напёрли, не могли бы высадить.) – Первая! Вторая! Третья!..

Вот на этом-то вечернем пересчёте, сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголодал – и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас что дождь в сухмень, – разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни.

Входя сквозь лагерные ворота, эки, как воины с похода, – звонки, кованы, размашисты – пá-сторонись!

Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих зэков – страшно.

Вот с этого-то пересчёта, в первый раз с тех пор, как в полседьмого утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке ещё меж двух прясел прошли – и теперь рассыпайся кто куда.

Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит:

– Бригадиры! В ППЧ!

Это значит – на завтра хомут натягивать.

Шухов бросился мимо БУРа, меж бараков – и в посылочную. А Цезарь пошёл, себя не роняя, размеренно, в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка и на ней карандашом химическим написаны все, кому сегодня посылка.

На бумаге в лагере меньше пишут, а больше – на фанере. Оно как-то твёрже, вернее – на доске. На ней и *вертухаи* и нарядчики счёт головам ведут. А назавтра соскоблил – и снова пиши. Экономия.

Кто в зоне остаётся, ещё так *шестерят*: прочтут на дощечке, кому посылка, встречают его тут, на линейке, сразу и номер сообщают. Много не много, а сигаретку и такому дадут.

Добежал Шухов до посылочной – при бараке пристройка, а к той пристройке ещё прилепили тамбур. Тамбур снаружи без двери, свободно холод ходит, – а в нём всё ж будто обжитой, ведь под крышею.

В тамбуре очередь вдоль стенки загнулась. Занял Шухов. Человек пятнадцать впереди, это больше часу, как раз до отбоя. А уж кто из тэцовской колонны пошёл список смотреть, те позади Шухова будут. И мехзаводские все. Им за посылкой как бы не второй раз приходиться, завтра с утра.

Стоят в очереди с торбочками, с мешочками. Там, за дверью (сам Шухов в этом лагере ещё ни разу не получал, но по разговорам), вскрывают ящик посылочный топориком, надзиратель всё своими руками вынимает, просматривает. Что разрежет, что переломит, что прошупает, пересыплет. Если жидкость какая, в банках стеклянных или жестяных, откупорят и выливают тебе, хоть руки подставляй, хоть полотенце кулёчком. А банок не отдают, боятся чего-то. Если из пирогов, сладостей подиковинней что или колбаса, рыбка, так надзиратель и откусит. (А качни права попробуй – сейчас придерётся, что запрещено, а что не положено – и не выдаст. С надзирателя начиная, кто посылку получает, должен давать, давать и давать.) А когда посылку кончат шмонать, опять же и ящика посылочного не дают, а сметай себе всё в торбочку, хоть в полу бушлатную – и отваливай, следующий. Так затопят иного, что он и забудет чего на стойке. За этим не возвращайся. Нету.

Ещё когда-то в Усть-Ижме Шухов получил посылку пару раз. Но и сам жене написал: впустую, мол, проходят, не шли, не отрывай от ребятишек.

Хотя на воле Шухову легче было кормить семью целую, чем здесь одного себя, но знал он, чего те передачи стоят, и знал, что десять лет с семьи их не потянешь. Так лучше без них.

Но хоть так он решил, а всякий раз, когда в бригаде кто-нибудь или в бараке близко получал посылку (то есть почти каждый день), шемило его, что не ему посылка. И хоть он накрепко запретил жене даже к Пасхе присылать и никогда не ходил к столбу со списком, разве что для богатого бригадника, – он почему-то ждал иногда, что прибегут и скажут:

– Шухов! Да что ж ты не идёшь? Тебе посылка!

Но никто не прибегал...

И вспомнить деревню Темгенёво и избу родную ещё меньше и меньше было ему поводов... Здешняя жизнь трепала его от подъёма и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний.

Сейчас, стоя среди тех, кто тешил своё нутро близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или усластить сахарком кружку, Шухов держался на одном только желании: успеть в столовую со своей бригадой и баланду съесть горячей, а не холодной. Холодная и полцены не имеет против горячей.

Он рассчитывал, что если Цезаря фамилии в списке не оказалось, то уж давно он в бараке и умывается. А если фамилия нашлась, так он мешочки теперь собирает, кружки пластмассовые, тару. Для того десять минут и пообещался Шухов ждать.

Тут, в очереди, услышал Шухов и новость: воскресенье опять не будет на этой неделе, опять зажиливают воскресенье. Так он и ждал, и все ждали так: если пять воскресений в месяце, то три дают, а два на работу гонят. Так он и ждал, а услышал – повело всю душу, перекривило: воскресеньице-то кровное кому не жалко? Ну да правильно в очереди говорят: выходной и в зоне надсадить умеют, чего-нибудь изобретут – или баню пристраивать, или стену городить, чтобы зэкам проходу не было, или расчистку двора. А то смену матрасов, вытряхивание, да клопов морить на вагонках. Или проверку

личности по карточкам затеют. Или инвентаризацию: выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня.

Больше всего им, наверно, досаждают, если зэк спит после завтрака.

Очередь, хоть и медленно, а подвигалась. Зашли без очереди, никого не спросясь, оттолкнув переднего, – парикмахер один, один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые зэки, а налипшие лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними бесполезно: у *придурни* меж собой спайка и с надзирателями тоже.

Оставалось всё же впереди Шухова человек десять, и сзади семь человек набежало – и тут-то в пролом двери, нагибаясь, вошёл Цезарь в своей меховой новой шапке, присланной с воли. (Тоже вот и шапка. Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже обтрёпанные фронтовые посдирали и дали лагерные, свинаячьего меха.).

Цезарь Шухову улыбнулся и сразу же с чудачком в очках, который в очереди всё газету читал:

– Аа-а! Пётр Михалыч!

И – расцвели друг другу, как маки. Тот чудак:

– А у меня «Вечёрка» свежая, смотрите! Бандеролью прислали.

– Да ну?! – И суётся Цезарь в ту же газету. А под потолком лампочка слепенькая-слепенькая, чего там можно мелкими буквами разобрать?

– Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!..

Они, москвичи, друг друга издаля чувят, как собаки. И, сойдясь, всё обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их – всё равно как латышей или румын.

Однако в руке у Цезаря мешочки все собраны, на месте.

– Так я это... Цезарь Маркович... – шепелявит Шухов. – Может, пойду?

– Конечно, конечно. – Цезарь усы чёрные от газеты поднял. – Так, значит, за кем я? Кто за мной?

Растолковал ему Шухов, кто за кем, и, не ждя, что Цезарь сам насчёт ужина вспомнит, спросил:

– А ужин вам принести?

(Это значит – из столовой в барак, в котелке. Носить никак нельзя, на то много было приказов. Ловят, и на землю из котелка выливают, и в карцеры сажают – и всё равно носят и будут носить, потому что у кого дела, тот никогда с бригадой в столовую не поспеет.)

Спросил, принести ли ужин, а про себя думает: «Да неужто ты шквалыгой будешь? Ужина мне не подаришь? Ведь на ужин каши нет, баланда одна голая!...»

– Нет, нет, – улыбнулся Цезарь, – ужин сам ешь, Иван Денисыч!

Только этого Шухов и ждал! Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под тамбурной крыши – и по зоне, и по зоне!

Снуют эки во все концы! Одно время начальник лагеря ещё такой приказ издал: никаким заключённым в одиночку по зоне не ходить. А куда можно – вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо – ну, в санчасть или в уборную, – то сколачивать группы по четыре-пять человек, и старшего из них назначать, и чтобы вёл своих строем туда, и там дожидался, и назад – тоже строем.

Очень начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто перечить ему не смел. Надзиратели хватали одиночек, и номера писали, и в БУР таскали – а поломался приказ. Натихую, как много шумных приказов ломается. Скажем, вызывают же сами человека к оперу – так не посылать с ним команды! Или тебе за продуктами своими в каптёрку надо, а я с тобой зачем пойду? А тот в КВЧ надумал, газеты читать, да кто ж с ним пойдёт? А тому валенки на починку, а тому в сушилку, а тому из барака в барак просто (из барака-то в барак пуще всего запрещено!) – как их удержишь?

Приказом тем хотел начальник ещё последнюю свободу отнять, но и у него не вышло, пузатого.

По дороге до барака, встретив надзирателя и шапку перед ним на всякий случай приподняв, забежал Шухов в барак. В бараке – галдёж: у кого-то пайку днём увели, на дневальных кричат, и дневальные кричат. А угол 104-й пустой.

Уж тот вечер считает Шухов благополучным, когда в зону вернулись, а тут матрасы не переверочены, шмона днём в бараках не было.

Метнулся Шухов к своей койке, на ходу бушлат с плеч скидывая. Бушлат – наверх, рукавицы с ножёвкой – наверх, щупанул матрас в глубину – утренний кусок хлеба на месте! Порадовался, что зашил.

И бегом – наружу! В столовую!

Прошнырнул до столовой, надзирателю не попавшись. Только эки брели навстречу, споря о пайках.

На дворе всё светлей в сиянии месячном. Фонари везде поблекли, а от барачков – чёрные тени. Вход в столовую – через широкое крыльцо с четырьмя ступенями, и то крыльцо сейчас – в тени тоже. Но над ним фонарик побалтывается, визжит на морозе. Радужно светятся лампочки, от мороза ли, от грязи.

И ещё был приказ начальника лагеря строгий: бригадам в столовую ходить строем по два. Дальше приказ был: дойдя до столовой, бригадам на крыльцо не всходить, а перестраиваться по пять и стоять, пока дневальный по столовой их не впустит.

Дневальным по столовой цепко держался Хромой. Хромому свою в инвалидность провёл, а дюжий, стерва. Завёл себе посох берёзовый и с крыльца этим посохом гвоздит, кто не с его команды лезет. А не всякого. Быстрометчив Хромой и в темноте в спину опознает – того не ударит, кто ему самому в морду даст. Прибитых бьёт. Шухова раз гвозданул.

Название – «дневальный». А разобраться – князь! – с поварами дружит!

Сегодня не то бригады поднавалили все в одно время, не то порядки долго наводили, только густо крыльцо облеплено, а на крыльце Хромой, шестёрка Хромого и сам завстоловой. Без надзирателей управляют, полканы.

Завстоловой – откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нём избывают, что ходит он – как на пружинах дёргается, будто ноги в нём пружинные и руки тоже. Носит шапку белого пуха без номера, ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит меховой жилет барашковый, на том жилете на груди – маленький номерок, как марка почтовая, – Волковому уступка, а на спине и такого номера нет. Завстоловой никому не кланяется, а его все эки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит. Его хотели побить раз, так все повара на защиту выскочили, мордороты на подбор.

Беда теперь будет, если 104-я уже прошла, – Хромой весь лагерь знает в лицо и при заве ни за что с чужой бригадой не пустит, нарочно изгалится.

Тоже и за спиной Хромого через перила крылечные иногда перелезают, лазил и Шухов. А сегодня при заве не перелезешь – съездит по салазкам, пожалуй, так, что в санчасть потащишься.

Скорей, скорей к крыльцу, среди чёрных всех одинаковых бушлатов дознаться во теми, здесь ли ещё 104-я.

А тут как раз поднапёрли, поднапёрли бригады (деваться некуда – уж отбой скоро!) и как на крепость лезут – одну, вторую, третью, четвёртую ступеньку взяли, ввалили на крыльцо!

– Стой, ...яди! – Хромой орёт и палку поднял на передних. – Осади! Сейчас кому-то ...бальник расквашу!

– Да мы при чём? – передние орут. – Сзади толкают!

Сзади-то сзади, это верно, толкачи, но и передние не шибко противятся, думают в столовую влететь.

Тогда Хромой перехватил свой посох поперёк груди, как шлагбаум закрытый, да изо всей прыти как кинется на передних! И помощник Хромого, шестёрка, тоже за тот посох схватился, и завстоловой сам не побрезговал руки марать – тоже.

Двинули они круто, а силы у них немеренные, мясо едят, – отпятили! Сверху вниз опрокинули передних на задних, на задних, прямо повалили, как снопы.

– Хромой грёбаный... в лоб тебя драть!.. – кричат из толпы, но скрываясь. Остальные упали молча, поднимаются молча, поживей, пока их не затоптали.

Очистили ступеньки. Завстоловой отошёл по крыльцу, а Хромой на ступеньке верхней стоит и учит:

– По пять разбираться, головы бараньи, сколько раз вам говорить?! Когда нужно, тогда и пушу!

Углядел Шухов перед самым крыльцом вроде Сеньки Клевшина голову, обрадовался жутко, давай скорее локтями туда пробиваться. Спины сдвинули – ну, нет сил, не пробьёшься.

– Двадцать седьмая! – Хромой кричит. – Проходи!

Выскочила 27-я по ступенькам да скорей к дверям. А за ней опять попёрлись все по ступенькам, и задние прут. И Шухов тоже прёт силодёром. Крыльцо трясут, фонарь над крыльцом повизгивает.

– Опять, падлы? – Хромой ярится. Да палкой, палкой кого-то по плечам, по спине, да спихивает, спихивает одних на других.

Очистил снова.

Видит Шухов снизу – взошёл рядом с Хромым Павло. Бригаду сюда водит он, Тюрин в толкотню эту не ходит пачкаться.

– Раз-берись по пять, сто четвёртая! – Павло сверху кричит. – А вы посуньтесь, друзья!

Хрен тебе друзья посунутся!

– Да пусти ж ты, спина! Я из той бригады! – Шухов трясёт. Тот бы рад пустить, но жмут и его отовсюду.

Качается толпа, душится – чтобы баланду получить. Законную баланду.

Тогда Шухов иначе: слева к перилам прихватился, за столб крылечный руками перебрал и – повис, от земли оторвался. Ногами кому-то в колена ткнулся, его по боку огрели, матернули пару раз, а уж он пронырнул: стал одной ногой на карниз крыльца у верхней ступеньки и ждёт. Увидели его свои ребята, руку протянули.

Завстоловой, уходя, из дверей оглянулся:

– Давай, Хромой, ещё две бригады!

– Сто четвёртая! – Хромой крикнул. – А ты куда, падло, лезешь? – И посохом по шее того, чужого.

– Сто четвёртая! – Павло кричит, своих пропускает.

– Фу-у! – выбился Шухов в столовую. И не ждя, пока Павло ему скажет, – за подносами, подносы свободные искать.

В столовой как всегда – пар клубами от дверей, за столами сидят один к одному, как семечки в подсолнухе, меж столами бродят, толкаются, кто пробивается с полным подносом. Но Шухов к этому за столько лет привычен, глаз у него острый и видит: Щ-208 несёт на подносе пять мисок всего, значит – последний поднос в бригаде, иначе бы – чего ж не полный?

Настиг его и в ухо ему сзади наговаривает:

– Браток! Я на поднос – за тобой!

– Да там у окошка ждёт один, я обещал...

– Да лапоть ему в рот, что ждёт, пусть не зевает!



Договорились.

Донёс тот до места, разгрузил, Шухов схватился за поднос, а и тот набежал, кому обещано, за другой конец подноса тянет. А сам шуплей Шухова. Шухов его туда же подносом двинул, куда тянет, он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались. Шухов – поднос под мышку и бегом к раздаче.

Павло в очереди к окошку стоит, без подносов скучает. Обрадовался:

– Иван Денисович! – И переднего помбрига 27-й отталкивает: – Пусти! Чого зря стоишь? У мэнэ подносы е!

Глядь, и Гопчик, плутишка, поднос волокёт.

– Они зазевались, – смеётся, – а я утянул!

Из Гопчика правильный будет лагерник. Ещё года три подучится, подрастёт – меньше как хлеборезом ему судьбы не прочат.

Второй поднос Павло велел взять Ермолаеву, здоровому сибиряку (тоже за плен десятку получил). Гопчика послал приискивать, на каком столе вечерять кончают. А Шухов поставил свой поднос углом в раздаточное окошко и ждёт.

– Сто четвёртая! – Павло докладывает в окошко.

Окошек всего пять: три раздаточных общих, одно для тех, кто по списку кормится (больных язвенных человек десять, да по благу бухгалтерия вся), ещё одно – для возврата посуды (у того окна дерутся, кто миски лижет). Окошки невысоко – чуть повыше пояса. Через них поваров самих не видно, а только руки их видно и черпаки.

Руки у повара белые, холёные, а волосатые, здоровы. Чистый боксёр, а не повар. Карандаш взял и у себя на списке на стенке отметил:

– Сто четвёртая – двадцать четыре!

Пантелеев-то приволокся в столовую. Ничего он не болен, сука.

Повар взял здоровый черпачище литра на три и им – в баке мешать, мешать, мешать (бак перед ним новозалитый, недалеко до полна, пар так и валит). И, перехватив черпак на семьсот пятьдесят грамм, начал им, далеко не окуная, черпать.

– Раз, два, три, четыре...

Шухов приметил, какие миски набраты, пока ещё гушина на дно бака не осела, и какие по-холостому – жижа одна. Ус-

тавил на своём подносе десять мисок и понёс. Гопчик ему машет от вторых столбов:

– Сюда, Иван Денисыч, сюда!

Миски нести – не рукавом трясти. Плавно Шухов переступает, чтобы подносу ни толчка не передалось, а горлом побольше работает:

– Эй, ты, Хэ-девятьсот двадцать!.. Поберегись, дядя!.. С дороги, парень!

В толчее такой и одну-то миску, не расплескавши, хитро пронести, а тут – десять. И всё же на освобожденный Гопчиком конец стола поставил подносик мягонько, и свежих плесков на нём нет. И ещё смекнул, каким поворотом поставил, чтобы к углу подноса, где сам сейчас сядет, были самые две миски густые.

И Ермолаев десять поднёс. А Гопчик побежал, и с Павлом четыре последних принесли в руках.

Ещё Кильдигс принёс хлеб на подносе. Сегодня по работе кормят – кому двести, кому триста, а Шухову – четыреста. Взял себе четыреста, горбушку, и на Цезаря двести, серединку.

Тут и бригадники со всей столовой стали стекаться – получить ужин, а уж хлебай, где сядешь. Шухов миски раздаёт, запоминает, кому дал, и свой угол подноса блюдет. В одну из мисок густых опустил ложку – занял, значит. Фетюков свою миску из первых взял и ушёл: расчёл, что в бригаде сейчас не разживёшься, а лучше по всей столовой походить-пошакалить, может, кто не доест. (Если кто не доест и от себя миску отодвинет – за неё как коршуны хватаются, иногда сразу несколько.)

Подсчитали порции с Павлом, как будто сходятся. Для Андрея Прокофьевича подсунул Шухов миску из густых, а Павло перелил в узкий немецкий котелок с крышкой: его под бушлатом можно пронести, к груди прижав.

Подносы отдали. Павло сел со своей двойной порцией и Шухов со своими двумя. И больше у них разговору ни об чём не было, святые минуты настали.

Снял Шухов шапку, на колена положил. Проверил одну миску ложкой, проверил другую. Ничего, и рыба попадается. Вообще-то по вечерам баланда всегда жиже много, чем утром: утром зэка надо накормить, чтоб он работал, а вечером и так уснёт, не подохнет.

Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу – аж нутро его всё трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живёт ээк.

Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживём! Переживём всё, даст Бог кончится!

С той и с другой миски жижицу горячую отпив, он вторую миску в первую слил, сбросил и ещё ложкой выскреб. Так оно спокойней как-то, о второй миске не думать, не стеречь её ни глазами, ни рукой.

Глаза освободились – на соседские миски покосился. Слева у соседа – так одна вода. Вот гады, что делают, свои же ээки!

И стал Шухов есть капусту с остатком жижи. Картошинка ему попала на две миски одна – в цезаревой миске. Средняя такая картошинка, мороженая, конечно, с твердинкой и подслажённая. А рыбки почти нет, изредка хребтик оголённый мелькнёт. Но и каждый рыбий хребтик и плавничок надо прожевать – из них сок высосешь, сок полезный. На всё то, конечно, время надо, да Шухову спешить теперь некуда, у него сегодня праздник: в обед две порции и в ужин две порции оторвал. Такого дела ради остальные дела и отставить можно.

Разве к латышу сходить за табаком. До утра табаку может и не остаться.

Ужинал Шухов без хлеба: две порции, да ещё с хлебом, – жирно будет, хлеб на завтра пойдёт. Брюхо – злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит.

Шухов доедал свою баланду и не очень старался замечать, кто вокруг, потому что не надо было: за новым ничем он не охотился, а ел своё законное. И всё ж он заметил, как прямо через стол против него освободилось место и сел старик высокий Ю-81. Он был, Шухов знал, из 64-й бригады, а в очереди в посылочной слышал Шухов, что 64-я-то и ходила сегодня на Соцгородок вместо 104-й и целый день без обогрева проволоку колючую тянула – сама себе зону строила.

Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изю всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего – волосы все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надшерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсны жевали хлеб за зубы. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А заселотак в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а – на тряпочку стираную.

Однако Шухову некогда было долго разглядывать его. Окончивши есть, ложку облизнув и засунув в валенок, нахлобучил он шапку, встал, взял пайки, свою и цезареву, и вышел. Выход из столовой был через другое крыльцо, и там ещё двое дневальных стояло, которые только и знали, что скинуть крючок, выпустить людей и опять крючок накинуть.

Вышел Шухов с брюхом набитым, собой довольный, и решил так, что хотя отбой будет скоро, а сбегать-таки к латышу. И, не занося хлеба в девятый, он шажисто погнал в сторону седьмого барака.

Месяц стоял куда высоко и как вырезанный на небе, чистый, белый. Небо всё было чистое. И звёзды кой-где – самые яркие. Но на небо смотреть ещё меньше было у Шухова времени. Одно понимал он – что мороз не отпускает. Кто от вольных слышал, передавали: к вечеру ждут тридцать градусов, к утру – до сорока.

Слышать было очень издали: где-то трактор гудел в посёлке, а в стороне шоссе экскаватор повизгивал. И от каждой пары валенок, кто в лагере где шёл или перебегал, – скрип.

А ветру не было.

Самосад должен был Шухов купить, как и покупал раньше, – рубль стакан, хотя на воле такой стакан стоил три рубля, а по сорту и дороже. В каторжном лагере все цены были свои, ни на что не похожие, потому что денег здесь нельзя было

держат, мало у кого они были и очень были дороги. За работу в этом лагере не платили ни копейки (в Усть-Ижме хоть тридцать рублей в месяц Шухов получал). А если кому родственники присылали по почте, тех денег не давали всё равно, а зачисляли на лицевой счёт. С лицевого счёту в месяц раз можно было в ларьке покупать мыло туалетное, гнилые пряники, сигареты «Прима». Нравится товар, не нравится – а на сколько заявление начальнику написал, на столько и покупай. Не купишь – всё равно деньги пропали, уж они списаны.

К Шухову деньги приходили только от частной работы: тапочки сошьёшь из тряпок давальца – два рубля, телогрейку вылатаешь – тоже поговору.

Седьмой барак не такой, как девятый, не из двух больших половин. В седьмом бараке коридор длинный, из него десять дверей, в каждой комнате бригада, натыкано по семь вагонок в комнату. Ну, ещё кабина под парашной, да старшего барака кабина. Да художники живут в кабине.

Зашёл Шухов в ту комнату, где его латыш. Лежит латыш на нижних нарах, ноги наверх поставил, на откосину, и с соседом по-латышски горгочет.

Подсел к нему Шухов. Здравствуйте, мол. Здравствуйте, тот ног не спускает. А комната маленькая, все сразу прислушиваются – кто пришёл, зачем пришёл. Оба они это понимают, и поэтому Шухов сидит и тянет: ну, как живёте, мол? Да ничего. Холодно сегодня. Да.

Дождлся Шухов, что все опять своё заговорили (про войну в Корее спорят: оттого де, что китайцы вступились, так будет мировая война или нет), наклонился к латышу:

– Самосад есть?

– Есть.

– Покажи.

Латыш ноги с откосины снял, спустил их в проход, приподнялся. Жила этот латыш, стакан как накладывает – всегда трусится, боится на одну закурку больше положить.

Показал Шухову кисет, вздёржку раздвинул.

Взял Шухов щепотку на ладонь, видит: тот самый, что и прошлый раз, буроватый и резки той же. К носу поднёс, понюхал – он. А латышу сказал:

– Вроде не тот.

– Тот! Тот! – рассердился латыш. – У меня другой сорт нет никогда, всегда один.

– Ну, ладно, – согласился Шухов, – ты мне стаканчик набей, я закурю, может, и второй возьму.

Он потому сказал *набей*, что тот внатруску насыпает.

Достал латыш из-под подушки ещё другой кисет, круглей первого, и стаканчик свой из тумбочки вынул. Стаканчик хотя пластмассовый, но Шуховым мерянный, гранёному равен.

Сыплет.

– Да ты ж пригнетай, пригнетай! – Шухов ему и пальцем тычет сам.

– Я сам знай! – сердито отрывает латыш стакан и сам пригнетает, но мягче. И опять сыплет.

А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал изнутри в подкладочной вате ему одному ощутимую бумажку. И, двумя руками переталкивая, переталкивая её по вате, гонит к дырочке маленькой, совсем в другом месте прорванной и двумя ниточками чуть зашитой. Подогнав к той дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку ещё вдвое по длине сложил (уж и без того она длинновато сложена) и через дырочку вынул. Два рубля. Старенькие, не хрустящие.

А в комнате орут:

– Пожалее-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!

Чем в каторжном лагере хорошо – свободы здесь *от пуза*. В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь – стукачи того не доносят, оперы рукой махнули.

Только некогда здесь много толковать...

– Эх, внатруску кладёшь, – пожаловался Шухов.

– Ну на, на! – добавил тот щепоть сверху.

Шухов вытянул из нутряного карманчика свой кисет и перевалил туда самосад из стакана.

– Ладно, – решил он, не желая первую сладкую папиросу курить на бегу. – Набивай уж второй.

Ещё попрепивавшись, пересыпал он себе и второй стакан, отдал два рубля, кивнул латышу и ушёл.

А на двор выйдя, сразу опять бегом и бегом к себе. Чтобы Цезаря не пропустить, как тот с посылкой вернётся.

Но Цезарь уже сидел у себя на нижней койке и *гужевался* над посылкой. Что он принёс, разложено было у него по койке и по тумбочке, но только свет туда не падал прямой от лампы, а шуховским же верхним щитом перегораживался, и было там темновато.

Шухов нагнулся, вступил между койками кавторанга и Цезаря и протянул руку с вечерней пайкой.

– Ваш хлеб, Цезарь Маркович.

Он не сказал: «Ну, получили?» – потому, что это был бы намёк, что он очередь занимал и теперь имеет право на долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ – и чем дальше, тем крепче утверждался.

Однако глазам своим он приказать не мог. Его глаза, ястребиные глаза лагерника, обежали, проскользнули вмиг по разложенной на койке и на тумбочке цезаревой посылке, и, хотя бумажки были недоразвёрнуты, мешочки иные закрыты, – этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Шухов невольно разведал, что Цезарь получил колбасу, сгущённое молоко, толстую копчёную рыбу, сало, сухарики с запахом, печенье ещё с другим запахом, сахар пиленный килограмма два и ещё, похоже, сливочное масло, потом сигареты, табак трубочный, и ещё, ещё что-то.

И всё это понял он за то короткое время, что сказал:

– Ваш хлеб, Цезарь Маркович.

А Цезарь, взбудораженный, взъерошенный, словно пьяный (продуктовую посылку получив, и всякий таким становится), махнул на хлеб рукой:

– Возьми его себе, Иван Денисыч!

Баланда да ещё хлеба двести грамм – это был полный ужин и уж конечно полная доля Шухова от цезаревой посылки.

И Шухов сразу, как отрезавши, не стал больше ждать для себя ничего из разложенных Цезарем угощений. Хуже нет, как брюхо растравишь, да попусту.

Вот хлеба четыреста, да двести, да в матрасе не меньше двести. И хватит. Двести сейчас нажать, завтра утром пятьсот пятьдесят улупить, четыреста взять на работу – житуха! А те, в матрасе, пусть ещё полежат. Хорошо, что Шухов обоспел,

зашил – из тумбочки вон в 75-й упёрли – спрашивай теперь с Верховного Совета!

Иные так разумеют: посылочник – тугой мешок, с посылочника рви! А разобраться, как приходит у него легко, так и уходит легко. Бывает, перед передачей и посылочники-те рады лишнюю кашу выслужить. И стреляют докурить. Надзирателю, бригадиру, – а придурку посылочному как не дать? Да он другой раз твою посылку так затурсует, её неделю в списках не будет. А каптёру в камеру хранения, кому продукты те все сдаются, куда вот завтра перед разводом Цезарь в мешке посылку понесёт (и от воров, и от шмонов, и начальник так велит), – тому каптёру если не дашь хорошо, так он у тебя по крошкам больше ущиплет. Целый день там сидит, крыса, с чужими продуктами запершись, проверь его! А за услуги, вот как Шухову? А баншику, чтоб ему отдельно бельё порядочное подкидывал, – сколько ни то, а дать надо? А парикмахеру, который его с *бумажкой* бреет (то есть бритву о бумажку вытирает, не об колено твоё же голое), – много не много, а тричетыре сигаретки тоже дать? А в КВЧ, чтоб ему письма отдельно откладывали, не затеривали? А захочешь денёк закосить, в зоне на боку полежать, – доктору поднести надо. А соседу, кто с тобой за одной тумбочкой питается, как кавторанг с Цезарем, – как же не дать? Ведь он каждый кусок твой считает, тут и бессовестный не ужмётся, даст.

Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще, а Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюха не распяливает.

Тем временем он разулся, залез к себе наверх, достал ножёвки кусок из рукавички, осмотрел и решил с завтрава искать камешек хороший и на том камешке затачивать ножёвку в сапожный нож. Дня за четыре, если и утром и вечером посидеть, славный можно будет ножичек сделать, с кривеньким острым лезом.

А пока, и до утра даже, ножёвочку надо припрятать. В своём же щите под поперечную связку загнать. И пока внизу кавторанга нет, значит, сору в лицо ему не насыплешь, отвернул Шухов с изголовья свой тяжёлый матрас, набитый не стружками, а опилками, – и стал прятать ножёвку.

Видели то соседи его по верху: Алёшка-баптист, а через проход, на соседней вагонке, – два брата-эстонца. Но от них Шухов не опасался.



Прошёл по бараку Фетюков, всхлипывая. Сгорбился. У губы кровь размазана. Опять, значит, побили его там за миски. Ни на кого не глядя и слёз своих не скрывая, прошёл мимо всей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас.

Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить.

Тут и кавторанг появился, весёлый, принёс в котелке чаю особой заварки. В бараке стоят две бочки с чаем, но что то за чай? Только что тёпел да подкрашен, а сам бурда, и запах у него от бочки – древесиной пропаренной и прелью. Это чай для простых работяг. Ну, а Буйновский, значит, взял у Цезаря настоящего чаю горстку, бросил в котелок да сбежал в кипятильник. Довольный такой, внизу за тумбочку устраивается.

– Чуть пальцев не ожёг под струёй! – хвастает.

Там, внизу, разворачивает Цезарь бумаги лист, на него одно, другое кладёт, Шухов закрыл матрас, чтоб не видеть и не расстраиваться. А опять без Шухова у них дела не идут – поднимается Цезарь в рост в проходе, глазами как раз на Шухова и моргает:

– Денисыч! Там... *Десять суток дай!*

Это значит, ножичек дай им складной, маленький. И такой у Шухова есть, и тоже он его в щите держит. Если вот палец в средней косточке согнуть, так меньше того ножичек складной, а режет, мерзавец, сало в пять пальцев толщиной. Сам Шухов тот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам.

Полез, вынул нож, дал. Цезарь кивнул и вниз скрылся.

Тоже вот и нож – заработок. За хранение его – ведь карцер. Это лишь у кого вовсе человеческой совести нет, тот может так: дай нам, мол, ножик, мы будем колбасу резать, а тебе хрен в рот.

Теперь Цезарь опять Шухову задолжал.

С хлебом и с ножами разобравшись, следующим делом вытащил Шухов кисет. Сейчас же он взял оттуда щепоть, ровную с той, что занимал, и через проход протянул эстонцу: спасибо, мол.

Эстонец губы растянул, как бы улыбнулся, соседу-брату что-то буркнул, и завернули они эту щепоть отдельно в цыгарку – попробовать, значит, что за шуховский табачок.

Да не хуже вашего, пробуйте на здоровье! Шухов бы и сам попробовал, но какими-то часами там, в нутре своём, чует, что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время та-

кое, что надзиратели шастают по баракам. Чтобы курить, сейчас надо в коридор выходить, а Шухову наверху, у себя на кровати, как будто теплей. В бараке ничуть не тепло, и та же обметь снежная по потолку. Ночью продрогнешь, но пока сносно кажется.

Всё это делал Шухов и хлеб начал помалу отламывать от двухсотграммовки, сам же слушал обневолю, как внизу под ним, чай пьют, разговорились кавторанг с Цезарем.

– Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь! Берите вот рыба копчёного. Колбасу берите.

– Спасибо, беру.

– Батон маслом мажьте! Настоящий московский батон!

– Ай-ай-ай, просто не верится, что где-то ещё пекут батоны. Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне один случай. Это перед ялтинским совещанием, в Севастополе. Город – абсолютно голодный, а надо вести американского адмирала показывать. И вот сделали специально магазин, полный продуктов, но открыть его тогда, когда увидят нас в полквартале, чтоб не успели жители натискаться. И всё равно за одну минуту полмагазина набилось. А там – чего только нет. «Масло, кричат, смотри, масло! Белый хлеб!»

Гам стоял в половине барака от двухсот глоток, всё же Шухов различил, будто об рельс звонили. Но не слышал никто. И ещё заметил Шухов: вошёл в барак надзиратель Курносенький – совсем маленький паренёк с румяным лицом. Держал он в руках бумажку, и по этому, и по повадке видно было, что он пришёл не курильщиков ловить и не на проверку выгонять, а кого-то искал.

Курносенький сверился с бумажкой и спросил:

– Сто четвёртая где?

– Здесь, – ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали и дым разогнали.

– А бригадир где?

– Ну? – Тюрин с койки, ноги на пол едва приспустя.

– Объяснительные записки, кому сказано, написали?

– Пишут! – уверенно ответил Тюрин.

– Сдать надо было уже.

– У меня – малограмотные, дело нелёгкое. – (Это про Цезаря он и про кавторанга. Ну и молодец бригадир, никогда за словом не запнётся.) – Ручек нет, чернила нет.

– Надо иметь.

– Отбирают!

– Ну, смотри, бригадир, много будешь говорить – и тебя посажу! – незло пообещал Курносенький. – Чтоб утром завтра до развода объяснительные были в надзирательской! И указать, что недозволенные вещи все сданы в каптёрку личных вещей. Понятно?

– Понятно.

(«Пронесло кавторанга!» – Шухов подумал. А сам кавторанг и не слышит ничего, над колбасой там заливается.)

– Теперь та-ак, – надзиратель сказал. – Ше-триста одиннадцать – есть у тебя такой?

– Надо по списку смотреть, – темнит бригадир. – Рази ж их запомнишь, номера собачьи? – (Тянет бригадир, хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть.)

– Буйновский – есть?

– А? Я! – отозвался кавторанг из-под шуховской койки, из укрыва.

Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает.

– Ты? Ну, правильно, Ше-триста одиннадцать. Собирайся.

– Ку-да?

– Сам знаешь.

Только вздохнул капитан да крякнул. Должно быть, тёмной ночью в море бурное легче ему было эскадру миноносцев выводить, чем сейчас от дружеской беседы в ледяной карцер.

– Сколько суток-то? – голосом упав, спросил он.

– Десять. Ну, давай, давай быстрее!

И тут же закричали дневальные:

– Проверка! Проверка! Выходи на проверку!

Это значит, надзиратель, которого прислали проверку проводить, уже в бараке.

Оглянулся капитан – бушлат брать? Так бушлат там сдерут, одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. Понадеялся капитан, что Волковой забудет (а Волковой никому ничего не забывает), и не приготовился, даже табачку себе в телогрейку не спрятал. А в руку брать – дело пустое, на шмоне тотчас и отберут.

Всё ж, пока он шапку надевал, Цезарь ему пару сигарет сунул.

– Ну, прощайте, братцы, – растерянно кивнул кавторанг 104-й бригаде и пошёл за надзирателем.

Крикнули ему в несколько голосов, кто – мол, бодрись, кто – мол, не теряйся, – а что ему скажешь? Сами клали БУР, знает 104-я: стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят – только чтоб лёд со стенки стоял и на полу лужей стоял. Спать – на досках голых, если в зуботряске улежишь, хлеба в день – триста грамм, а баланда – только на третий, шестой и девятый дни.

Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, – это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулёз, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел – уж те в земле сырой.

Пока в бараке живёшь – молись от радости и не попадайся.

– А ну, выходи, считаю до трёх! – старший барака кричит. – Кто до трёх не выйдет – номера запишу и гражданину надзирателю передам!

Старший барака – вот ещё сволочь старшая. Ведь скажи, запирают его вместе ж с нами в бараке на всю ночь, а держится начальством, не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет. Инвалид считается, потому что палец у него один оторван в драке, а мордой – урка. Урка он и есть, статья уголовная, но меж других статей навесили ему пятьдесят восемь-четыренадцать, потому и в этот лагерь попал.

Свободное дело, сейчас на бумажку запишет, надзирателю передаст – вот тебе и карцер на двое суток с выводом. То медленно тянулись к дверям, а тут как загустили, загустили, да с верхних коек прыгают медведями и прут все в двери узкие.

Шухов, держа в руке уже скрученную, давно желанную цыгарку, ловко спрыгнул, сунул ноги в валенки и уж хотел идти, да пожалел Цезаря. Не заработать ещё от Цезаря хотел, а пожалел от души: небось много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть: посылку получив, не гужеваться надо было над ней, а до проверки тащить скорей в камеру хранения. Покушать – отложить можно. А теперь – что вот Цезарю с посылкой делать? С собой весь мешочище на проверку выносить – смех! – в пятьсот глоток смех будет. Оставить здесь – не ровён час, тяпнут, кто с проверки первый в барак вбежит. (В Усть-Ижме ещё лютей законы были: там, с

работы возвращаясь, блатные опередят, и пока задние войдут, а уж тумбочки их обчищены.)

Видит Шухов – заметался Цезарь, тык-мык, да поздно. Суёт колбасу и сало себе за пазуху – хоть с ими-то на проверку выйти, хоть их спасти.

Пожалел Шухов и научил:

– Сиди, Цезарь Маркович, до последнего, притулись туда, во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дневальными будет койки обходить, во все дыры заглядывать, тогда выходи. Больной, мол! А я выйду первый и вскочу первый. Вот так...

И убежал.

Сперва протискивался Шухов круто (цыгарку свёрнутую оберегая, однако, в кулаке). В коридоре же, общем для двух половин барака, и в сенях никто уже вперёд не пёрся, зверехитрое племя, а облепили стены в два ряда слева и в два справа – и только проход посерединке на одного человека оставили пустой: проходи на мороз, кто дурней, а мы и тут побудем. И так целый день на морозе, да сейчас лишних десять минут мёрзнуть? Дураков, мол, нет. Подохни ты сегодня, а я завтра!

В другой раз и Шухов так же жмётся к стеночке. А сейчас выходит шагом широким да скалится ещё:

– Чего испугались, придурня? Сибирского мороза не видели? Выходи на волчье солнышко греться! Дай, дай прикурить, дядя!

Прикурил в сенях и вышел на крыльцо. «Волчье солнышко» – так у Шухова в краю ино месяц в шутку зовут.

Высоко месяц вылез! Ещё столько – и на самом верху будет. Небо белое, аж с сузеленью, звёзды яркие да редкие. Снег белый блестит, баракостены тож белые – и фонари мало влияют.

Вон у того барака толпа чёрная густеет – выходят строиться. И у другого вон. И от барака к бараку не так разговор гудёт, как снег скрипит.

Со ступенек спускаясь, стало лицом к дверям пять человек, и ещё за ними трое. К тем трём во вторую пятёрку и Шухов пристроился. Хлебца пожевав, да с папироской в зубах, стоять тут можно. Хорош табак, не обманул латыш – и дерунок, и духовит.

Понемножку ещё из дверей тянутся, сзади Шухова уже пятёрки две-три. Теперь кто вышел, этих зло разбирает: чего те гады жмутся в коридоре, не выходят. Мёрзни за них.

Никто из эков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы? Зэку только надо знать – скоро ли подъём? до развода сколько? до обеда? до отбоя?

Всё ж говорят, что проверка вечерняя бывает в девять. Только не кончается она в девять никогда, шурудят проверку по второму да по третьему разу. Раньше десяти не уснёшь. А в пять часов, толкуют, подъём. Дива и нет, что молдаван нынче перед съёмом заснул. Где зэк угреется, там и спит сразу. За неделю наберётся этого сна недоспанного, так если в воскресенье не прокатят – спят вповалку бараками целыми.

Эх, да и повалили ж! повалили зэки с крыльца! – это старший барака с надзирателем их в зады шугают! Так их, зверей!

– Что? – кричат им первые ряды. – Комбинируете, гады? На дерьме сметану собираете? Давно бы вышли – давно бы посчитали.

Выперли весь барак наружу. Четыреста человек в бараке – это восемьдесят пятёрок. Выстроились все в хвост, сперва по пять строго, а там – шалманом.

– Разберись там, сзади! – старший барака орёт со ступенек.

Хуб хрен, не разбираются, черти!

Вышел из дверей Цезарь, жмётся – с *понтом* больной, за ним дневальных двое с той половины барака, двое с этой и ещё хромой один. В первую пятёрку они и стали, так что Шухов в третьей оказался. А Цезаря в хвост угнали.

И надзиратель вышел на крыльцо.

– Раз-зберись по пять! – хвосту кричит, глотка у него здоровая.

– Раз-зберись по пять! – старший барака орёт, глотка ещё здоровше.

Не разбираются, хуб хрен.

Сорвался старший барака с крыльца, да туда, да матом, да в спины!

Но – смотрит: кого. Только смирных лупцует.

Разобрались. Вернулся. И вместе с надзирателем:

– Первая! Вторая! Третья!..

Какую назовут пятёрку – со всех ног, и в барак. На сегодня с начальником рассчитались!

Рассчитались бы, если без второй проверки. Дармоеды эти, лбы широкие, хуже любого пастуха считают: тот и неграмотен, а стадо гонит, на ходу знает, все ли телята. А этих и натаскивают, да без толку.

Прошлую зиму в этом лагере сушилок вовсе не было, обувь на ночь у всех в бараке оставалась – так вторую, и третью, и четвёртую проверку на улицу выгоняли. Уж не одевались, а так, в одеяла укутанные выходили. С этого года сушилки построили, не на всех, но через два дня на третий каждой бригаде выпадает валенки сушить. Так теперь вторые разы стали считать в бараках: из одной половины в другую перегоняют.

Шухов вбежал хоть и не первый, но с первого глаз не спуская. Добежал до цезаревой койки, сел. Сорвал с себя валенки, взлез на вагонку близ печки и оттуда валенки свои на печку уставил. Тут – кто раньше займёт. И – назад, к цезаревой койке. Сидит, ноги поджав, одним глазом смотрит, чтобы цезарев мешок из-под изголовья не дёрнули, другим – чтоб валенки его не спихнули, кто печку штурмует.

– Эй! – крикнуть пришлось, – ты! рыжий! А валенком в рожу если? Свои ставь, чужих не трог!

Сыпят, сыпят в барак зэки. В 20-й бригаде кричат:

– Сдавай валенки!

Сейчас их с валенками из барака выпустят, барак запрут. А потом бегать будут:

– Гражданин начальник! Пустите в барак!

А надзиратели сойдутся в штабном – и по дощечкам своим бухгалтерию сводить, убежал ли кто или все на месте.

Ну, Шухову сегодня до этого дела нет. Вот и Цезарь к себе меж вагонками ныряет.

– Спасибо, Иван Денисыч!

Шухов кивнул и, как белка, быстро залез наверх. Можно двухсотграммовку доедать, можно вторую папиросу курнуть, можно и спать.

Только от хорошего дня развеселился Шухов, даже и спать вроде не хочется.

Стелиться Шухову дело простое: одеяльце черноватенькое с матраса содрать, лечь на матрас (на простыне Шухов не

спал, должно, с сорок первого года, как из дому; ему чудно даже, зачем бабы простынями занимаются, стирка лишняя), голову – на подушку стружчатую, ноги – в телогрейку, сверх одеяла – бушлат, и –

– Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!

Спасибо, что не в карцере спать, здесь-то ещё можно.

Шухов лёг головой к окну, а Алёшка на той же вагонке, через ребро доски от Шухова, – обратно головой, чтоб ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает.

Лампочка от них не так далеко, можно читать, и шить даже можно.

Услышал Алёшка, как Шухов вслух Бога похвалил, и обернулся.

– Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему ж вы ей воли не даёте, а?

Покосился Шухов на Алёшку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздыхнул.

– Потому, Алёшка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или «в жалобе отказать».

Перед штабным баракком есть такие ящичка четыре, опечатанные, раз в месяц их уполномоченный опоражнивает. Многие в те ящички заявления кидают. Ждут, время считают: вот через два месяца, вот через месяц ответ придёт.

А его нету. Или: «отказать».

– Вот потому, Иван Денисыч, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна! И если будете веру иметь и скажете этой горе – перейди! – перейдёт.

Усмехнулся Шухов и ещё одну папиросу свернул. Прикурил у эстонца.

– Брось ты, Алёшка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, сказать, и гор-то самих я не видал. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились – хоть одна перешла?

Тоже горюны: Богу молились, кому они мешали? Всем круговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка.

– А мы об этом не молились, Денисыч, – Алёшка внушает. Перелез с евангелием своим к Шухову поближе, к лицу самому. – Из всего земного и бренного молиться нам Господь



завещал только о хлебе насущном: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!»

– Пайку, значит? – спросил Шухов.

А Алёшка своё, глазами уговаривает больше слов и ещё рукой за руку тереблет, поглаживает:

– Иван Денисыч! Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом! Молиться надо о духовном: чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал...

– Вот слушай лучше. У нас в поломенской церкви поп...

– О попе твоём – не надо! – Алёшка просит, даже лоб от боли переказился.

– Нет, ты всё ж послушай. – Шухов на локте поднялся. – В Поломне, приходе нашем, богаче попа нет человека. Вот, скажем, зовут крышу крыть, так с людей по тридцать пять рублей в день берём, а с попа – сто. И хоть бы крикнул. Он, поп поломенский, трём бабам в три города алименты платит, а с четвёртой семьёй живёт. И архиерей областной у него на крючке, лапу жирную наш поп архиерею даёт. И всех других попов, сколько их присылали, выживает, ни с кем делиться не хочет...

– Зачем ты мне о попе? Православная церковь от Евангелия отошла. Их не сажают или пять лет дают, потому что вера у них не твёрдая.

Шухов спокойно смотрел, куря, на алёшкино волнение.

– Алёша, – отвёл он руку его, надымив баптисту и в лицо. – Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится.

Лёг Шухов опять на спину, пепел за головой осторожно сбрасывает меж вагонкой и окном, так, чтоб кавторанговы вещи не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алёшка лопочет.

– В общем, – решил он, – сколько ни молись, а сроку не скинут. Так *от звонка до звонка* и досидишь.

– А об этом и молиться не надо! – ужаснулся Алёшка. – Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать! Апостол Павел вот как говорил: «Что вы плачете

и сокрушаете сердце моё? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса!»

Шухов молча смотрел в потолок. Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше – тут ли, там – не ведомо.

Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы – домой.

А домой не пустят...

Не врёт Алёшка, и по его голосу и по глазам его видеть, что радый он в тюрьме сидеть.

– Вишь, Алёшка, – Шухов ему разъяснил, – у тебя как-то ладно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготавливались, за это? А я при чём?

– Что-то второй проверки нет... – Кильдигс со своей койки заворчал.

– Да-а! – отозвался Шухов. – Это нужно в трубе угольком записать, что второй проверки нет. – И зевнул: – Спать, наверно.

И тут же в утихающем усмирённом бараке услышали грохот болта на внешней двери. Вбежали из коридора двое, кто валенки относил, и кричат:

– Вторая проверка!

Тут и надзиратель им вслед:

– Вы-ходи на ту половину!

А уж кто и спал! Заворчали, задвигались, в валенки ноги суют (в кальсонах редко кто, в брюках ватных так и спят – без них под одеяльцем скоченеешь).

– Тыфу, проклятые! – выругался Шухов. Но не очень он сердился, потому что не заснул ещё.

Цезарь высунул руку наверх и положил ему два печенья, два кусочка сахара и один круглый ломтик колбасы.

– Спасибо, Цезарь Маркович, – нагнулся Шухов вниз, в проход. – А ну-ка, мешочек ваш дайте мне наверх под голову для безопасности. – (Сверху на ходу не стяпнешь так быстро, да и кто у Шухова искать станет?)

Цезарь передал Шухову наверх свой белый завязанный мешок. Шухов подвалил его под матрас и ещё ждал, пока выгонят больше, чтобы в коридоре на полу босиком меньше стоять. Но надзиратель оскалился:

– А ну, там! в углу!

И Шухов мягко прыгнул босиком на пол (уж так хорошо его валенки с портянками на печке стояли – жалко было их снимать!). Сколько он тапочек перешил – всё другим, себе не оставил. Да он привычен, дело недолгое.

Тапочки тоже отбирают, у кого найдут днём.

И какие бригады валенки сдали на сушку – тоже теперь хорошо, кто в тапочках, а то в портянках одних подвязанных или босиком.

– Ну! ну! – рычал надзиратель.

– Вам дрына, падлы? – старший барака тут же.

Выперли всех в ту половину барака, последних – в коридор. Шухов тут и стал у стеночки, около парашной. Под ногами его пол был мокроват, и ледяно тянуло низом из сеней.

Выгнали всех – и ещё раз пошёл надзиратель и старший барака смотреть – не спрятался ли кто, не приткнулся ли кто в затёмке и спит. Потому что недосчитаешь – беда, и пересчитаешь – беда, опять перепроверка. Обошли, обошли, вернулись к дверям.

Первый, второй, третий, четвёртый... уж теперь быстро по одному запускают. Восемнадцатым и Шухов втиснулся. Да бегом к своей вагонке, да на подпорочку ногу закинул – шашть! – и уж наверху.

Ладно. Ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяло, сверху бушлат, спим! Будут теперь всю ту вторую половину барака в нашу половину перепускать, да нам-то горяшка нет.

Цезарь вернулся. Спустил ему Шухов мешок.

Алёшка вернулся. Неумелец он, всем угождает, а заработать не может.

– На, Алёшка! – и печенье одно ему отдал.

Улыбится Алёшка.

– Спасибо! У вас у самих нет!

– Е-ешь!

У нас нет, так мы всегда заработаем.

А сам колбасы кусочек – в рот! Зубами её! Зубами! Дух мясной! И сок мясной, настоящий. Туда, в живот, пошёл.

И – нету колбасы.

Остальное, рассудил Шухов, перед разводом.

И укрылся с головой одеяльцем, тонким, немытеньким, уже не прислушиваясь, как меж вагонок набилось из той половины эков: ждут, когда их половину проверят.

Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножёвкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тыщи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось...

1959

- БУР** – Барак Усиленного Режима, внутрилагерная тюрьма.
- Вагонка** – лагерное устройство для тесного спанья. Четыре деревянных щита, смежные и в два этажа, на общем основании. Вагонки стоят рядом – и создаются как бы вагонные купе, отсюда название.
- Вертухай** – тюремное слово для надзирателя, отчасти употребляемое в лагере.
- Гужеваться** (блатн.) – разбирать, рассматривать, пользоваться не торопясь, со вкусом.
- Качать права** – спорить с начальством, пытаться искать общую справедливость.
- КВЧ** – Культурно-Воспитательная Часть. Отдел лагерной администрации, ведающий агитацией, художественной самодеятельностью, библиотекой (если она есть), перепиской (если нет отдельно цензуры) и выполняющий всякие подсобные функции.
- Кондей** (блатн.) – карцер. *Без вывода* – содержат как в тюрьме. *С выводом* – только ночь в карцере, а днём выводят на работу.
- Косить, косануть** – воспользоваться, присвоить что-либо вопреки установленным правилам. *Закосить пайку. Закосить день* – суметь не выйти на работу.
- Кум, опер** – оперуполномоченный. Чекист, следящий за настроениями эков, ведающий осведомительством и след-

ственными делами. (Вероятно – от истинного значения по-русски: «кум» – состоящий в духовном родстве.)

- Общие работы* – главные по профилю данного лагеря, на которых работает большинство эков и где условия наиболее тяжелы.
- ППЧ* – Планово-Производственная Часть. Отдел лагерной администрации.
- Придурок* – работающий в административной должности (но бригадир – не придурок) или в сфере обслуживания – всегда на более лёгкой, привилегированной работе. *Придурня*.
- С понтом* – деля вид.
- Фитиль* (блатн.) – доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах (уже не прямо держится, отсюда сравнение).
- Шестерить* – обслуживать лично кому-либо. *Шестёрка* – кто держится в услугах.
- Шмон* (блатн.) – обыск.

*Рассказ А. Солженицына печатается с сохранением авторской орфографии и пунктуации.*

*Шаламов, конечно же, писатель великий. Даже на фоне всех великанов не только русской, но и мировой литературы... «Колымские рассказы» — это громадная мозаика... каждый камешек его мозаики сам по себе произведение искусства. В каждом камешке предельная законченность... Шаламова надо перечитывать. Твердите, как некую молитву.*

*Виктор Некрасов  
«Сталинград и Колыма»*

Вечером, сматывая рулетку, зритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший зрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, «напарник» Дугаева, помогавший зрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собиралась на переключку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурочек. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кيسета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папиросу и протянул ее Дугаеву.

— Кури, мне оставишь, — предложил он.

Дугаев удивился — они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедой. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтоб крепкое основание ее было

заложено тогда, когда условия быта еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантских заповеди: не верь, не бойся, не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

– Слабею, – сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные – буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забыть наступило нескоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

– А ты подожди, – сказал бригадир Дугаеву. – Тебя смотритель поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

– Иди сюда, – сказал Дугаеву смотритель. – Вот тебе место. – Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку – кусок кварца.

– Досюда, – сказал он. – Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Вozить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка – вози.

Дугаев послушно начал работу.

Еще лучше, думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлебоборы не обязаны понимать и знать, что Дугаев – новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: уметь красть – это главная северная добродетель во всех ее видах – начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, не бывшие достижения.

Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель опять явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

– Двадцать пять процентов, – сказал он и посмотрел на Дугаева. – Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

– Слышу, – сказал Дугаев.

Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра – двадцать пять процентов нормы – показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

– Ну, что же, – сказал смотритель, уходя. – Желая здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу и повели по лесной тропке к лесу, к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотанье тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.

*Не позже 1955 г.*



## ЩЕПКА

В 1935 году я взяла к детям няню. Это была работающая чисто плотная женщина тридцати лет, очень замкнутая. У меня не было привычки внимательно присматриваться к внутренней жизни домработницы. Общее впечатление было, что она туповата, равнодушна, с детьми не очень ласкова, скупа и прижимиста, но исполнительна и честна.

Мы прожили с Марусей бок о бок целый год, были друг другом довольны, и я ничего не знала о ее жизни.

Однажды, во время обеда, Марусе подали письмо. Прочитав его, она изменилась в лице, легла на свою постель и сказала, что у нее очень болит голова.

Я почувствовала, что у Маруси случилось горе. Отправив детей гулять и оставшись с Марусей наедине, я стала расспрашивать ее.

Сначала Маруся не отвечала и лежала лицом к стене, а потом села на кровати и хриплым злым голосом закричала:

— Знать хотите, что со мной?! Извольте, только не прогневайтесь. Вот вы говорите, жить у нас хорошо стало. А я вот жила с мужем не хуже вашего, детей у меня было трое, получше ваших. Своим горбом дом наживала, скотину выхаживала, ночи не спала. Муж на все руки был: валенки валял, шубы шил. Дом был полная чаша. Работницу держали, так ведь это не зазорно было, не запрещено! Вот вы же держите работницу, ну и я держала в доме старуху, матери в помощь, а в поле сама спину гнула. Только в тридцатом году зимой поехала я в Москву к сестре, а в это время наших начисто раскулачили, мужа — в лагерь, мать с детьми — в Сибирь. Мать мне письмо прислала — притулись как-нибудь в Москве, может, поможешь чем, а здесь хозяйства никакого, заработать негде, с ребятами в землянке мучаюсь. Ну, я с тех пор по домработницам хожу, что заработаю — все им посылаю, а вот пишут — умерли мои дети...

Она протянула мне письмо. Писала соседка: «От мужика твоего три месяца ничего нет, слышали – канал роет. Дети твои с бабкой жили, всё хворали. Землянка сырая, ну и питанья мало. Ну ничего, жили. Мишка твой с моим Ленькой дружил, хороший парень был. А только начала валить ребят scarлатина, мои тоже все переболели, еле выходила, а твоих бог прибрал. Мать твоя как без ума, не ест, не спит, все стонет, наверное, тоже скоро умрет».

– По-вашему, справедливо это?.. Разорили, угнали... Умерли мои деточки, кровиночки...

В этот вечер я никак не могла дождаться мужа. Он был доцент университета, биолог, и с моей точки зрения умнее и учение его не было на свете человека.

Страшная тяжесть давила мне сердце. Мир ясный, понятный и благополучный заколебался. Чем же виноваты Маруся и ее дети? Неужели наша жизнь, такая чистая, трудовая, ясная, неужели она стоит на страданиях и крови?

Пришел муж, как всегда приятно возбужденный после лекции, с радостным чувством хорошо поработавшего человека перед отдыхом в кругу любимых людей. Дети бросились на него, вскарабкались на спину. Ничего на свете я не любила больше вида своих визжавших от радости ребят, штурмующих широкую спину отца. Но сегодня я, перехватив Марусин мрачный взгляд, вызвала мужа в другую комнату и взволнованно рассказала ему обо всем. Он стал очень серьезен.

– Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков – кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж невинен. Зря в лагерь не попадают. Подумай, не избавиться ли тебе от Маруси, много темного в ней... Ну, я не настаиваю, – прибавил он, видя, как изменилось мое лицо, – я не настаиваю, может быть, она и хорошая женщина, может быть, в данном случае допущена ошибка. Знаешь, лес рубят – щепки летят.

Тогда я впервые услышала эту фразу, которая принесла так много утешения тем, кто остался в стороне, и так много боли тем, кто попал под топор...

Он еще много говорил об исторической необходимости перестройки деревни, об огромных масштабах творимого на

наших глазах дела, о том, что приходится примириться с жертвами...

Потом я много раз отмечала, что особенно легко с жертвами примиряются те, кто в число жертв не попал. А вот Маруся никак не хотела примириться...

Я ему поверила. Ведь от меня-то все эти ужасы были за тысячу верст. Ведь я-то жила в своей семье, в мире, который казался непоколебимым. Надо было поверить, чтобы чувствовать себя хорошим и нужным человеком. Да ведь я и привыкла ему верить, он был честен и умен.

А Маруся продолжала нянчить моих детей, хлопотать по хозяйству и только иногда, чистя картошку или штопая чулок, неподвижно глядела в стену, и руки у нее опускались, а у меня в душу закрадывался червь сомнения...

Но я быстро себя успокаивала: лес рубят – щепки летят.

#### НАЧАЛО КРЕСТНОГО ПУТИ

В одну обыкновенную субботу я вошла в свой дом, полная мыслей о том, как я проведу воскресенье, о том, как обрадуется дочка кукле, которую я ей несу, как будет восторгаться сын слоном, которого завтра я ему покажу в зоопарке.

Я всегда говорила, что не обольщаюсь, как другие матери, и вижу недостатки своих детей. Но я лгала. В глубине души я считала, что таких умных, красивых, обаятельных детей, как у меня, не было ни у кого на свете.

Я отворила дверь. Меня поразил чужой запах сапог, табака.

Маруся сидела среди полного разгрома и рассказывала детям сказку. Груды книг и рукописей валялись на полу. Шкафы были открыты, и оттуда торчало всунутое наспех белье. Я ничего не поняла, мне даже в голову не пришло ни одной мысли, только страшное предчувствие несчастья оледенило душу. Маруся встала, загоразивая детей, и тихим, странным голосом сказала:

– Ничего, не убивайтесь!

– Где муж, что случилось? Он попал под машину?

– Неужели вы не понимаете? Забрали его.

Нет, со мной, с ним этого ведь не могло случиться! Ходили какие-то слухи (только слухи, ведь это было начало 1936 года), что что-то произошло, какие-то аресты... Но ведь это относи-

лось совсем к другим людям, ведь не могло же это коснуться нас, таких мирных, таких честных людей...

– Как он?

– Сидел бледный, передал часы для вас, сказал, что все выяснится, чтобы вы не волновались. Детям сказал, что уезжает в командировку.

– Да, да, конечно, выяснится! Ведь вы знаете, Маруся, какой он честный, какой он хороший человек!

Маруся горько усмехнулась и посмотрела на меня:

– Эх вы, образованная! А не понимаете! Кто туда попал, не вернется.

Но я верила в справедливость нашего суда. Муж вернется, и этот гнусный запах, этот пустой дом останутся страшным воспоминанием.

А потом потянулось странное время: дети ничего не знали. Я играла с ними, смеялась, и мне казалось, что ничего не произошло, что мне приснился дурной сон. А когда я выходила на улицу, шла на работу – я глядела на людей как из-за стеклянной стены, невидимая преграда отделяла меня от них. Они были обыкновенные, а я обреченная. Знакомые говорили со мной особенными голосами, и они боялись меня. Переходили на другую сторону, заметив меня. Были и такие, которые оказывали мне подчеркнутое внимание, но это было геройство с их стороны, и они и я это знали.

Один старый человек, член партии с 1903 года, пришел ко мне и сказал:

– Устройте свои дела, может быть, вас тоже арестуют. И помните, на вопросы отвечайте, а лишнего не болтайте, каждое лишнее слово повлечет за собой длинный разговор.

– Но ведь он совершенно невинен! Почему вы мне даете такие советы? Вы, большевик! Значит, вы тоже не верите в справедливость нашего суда? Вы недостойны партбилета!

Он посмотрел на меня и сказал:

– Запомните мои слова, а по существу поговорим через год.

Я считала ниже своего достоинства прислушиваться к его советам и старалась жить так, как будто ничего не случилось.

В это время проходил съезд стахановцев щетинощетоchnой промышленности. Когда мы съехались в Витебске, оказалось, что работники этой промышленности встретились

впервые со дня создания советской власти. Встреча показала, что в Ташкенте изобретают машину, которая уже десять лет работает в Невеле, что технология, принятая в Усть-Сысольске и дающая блестящий эффект, и не снилась минчанам.

Это была веселая, эффективная и благодарная работа. Я была секретарем съезда, работала целыми днями, забывала, что, приехав в Москву, опять попаду в пустую квартиру и опять буду носить передачи в тюрьму...

На другой день после возвращения в Москву за мной пришли.

Смешно сейчас вспомнить, но первой мыслью было: все материалы съезда у меня, съезд стоил пятьдесят тысяч рублей. Вся работа в набросках, все пропадет, никто не разберет моих записей.

Пока длился четырехчасовой обыск, я приводила в порядок материалы съезда. Я не могла всерьез осознать, что жизнь моя кончена, и я боялась думать о том, что у меня отнимают детей. Я писала, клеила, приводила в порядок материалы, и, пока я писала, мне казалось, что ничего не случилось, что я кончу работу и передам ее, а потом мой нарком мне скажет: «Молодец, вы не растерялись, не придали значения этому недоразумению!» Я сама не знаю, о чем я в это время думала, инерция работы, а может быть, смятение от испуга были так велики, что я трудилась четыре часа точно и эффективно, как у себя в кабинете наркомата.

Проводивший обыск следователь наконец надо мной сжалился.

– Вы бы лучше простились с детьми! – сказал он.

Да... проститься с детьми... Ведь я расстаюсь с ними. Может быть, надолго... Нет. Это выяснится, этого не может быть...

Я вошла в детскую. Сын сидел в постельке. Я ему сказала:

– Я уезжаю в командировку, сыночек, оставайся с Марусей, будь умным.

Губки его искривились:

– Как странно! То папа уехал в командировку, теперь ты уезжаешь, а вдруг уедет и Маруся – с кем же мы останемся?

Я поцеловала его худенькую ножку.

Дочка сладко спала и посапывала, уткнувшись носом в подушку. Я ее перевернула. Она засмеялась и что-то пролепетала.

Первый раз в жизни я поняла, что это значит, когда слезы душат. Я никак не могла вздохнуть, но до сих пор с гордостью вспоминаю, что не показала сыну своего горя.

Мы вышли из дома.

Закрылась дверь. Сели в машину. Сразу кончилась жизнь обыкновенная, человеческая, жизнь жены, дочери, матери, работника. Иногда мелькали в мозгу по инерции какие-то заботы... Что-то недоделано, что-то надо исправить... Я хотела замазать окно. Дует. Сын простудится... Нет, не то. Что-то важное. Мама! Я все скрывала от нее опасность, которая надо мной нависла. Я ее утешала выдуманными сведениями о муже. Теперь она узнает...

Я не обняла ее, когда прощалась в последний раз, все откладывала разговор с ней, чтобы подготовить ее... Нет, не это самое главное. Что-то я недоделала... Я хотела идти к Сталину, добиться свидания с ним, объяснить ему, что муж мой невинен... Нет, не то... Что-то я еще не сделала...

Все. Отрезано прошлое. Я одна против огромной машины, страшной злой машины, которая хочет меня уничтожить.

#### ЛУБЯНСКАЯ ТЮРЬМА

Камера во внутренней тюрьме на Лубянке напоминала номер гостиницы. Натертый паркет. Большое окно забрано щитом. Пять кроватей заняты, шестая – пустая. В углу – параша. В двери прорезано окошечко и глазок.

Ввели меня ночью, когда в камере все спали. Мне указали кровать. Лечь на нее казалось мне столь же невыносимым, как уснуть на раскаленной плите. Мне хотелось скорее поговорить с соседками, узнать от них, как проходит следствие, что мне предстоит. Я еще не научилась терпеть молча. Никто ко мне не обратился, все повернулись к стене от света и продолжали спать. Я сидела на постели, а ночь тянулась, а сердце разрывалось...

До подъема было еще два часа, но я их никогда не забуду.

Наконец в шесть часов в дверь стукнули: подъем.

Я вскочила, уверенная, что меня сегодня же вызовут, все объяснится, я докажу, что я и мой муж не виноваты, я сумею убедить, что у меня нельзя отнять детей, что я чиста...

Первая истина, которую я усвоила, гласила: главное в тюрьме – научиться терпению. Меня вызовут или сегодня,

или через неделю, или через месяц, но никто никогда ничего мне не объяснит.

Когда я усвоила это (первые два-три дня я каждую минуту ожидала, что меня вызовут, а вызвали меня только на пятый день), я начала оглядываться вокруг и знакомиться с соседями. На Женю Быховскую я обратила внимание из-за заграничного, черного с красной отделкой, платья.

«Вот это уж, наверное, настоящая шпионка!» – подумала я, видя, как она моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье. Лицо Жени портило нервный тик.

«Ага, попалась, – подумала я. – Я-то не прихожу в отчаяние, у меня все выяснится, а ты попалась и не можешь совладать со своим лицом, вот и гримасничаешь».

Как потом я узнала, Женя работала в подполье в фашистской Германии и уехала оттуда потому, что тяжелая болезнь, сопровождавшаяся неожиданными обмороками, не позволяла ей оставаться в подполье. Один раз она потеряла сознание на улице, имея при себе партийные документы. Ее спас врач-коммунист, к которому она случайно попала. В 1934 году ее отправили лечиться в СССР, а в 1936 году она была арестована. Одним из главных мотивов обвинения было то, что она слишком уж легко ускользала от гестапо, особенно в случае с обмороком, очевидно, она имела там связь.

Всего этого я не знала и смотрела на нее с отвращением и злорадством.

Мне было легче думать о себе, сравнивая себя с «настоящими» преступниками. Я казалась себе рядом с ними такой ясной, такой чистой, что не только умный и опытный следователь, к которому я попаду, но и ребенок увидит это.

Моя соседка справа, Александра Михайловна Рожкова, была миловидной женщиной лет тридцати пяти. Она уже имела срок – пять лет, три года пробыла в лагере, и теперь ее привезли на переследствие по делу мужа-троцкиста, которого связывали с убийством Кирова.

Александра Михайловна каждое утро озабоченно стирала, сушила и пришивала к блузке белый воротничок, так как ожидала, что ее вызовут на допрос.

Она мне рассказывала о лагере, в котором ей жилось неплохо, потому что она работала врачом, и упомянула в разговоре о своем сыне, одноплетке с моим, оставшемся у подруги.

– Как! У вас остался сын? Вы его не видели уже три года!

...И эта женщина интересуется каким-то воротничком, спрашивает меня, что идет в московских театрах!

Я ужаснулась. Ведь я не прошла тогда лагерной жизни.

Я имела глупость и жестокость сказать ей:

– Вы, наверное, не так любите своего сына, как я. Я не смогу прожить без него три года.

Она холодно посмотрела на меня и ответила:

– И десять выживете, и будете интересоваться и едой, и платьем, и будете бороться за шайку в бане и за теплый угол в бараке. И запомните: все страдают совершенно одинаково. Вот вы сегодня ночью стонали и вертелись на кровати и мешали спать соседям, а Соне (она помещалась напротив меня) десять ночей не давали спать, допрашивали, только теперь дали отдохнуть одну ночь. А меня вы разбудили, и я до утра не могла заснуть и думала о своем сыне, которого я, по-вашему, не так люблю, как вы своего, и мне было очень тяжело.

Это был хороший урок. Я на всю жизнь запомнила, что всем одинаково больно, когда режут «по живому телу».

Соня, о которой Александра Михайловна говорила, что она не спала десять ночей, была хорошенькой двадцатисемилетней шатенкой, рижанкой. Судьба ее забросила в Берлин, где она вышла замуж за троцкиста Ольберга, тоже рижанина. Она разошлась с ним в 1932 году и с новым мужем, советским подданным, приехала в Москву. В бытность женой Ольберга она вела вместе с ним кружки русского языка для немецких инженеров, которые ехали на работу в Москву. Всего через эти кружки прошло около ста человек. Это были безработные, просоветски настроенные люди, которые мечтали о России как о земле обетованной. Они работали в России с 1932 года. Может быть, между ними и были шпионы и террористы, но меньше всего об этом знала Соня, однако она явилась главным свидетелем против них. Ее уже три месяца каждую ночь вызывали на допрос, держали у следователя до пяти часов утра, потом давали поспать один час, а днем не разрешали ложиться. Женщина она была безвольная, бесхарактерная, немудрая, и многого ей было не надо.

Ее убеждали несложными софизмами, которые ей казались неопровержимыми. Допросы шли примерно так:

– Ольберг был троцкистом?

– Да.



– На кружках он вел беседы?

– Да, для практики в русском языке.

– Будучи троцкистом, он не мог не освещать все события в троцкистском духе?

– Да.

– Троцкисты – террористы?

– Не знаю.

Удар кулаком по столу.

– Вы защищаете троцкистов! Вы сами троцкистка! Знаете ли вы, что я с вами сделаю? Вы будете счастливы, когда вас наконец расстреляют! Ваш муж (речь шла о втором, любимом муже) будет арестован за связь с вами. Советую лучше вспомнить, что вы были комсомолкой, и помогать следствию. Итак: троцкисты – террористы?

И Соня подписывала.

– Да.

А потом начинались очные ставки с немцами, которые проходили так: ее вводили в кабинет следователя, где сидел очумевший и мало что понимающий Карл или Фридрих. Он бросался к ней и говорил:

– Фрау Ольберг, подтвердите, что я только учился русскому языку в вашем кружке!

Следователь ставил вопрос:

– Вы подтверждаете, что Карл (имярек) был участником кружка Ольберга?

Соня отвечала:

– Да.

Карл подписывал: «Да».

Очная ставка кончалась, успокоенный Карл шел в свою камеру и не знал, что подписал себе смертный приговор. Соня возвращалась в камеру заплаканная и говорила:

– Вот семидесятый человек, на которого я дала ложное показание, но я ничего не могла поделать.

С ней справиться было легко.

Жене Гольцман было тридцать восемь лет. Она вступила в партию в первые дни революции.

Муж ее, писатель Иван Филипченко, был воспитанником Марии Ильиничны Ульяновой и в семье Ульяновых был своим человеком. Он разделял их нелюбовь к Сталину. По этому вопросу у Жени с ним были бесконечные столкновения и споры, приводившие Женю в отчаяние, потому что только

два человека на свете для нее были дороже жизни: муж, который ввел ее в революцию и которого она считала честнейшим коммунистом и талантливым писателем, и Сталин, перед кем она преклонялась.

После ареста Филипченко Женю сразу не арестовали, а только вызвали на допрос, потом арестовали и стали вызывать на допросы каждый день. Она приходила с допросов мрачная, никогда не рассказывала в камере ни о чем. Когда мои соседки обучали меня, как держаться на следствии, учили, что много говорить не надо, а то так запутаешься, что и не вылезешь, советовали следить, как следователь записывает твои ответы, а то подпишешь совсем не то, что говорила, Женя резко их останавливала и говорила мне:

– Помните, что, если вы советский человек, вы должны помогать следствию раскрыть ужасный заговор. Часто то, что кажется незначительным, дает в руки следствия нить. Вы должны говорить всю правду и верить, что невинных не осуждают.

Но однажды Женя вернулась со следствия вся в слезах, с красными пятнами на лице и потребовала бумаги для письма Сталину. В этот день она не выдержала и поделилась со мной тем, что с ней происходило. Женя не только мне советовала говорить всю правду на следствии, но и сама считала своим партийным долгом не скрывать ничего от следователя. Таким образом она передала все высказывания Филипченко о Сталине, а также и все, что о Сталине говорилось в Горках. За Женю ухватились. Ей дали очень квалифицированного следователя, который сначала обращался с ней как с членом партии, взывал к ее партийной совести, а потом, получив все интересующие его высказывания Филипченко, скомпоновал их и составил последний протокол в том смысле, что Филипченко собирался убить Сталина. Вот этот-то последний протокол Женя не подписала. Да, Филипченко считал, что страна вздохнет, когда Сталин умрет, и говорил «чтоб ему сгинуть», но совершать теракт он не собирался.

Теперь, когда все показания на Филипченко были Женей уже подписаны, следователь переменял тактику, стал ее ругать, кричать на нее и даже бить. Женя была этим потрясена и целыми днями писала письма Сталину об извращениях на следствии.

Филипченко, конечно, был обречен, независимо от того, подписала бы Женя последний протокол или нет, но ее убива-

ла мысль, что ему покажут ее показания и он умрет в убеждении, что она его предала. И вот, подписав добровольно все предыдущие показания, она боролась, чтобы не подписать этот последний протокол. Ее тоже стали вызывать по ночам, а днем не давали спать, сажали в карцер. Потом вдруг ее оставили в покое, а через несколько дней кто-то простучал в стенку, что Филипченко расстрелян и просил передать товарищам, что он умирает честным коммунистом. Женя была убита. Кроме ужаса совершившегося ее терзало то, что он не передал приветов ей. Значит, он знал, что она дала на него эти страшные, формально правдивые, а по существу ложные показания.

## СЛЕДСТВИЕ

Наглядевшись и наслушавшись, я несколько потеряла оптимизм, с которым готовилась доказать, что мой муж и я совершенно невиновны. Но все же я считала себя совсем другим человеком, чем мои соседи по камере, связанные с какими-то очень важными людьми, как-то втянутые в политическую борьбу.

Я – человек беспартийный, мой муж тоже, он занимается наукой. Может быть, и есть какой-то заговор, но почему я должна отвечать за него?

Я представляла себе следователя, умного и тонкого, как Порфирий из «Преступления и наказания», ставила себя на его место и была уверена, что он в два счета поймет, кто перед ним находится, и немедленно отпустит такого человека на волю.

Наконец меня вызвали.

Попала я к какому-то совсем захудалому следователю, лет двадцати пяти. Кабинет был маленький, совсем не роскошный, наверное, днем здесь была канцелярия. В углу стояли две удочки, видно, мой следователь после ночной работы собирался ехать на рыбалку.

После первого допроса следователь записал:

«Я признаюсь, что мой муж был троцкистом и у нас были троцкистские сборища».

Я написала – нет.

И вот так мы просидели всю ночь. Следователь говорил скучным голосом:

– Подумайте, признайтесь, – и смотрел на часы.

Через десять минут он снова ставил свой вопрос и говорил:

– Подумайте, – и снова смотрел на часы.

Пока я думала, он вставал, ходил по кабинету, несколько раз подходил к удочкам и что-то поправлял.

Так прошло три часа. Потом он стал задавать другие вопросы:

– Что вы слышали о смерти Аллилуевой? Отчего она умерла?

Я спокойно и уверенно ответила:

– Она умерла от аппендицита, я сама читала в «Правде».

Следователь стукнул кулаком по столу.

– Лжете! Вы слышали совсем другое! У меня есть сведения!

...И вдруг я с ужасом вспомнила, что месяца два тому назад я была в гостях у старого большевика Тронина, человека глубоко мною уважаемого. Один из гостей, Розовский, рассказывал, что Аллилуева застрелилась после того, как Сталин при гостях грубо ее оборвал, когда она заступалась за Бухарина. Этот Розовский (он был завмагом) был арестован до меня, мы думали, за какую-то растрату. Он, конечно, мог на следствии передать этот разговор о смерти Аллилуевой в моем присутствии.

Стало страшно. Тронин и его семья будут привлечены за распространение антисоветских слухов. И ведь... «был бы человек, а статья найдется»... Да я ведь уже сказала, что не слышала никаких разговоров о смерти Аллилуевой. А Розовский, может быть, об этом и не говорил на следствии.

Я повторяла:

– Я читала в «Правде», она умерла от аппендицита, – а сама тряслась от страха, ведь Розовский говорил о самоубийстве Аллилуевой, и я выгляжу лгуньей.

Наконец следователь сказал:

– Подумайте в камере. Учтите, что только чистосердечное признание дает вам шанс увидеть своих детей. Упорное заpiresательство характеризует вас как опытного политического борца. Идите и думайте.

Я вернулась в камеру в половине шестого. Александра Михайловна и Соня говорили, что по всем признакам меня рассматривают как очень мелкого преступника и я получу от трех до пяти лет. Женя говорила, что меня освободят. По этому поводу спорили, а я внутренне оледенела, впервые поняв

реальную возможность того, что меня могут осудить и я потеряю детей.

Я снова стала желать, чтобы меня вызвали и я смогла доказать, что невиновна. Но мысль о Розовском и его версии смерти Аллилуевой меня не оставляла. Я не спала все ночи, дрожа от страха.

Через две недели меня действительно вызвали, и все повторилось вплоть до удочек, которые занимали следователя, а мне действовали на нервы. Но разговора о Розовском не было, и я поняла, что он ничего обо мне не говорил.

Через два месяца меня вызвали в третий раз, и следователь показал мне протокол, подписанный рукой моего мужа, где на вопрос, был ли он троцкистом, муж ответил: «Да».

– Этого не может быть! – воскликнула я. – Это неправда!

– Это, конечно, правда, но уж и помучил он нас, пока добились от него признания!

При этом следователь как-то криво усмехнулся, и я поняла, что мужа моего били, истязали, если он подписал такую вещь. Я содрогнулась и в то же время почувствовала гордость за него, за то, что на меня-то он ничего не подписал, как его ни терзали.

И я поклялась себе, что ничего не подпишу ложного, как бы трудно мне ни было.

Опять я просидела шесть часов. На этот раз следователь кричал, стучал по столу кулаком, обзывал меня политической проституткой, обещал мне, что я никогда не увижу своих детей, что их отдадут в детский дом, чтобы изолировать их от влияния моей разложившейся семьи. (Этого я боялась больше всего потому, что в детских домах меняли детям фамилии, и их уже никогда нельзя было найти. Так говорили у нас в камере. Я думаю, что эти слухи распространяли сами следователи, чтобы нас еще больше запугать.)

И я опять вернулась в камеру, и опять ждала, но больше меня уже не вызывали.

Следствие кончилось.

Я была «разоблачена».

Следователь составил материал для суда, в котором он доказывал, что я – преступница.

Этому человеку сейчас около пятидесяти лет. Где-то он живет. И я думаю, его даже совесть не тревожит – ведь он «выполнял свой долг»!

## БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА В 1936 ГОДУ

Через четыре месяца пребывания на Лубянке вечером в двери открылось окошечко и дежурный сказал:

– Слиозберг, с вещами.

Женя подошла ко мне:

– Видите, я была права. Вы идете на волю. Я счастлива за вас. Помните о нас, оставшихся здесь.

Мы поцеловались. Женя была очень хорошим человеком. Она действительно радовалась, думая, что я иду на волю. А другие немного завидовали. Я это знаю по себе: и рада за товарища, если ему повезло, и как-то сердце за себя больше болит.

Жени Быховской уже не было в нашей камере, у нее кончилось следствие, и ее куда-то перевели.

Александра Михайловна была уверена, что я иду не на волю, а в другую камеру. Соня молчала.

Мы попрощались, и я вышла. Меня в сопровождении конвоира провели во двор и посадили в «черный ворон». Если кто-нибудь не знает, что это такое, я объясню: это зеленая закрытая машина для перевозки заключенных. Внутри она разделена на одиночные купе, такие тесные, что люди с длинными ногами должны были их поджимать, а то прищемит дверь. В 1937 году эти машины были столь популярны, что в одной школе первоклассники на вопрос «Какого цвета ворон?» дружно ответили: «Зеленого».

Итак, меня засунули в одиночное купе. Я не могла видеть, куда мы едем, и вся дрожала. Где-то внутри еще теплилась глупая надежда, что меня привезут домой и отпустят. «Ворон» остановился. Мы вошли во двор Бутырской тюрьмы.

Был лунный августовский вечер. В первом дворе было несколько больших лип, листья которых сверкали при луне. Я не видела деревьев всего четыре месяца, но сердце мое так мучительно сжалось, что я чуть не упала. Меня провели во второй двор, голый и мрачный, потом в тюремное здание, приняли дело в закрытом пакете, записали и повели в камеру.

Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами,

---

<sup>\*</sup> В 1938 году в Москве «черный ворон» был зеленого цвета.. В 1949 год, во время моего повторного ареста «черный ворон» выглядел иначе: на железном кузове было написано: «Хлеб», «Мясо». – *Примеч. автора.*

на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос.

Я растерянно остановилась со своим чемоданом и узлом. Подошла беременная женщина, староста камеры.

– Не бойтесь, – сказала она. – Здесь почти все политические, как и вы. Я сама ткачиха с Трехгорки, Катя Николаева.

Мы поздоровались за руку.

– Лечь придется к параше, здесь такое правило для новеньких.

В углу стояла огромная деревянная вонючая параша.

Около нее на нарах было свободное место. Я уже хотела устраиваться, когда заметила в противоположном углу камеры около окна два свободных места по обе стороны спящей женщины с длинными черными косами.

– А можно, я лягу около окна? – спросила я Катю.

Катя как-то замаялась, но ответила:

– Ну что же, ложитесь, только соседка там не очень хорошая.

Я подошла к окну и легла.

Соседка моя, Аня, видно, была мне рада. В это время принесли кипяток. У меня был сахар, печенье; я ее угостила. И начала расспрашивать о людях, лежавших на нарах, и Аня о каждом говорила что-нибудь очень плохое. По ее мнению, камера эта была сборищем преступников. Вдруг я заметила на противоположных нарах Женю Быховскую. За четыре месяца, что мы провели вместе, я успела ее полюбить, и от прежнего моего убеждения, что она шпионка, ничего не осталось.

– А знаете ли вы эту женщину? – спросила я у Ани.

– О, это подлая шпионка, такую я убила бы собственными руками.

После этого разговора я подошла к Жене, она по близорукости меня раньше не заметила, а когда узнала – расцеловала. Я молча перенесла вещи от Ани и легла рядом с Женей. Аня злобно посмотрела на меня и осталась опять одна на трех местах.

– Что это за человек? – спросила я у Жени.

– Это бывшая жена Карева, он профессор, очень интересный человек. Он ее оставил и последние годы жил в Ленинграде. И тогда она из мести написала на него заявление, что он скрытый троцкист и двурушник. Его посадили, а заодно и ее за

то, что раньше не сообщила о его грехах. Сейчас она пишет заявления на всех в камере, и с ней никто не разговаривает. Вас перевели сюда, значит, дело ваше кончено. Жаль. Я надеялась, что вас отпустят. Теперь ждите приговора. Для себя я меньше десяти лет не жду. Ну, у вас дело проще, наверное, отделается пятеркой.

Когда Женя позвала меня лечь рядом с собой, соседка ее, Мотя, встретила меня приветливо. Она оттеснила двух своих соседок, Нину и Валу, приговаривая:

– Ничего, в тесноте, да не в обиде, видите, подружки встретились.

Благодаря Мотиному заступничеству образовалась щель сантиметров в сорок, куда я и влезла. Этого мне было вполне достаточно, но одно меня смущало: лежали мы как селедки, голова к голове, а на щеках у Моти были какие-то страшные черные пятна, вызывающие невольную брезгливость. Хотя Женя мне сказала, что они не заразные, я невольно старалась закрыть платком лицо. Мотя это заметила.

– Вы не бойтесь, – сказала она мне, – я не заразная, это я отморозила щеки.

Эти пятна Мотю очень огорчали и угнетали, она по целым часам делала себе массаж, которому ее выучила Нина, и спрашивала, бледнеют ли пятна: ведь зеркала у нас не могло быть.

Мотя была грамотная, но читать, как она выражалась, не приучена. Она меня жалела, что я по целым дням читаю.

– Да вы отдохните, – говорила она и очень удивлялась, когда я ее уверяла, что отдыхаю только с книгой.

Мотя же, если не возилась со своими щеками, целые дни лежала с закрытыми глазами и слушала разговоры Нины и Вали. Обе они были красивы и молоды, не старше 30 лет. Нина – жена крупного военного работника. Валя – жена секретаря обкома. Они очень подружились и целыми днями вспоминали о своей прежней жизни. Они забыли обо всем, что когда-то омрачало ее, о всех трудностях и горестях, которые, конечно, были. Им казалось, что Мотя спит, а она жадно прислушивалась и время от времени, обернувшись ко мне, шепотом сообщала свои наблюдения:

– А у Вали-то домработница была; свекровь дома сидела, и домработницу держали.

– Так ведь она работала, а дома ребенок.



– Ну, парню восемь лет, и бабка дома. Нет, просто избалованные.

В другой раз Валя рассказала какой-то смешной случай, как к ним пришел важный, но не желанный гость. Она спряталась от него в детской, а муж заперся и заснул в кабинете. Гость пил со свекровью чай, а потом вышел на балкон покурить, а муж, выйдя из кабинета, сказал: «Ну, ушел наконец, болтун!» Мотя посмеялась со всеми, ее черные узкие глазки хитро заблестели, и она мне сообщила на ухо:

– Четыре комнаты было.

– Почему четыре – детская, кабинет и общая – всего три.

– Нет, у свекрови отдельная была. Нинке она рассказывала... У Нинки три шубы было: котиковая, белая меховая и с собой здесь бостоновая с лисой. У Нинки любовник был!

– Откуда ты знаешь, она тебе рассказывала?

– Вале рассказывала. На курорте она одна была, без мужа, а он приехал, говорит, скучно без вас, город пустой! А муж тоже приехал. Так тот ночью сел на машину и был таков. Вот, одного мужика мало, еще любовник понадобился. Жили начальники!

– Да что ты всех начальниками зовешь? Может, я тоже начальником была?

– Нет, твой муж – учитель. Это рабочий человек. А ихние – начальники.

Не любила она начальников! Надо сказать, что некоторые основания у нее для этого были: за свои восемнадцать лет она не раз сталкивалась с «начальниками», и каждый раз эти столкновения приносили ей немало горя.

Ей было двенадцать лет, когда кончилось ее мирное детство в селе близ Тарусы. Детство вспоминалось грибами и ягодами, плесканием по целым дням с ребятами в Оке, поездками в ночное, чудесной бабушкой, которая была первая песенница и сказочница на селе. Училась она легко и радостно, и учительница звала ее «Эдисончик».

– Больно я шустрая была к арифметике и еще что сообразить, приспособить. Печку электрическую починю, пробки прогорят – вставлю. Воду из ручья провела на школьный двор. Учительница очень меня любила, все звала: «Эдисончик, Эдисончик».

Эта жизнь кончилась в 29-м году, когда родителей Моти раскулачили и сослали с тремя детьми, из которых старшей

была Мотя, на Северный Урал. Привезли их в сентябре в лес, выгрузили и велели строиться. Шел дождь со снегом, кричали бабы, плакали дети. Кое-как вырыли землянки, слепили печки. Скотины не было, кормить детей нечем. В первый же год умерла средняя девочка. Отец с матерью пошли работать на лесоповал, а Мотя оставалась за хозяйку.

– Скучно там, – говорила Мотя, – лето дождливое, короткое, зима лютая, школы не было. Мать с отцом работают с утра до ночи, а я братишку нянчу, печку топлю, воду из снега гоню, а в землянке сыро, грязно, дымно, а ребят по соседству мало, да все тоже с утра до ночи работают. Темнеет рано, керосину нет, сижу с лучиной да с коптилкой, а братишка все простужается да кашляет.

Так Мотя прожила до 1935 года, и исполнилось ей семнадцать лет, но паспорта ей не дали, как и всем раскулаченным. В доме было плохо, отец мрачный ходил, как туча. А мать и младший братишка все болели. Мотя стала с отцом на лесоповале работать, а мать дома с братишкой. А в 1935 году, после убийства Кирова, отец напился пьяный да и скажи: «Всех бы их, начальников, неплохо перебить, чтобы народ не мучили».

Ну, естественно, забрали отца, а мать все кашляла, кашляла, да в прошлую зиму оба с братом и померли.

– Так мне тошно стало, так скучно, что решила я к бабушке в село свое убежать. Паспорта не было, денег не было. Ранней весной в 1936 году собралась я. Две пары обуви себе приготовила, сухарей насушила и пошла пешком.

За три месяца Мотя прошла почти две тысячи километров. Ночевала по деревням, а то и в копне. Как-то, еще в начале пути, в лесу заночевала, уснула крепко да в утренние заморозки щеки и отморозила. Одни ботинки сразу же развалились, потом, если дорога была сносная, – шла босиком. По деревням где Христа ради кормили, а где подрабатывала. И дошла. Бабушка от страха и радости все плакала, кормила ее, ласкала, ноги теплым салом мазала, спала с ней в одной постели, на улицу не пускала – боялась... Да все равно узнали. Только и прожила она с бабушкой неделю, а потом пришли да и забрали.

– Ну, все равно я не жалею, что убежала. В лагере людей много, кино бывает, хуже не будет!

Да, бедная, милая Мотя! Тебе – хуже не будет, некуда. Так я стала жить в камере № 105 и ждать приговора. Прожила

я в ней три месяца; успела приглядеться и более или менее разобраться в ее обитателях.

На сто женщин нашей камеры была одна старуха эсерка, две грузинские меньшевички и две троцкистки. Все они ходили по тюрьмам и ссылкам от восьми до пятнадцати лет. Сейчас их привезли из политизоляторов на переследствие. Для этих людей вопрос отношения к правительству, и особенно к ГПУ, был давно решен: это были враги, с которыми нужно было бороться. Для троцкисток самым главным врагом был Сталин, которого они называли «папуля» и спрашивали, издеваясь над нами: почему «папуля» вам не помогает, ведь вы его так любите?

Эсерка и меньшевички Сталина просто презирали и считали тупицей, а ненавидели Ленина, который, по их мнению, уничтожил демократию и тем открыл дорогу всякому беззаконию.

1937 год, с их точки зрения, был только деталью. Отчасти они ему были даже рады, потому что сбывались их самые мрачные предсказания.

Им было морально легче: все было ясно, все стояло на своих местах. Легче им было еще и потому, что они привыкли к тюрьме, втянулись в ее страшный быт. С волей у них уже оборвались связи, у них не было ни детей, ни родителей, а мужья их давно погибли или, как и они, странствовали по тюрьмам.

Обо всех городах они судили с точки зрения тюрьмы. Например:

– Вам нравится Орел?

– Что вы! Каменные полы и прогулочные огорожены высоким забором.

– А Самара?

– Город неплохой, но в бане дают мыться всего пятнадцать минут.

Они умели отстаивать свои права, знали все законы, и тюремное начальство их побаивалось. Им сразу выписывали диетпитание, если они нуждались, направляли в больницу. О политике они говорили как о деле совершенно ясном: революция погибла десять лет назад (меньшевички и эсерка говорили, что пятнадцать), страна идет к краху, и чем скорее он наступит, тем лучше.

Они смеялись, когда им рассказывали о глупостях, которые делают руководители хозяйства (я им не рассказывала, как в Ташкенте изобретали машину, которая десять лет работала в Невеле). Они были уверены, что, если разразится война, советская власть рухнет, как карточный домик.

Со скрытой радостью встречали они новые партии арестованных, особенно коммунистов, которые когда-то травили их, а теперь пришли разделить с ними тюремные нары.

Прислушиваясь к их разговорам, я заметила, что они очень плохо знают настроения советских людей, даже их быт. Да и откуда им было знать нашу жизнь, ведь они смотрели на нее из-за тюремной решетки.

Я смотрела на них, и мне так не хотелось попасть в их среду. Я так боялась, что и моими воспоминаниями будут тюрьмы, а надеждами – хороший политизолятор с хорошей библиотекой и двориком для прогулок.

Кроме этих пяти женщин, все остальные девяносто пять человек уверяли, что они невиновны. Только некоторые, наиболее выдержанные партийки воздерживались от рассказов о своих «делах», остальные же испытывали непреодолимую потребность говорить, рассказывать, советоваться, спрашивать мнения о том, что их ожидает.

Очень многих просто оговорили, другие же были «виноваты», но не знали об этом. Ведь никому в голову не приходило, что рассказать или выслушать анекдот, который знает вся Москва, называется совершить преступление по статье 58, пункт 10, то есть вести агитацию против советской власти, караемую лишением свободы до десяти лет. Никто не думал, что если муж, делясь с женой, ругает, предположим, Кагановича, или Молотова, или, не дай бог, Сталина, то жена обязана сообщить об этом в ГПУ, в противном случае она совершает преступление по статье 58, пункт 12 (недонесение) и ей грозит лишение свободы до восьми лет.

Никто не считал также преступлением знакомство с бывшими оппозиционерами; раз им разрешено жить и работать в Москве, а многие из них даже восстановлены в партии, почему я не могу с ними общаться?

Вначале я пыталась не доверять горестным повестям, которые мне рассказывали. Ведь если все так же невиновны, как я, – значит, произошло ужасное вредительство. Значит, лгут газеты, лгут речи вождей, лгут судебные процессы. Нет, этого

не может быть! Где-то там, в одиночных корпусах, в мужских камерах, сидят эти проклятые заговорщики, из-за которых так все смешалось, что теперь нельзя отличить правого от виновного. Но в каждом отдельном случае я не могла не верить людям. Я не могла не верить, когда старуха Пинсон рассказывала об очной ставке с Муратовым:

– Я потребовала с ним очной ставки. Меня ввели в кабинет следователя. Там сидел какой-то седой старик с бегающими глазами. Только когда он заговорил, я поняла, что это был Муратов (Муратову было тридцать три года). Я бросилась к нему: «Андрей Алексеевич, скажите, что все это неправда, что ни в какой террористической организации я не была». И вдруг, можете себе представить! Он мне говорит: «Ах, Софья Соломоновна, довольно запыраться! Я уже признался, что мы с вами хотели убить Кагановича. Я советую вам тоже признаться». Вы можете себе представить? Я хотела убить Кагановича! Когда я курицу не могу убить, так я могу убивать Кагановича!

Я не могла не верить Жене Волковой. Ее как отличницу из Горького послали в Москву на первомайскую демонстрацию. В Горьком она имела несчастье состоять в снайперском кружке и хорошо стреляла. На нее был донос, что на демонстрации она должна была убить Сталина. Стрелять она умела только из винтовки, а как можно пронести винтовку на демонстрацию – совершенно непонятно. Женя целыми днями плакала и боялась за маму, у которой плохое сердце. Политикой она совершенно не интересовалась и считала самым трудным предметом диамат, потому что преподаватель требовал, чтобы студенты читали газеты. Интересовалась она музыкой, учебой и одним мальчиком, очень идейным комсомольцем, который будет теперь «меня презирать потому, что за Родину он готов отдать жизнь, а про меня скажут, что я изменница».

Я не могла не верить Софье Соломоновне или Жене, потому что видела их глаза, слышала их стоны по ночам, чувствовала их горе и недоумение. И я махнула рукой на бдительность, которую проповедовали все, даже Женя Быховская, и стала верить своим глазам, своему сердцу.

Самые несчастные люди в тюрьме были коммунисты. Они взяли на себя роль добровольных защитников ГПУ. Они уверяли всех, что в стране был огромный контрреволюционный заговор, и если при ликвидации его были допущены ошибки,

то — лес рубят, щепки летят. Они говорили, что нужно вырезать гангренозное место с живым телом, чтобы спасти организм.

Если их спрашивали, зачем на следствии бьют и заставляют давать ложные показания, они отвечали: «Так надо», и против этого уже нечего было возражать.

Все они были уверены, что Сталин не знает о том, что делается в тюрьмах, и без конца писали ему письма.

Сталин был вне подозрений, он казался непогрешимым. Он, конечно, не знал обо всех ужасах, которые происходили. Ну а если знал, значит, было «так надо».

Так они говорили, так они думали, и каждый факт чудовищной несправедливости, с которой они сталкивались, двойной тяжестью ложился на их плечи: он бил по ним самим, и они чувствовали себя обязанными защищать его целесообразность перед беспартийными.

Они говорили, что нельзя верить, что все невиновны, что в этой самой камере много маскирующихся врагов.

Они самих себя обвиняли в преступной потере бдительности.

Тяжело им было.

И самым тяжелым было то, что, защищая справедливость и целесообразность действий правительства, они сами теряли веру в эту справедливость.

А ведь их жизнь с молодых лет была отдана партии.

Они были ее дети, ее солдаты.

Им было очень тяжело.

А теперь я расскажу, что чувствовала я.

Это очень важно потому, что так чувствовала не я одна, а очень многие люди, нежданно-негаданно попавшие за решетку как «враги народа».

Муж мой всегда упрекал меня, что я невнимательно читаю газеты, не люблю общих собраний, мало интересуюсь политикой.

Я частенько брюзжала: квартира тесная, того нет, другого нет, заграничные вещи хорошие, а наши плохие...

И вот теперь, когда все на свете толкало меня ненавидеть нашу жизнь, когда надо мной была учинена величайшая несправедливость, я почувствовала, как хорошо я жила. Как хорошо мне было работать и знать, что я делаю нужное и благородное дело. Как хорошо мне было воспитывать детей

и быть уверенной, что перед ними открыты все дороги. Как уверенно я ходила по земле и чувствовала ее своим домом, и, если в моем доме было неустроенно и бедновато, я сердилась на это и жаловалась, ведь это был мой дом, и я хотела, чтобы в нем было хорошо, лучше, чем во всех богатых заграничных домах.

Как просто, как хорошо я чувствовала себя с людьми! Как понятны были их желания, их жизнь! Как верила я всем своим существом, что наша жизнь самая справедливая, самая честная! Сейчас в этой жизни остались мои друзья, сестры, братья, дети – все, кого я люблю. Они врачи, педагоги, инженеры, все они станут солдатами, если ударит час войны. Они строят, защищают эту жизнь, не жалея сил и здоровья.

О, если бы я хоть в мыслях пожелала ей зла, я стала бы внутренним эмигрантом, порвалась бы моя связь с этой жизнью, со всеми, кого я любила, со всем, чем я жила.

А все вокруг толкало меня к ненависти. Я искала, но не находила ничего, что я могла бы противопоставить могучему доводу, что те, кто так несправедливо разбили нашу жизнь, те, кто не искали истины, а заставляли побоями и лишением сна подписывать ложь, – члены партии. И они за это чудовищное дело получают еще ордена и награды.

Наступило седьмое ноября 1936 года.

А двенадцатого ноября мне вручили повестку на военную коллегия Верховного суда. Все были поражены. Мое дело казалось таким мелким, и вдруг меня будет судить военный суд!

Я поняла, насколько серьезно мое положение, по изменившимся лицам наиболее опытных товарищей. У нас в камере была Соня Ашкенази. Она была троцкистка, но я о ней не рассказывала, потому что она все время молчала и я не знала ее мыслей. Она погибала от чахотки и очень остерегалась заразить соседей, ела из отдельной посуды, кашляя, плевала в коробочку и лежала, отвернувшись ото всех к стене. И вдруг эта Соня подошла ко мне, посмотрела на меня своими прекрасными глазами и поцеловала в губы. Я поняла, что Соня считает, что мне уже не страшно заразиться, что теперь уже все равно. Как во сне я собрала свои вещи и вышла из камеры. Меня повели в Пугачевскую башню (говорили, что в ней сидел Пугачев) и вручили обвинительное заключение.

Через три дня, на пятнадцатое ноября, был назначен суд.

Обвинительное заключение было составлено удивительно глупо: там было сказано, что Муратов, преподаватель университета, который знал нас с мужем, говорил какому-то Моренко, что он завербовал меня в террористическую организацию с целью убийства Кагановича и что я «могла слышать» какой-то разговор между Муратовым и моим мужем 5 декабря 1935 года.

Это было так фантастично, так неопределенно, но по этому обвинению мне вменили статью 58, пункт 8 через 17 – террористические намерения, – грозившую мне лишением свободы не ниже восьми лет или даже смертной казнью. Все это объяснил мне при вручении обвинительного заключения какой-то полковник. Подписал обвинительное заключение Вышинский, оканчивалось оно словами: «...оказала следствию упорное сопротивление и ни в чем не призналась...»

Я сидела в Пугачевской башне и думала о том, что здесь сидел Пугачев, а сейчас сижу я и что политик очень уж измелъчал.

#### ЛИЗА

Была суббота, день, когда разрешалось писать родным письма. Накануне мы получили от них такие нужные, такие теплые и такие трафаретные письма. Дети здоровы, умненькие, красивые, будь мужественна, береги свое здоровье, ты нужна. И хотя я знаю, что мне не напишут, если дети больны, не напишут, что мать не спит по ночам и горе убивает ее, успокаиваюсь, впитываю каждую черточку милого, старательного мамино почерка, целую печатные буквы сына и контуры обведенной чернилами ручки дочери, которая сейчас уже величиной с мою ладонь, а была крошечной. Эти письма живут с нами одну ночь, на завтра я должна их возвратить. Отнимут у меня и карточки, и нужно их запечатлеть в сердце. На карточке мама, папа и дети. Девочка острижена наголо. А сейчас зима. Значит, она была больна, может быть, скарлатиной, может, дифтеритом. Я ничего не знаю, но знаю, что неделю назад она была жива и ее ручку обвели чернилами, и я целую отпечаток ее ручки. Я счастлива, мои дети живут у моих родителей в любви и заботе, я каждые две недели получаю письма – эти сгустки любви и тепла, которые греют сердце и вливают в него волю к жизни.



А Лиза, моя соседка по камере, не получает писем уже два месяца. У нее остались на воле две девочки, шести и двенадцати лет. Старшая девочка, Зоя, аккуратно писала ей, сообщая, что младшая, Ляля, не слушается и порвала новое платье, что теперь она заплетает косички и они уже длинные, 20 см. Она прислала и карточку: две беленькие девочки, гладко причесанные на косой пробор. У старшей действительно косички, но вряд ли они достигают 20 см, они совсем маленькие и смешные. Она их выставила вперед. Должно быть, это предмет ее гордости. Лиза удивительным образом прячет эту карточку от обысков, и она уже живет у нее два месяца со дня получения последнего письма. Это большое преступление, за него можно попасть в карцер, и Лиза изволновалась и решила, что сдаст эту карточку, а то можно от волнения получить порок сердца.

Лиза вообще мнительна и боится за свое здоровье. Это крепкая, довольно некрасивая женщина, с очень простым лицом. Она рассказывает, что умеет хорошо петь, но мы, к сожалению, не можем это проверить, ведь говорить разрешается только шепотом, а петь совсем нельзя. Лиза любит рассказывать о том, что она пользовалась большим успехом у мужчин, а я этому никак не могу поверить, глядя на ее некрасивое лицо и сильную, грубо сколоченную фигуру. Вообще с Лизой я не очень сошлась, она не любит философствовать, говорит больше о еде, о платьях, которые у нее были, о мебели, которую она оставила в квартире. Она человек неинтеллигентный, и ее раздражает наше переливание из пустого в порожнее в поисках первопричин.

Но вчера, после того как мы все получили письма, а она опять осталась без письма, долго плакала, а ночью шепотом рассказывала свою историю:

– Вы все из хорошей жизни, а я в детстве плохо жила. Мы с матерью ходили по дворам и пели... мы были нищие. Отца не было, никогда не было, мать нас с сестрой прижила от хозяина, она была кухаркой у чиновника (Лиза стыдилась этого и никогда не рассказывала раньше. Я поняла, почему она так не любила наши рассказы о детстве, о том, как нас учили музыке, какие елки нам устраивали, как нас баловал отец). И у матери, и у нас с сестрой были хорошие голоса, и мы пели по дворам, и нам подавали много. Мы бы хорошо жили, но мать пила. А голос у нее был как у Неждановой, выпьет, бывало, и

поет, и плачет. Хорошо пела и была добрая, а пила от горя. Я всегда завидовала детям, которых в школу провожала мать, а если видела детей с отцом, нарядных, беленьких, мне хотелось запустить в них комком грязи.

Мы жили в углу в подвале. И вдруг, когда мне исполнилось четырнадцать лет, произошла революция. К нам пришли люди и сказали, что нас переселяют из подвала в квартиру на втором этаже. Там жили буржуи, они все бросили и убежали за границу, а нам дали их квартиру со всей обстановкой, со всеми вещами. Там был рояль, были платья, посуда. Мать нарядилась, нас нарядила. Нам дали три комнаты. Мы жили в одной, потому что было холодно, но другие комнаты берегли, вытирали пыль. А потом стало тепло, и мы стали жить во всех комнатах. Мать работала комендантом этого дома, а мы с сестрой на фабрике. Там нас все любили, потому что мы всегда пели – и за работой, и на вечерах. Мы одевались очень хорошо, потому что у буржуев осталась швейная машинка и много платьев, и мать все шила и переделывала платья. Она и пить перестала. Только, бывало, по вечерам соберутся к нам товарищи, как в клуб, покушаем (мать ведь кухаркой у чиновника была и хорошо готовила), выпьем по рюмочке и поем, поем. Потом мать умерла, у нее была чахотка. Ну, хоть последние годы пожила в радости. А мы с сестрой вышли замуж. Я за председателя фабкома нашей фабрики, а она – за мастера. Они были партийные, и мы стали партийные. Мы жили очень хорошо. Самое большое горе было, когда умер Ильич. Я и в партию вступила в Ленинский набор. Муж меня заставлял учиться, как Ленин велел.

Две дочки у меня были. Я их одевала как куколок. Старшую уже начали учить на рояле, она хорошо успевала и тоже любила петь. У нее голосок был тоненький и чистый, как колокольчик. Бывало, на детском утреннике у нас на фабрике дочка в шелковом платье с пионерским галстуком поет, а муж мне говорит: «Лучше Зойки ни одной девчонки нет, она народная артистка будет». А я вспоминала, как по дворам ходила и завидовала детям, у которых отец есть, и так любила нашу советскую власть, что жизнь бы отдала за нее. У нас в Ленинграде вождь был тогда Зиновьев; я его любила, и муж очень уважал. Мы за него голосовали. А потом сказали, что он изменил Ленину. Было больно и непонятно. А потом был Киров.

Я Кирова тоже любила, он к нам на фабрику приезжал, я вечер устраивала и пела. А потом нас арестовали. Говорят, муж был зиновьевец, за него голосовал. И я голосовала. Я считала, что он за Ленина. Если бы я знала, что он Ленину изменил, я бы его своими руками задушила.

Лиза проплакала всю ночь. Это она мне в первый раз все рассказала, и мне стало стыдно, что я считала ее грубой и глупой за то, что она все про квартиру и мебель вспоминала.

А вчера нам после обеда дали бумагу, чтобы писать письма. Лиза тоже писала, все советовала дочерям беречь свое здоровье, хорошо учиться.

Вдруг открылось окошко, и Лизе подали письмо. Оно было не совсем обычного содержания.

«Дорогая мама, – писала Зоя. – Мне пятнадцать лет, и я собираюсь вступить в комсомол. Я должна знать, виновата ты или нет. Я все думаю, как ты могла предать нашу советскую власть? Ведь нам было так хорошо, ведь и ты и папа – рабочие. Я помню, мы очень хорошо жили. Ты мне шила шелковые платья, покупала конфеты. Неужели ты у «них» брала деньги? Лучше бы мы ходили в ситцевых платьях. А может быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю в комсомол, я никогда за тебя не прошу. А если ты виновата, то я больше не буду тебе писать, потому что я люблю нашу власть и врагов буду ненавидеть, и тебя буду ненавидеть. Мама, ты мне напиши правду, я больше хочу, чтобы ты была не виновата, и я в комсомол не вступлю. Твоя несчастная дочь Зоя».

Лиза замерла.

Из четырех страничек, что нам давали для письма, три у нее уже были написаны. Она сидела как каменная. Потом на четвертой страничке написала крупными буквами: «Зоя, ты права. Я виновата. Вступай в комсомол. Это в последний раз я тебе пишу. Будь счастлива, ты и Ляля. Мать».

Она протянула мне письмо Зои, свой ответ и стукнулась головой о стол, задыхаясь в рыданиях.

– Лучше пусть меня ненавидит... Как жить она будет без комсомола, чужой? Советскую власть ненавидеть будет. Лучше пусть меня.

Она отослала письмо, сдала карточку и больше никогда не говорила о дочерях и никогда не получала писем.

## СУЗДАЛЬ

После десятимесячного пребывания в Казанской тюрьме все мы, и я в частности, превратились в полукалек, забитых, погибающих от цинги и душевной депрессии. У меня непрерывно болела голова. Редко-редко просыпалась без головной боли, но и в эти счастливые дни достаточно было скрипа неожиданно открывшейся двери или стука упавшей на пол книги, чтобы вызвать у меня приступ мигрени. Все остальные были не в лучшем состоянии.

Между тем Колыме нужны были рабочие, и было уже решено о переводе нас на работу в лагерь. Было ясно, что мы не работники, и решили перед переводом в лагерь дать нам отдохнуть в несколько лучших условиях.

Всего этого мы не знали, и поэтому, когда нас 10 мая 1939 года посадили в машины и повезли к поезду, волновались мы отчаянно. Перемена ритма жизни, встреча с соседями по камерам, встреча со старыми знакомыми – все это для меня оказалось непосильной нагрузкой.

Я лежала на лавке купе с безумной головной болью и непрерывной рвотой, возникавшей при малейшем движении.

Вокруг все непрерывно возбужденно говорили, старались рассказать о пережитом за три года.

Как в тумане, я увидела возле себя Женю Гольцман. Она меняла мне на голове мокрые тряпки. Я взяла ее руку и пожалала. Она мне ответила... Женя сидела около меня всю ночь, временами я чувствовала на горящем лбу прикосновение ее прохладной руки. Потом мы долго стояли где-то в тупике, а я все лежала неподвижно, раздираемая болью.

На следующий день мы приехали во Владимирскую тюрьму, и там я тоже ничего не видела и не чувствовала, кроме рвущей меня боли. Я была в полубреду, и воспоминания об этом путешествии всплывают отрывками. Я помню себя в машине, в открытом грузовике, на котором нас везли в Суздаль. До сих пор я не понимаю, почему нас везли среди бела дня в открытом грузовике по людным улицам Владимира, а не так, как других, словно груз, накрытых брезентом. И самое удивительное, что посередине большой, оживленной улицы наш грузовик сломался – лопнула шина. Пока шофер менял колесо, толпа людей с ужасом смотрела на нас. Я помню лицо старика еврея: он поднял обе руки и громко молился по-еврейски, а по щекам его, по седой бороде непрерывно лились

слезы. Наверное, кто-нибудь у него был в тюрьме. Увидев его искаженное от ужаса лицо, я оглянулась на своих соседей. Действительно, мы представляли из себя страшное зрелище: тюремная форма, коричневая с серыми полосами, зелено-бледные лица, тусклые глаза, испуганная охрана, разгоняющая толпу. Грузовик исправили, и мы поехали дальше. Приехали мы в Суздаль. Деревянные дома, церкви сразу поразили нас. Было странно идти по не асфальтированным улицам, странно, что полы в приемной не каменные, а деревянные, чисто вымытые. Пахло печеным хлебом, навозом, сеном и еще чем-то хорошим.

Но самое удивительное нас ожидало по дороге в баню, куда нас повели сразу по приезде. Баня стояла в цветущем вишневом саду! А мы три года не видели деревьев, неба, луны, дождя! На прогулки нас водили в асфальтированные тюремные дворы. Гуляя, мы обязаны были смотреть в землю. Везде и всегда мы были погружены в отвратительный тюремный запах – дезинфекции, параша, сапог, махорки, грязного большого тела. И вдруг мы попали в цветущий вишневый сад!

Луна сияла и отражалась на блестящих листьях. Усыпанные цветами вишенки шептались под легким ветром, цветы благоухали...

Безумное волнение охватило нас. Мы вдыхали этот запах земли, цветов, деревьев, мы тихонько срывали веточки и жевали их, и сладкая горечь проникала в сердце. Ах как хотелось броситься на землю и впитывать всем телом свежесть ее, аромат!

Мылись мы по очереди. Так как я была больна, мне уступили последнюю очередь, чтобы я могла подольше побыть в этом чудесном саду.

В тюрьму мы возвратились на рассвете. Пока нас распределяли по камерам, прошел еще час.

Я попала в камеру с Лидой Дмитриевой, молодой девушкой... Я мечтала попасть с кем-нибудь из интересных людей. Лида мне ничего нового рассказать не могла.

Так хотелось поговорить с кем-нибудь, обменяться мыслями.

Но когда я вошла в камеру, я сразу утешилась: это была деревянная келья с деревянными кроватями и сенниками, от которых хорошо пахло. Посередине камеры стояли простой деревянный стол и две табуретки. Мебель не была привинчена

к полу, и камера напоминала обыкновенную комнату. Но самое большое чудо – это было окно: оно было забрано щитом только до половины, и из него были видны церкви, обнаженный весенний лес с мелькающими силуэтами галок и ворон. Видна даже была цветущая яблоня!

А над всем распростерлось бледно-палевое утреннее небо с розовыми облаками... Небо! Знаете ли вы, как оно прекрасно? Если бы люди не видели его каждый день и каждый час, они удивлялись бы ему и за тридевять земель приезжали бы смотреть на него, как сейчас ездят смотреть на море и на какие-нибудь редкости вроде водопадов или пещер. Я не могла наглядеться на него, я часами просиживала у окна, не отрывая глаз от неба. Окно наше выходило на запад. Как хороши были закаты! Никогда ни одно произведение искусства не потрясло мою душу красотой так, как это окно, из которого было видно небо с силуэтом стройной колоколенки.

Дня через четыре после нашего приезда в Суздаль ночью я проснулась от стука топора за окном. Лида тоже не спала. Неужели рубят наш сад? Вполне возможно. Вырубили же в Соловках все деревья в прогулочных дворах, выпалили траву и выкорчевали все до одного зеленые кустики. Тогда мы тоже тяжело переживали это, но сейчас, после трех лет тюрьмы, мы восприняли вишневый сад как чудо красоты... Да он и был чудом!

Сад был виден с нашего прогулочного двора, и мы глядели на него и мечтали о субботе, когда нас поведут в баню и мы ощутим его аромат, его несравненную прелесть.

И вдруг наш сад рубят. Мы прислушивались всю ночь, и, когда раздавались удары топора, нам казалось, что бьют по нашим телам.

Может быть, завтра заколотят окно, и мы снова будем лишены неба? Ведь мы в полной власти своих мучителей.

Мы с Лидой проплакали всю ночь. Со страхом пошли мы на прогулку и увидели шелестящий на ветру, нетронутый чудесный наш вишневый сад.

Мы ошиблись, его не рубили – это чинили забор. От двухмесячного пребывания в Суздале осталось впечатление золотых закатов и благоухающего вишневого сада. Как много и как мало нужно человеку! Много – потому что кроме хлеба человеку нужна красота. Мало – потому что мы только через окно видели небо и раз в неделю проходили садом, а души

осенены были красотой. Никогда не забуду это суздальское небо и суздальский вишневый сад.

## ТРУД

После четырех лет тюрьмы, в которой главным наказанием, унижающим человеческое достоинство, было лишение труда, мы приехали в Магаданский лагерь.

Старые лагерники, особенно мужчины, издевались над нашим стремлением хорошо работать.

– Через честный труд к освобождению? – смеялись они.

Нечего и говорить, что трудом нельзя ничего было добиться, что нас обманывали, что бригадиры-блатари записывали нашу выработку своим друзьям, что демонстративно для политических заключенных были отменены зачеты (уголовникам за хорошую работу день засчитывался в полтора и даже два). Нам давали негодный инструмент и самые тяжелые участки.

Кроме того, трудно было что-либо возразить на такое рассуждение: вы работаете и делаете рентабельной подлую лагерную систему. На вашем труде, на вашей жизни и здоровье делают карьеру и получают ордена и премии «начальнички».

А между тем труд – это было последнее, что нас отличало от массы деморализованных и циничных блатарей. Их отношение к труду было страшным. Я помню, когда я была бригадиром полеводческой бригады, мы выращивали капусту. Капуста в тех местах спасала лагерников от цинги. В условиях вечной мерзлоты мы нянчились с капустой, как с ребенком: по нескольку раз в лето удобряли и подкармливали ее, укрывали дымом от заморозков, без конца поливали. Как мы радовались, когда, вопреки засухе, вечной мерзлоте, июньским снегопадам, на наших участках завивались белые головки! Мы были очень голодны, но никогда не позволяли себе съесть незрелые кочаны. Мы обрывали крайние листочки и варили серые щи. Однажды я, пройдя по полю, заметила, что у целых рядов капусты нет сердечек, из которых развивается кочан. Я сначала подумала, что это какой-то жучок-вредитель съедает их и нужно немедленно начинать с ним борьбу. И вдруг я увидела, как одна из работниц нашей бригады, уголовница Валя, преспокойно отрывает сердечки и, как семечки, их грызет.

– Почему ты это делаешь? Ведь ты погубишь весь урожай!

Она тупо улыбнулась и ответила:

– А на кой он нам нужен? Все равно начальничек кормить будет.

Я чуть не избила ее, ярость залила мне глаза, а она невинно улыбалась:

– С чего психуешь?

Труд был единственно человеческим, что нам оставалось. У нас не было семьи, не было книг, мы жили в грязи, вони, темноте, терпели унижения от любого надзирателя, который мог ночью войти в барак, выстроить полуодетых женщин и, под предлогом обыска, рыться в наших постелях, белье, читать письма. В банях нас почему-то обслуживали мужчины, и, когда мы протестовали, «начальнички» посмеивались и отвечали: «Снявши голову, по волосам не плачут»...

Только труд был человекен и чист. Мы делали крестьянскую работу, которую до нас делали миллионы и миллионы женщин. Мы радовались делу рук своих. Мы хотели быть не хуже, чем деревенские женщины из раскулаченных, которые вначале посматривали на нас даже с некоторым злорадством: «А ну-ка, вы, образованные! Вы сидели на нашей шее, книжки читали. Попробуйте-ка косу да грабли...» Раскулаченные крестьяне, конечно, работали лучше всех, но бригадиры (бывшие кулаки) дрались за «политиков» – они знали, что мы будем работать добросовестно и систематически, уголовники же рванут в час так, что за ними не угнаться, а чуть отвернется бригадир, лягут и будут спать, пусть вянет рассада, пусть мороз побьет молодые растения.

Тяжелый крестьянский труд вдали от конвоиров, вдали от чужих, злых людей – единственно светлые воспоминания во мраке лагерной жизни.

Бывало, уйдем нашим звеном в шесть человек далеко в поле. Трое косят, трое гребут. Идешь с косой по полю. Светлый простор бедной колымской земли лежит перед тобой. Чудесный аромат увядающего поля. Бледное, прозрачное небо...

Больно было, когда труд, в который мы вложили душу, оказывался издевательством, бессмысленным трудом для наказания.

Мы долбили в мерзлой почве канавы для спуска талых вод.



Работали на пятидесятиградусном морозе тяжелыми кайлами. Старались выработать норму. Если за ночь снег заносил неоконченную канаву, мы ее очищали и углубляли точно до нормы. Вероятно, никто не заметил бы недоделанных десяти – пятнадцати сантиметров, но тогда ведь вода задержится, пойдет с полей не так, как надо!

Это был очень тяжелый труд. Земля – как цемент. Дыхание застывает в воздухе. Плечи и поясница болят от напряжения. Но мы работали честно. А весной, когда земля оттаяла, пустили трактор с канавокопателем, и он в час провел канаву такую же, как звено в шесть человек копало два месяца.

Я спросила:

– Почему не роют так все канавы?

– А вы что будете делать? – ответил десятник. – На боку лежать и поправляться? Нет, милая, в лагерь вас привезли работать!

Мне стало необыкновенно стыдно. Боже, какой позор! Нас наказывали бессмысленным трудом, и мы выполняли наказание с энтузиазмом! Какие рабы! Я поклялась больше не вкладывать в труд души и обманывать лагерь где смогу. Мне это не удалось, я не смогла переделать свою природу...

## ХЛЕБ

Выполнявшим норму на лесоповале раз в месяц давали дополнительно один килограмм хлеба.

Об этом хлебе мы мечтали задолго. Какой вкусный был этот хлеб! Обычно я его получала, но один месяц дело у меня не ладилось. Я несколько раз недотягивала норму, и месячного выполнения не получилось.

Сердце мое задолго уже предчувствовало недоброе. Перед выходным днем, придя с работы, мы бросились к спискам, и я не нашла своей фамилии. Я надеялась, что мне все же выпишут этот килограмм хлеба.

Попавшие в список радостно побежали получать хлеб, а не попавшие делали равнодушные лица и притворялись, что не смотрят, как рядом пируют.

Выходной день был испорчен. Правда, кусочек мне дала соседка, но это совсем не то, что целый килограмм.

Назавтра, когда мы возвратились с работы, дневальная встретила меня возгласом:

– Беги в барак, посмотри, что у тебя под подушкой лежит!

Сердце у меня забилося. Я подумала: наверное, мне все-таки дали мой хлеб!

Я подбежала к постели и отбросила подушку. Под подушкой лежали письма из дома, три письма! Я уже полгода не получала писем.

Первое чувство, которое я испытала, было острое разочарование: это был не хлеб, это были письма!

А вслед за этим – ужас.

Во что я превратилась, если кусок хлеба мне дороже писем от мамы, папы, детей!

Я раскрыла конверты. Выпали фотографии. Серыми своими глазами глянула на меня дочь. Сын наморщил лобик и что-то думает.

Я забыла о хлебе, я плакала.

### СКЕЛЕТ В ШКАФУ

Моя родственница, добрая и хорошая женщина, как-то сказала мне:

– Ты знаешь, самый лучший в нашей жизни был наш первый год в Ленинграде. (Я прикинула: это был 1939 год.) Мы так весело проводили время, каждый день танцевали, было такое хорошее общество...

Она хорошо ко мне относилась, даже любила меня. Но я уже три года была в тюрьме. Не могла же она надеть траур. Я не обиделась, но я вспомнила один сон, который я видела как раз в этом году.

Мне снился сон. Я бежала по снегу, а за мной гнались собаки. Это была травля. Я была крестьянская женщина, и мои хозяева травили меня собаками. Я бежала без надежды, сил не было. Вокруг было мертвое снежное поле. Вдали чернел лес. А справа от меня стояли трибуны, и с них мой хозяин и его гости наблюдали травлю. Среди гостей я увидела двоих своих братьев. Они были опечалены, но прилично-спокойны.

Один брат показал другому часы, и я поняла, что он сказал: «Она продержится еще полчаса».

У Диккенса есть сказка о том, как в одном замке безвинно была замучена женщина и скелет ее замурован в шкафу. Об этом никто толком не знал, потому что боялись злого хозяина, который за одно слово о его преступлении мог жестоко отомстить.

Только на ухо передавали какие-то слухи, да изредка в ночной тиши слышались стоны и стук в стену, как будто кто-то томился, задыхался, хотел выйти на воздух и не мог.

Шли годы. Шла в замке жизнь. Люди влюблялись, женились, рождались дети, люди сеяли хлеб, охотились, писали стихи, пировали. Но на всем была печать ущербности. Не было радости в этом замке, не было искренней любви, друзья не доверяли друг другу, дети не уважали родителей, вино опьяняло, но не веселило, хлеб и мясо насыщали, но не были вкусны, даже птицы не пели в этом замке...

Потому что в шкафу был скелет безвинно замученной женщины.

Я не виню вас, братья мои и сестры! Вы не виноваты, что вам внушили, что вы не можете, не должны ничего делать, говорить, думать. Что эти явления вне пределов понимания обычных людей, вне категории справедливости, жалости. Вы заперли эту комнату мозга. Вы танцевали, жили, работали, произносили речи. Вы забыли о «скелете в шкафу», но он сидел в вас, он разъедал своим тлетворным дыханием вашу душу. И когда я через 10 лет увидела вас, первое, что бросилось мне в глаза, – это след тлетворного дыхания скелета в шкафу.

Вы старались забыть о нем, но он был, и вы перестали верить в справедливость, перестали верить словам и речам, которые вы слышали и произносили сами.

Скелет в шкафу был, и вы о нем знали.

## РЕАБИЛИТАЦИЯ

Медленно-медленно прояснялось небо после смерти Сталина. Только через год, в 1954 году, начали снимать «вечную ссылку» и давать паспорта, конечно, с пометкой о судимости и запрещением жить в 39 городах. С меня почему-то ссылку сняли с самой последней, и я какое-то время жила в Караганде совершенно одна. Все мои друзья уехали, время тянулось невероятно медленно. Придя с работы, я в восемь часов ложилась спать, а в 3 часа просыпалась, читала, мучилась, ждала утра.

Наконец в конце 1954 года с меня тоже сняли ссылку, и я смогла поехать в лагерь Джекказган к своему второму мужу – Николаю Адамову.

Об этом лагере ходили слухи, что там были волнения, что заключенные не выходили на работу, требовали пересмотра дел, приезда к ним Маленкова, изменения лагерного режима.

Зная характер Николая, я не сомневалась, что он был там заводилой.

Приехав в Джекказган, я узнала, что все уже было позади, что волнения ликвидированы, в режиме произошли большие изменения. В частности, разрешены свидания с родными на неделю, причем для этой цели отводится помещение с двумя выходами, один для заключенного – в зону, другой для приехавших на свидания – на улицу. Ничего подобного в лагерях раньше не было.

Я вошла в тесную комнатку, где стояли кровать, стол и два стула. С бьющимся сердцем села. Отворилась дверь, вошел Николай.

Я с трудом узнала его: за три года он превратился в старика, съеденного туберкулезом. Он еле ходил и говорил. Я была у него неделю.

В моей страшной жизни эта неделя была одна из самых тяжелых. Я ясно видела, что он умирал.

Однажды пришел какой-то начальник и сказал, что Адамова можно активировать по здоровью, если я дам подписку, что буду содержать его и не предъявлять никаких претензий.

Я, конечно, дала эту странную подписку, и мы вместе вернулись в Караганду. Но после освобождения он прожил недолго.

Потом я уехала в Москву хлопотать о реабилитации. В то время кое-кого уже реабилитировали, но все тянулось страшно медленно: для подачи заявления о реабилитации требовали справки со всех мест, где была я прописана после освобождения из лагеря, а я сама не помнила, где и сколько раз я была прописана, ведь жила-то я в Москве нелегально, а прописывалась за деньги то здесь, то там. Требовали характеристику с места работы, а на работе не очень-то давали характеристики, наверное, имели соответствующие указания.

Наконец я подала заявление о реабилитации. Дело мое попало к прокурору Иванову, человеку с оловянными глазами, который каждый раз, когда я, прождав 5–6 часов в очереди, входила к нему, говорил деревянным голосом: «Ваше дело будет разобрано в свое время. Очередь до вас еще не дошла».

Однажды он открыл шкаф и показал мне целую библиотеку дел в одинаковых папках.

– Вот профессорское дело, по которому проходите вы и ваш муж. Видите – более ста участников, и все дела надо разобрать.

– А многие ли из участников живы? – спросила я.

Он замялся.

– Кое-кто жив...

– Так нельзя ли начать с дел тех, кто жив, а то, боюсь, до своей очереди никто не доживет.

Так это и тянулось до двадцатого съезда. После съезда, в начале марта, я пришла в Верховный суд и узнала, что мое дело передано другому прокурору. Фамилии его, к сожалению, я не помню. Мне велели кратко написать о своем деле. Я написала: «20 лет жду суда. Дождусь ли я его до смерти или нет?»

Меня и жену моего брата, которая везде со мной ходила, впустили к прокурору. Нас встретил молодой, веселый человек лет тридцати пяти, по-видимому, военный. Я подала ему свое заявление.

Невестка, которая раньше не видела, что я написала, ужаснулась и начала извиняться:

– Она такая нервная, уж вы извините ее.

Он широко улыбнулся.

– Будешь нервная, понять нетрудно. Теперь дело пойдет быстро. Я думаю, не больше месяца.

– Но меня выселяют из Москвы. Вчера была милиция, и велели мне в двадцать четыре часа покинуть Москву.

– Прячьтесь, прячьтесь от милиционеров. Скоро это кончится. Вы можете пожить немного в другом месте?

– Могу, у сестры.

– Дайте телефон, я вам позвоню.

8 марта раздался телефонный звонок и веселый голос моего прокурора сказал:

– Получите подарок на Восьмое марта. Ваше дело разобрано, справку о реабилитации получите в канцелярии Верховного суда. О дне вас известят. Поздравляю.

Когда я пришла в назначенный день за справкой, в приемной было человек двадцать, почти все женщины лет по 50 и старше. Одна глубокая старуха украинка с полубезумным взором. Она все что-то шептала сама себе. У окна сидел и курил мужчина лет сорока.

Вызывали по очереди. Из кабинета выходили и опять чего-то ждали. Когда назвали фамилию мою и моего мужа, мужчина, сидевший у окна, встрепенулся. Я зашла и получила справки о реабилитации. Мне сказали, что нужно подождать в приемной, выдадут справки на получение паспортов и денег.

Справка моя гласила следующее:

«Военная коллегия Верховного суда Союза ССР.  
От 6.IV.1956 г. № 44-03393/56

### Справка

Дело по обвинению Слизберг-Адамовой Ольги Львовны пересмотрено Пленумом Верховного суда Союза ССР 24.V.1956 г.

Приговор Военной коллегии от 12.XI.1936 г. Постановление Верх. суда СССР от 21.XI.1940 года и постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 19.XI.1949 года в отношении Адамовой-Слизберг отменены и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Председатель судебного состава Военной коллегии, полковник юстиции П. Лихачев».

Арестована я была 27 апреля 1936 года. Значит, я заплатила за эту ошибочку 20 годами и 41 днем жизни.

Когда я вернулась в приемную, мужчина, сидевший у окна, подошел ко мне:

– Скажите, ваш муж читал в университете историю естествознания?

– Да, до 1936 года.

– Я учился у него. Какой это был преподаватель!

Мы замолчали. Вышел военный и стал выдавать справки на получение паспортов и компенсаций.

Мне полагались двухмесячные оклады мой и моего мужа и еще 11 руб. 50 коп. за те 115 рублей, которые были у мужа в момент смерти...

Старуха украинка, получив справки, дико крикнула:

– Не нужны мне деньги за кровь моего сына, берите их себе, убийцы! – Она разорвала справки и швырнула их на пол.

К ней подошел военный, раздававший справки.

– Успокойтесь, гражданка... – начал он.

Но старуха снова закричала:

– Убийцы! – плюнула ему в лицо и забилась в припадке.

Вбежали врач и два санитары и ее унесли.

Все молчали, подавленные. То здесь, то там раздавались всхлипывания и громкий плач.

...Я вернулась в свою квартиру, откуда меня уже не будут гнать милиционеры. Дома никого не было, и я могла, не сдерживаясь, плакать.

Плакать о муже, погибшем в подвале Лубянки в 37 лет, в расцвете сил и таланта; о детях, выросших сиротами с клеймом детей врагов народа, об умерших с горя родителей, о Николае, замученном в лагерях, о друзьях, не доживших до реабилитации и зарытых в мерзлой земле Колымы.

*1946—1958*

*...Когда я стала на путь, приведший меня в тюрьму, сказать трудно. Было ли это тогда, когда я на этапе из Бессарабии в Сибирь подала воду несчастной матери новорожденного ребенка? Или когда, случайно не попав на этап, я сама пошла в НКВД? Или когда не захотела с мамой уехать в Румынию? Или еще раньше, 28 июня 1940 года, когда советские войска нас «освободили из-под гнета бояр»?*

#### БАТРАК НА ФЕРМЕ

Итак, я начинаю новую жизнь.

Время — июль месяц. Страда. Рабочие руки нужны. Очень нужны! Ведь все заняли выжидательную позицию и не торопятся идти на поденщину. Справные работающие хозяева, подрабатывающие на стороне в страду, для того чтобы подкрепить свое хозяйство, с опаской выжидают: а вдруг их обвинят в желании разбогатеть? Те же, у кого своего хозяйства нет, тоже ждут, чтобы им все дали бесплатно и без труда, ведь им все время твердят: «Кто был ничем — тот станет всем». А агротехническое училище очень нуждается в рабочих руках — у него большая показательно-учебная ферма.

Агроном Тиника пришел в смятение, когда я явилась на ферму с косой на плече и предложила свои услуги в качестве батрака. Ой и не хотелось ему! Легко ли решиться дать заработать кусок хлеба тому, кого постигла карающая десница власть имущих! Но рабочие руки были нужны. И я была принята в число рабочих. Только агроном побоялся вписать меня в книгу, в которой каждую субботу рабочие расписывались в получении зарплаты.

Первую неделю я работала на уборке хлебов: косила ячмень. Но уже на следующей неделе за мной закрепили четырех волов и четырехкорпусный плуг. И послали лущить стерню. Собственно, именно с этого дня я нашла свое место среди рабочих, в их трудовой семье; с этого дня ко мне стали относиться с должным уважением.



– Нет работы, которая могла бы меня испугать! – при-  
выкла я говорить. – Пусть она меня боится!

Но все же я испытывала нечто чертовски похожее на страх,  
когда впервые подошла к плугу со своими четырьмя волами!

Дело в том, что волы были для меня terra incognita\*. Хотя  
«сар де воу» (голова быка) – герб моей родной Бессарабии, я  
никогда, решительно никогда в жизни не имела дела с вола-  
ми!.. Я привыкла к быстрой, спорой работе на конях. Причем  
все наши кони были бодрыми, проворными. К волам как виду  
транспорта или тягловой силе я испытывала буквально отвра-  
щение. Бывало, если какой-нибудь попутчик из знакомых  
крестьян предлагал меня подвезти на своем рогатом выезде и  
я соглашалась, то, проехав не далее как полверсты, я не вы-  
держивала воловьего темпа, выскакивала из каруцы\*\* и, мах-  
нув рукой, шагала дальше пешком. А тут?

Выбирать и привередничать не приходилось, и я смело  
взяла выделенных мне волов и пошла их закладывать.

Передняя выносная пара – рыжие трехлетки Бусцёк  
(Василек) и Трандафир (Шиповник) – были симпатичные  
бычки; зато дышловая пара Урыт (Злодей) и Боцолан  
(Толстомордый) пользовались, как я это потом узнала, дурной  
славой. Первое мое с ними знакомство могло оказаться и по-  
следним...

Урыт взглянул на меня злым глазом и, ринувшись нежи-  
данно вперед, поддел меня рогом под ребро и так грохнул об  
землю, что у меня перехватило дыхание и в глазах потемнело.  
К счастью, я не растерялась и откатилась в сторону, когда он  
пытался меня затоптать.

Что поделаешь? Я уже знала, что жизнь – борьба, причем  
борьба, в которой допускаются (и даже поощряются) бесчест-  
ные приемы. Но я приняла решение: в любой борьбе – побе-  
дить!

Стиснув зубы и с трудом переводя дух, я все же заложила  
в ярмо волов, и мы гуськом выехали на поле – недалеко от  
фермы, за перелеском. Впереди Дементий Богаченко, за ним  
я, а третьим – Василий Лисник, лучший работник фермы.

И опять разочарование! Лемеха оказались до того тупыми,  
что работать было ну просто невозможно. Вернее, это были не

---

\* «неизвестная земля», что-либо непонятное (лат.).

\*\* Каруца – арба, повозка (молд.).

лемеха, а стертые до толщины пальца бруски. Плуг не держался в борозде, а утыкался, как свинья рылом, и лишь царапал землю. Вместо ровной борозды в 90 см шириной получалась какая-то извилина! А волы между тем выбивались из сил: глаза у них налились кровью, с вываленных языков длинными нитями стекала слюна. Они от натуги шатались, хрипели... Выехали мы на пашню в полдень, в самую жарынь, и волам было тяжело вдвойне.

– Черт знает что! – не выдержала я. – Разве такими тупыми лемехами пашут?

– А то мы этого сами не знаем! – отозвался Василий. – Мы агроному еще в прошлом году говорили. И в позапрошлом... А он говорит: «Другие, мол, работали, а вы что за цацы такие?»

Я горячилась и негодовала. Меня в равной мере возмущала и бесхозяйственность руководства, и апатия самих рабочих.

– Ну чего там волноваться! – пожал плечами Дементий. – Они начальники, и их это не тревожит, а наше дело подчиненное. Вот дойдем до перелеска и остановимся. Посидим в холодке. А в шесть часов – домой!

– Нет, братцы! Мы сюда не в холодке сидеть, а работать посланы. А если работать нельзя, то надо на ферму вернуться и сказать, что такими лемехами мы только волов угробим!

– Мы уже говорили. Да они мимо ушей пропускают. Вот я и говорю: посидим до шести часов и – айда! А раньше мы не смеем.

– Это обман. И потеря времени. И совести. Вернемся на ферму! Чтоб не терять дня, запрягите волов в повозки и принимайтесь вывозить навоз в поле. А я займусь лемехами.

– Не выдумывай! Нас заругают, если мы самовольно...

Я не стала слушать: подняла рычагом лемеха, повернула волов и решительно зашагала к ферме.

Даже будучи батраком, в душе я оставалась хозяйном. Пассивная роль не для меня. Долгие годы, дальние края, голод и неволя не смогли изменить того, что всегда было моим лозунгом: если что-либо стоит делать, то делать – только хорошо. Это всегда доставляло мне много хлопот, причиняло вред и было причиной многих лишений, но теперь, когда жизнь позади, я могу только сказать: спасибо вам, мои родители, спасибо за то, что вы научили меня любить правду и ид-

ти лишь прямым путем. Труден и мучителен этот путь, но идти по нему легко, потому что нет колебаний и сомнений. Низкий вам поклон!

Это был мой первый самостоятельный шаг в долгой-долгой подневольной жизни!

#### У ЦЫГАНА ДЕДУШКИ АЛЕКСАНДРА

Французский ключ, немного керосина, зубило, молоток и часа полтора времени мне понадобилось, чтобы отвинтить все 12 лемехов; гайки были сплющены, болты стерты...

Но вот лемеха – в мешке, мешок – на спине, и я шагаю босиком по стерне, прямиком в город. Я знаю хорошего мастера, виртуоза по части лемехов: цыгана Александра с цыганской магалы – предместья Сорок. Немного защемило сердце, когда я зашла в его мастерскую... Он уже окончил свой рабочий день. В горне догорали угли.

– Откуда Бог привел тебя, дудука\*? – удивился он.

– Дедушка Александр! Я знаю, что ты хороший мастер. Ты всегда натягивал мои лемеха. Выручай и теперь меня! Навари и загартуй эти 12 штук!

– А чьи они? – недоверчиво спросил он. – Что не твои, это я знаю. А если бы и не знал, что у тебя все отобрали, то... Все равно догадался бы, что не твои! Хозяин их до такого вида не доведет!

– Это с фермы технико-агрономического училища.

– Тьфу на них! У них свои мастера, свои инженеры, большие мастерские... А что за безобразия?! Это не лемеха! От них только «пятки» остались: их не натягивать, а наваривать надо!

– Разумеется! И наварить, и натянуть, и наточить, и закалить...

– А платить кто будет?

– Я!

Он посмотрел на меня недоверчиво.

– А деньги откуда? Тут не меньше чем на 200 рублей.

– Двухсот у меня нет. За всю неделю я заработала 195. Но надо оставить на хлеб себе и маме...

– Эх, горемыка ты! Так уж и быть: оставь себе 25 лей, а я сделаю за 170. Только ты будешь раздувать горн!

---

\*Дудука – барышня (молд.).

И мы принялись за дело.

Цыганский горн с двумя маленькими мехами стоял под открытым небом. Низкая походная наковальня – прямо на земле, а возле нее, стоя на коленях, колдовал старый длиннобородый цыган. Искры улетали в темнеющее вечернее небо; все ярче пылал огонь, все красивее казалось раскаленное железо. Дед Александр выполнял серьезно, как религиозный обряд, свое дело.

Каждый лемех он накалял то до белого цвета, когда наваривал железо, – и тогда от каждого удара его молоточка брызгала, шипя, обильная окалина, – то до вишневого, то до алого... Погружал он их то в воду, то в масло, то в сырую землю, то в роговые стружки.

Что было действительно нужно, а что составляло ритуал? Этого я не понимала... У меня онемела спина, затекли ноги и болели руки... Цыганам-то что, они привыкли работать в такой неудобной позе. Наконец все 12 лемехов – острые, приятно пахнущие окалиной – были готовы. Расплатившись, я сбегала купить себе полбуханки хлеба. Затем, собрав лемеха в мешок, скорым шагом направилась на ферму.

Я прошла мимо домика старушки Эммы Яковлевны. Где-то там спит моя родная, несчастная мама! Как хочется мне ее обнять! Но я не зайду к ней. Она думает, что я сплю там, на ферме. Зачем ей знать, что иду босиком по колючкам, морщась от боли в ребре после удара рогом проклятого Урыта, и несу на спине кучу железяк, за которые отдала свой недельный заработок? Она думает, что я куплю себе обувь. Спи, моя птичка, спи, родная! Не знаю, что нас с тобою ждет, но верю: все будет хорошо – правда должна победить! Спи спокойно, мама!

Поздно добралась я до фермы. Вытряхнула из мешка лемеха, легла возле плугов на еще не успевшую остыть землю и уснула...

С первым лучом солнца я принялась за лемеха, и, когда рабочие стали собираться, все было готово: длинные, острые, черно-синие лемеха вытянулись «по шнурочку».

Бодро шла я за плугом. Хотелось не идти, а пританцовывать: лемеха легко и бесшумно резали землю, как масло; волы шагали без напряжения, и широкая черная борозда отбегала

назад, блестя срезами. Хорошо, когда на душе легко. Когда осознаешь, что хорошо сделал свое дело.

Я работала с увлечением. Правильней было бы сказать – с остротенением. Это была борьба. Притом беспощадная, так как себе я не позволяла ни малейшей слабости, не расходовала на себя ни одной лишней копейки: хлеб, огурцы, сыр, крутые яйца и чеснок. Это – питание. Об одежде я позабочусь позже. А пока что... У меня была цель. Вернее, две цели. Вторая, более отдаленная, – это доказать, что я настоящий рабочий человек, отдающий все силы и добрую волю труду, приносящий пользу людям, стране. Ведь должны же наконец понять, что я не эксплуататор, не паразит! Что я могу быть только хорошим примером для людей доброй воли! Но первая и главная цель – это обеспечить маме полную безопасность, спокойствие и, наконец, отгородить ее от контакта со злыми и глупыми людьми, которые по какой-то ошибке имеют возможность наносить жестокие и несправедливые удары. Я не сомневалась, что все это ошибка, которая со временем выяснится, но... Я не хочу подвергать маму ни малейшему риску! И поэтому мы должны расстаться...

#### ЛИПОВЫЙ ЧУРБАН И ВЫБОРЫ

Первое января 1941 года. День плебисцита. День выборов!

Я всегда считала, что плебисцит – свободное волеизъявление народа. Выборы – это гражданский долг, обязывающий каждого человека выбрать из нескольких возможных лучшего, а если лучшего нет – воздержаться. И в том и в другом случае человек должен быть спокоен и свободен. Ни принуждения, ни страха! О том, что должна соблюдаться тайна, и говорить не приходится.

Не плебисцит, а бутафория. Мне стыдно... Что поразило меня прежде всего, это атмосфера какого-то бутафорского счастья, парада. Очевидно, что это не исполнение гражданского долга, которое обязывает к сдержанности, даже суровости, а что-то вроде карнавала: буфеты, в которых бесплатно раздают котлеты с черным хлебом (их никто не ел), гармошка, пляски... Даже как-то стыдно стало!

Я не люблю толпы и, где только есть возможность, избегаю толчеи. Поэтому, посмотрев на объявление: «Изби-

рательный участок открыт с шести часов утра до двенадцати часов ночи», – решила не спешить. Схлынет толпа – пойду. А пока что я решила приятно провести праздник: пошла к старичкам Милобендзским, захватив с собой... липовый чурбан и пару досок. У Милобендзского Казимира Каликстовича, которого все для ясности называли просто «Клистирович», были всевозможные инструменты: он сам любил что-либо мастерить, а мне охотно разрешал в своей столярной работать. Из чурбана я решила сделать лошадь-качалку для соседского мальчугана Коти Дроботенко. Липа – приятный для работы материал, а инструмент у Клистирыча был отменный, наточен и налажен на славу. Из бесформенного чурбана постепенно получилось очень удачное туловище с головой: шея дугой, грудь, спина, круп – ну хоть Илье Муромцу да на такого коня! Выточила и приладила на шпунтах с клеем ноги и, пока клей застывал, приготовила качалку.

К вечеру конь был собран и даже опробован мною. Краска была заготовлена заранее, и, чтобы не откладывать на завтра, я решила сразу же его покрасить. Тогда останется лишь отделка: грива и хвост. Затем покрыть коня лаком, сделать седло со стременами и уздечку с бубенчиками. Таким дивным конем хоть кто мог бы гордиться!

Теперь зайду к Эмме Яковлевне (я у нее поселилась, с тех пор как получила паспорт), а оттуда – голосовать!

35 000 – «ЗА», ОДИН – «ПРОТИВ»

На коротком расстоянии (дом Эммы Яковлевны от дома Милобендзских отстоял на 4 квартала) меня по меньшей мере четыре раза приветствовали удивленным: «А, это вы!» Так что я чуть было не усомнилась: уж я ли это в самом деле?! И не успела взойти на крыльцо, как меня обступили все обитатели этого дома, не на шутку встревоженные:

– Где это вы пропадаете? Вас с обеда ищут! Три раза приходили: из-за вас выборы не окончены, не могут голоса подсчитывать!

– Что за чушь? Там же написано до 12 ночи, а теперь и девяти еще нет!

– Да не смотрите на то, что написано! Всегда надо отголосовать – и с плеч долой, – объяснила Паша.

– Так бы и сказали: приходите пораньше!

И, пожав плечами, я повернула назад и пошла на избирательный участок.

Он был около синагоги. Длинный зал. Всюду портреты Сталина и еще многих мне незнакомых субъектов. Узнала лишь Ворошилова. Но я не стала разглядывать всю эту мишуру, показавшуюся мне неуместной.

Вся комиссия, человек 10–12, осыпала меня упреками за опоздание.

– Какое, к чертям, опоздание?! Сказано – до полуночи. Пришла бы я в полпервого, то сказали бы – опоздала. А вообще выборы свободные, не принудительные. Могли, значит, без меня обойтись!

Мне дали несколько разноцветных бумажек, кажется, три или четыре. Я зашла в кабину и стала там их просматривать. Кто, кого, что и где должен представлять, было мне абсолютно неясно. Поняла лишь, кто были депутаты.

Андрей Андреевич Андреев... Это имя мне так же мало говорит, как любой Иван Иванович Иванов. Но само имя «Андрей» мне нравилось: в детстве у меня был товарищ Андрияша. Против этого Андрея Андреевича Андреева я ничего не имела. Второго теперь я уже не вспомню: тоже что-то незнакомое. Но третий... О, эту я знала! Верней, о ней знала.

«Мария Яворская»... Да это же Маруся Яворская! Профессиональная проститутка – одна из тех, кто по вторникам приходила к городскому врачу Елене Петровне Бивол на медосмотр! Если во вторник утром мне случалось заходить к ветеринарному врачу Василию Петровичу Бивол, мужу Елены Петровны, то я видела этих «ночных фей»: они сидели на перилах террасы и обращали на себя внимание бесстыдной непринужденностью поз, накрашенными лицами, громким смехом и бесцеремонными шутками, которыми они обменивались с солдатами-пограничниками из находившейся по соседству казармы.

И это мой депутат?!

Но, может быть, это не та? Читаю: «Беднячка... была в прислугах... бедная швея...» Ну разумеется, та самая! Ее пытались «спасти», направить на путь истинный. Женское общество «Христианская любовь» ее не раз пыталось устроить на работу: то прислужой, то в швейную мастерскую, то раздатчицей в столовую для бедных... Напрасный труд: она предпочитала не работать, а зарабатывать.

Нет, если такую неисправимую особу ставят на одну ступеньку с теми двумя, что мне неизвестны, то извините, такие депутаты меня не устраивают. И я перечеркнула всех троих.

Вложив бюллетени в конверт, я направилась к урне, но не успела опустить конверт, из рук моих его весьма бесцеремонно взял председатель – еврей, сапожный подмастерье. Но, прежде чем он успел его развернуть, я вырвала конверт из его рук и опустила в урну.

– Мой бюллетень – последний! Он будет лежать на самом верху. Когда вскрыете урну, тогда и смотрите. А пока что хоть какую-то видимость соблюдайте.

И среди всеобщего молчания я пошла к выходу.

На следующий день, 2 января, я сидела у Милобендзских и доканчивала отделку своего коня – прилаживала ему пышный хвост. Клистирович прикреплял к уздечке медные бляхи и бубенчики, когда в комнату вошел один из начальства НКВД, квартировавший у Милобендзских. Чина его я так и не знаю: все эти ромбы и шпалы, кубики и прочее для меня навсегда остались загадкой. Опершись на стол кулаками, сказал:

– Подсчет голосов закончился еще ночью: 35 000 – «за» и один – «против».

И он многозначительно глянул на меня. Я не отвела глаз и, усмехнувшись, сказала:

– А лошадка хоть куда, не правда ли?

Я и не догадывалась, что играю с огнем, хотя... от судьбы никуда не уйдешь. А от поздних сожалений спасение лишь в одном – никогда не сходить с прямого пути и не искать спасения на окольных дорожках. Не то важно, какова твоя судьба, а то, как ты ее встретишь!

«ОТЦОВСКИЙ ДОМ ПОКИНУЛ Я...»

Мысленно я возвращаюсь к первым часам моей «неволи» – к тем предвечерним часам в телячьем вагоне. Должна же была я при всем моем оптимизме почуять что-то недоброе?!

Ссылка... Это слово пробуждало много воспоминаний о прочитанном. Радищев, декабристы, Шамиль... Наконец, ссыльно-каторжные. Какое-либо преступление, мятеж... И вот виновных – обычно после суда и тюрьмы – отправляют в чу-



жие края. В голове путались обрывки песен: «Отцовский дом покинул я, травой он зарастет...» Нет, это не подходит! Ведь там говорится: «Малютки спросят про отца, расплатится жена...» Дети, жена – они не совершали преступления. Они остались дома. А здесь? «Не за пьянство иль буянство и не за ночной разбой стороны родной лишился я... За крестьянский мир честной». Нет, и это не подходит... Зачем было брать тех двух девочек в бальных платьях, с патефоном? Или малыша Недзведского, гостившего у бабушки?

Так что же это за ссылка?

Ах, вот! Это, наверное, подойдет – картина Ярошенко «Всюду жизнь»: зарешеченное окно «столыпинского» вагона; белоголовый мальчишка бросает крошки голубям; рядом с ним старик дед, грустно смотрящий на голубей, на внука... на небо. Это крестьяне, которых, как рассаду, вырвали отсюда, чтобы пересадить туда. Из земли – в землю. Со всем их крестьянским скарбом – с коровенкой, с плугом, с конягой.

Я убеждаю себя, что это так. Во всяком случае похоже, но перед глазами встают вереницы самых разнообразных людей: Зейлик Мальчик, успевший захватить лишь детский ночной горшок; та старуха из Водян, успевшая взять лишь вазон цветущей герани и зажженную лампу; старик еврей, истекающий кровью от геморроя; беременная женщина на сносях, имеющая дюжину полураздетых детей и ни одной рубахи на смену. А те две девочки с патефоном?

И все это множество самых разнообразных людей – мелких служащих, лавочников, гулящих девок и учителей, которых роднило лишь одно: все они не понимали, что это с ними происходит, и плакали с перепугу и отчаяния! И особенно когда взор падал на эту сбитую из досок и врезанную в стену трубу, в которую мы, мужчины и женщины, в большинстве знакомые, должны будем на глазах друг у друга отправлять естественные надобности...

Нет! Это было необъяснимо, непонятно и, как все непонятное, пугало...

Вторая декада июня 1941 года подходила к концу. Один день мне особенно запомнился. Было это где-то между Петропавловском и Омском. Жаркий июньский день. Кругом бескрайняя равнина, усеянная мелкими озерцами и березо-

выми колками (перелесками). Жара ужасная, невыносимая! Не наша бессарабская сухая жара, а влажная, липкая. Как в паровой бане!

Железная крыша вагона раскалилась, как духовка. Двери заперты. Два узких оконца выходят на юг, и кажется, что сквозь них в вагон льет не воздух, а что-то густое, удушающее. Единственное облегчение – это лечь на пол и подышать в шелку на полу. Воняет мочой и экскрементами, но все же воздух попрохладней. Мы по очереди ложились «подышать» в шелку.

О еде никто не думал, хотя нас в последнее время все чаще забывали покормить. Зато жажда... Боже мой! Этого описать нельзя. Это надо испытать!

А кругом вода!

Весь луг до самого горизонта усеян озерцами, и эти озера будто усеяны какими-то темными точками. Что это такое?! Неужели... Перевожу взгляд на озеро, расположенное неподалеку и подходящее к самой железнодорожной насыпи. И все становится ясно.

О том, что в Африке бегемоты проводят жаркое время дня в реках, я слышала, но чтобы подобным образом поступали коровы – нет, этого я не знала! Но это так. Да, это коровы! Они входят в воду и погружаются в нее так, что на поверхности виднеются лишь ноздри. И – рога. Даже уши – уши, которые каждое животное бережет от попадания в них воды, – находятся под водой.

Нет, это не жара заставляет их нырять! Я вспоминаю: бич Сибири – это гнус: комары, мошка, всякие мухи, оводы, слепни... Одним словом, все то, что известно под общим, собирательным именем (и вполне заслуженным) – гнус.

Но в озере купались не одни коровы. Наши конвоиры, кроме, разумеется, тех, кто был на посту, резвились в воде, как дельфины: голые тела, хохот, брызги. А тут рядом, в соседнем вагоне, женщина, та, что родила во Флорештах, высунувшись из окна (в их вагоне окна были, как в 4-м классе, а не как в товарных), монотонным голосом обращается с одной и той же просьбой ко всем военным, проходящим мимо. Она просит воду. Воду для того, чтобы выкупать ребенка и простирнуть пеленки.

В голосе ее отчаяние и вместе с тем покорность. Снова и снова обращается она к часовому. Никакого внимания! Да это

и неудивительно: она, хотя и указывает на ведро, но говорит по-молдавски...

Хочу верить, что он ее просто не понимает.

Вот он поравнялся с нашим вагоном.

– Товарищ боец! – обращаюсь я к нему. – Эта женщина родила в поезде. И вот пошла уже вторая неделя, а ребенок не купанный и пеленки не стираны. Распорядитесь, чтобы ей разрешили постирать тряпки, а то ребенок заживо гниет!

Никакого внимания. Будто и не слышит.

Дожидаюсь, когда начальник эшелона проходит вдоль поезда и повторяю просьбу, заклиная его проявить человечность и не губить неповинного младенца.

– Это не ваше дело! И не суйтесь со своими советами!

Кровь ударила мне в лицо. Что-то сжало виски.

– Ребята! – крикнула я. – Поможем этой женщине и ее ребенку. Василика, Ионел, станьте у дверей и, как только я скажу «gata» (готово), нажмите, чтобы она откатилась, а вы, Данилуца, держите меня за ноги, чтобы я не вывалилась, а когда я крикну «тащи», тогда и тащите.

Затем, высунувшись из окошка, я обратилась к женщине из соседнего вагона:

– Приготовь ведро: сейчас подам тебе воду!

Вооружившись большим зонтиком – полотняным, с большим крючком (его дала попадья – доамна\* Греку), я нырнула в окошко. Оно было очень узким. К счастью, я хорошо натренировалась дома, где было такое же узкое окошечко.

Все прошло как нельзя лучше: крючком зонтика я подхватила засов, выдернула его и крикнула «Gata». Дверь, поскрипывая колесиком, поползла. Я выпрыгнула. Солнце ослепило меня, и от вольного воздуха дух захватило! Прыжок – и я у соседнего вагона. Хватаю ведро и в три прыжка я уже у воды, зачерпнула ведром и, расплескивая воду, карабкаюсь вверх по насыпи.

Боже мой! Вот переполох поднялся! Из воды выскакивают купальщики и голышом бегут ко мне. Но дудки! Я уже у вагона, вытягиваясь на цыпочках, подаю ведро в вагон, проливая почти половину в свои рукава.

От головы поезда несется начальник эшелона и орет:

– Товарищ Соколов! Почему не стреляете?

---

\*Доамна – госпожа (молд.).

Конвоир, бегущий с другого конца эшелона, в тон ему кричит:

– А вы сами, товарищ старший лейтенант, почему не стреляете?

Я стою, скрестив руки. Не стоит возвращаться в свой вагон. Зачем навлекать неприятности на товарищей? С двух сторон меня хватают за руки и с проворством, достойным лучшего применения, надевают наручники. Так, не доезжая Омска, я впервые познакомилась с тем, что всегда считалось символом жандармского произвола: наручниками! Затем меня засунули в какой-то железный шкаф с коленчатой вентиляционной трубой, находящийся в последнем, служебном вагоне.

– До прибытия на место будешь в карцере!

Ага! Значит, это и есть карцер? Что ж, тесновато. Но вентилируется неплохо. Даже приятно. А чтобы скоротать время, можно петь. Репертуар у меня богатый. И голос был неплохой. Можно отвести душу! Откровенно говоря, мои вечно вздыхающие товарищи по несчастью успели здорово мне надоесть, и я решила насладиться этим одиночеством. Вот только наручники... Чертовски неприятно, когда запястья прижаты вплотную одно к другому. Я и золотой браслет, подарок бабушки, никогда не носила за его сходство с кандалами.

Часа через два я уже добралась до украинских песен и старательно выводила:

Казал козак насыпаты високу могилу,  
Казал козак посадыты в головах калыну.

Дверь отворилась и меня вывели пред светлые очи начальника эшелона.

– Ну что, Керсновская, будете и впредь проявлять неподчинение?

– Обязательно! Обещаю всегда помогать тем, над кем вы издеваетесь!

**СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО В «БЕСКЛАССОВОМ»  
ГОСУДАРСТВЕ**

Странные мысли бродили у меня в голове... Мне кажется, что слова «Родина в опасности» могут и должны иметь лишь один результат: все внутренние разногласия должны быть забыты. Нужно одно: прежде всего победа. Любой ценой, любой жертвой!

Теперь кажется даже невероятным, что я могла быть до такой степени наивной. Мне казалось, что перед лицом народного бедствия мы все равны и классовый антагонизм должен замолкнуть. Я еще не знала, что в Советском Союзе все население разделено на огромное количество классов и каст, враждебных друг другу. Есть партийцы высшего сорта – авгуры; есть партийные руководители, которые обязаны притеснять всех стоящих ниже, будучи сами использованы как исполнители партийных директив: у них нет своей воли, но есть власть. Значительно позже я выяснила, что есть еще одна разновидность партийных: это те, у которых нет ни воли, ни власти, но есть партбилет. Они нужны в роли барана-предателя. Как известно, бараны покорно следуют за тем бараном, который идет впереди.

Впрочем, полного сходства в поведении барана обычного и партийного нет: партийный отлично знает, что, когда от него потребуют на собрании выступить с почином – безразлично, потребует ли он увеличения производственной нормы, снижения оплаты или послужит примером сознательности, попросившись в отстающую бригаду, – все это делается для того, чтобы стадо без ропота поддержало инициативу, то есть пошло, не рассуждая, за партийным бараном.

И есть еще стадо – беспартийные. Но и эти неодинаковы. Есть беспартийные – лоцманы, сопровождающие акул; есть беспартийные – роботы и есть беспартийные – слякоть. Ни те ни другие не имеют права думать, но первых выдвигают, а иногда и принимают в партию.

#### ДЕТИ В ЛЕСУ

Нет, речь идет не о Мальчике-с-Пальчик и не о Ване и Маше, а о детях 11–14 лет из поселков Черкесск и Каригод. Это школьники. Они обязаны работать на лесоповале. Как и мы, бессарабцы, сосланные в нарымскую тайгу и работающие на лесозаготовках на берегу Анги.

Специальной детской нормы нет, а выполнить обычную человеческую норму, которую справедливость требует назвать буквально «нечеловеческой», разумеется, им не под силу. Эта работа дает детям право купить себе пайку хлеба в 700 грамм. Но даже если бы они предпочли свой иждивенческий паек хлеба в 150 грамм, им бы этого не разрешил леспромхоз, крепостными которого является все местное таежное население.

Больно смотреть на этих малышей в отцовских картузах и материнских кофтах, ловко орудующих лопатами и поразительно сноровисто откатывающих стягами лесины!

Четырнадцать таких мальчишек и девчонок даны мне для выполнения вспомогательных работ на прокладке узкоколейки.

Они дети. Но вместе с тем есть в них что-то взрослое: все эти дети родились кто на Украине, кто в Алтайском крае и пережили ужасы раскулачивания и ссылки. Здесь главным образом «улов» 1937 года, хотя есть и с 33-го. (Первый «улов» – 1930 или 1931 года – едва успели нарыть землянки и почти все поумирали.) Кое-что они помнят: некоторым было уже по 5–7 лет. Это, равно как и жизнь на «новой родине», наложило особый отпечаток на них, на их не по-детски серьезные разговоры.

Каждый рассказывает мне вкратце историю своей жизни, мытарства семьи, кто и где умер...

А как дети ждали 1 сентября – начала занятий в школе! Но пришло 1 сентября, и начальник леспромхоза отменил на этот год школу: «Война! Пока не уничтожим фашистов – никакого учения. Надо работать!»

В ту зиму работали все. И самые слабенькие ребятишки – одиннадцатилетний чахоточный Володя Турыгин и десятилетняя Валя Захарова – были счастливы, что им досталась «легкая» работа кольцевиков. В любую погоду – и в пургу, и в пятидесятиградусный мороз – ходили они с сумками почты: отчеты, рапорты, доносы – из Усть-Тьярма в Суйгу, больше пятидесяти километров в один конец. И за это получали право купить себе 700 грамм хлеба!

Я не берусь судить о том, как обстояло дело на других лесоразработках; а говорю лишь о том, что было в Суйгинском леспромхозе, где начальником был Димитрий Алексеевич Хохрин. Как только разнеслась весть о том, что нашим начальником будет он, то люди – взрослые мужчины, черт возьми, лесорубы – плакали в отчаянии...

– Ну, теперь мы все и наши семьи погибли! – говорили они.

Самодержавие – в любом масштабе – зло, так как власть над людьми побуждает к злоупотреблению властью; если же,

как в данном случае, «самодержцем» является садист, к тому же помешанный...

Норма, которая до Хохрина была 2,5 кубометра, была вначале повышена до 6 кубометров; затем он провозгласил военный график и потребовал 9 кубометров на человека, а под конец «принял обязательство», равное 12 кубометрам! Как могли люди, голодные, истощенные, вынужденные, как это было с нами, бессарабцами, работать на непривычном для нас морозе, выполнять подобные нормы? Одну норму приходилось выколачивать за несколько дней.

#### «ПИРОГИ»

Дед Кравченко подарил мне пару старых шубенных рукавиц. Какое счастье! Ведь до того я работала голыми руками, заматывая руки тряпками. Обмороженные руки покрылись сначала пузырями, затем язвами. Тряпки приклеивались, и каждый раз, отрывая тряпки, я бередила раны. Топорище всегда было в крови.

Как-то, получив аванс 5 рублей, которых должно было хватить на неделю, но никак не хватало, потому что только за хлеб приходилось платить 96 копеек, я задержалась в прихожей конторы, положив рукавицы на окно.

– Домнишора\* Керсновская! – услышала я за собой тоненький голосок, и из темноты в освещенное луной пространство шагнула маленькая детская фигурка, закутанная в телогрейку, и я узнала младшую дочку Цую. Худенькая, вся прозрачная.

Я знала, что ее отец, типичный румынский чиновник, весьма чадолюбивый мещанин, в последнее время буквально озверел от голода и поедал весь свой паек сам, а детей – двух маленьких девочек лет восьми и десяти – кормила мать, болезненная женщина, работавшая уборщицей и получающая как служащая лишь 450 грамм хлеба и два раза в день по поллитра супа. Но дети как иждивенцы на суп не имели права и получали лишь по 150 грамм хлеба! Местные иждивенцы могли хоть кое-как сводить концы с концами, имея хоть убогое, но подсобное хозяйство: крохотный огородик, корову, овцу. Кроме того, они все лето заготавливали ягоды, грибы, орехи, а мальчишки, даже совсем крохотные, умели рыбачить, ставить

---

\* Домнишора – барышня (молд.).

пади на глухарей... Но положение наших иждивенцев... О, это был кошмар! Они медленно умирали, и это была ничем не оправданная жестокость!

Девочка – кажется, ее звали Нелли – была очень ласковая, хорошо воспитанная, вежливая, тихая и терпеливая.

– Домнишора Керсновская! – повторила она. – Может быть, для вас это слишком много? Может, вы бы уступили один из них нам с сестрой?

– Что уступить? – спросила я, беспомощно озираясь.

Девочка смотрела куда-то мимо меня и бормотала:

– Они такие большие... Я думала... нам с сестрой...

– Но что же? Я не понимаю...

– Пирог... Они... Может быть, вам одного хватит?

Я повернулась туда, куда смотрела девочка. И поняла: на подоконнике, освещенные луной, лежали мои пухлые коричневатые шубенные рукавицы.

– Девочка ты моя милая! Да это же не пироги, а рукавицы!

– Ах!

На глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах... Она закрыла лицо и судорожно всхлипнула. Вся ее фигура изображала такое горькое разочарование, что, будь у меня хоть один-единственный пирог, я бы ей его отдала.

Я была голодна, мучительно голодна, но ни тогда, ни позже, даже на грани голодной смерти, я не испытывала звериного эгоизма.

Я НИ РАЗУ НЕ СМОЛЧАЛА!

Очень любил Хохрин проводить собрания. Сгонит, бывало, смертельно усталых, голодных лесорубов в клуб и начинает. И всегда одно и то же:

– Фашистов мы уничтожим, – именно так он произносил это слово. – А для этого необходимо...

И тут же преподносит или увеличение норм, графика или обязательства, или урезку оплаты труда в пользу армии, или еще что-нибудь, например повышение качества древесины, то есть еще больше сжигать, оставляя лишь отборную.

Все молчат... Кто осмелится спорить?!

Нет! Как перед Богом скажу, положая руку на сердце: ни разу, ни одного-единственного раза я не смолчала!



...И вот опять собрание. После традиционного заявления о том, что фашизм будет «унистожен», Хохрин объявил:

– Наш рабочий коллектив решил помочь нашей доблестной Красной Армии: я наложил бронь на сорок мешков пшена, которое будет отправлено в действующую армию. Решение принято единогласно.

– Нет, не принято! – вырвалось у меня...

Я слишком изматывалась на работе, чтобы иметь силы как-то общаться с местным населением, бывать у людей в домах. Но в тех редких случаях, когда я заходила в дома, где были дети, то, что я видела, приводило меня в ужас.

Однажды я зашла к Яше Наливкину, нашему возчику. Работал он старательно, но явно через силу. Одутловатое лицо, мешки под глазами, дрожащие руки... Жена его редко выходила на работу.

– Болеет! – говорил Яша.

И вот я зашла в его лачугу. Зашла – и отшатнулась. Поперек широкой кровати лежало шестеро детей. Убитая горем мать, сгорбившись, сидела на табуретке и тупо глядела на своих детей. Детей?! Да разве можно было назвать детьми этих шестерых воскового цвета опухших старичков? Лица без выражения, погасшие глаза... Мать – еще молодая, но может ли быть возраст у такого страдания?

Обреченностью пахнуло на меня от этой картины. А ведь Хохрин каждый день угрожал и Яшу лишить пайки за то, что он «саботирует», не выполняя нормы!

...Об этих ребятах и подумала я тогда, когда встала и сказала:

– Нет, не принято! – и, не дожидаясь, взошла, почти вбежала на помост к трибуне. – Отослать сорок мешков крупы, доставленных с таким трудом на край света, в непроходимые болота, отослать их в армию – просто нелепо. Здесь они крайне необходимы... Мы работаем для армии: мы сами – тоже армия, трудовая армия, и, уничтожая ее, вы способствуете уменьшению обороноспособности страны! Мы, рабочие, можем еще подтянуть пояса потуже и урезать себе паек. Пусть мы будем еще более голодны, но пусть эти сорок мешков из здешней базы распределят по всем вашим точкам, где имеются дети. Пусть эти дети получают по сто, пусть даже по пятьде-

сят грамм в день. Это, и только это, может их спасти от неминуемой гибели!

– Правильно! Верно! Пусть дети получают крупу! – как одной грудью прошептал весь зал. До чего велик был страх!

– Керсновская! То, что вы говорите, преступление! Вы агитируете против Красной Армии! Это саботаж! – завопил не своим голосом Хохрин.

– Как? Дать сто грамм крупы умирающему ребенку – преступление? Сегодня я видела, как ваша жена без всякого ограничения покупала разных круп для вашей Лидочки, не говоря уж о том, что она из пекарни носит муку наволочками. И это не преступление? Да неужели вы не замечаете, что когда ваша корова и бык, возвращаясь с водопоя, испражняются, то в их помете – непереваренный овес, тот овес, который должен был пойти на крупу в наш суп? А в этом супе крупинка за крупинкой бегаёт с дубинкой. И это все не преступление?!

– Вы ответите за вашу провокацию! – зашипел Хохрин. – Собрание закрыто! Расходитесь!

Да, за это выступление я расплатилась сполна. Уж и написал он «турусы на колесах» в очередном доносе! Я, оказывается, препятствовала энтузиастам, желавшим помочь Красной Армии, и призывала к саботажу.

#### ШАГ ЗА ШАГОМ ИДУ К КОНЦУ

*Если бросить камень, то сначала он летит с большой скоростью, почти параллельно земле, затем скорость его убывает, и он по дуге приближается к земле, куда падает почти вертикально и, немного покатавшись, замирает.*

*В эти февральские дни 1942 года я была уже на той части траектории, которая круто идет вниз.*

...Первым долгом я направилась в контору, ведь нужно было сказать, что я ушла с работы! Иначе моя невыполненная норма ляжет на плечи Миши и Вали, и они не только не получат пирогов с брусникой, но и основная пайка будет им урезана.

Я сказала, что заболела, у меня жар и мне было плохо, что бригадир отправил меня, пока я еще держалась на ногах. Хохрин сидел, ссутулясь, за своим письменным столом и барабанил скрюченными, как паучья лапа, пальцами. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

– Ступайте обратно, Керсновская, возвращайтесь на работу, – проскрипел его лишенный выражения голос, – и не прекращайте работу, пока норма не будет выполнена...

Вечером, когда открылся магазин, я вместе со всеми пошла в очередь за пайкой. Когда подошла моя очередь, продавец Шукин сказал мне:

– Для вас пайки нет! Хохрин вычеркнул вас из списка на получение хлеба.

## ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Да! Могильная плита захлопнулась. Выхода нет. Впереди – смерть. Мейер Барзак мог валяться в ногах у Хохрина и целовать его сапоги, я нет.

Весь этот день 26 февраля я лежала пластом в каком-то лихорадочном полубытьи.

Но вот в пустой барак вошли какие-то тени. Сон?! Нет, это женщины. Здешние, суйгинские. Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном. Я слышу отдельные фразы, хоть не разбираю, кто и что сказал:

– Ты умираешь, Фрося, ангельская твоя душа! Ты за правду стояла, жалела нас и деток наших... Господи! Буди милостив к рабе Твоей Афросинии! Пошли ей легкую кончину и жизнь вечную во Царствии Небесном! Однако женщине срамно быть похороненной в мужском обличи, и мы принесли тебе все, чтобы обрядить в могилу. Вот тут и медные пятаки, чтоб глаза закрыть; вот кто что может тебе на заговенье, а вот и свечка восковая...

В руку мне вложили восковую свечку, зажженную. Затем, крестясь и кланяясь, женщины ушли. Проходя мимо изголовья, они земно кланялись со словами: «Прости, ради Бога, меня, грешную». И у меня хватило силы отвечать: «Бог простит! Живите долго...»

Уходя, каждая клала к изголовью что-то из «женского снаряжения», а на скамейку кое-что съестное.

Я опять осталась одна. Одна во всем бараке.

Но почему-то мне стало легче: я почувствовала, что здесь, в этом поселке, я не совсем одинока.

Я – голодна... Голодна?! Нет! Я не есть хочу! Я хочу отомстить! Убить! Убить гада!!!

Собравшись с силами, я вскочила, схватила топор и ринулась в контору с твердым намерением зарубить Хохрина.

Вечерело. Те, кто успел уже вернуться с работы, преимущественно сдельщики, усталые и голодные, торопились в ларек за хлебом или в очередь у дверей столовой, но все с удивлением смотрели на странную фигуру: без шапки, растрепанная, с расстегнутым воротом рубахи, спешила я почти бегом, с безумным взглядом, размахивая зажатым в руке топором. Никто меня не остановил. Никто не задавал и вопросов. Голодные спешили «к кормушке», но все с удивлением оглядывались...

Вот освещенные окна. Контора. Там не жгут лучину, там не чадит подслеповатая коптилка на пихтовом масле. Там горит лампа, и там за письменным столом сидит лицом к двери этот изверг – тот, кому я сейчас рассеку голову до самых плеч! В последний раз гляну в его «трупные» глаза и всажу ему топор между глаз. Рука не дрогнет. И топор не подведет... Мой топор как бритва: режет волос.

Вот только глянуть в его глаза!

Я взбежала по ступенькам, резким движением рванула дверь и стала как вкопанная: Хохрин сидел по эту сторону стола, и я чуть не наткнулась на него. Как долго стояла я за его спиной, сжимая в руках топор, не знаю... Было тихо. Я слышала, как колотится в груди сердце.

Нет! Я не убийца! Нанести удар из-за спины я не смогла...

Но на его глазах я не умру!

С лихорадочной поспешностью я сгрэбла в рюкзак все свои вещи, подошла к порогу и с удовлетворением оглянулась: пустые нары! Как будто меня там никогда и не бывало! И не будет!

## СКВОЗЬ БОЛЬШУЮ ГАРЬ

*...Выбирая, где идти легче, я шла по руслам рек, которые к тому же все текли на запад, куда имеет уклон местность между Обью и Енисеем. Но не следует думать, что это было легко, что-то вроде туристического похода. Куда там!*

*Когда я, обессилев, ложилась, зарывшись в снег, укутавшись одеялами, я все время чувствовала, что где-то совсем рядом на страже стоит Смерть. Должно быть, это заставляло меня просыпаться...*

Много сотен верст исходила я, потеряв уже всякую надежду где-нибудь прижиться или куда-нибудь дойти. Я видела

феноменальную по своему плодородию землю со слоем чернозема в несколько аршин и людей, питающихся пареной крапивой, чуть сдобренной молоком. Я видела бескрайные степи, в которых пропадала неиспользованная трава, и худых коров, пасущихся на привязи возле огородов.

Всему я искала объяснение, так как хоть война и легла тяжелым бременем на всех, но объясняла она далеко не все... Многое я мотала себе на ус, и прежде всего то, что в липкой паутине страха никто не осмеливается не только указать на недостаток, но не смеет его и заметить. Никакой критики! А это значит – никакой надежды на улучшение...

### ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ

Но самую грустную, нелепую по своей жестокости сцену наблюдала я в Рубцовской области.

Пришла я в большое село, домики которого разбежались по довольно-таки крутым берегам небольшой речушки. Выспалась я превосходно в каком-то овине – погода была теплая и за летние короткие ночи земля не успевала остыть. Не спеша помывшись, «причепурившись» и обувшись (в пути я сапоги сбрасывала и шагала босиком), собиралась хорошо позавтракать. Была я очень богатой: проработав три дня на прополке картошки и гороха (в тех краях их сажали вместе: картошку – под лопату, а затем в «гнездо» втыкали по три горошины, и горох как бы лежал на картофельной ботве), я получила – неслыханная роскошь! – целую торбочку пшена, пережаренного с постным маслом. Горсть этого пшена, брошенная в мой кофейник, – и готов превосходный суп! Но на сей раз я захотела сварить настоящий «кулеш» – в настоящем котелке, на настоящем огне.

Окинув критическим взглядом всю деревню, я остановила свой выбор на полуразвалившейся избе. Она стояла в центре села, близ места, где угадывалась стоявшая здесь в прошлом церковь. Казалось, изба заболела проказой и все другие избы отшатнулись от нее в страхе. И стояла она, одинокая, на голом месте, заживо распадаясь. Половина пятистенной избы отсутствовала, оставшаяся же половина выглядела странно: окна с резными наличниками и почти без стекол, венцы из «кондового» леса и крыша из провалившегося гнилого теса и еще более гнилой соломы.

«Наверное, там живет какой-нибудь старичок бобыль, – подумала я, – он не станет допытываться!»

Я ошиблась. Но об ошибке не жалею. Я осталась голодной, хотя могла бы еще дня четыре быть сытой. Но и об этом не жалею. Знакомство с обитателями этой избы приоткрыло завесу над еще одной стороной советской действительности тех времен.

Подходя к избе, я услышала, что за стеной кто-то плакал и несколько голосов о чем-то спорили или жаловались. Желя оставить за собой возможность ретироваться, я тихонько пошла и встала за углом.

Ближе всего от меня стояла девушка-подросток, с материнской лаской обнимавшая за плечи худосочного мальчика лет четырнадцати-пятнадцати. На завалинке сидела, сгорбившись, старуха, зажав меж колен руки и низко опустив голову. Рядом с ней сидела девушка и, оживленно жестикулируя, говорила:

– Не надо было! Вовсе не надо было ходить! Когда на наряде Пантелеич, то ходить – лишь себя позорить! Ох, горюшно! Хоть бы умереть! А так – хуже смерти!

Стоя в дверях, тихо плакала еще одна девушка. (Обе девушки были уже немолоды, а на то, что они не замужем, указывал по-девичьи повязанный платок.) Против них стоял парень лет двадцати – высокий, красивый, но очень худой и обшарпанный. Он в чем-то оправдывался:

– Может, и взяли бы? Я ж не о себе думаю, а о вас! Легко мне, что ли, глядеть, как вы все пропадаете?

Я шагнула вперед и, сбрасывая на землю свой рюкзак, низко поклонилась со словами: «Слава Иисусу Христу!»

– Во веки веков, аминь! – сказала «старуха», подымая голову, и я заметила, что она вовсе не старая еще, но очень измощена голодом и заботой.

– Вы, я вижу, голодны, я тоже... Вот здесь у меня есть немного пшена... Сварите из него похлебку, и поснедаем, что Бог послал!

Не знаю, что побудило меня отдать весь мой драгоценный запас. Но мне показалось, что чей-то до боли знакомый голос мне прошептал: «Помогай! И Бог тебе поможет!»

Когда в океане происходит землетрясение, то кораблю нет дела до его эпицентра: реальная опасность – это цунами. Жители этого медвежьего угла не слишком вникали в то, какие

последствия будет иметь для них революция. Была война. Это – плохо. Окончилась война. Это – хорошо. Не стало батюшки-царя... Не поймешь, плохо это или хорошо. Гражданская война их и вовсе не коснулась. Изменились некоторые названия властей, но жизненный уклад остался тот же, основанный на почитании старших. Прежде все было проще, понятней: в семье – отец, в стране – царь, а над ними над всеми – Бог. У царя и у Бога было много посредников, плохих или хороших, но от них всегда можно было держаться в стороне. Самая же реальная власть – это был отец, хозяин.

Но вот в начале тридцатых годов и до них докатилась волна-цунами: началась коллективизация. Судна, успевшие поднять якоря и отдаться на волю волн, могли уцелеть. Но крепко цеплялся якорем за родную, надежную землю хозяин-свекр; ни в чем не уступал ему в этом и сын – муж женщины, рассказывавшей мне об этом.

– Пусть беднота вступает в колхоз, а я на своем хозяйстве своей головой думать хочу! И своими силами справлюсь!

Захлестнула его волна-цунами, швырнула на скалы, разбила в щепы все его благосостояние... Но не сразу. Сначала его взяли за горло и стали душить всякого рода налогами, разверсткой, поборами... А тут подошел 33-й голодный год. Ему бы смириться, сдаться... Не захотел упрямый старик: «Пройдет лихая година! Распадется нелепая затея, развалится! А настоящий хозяин на колени не станет!»

В чем была его вина, я так и не поняла. Но вот однажды вызвали его в сельсовет... и домой он больше не вернулся. Говорят, в Рубцовку его угнали, а где он помер и как – об этом один Бог и знает. Не то сердце у него разорвалось, не то пристрелили «при попытке бежать».

Дело было весной. Надо было сеять. А тут пришли и описали за налог все: семена, лошадей, инвентарь... Оставили одну корову, и то яловую, а потребовали уплатить поставку: молоко, мясо, полкожи... Кинулся мужик в правление – проситься в колхоз. Не тут-то было! Не нужны, дескать, пережитки прошлого.

Чего только в те годы не пришлось повидать! Кто был подгадливей, тот сразу собрался с семьей и уехал куда глаза глядят. Иные семью бросили – бабу, мол, и ребят, авось, пощадят, – а сами скрылись. Может, где-нибудь живут, а может, и сгинули. Других среди ночи похватили и вывезли куда-то.

Иных – со стариками и детьми; иных – лишь тех, кто «в силе».

Ее мужик покорный: тише воды, ниже травы. Уж как он старался! День и ночь работал. Семья – голодом сидела. Все отдавал в счет поставок. Но пришел 37-й страшный год. Не помогла покорность, не помогло молчание. Взяли его среди ночи... Взяли, да не одного, а со старшим сыном Кешей. Говорят, здесь же, за селом, обоих и порешили.

– Осталась я с пятью ребятами, – продолжала женщина свой рассказ. – Живем как зачумленные. Не то чтобы девок замуж взять – а девки все трое и работащи и пригожи, – но слова сказать им боятся. А может, брезгают. За сына Васятку так сердце и болит-замирает. Ему уже 19 лет. Ведь подумать: я мать, а хотела бы, чтобы его в армию забрали! С войны все же ворочаются иногда, а «оттуда» нет возврата. Нет, не берут... «Репрессированный», говорят. Это значит – опасный, вроде заразный! И так повелось, что всякий над нами измывается! Вроде чтобы другим, глядя на нас, страшно стало... Только и ждешь, какую новую казнь для нас выдумают? Идти никуда нельзя, ремеслом каким заняться – запрещено. Даже пустырь вокруг дома – гляди, какой большой, – а картошку, и ту сажать не смей! Выделили нам одну десятину – верст за двадцать в степу. Кругом луга, колхозная ферма там. Вот эту десятину мы обработать должны: вскопать лопатой, засеять и государству пшеницу сдать. А скотина там пасется – все вытопчет. Жить при той десятине не разрешают – и бросить ее не смей! Копай, сей и покупай шестьдесят пудов хлеба – отдай государству. А есть нам чего-то надо? Ни картошки, ни репы, ни зернышка! Крапиву сваришь, истолчешь, нечем даже подсолить! Как утро, идут дети, все пятеро, на колхозный двор, на работу просят. Ведь даром работать – и то рады! Все хоть похлебки дадут или обрату и хлеба грамм триста... Народу мало, работать некому, а брать их все равно не хотят! Поят, пооят – и домой вернутся, плачут с голоду... А мне, матери, каково на это смотреть?

Нет, мне не жаль было, что я отдала им то пшено, которого мне хватило бы еще на несколько дней.

«Последние могикане» – недобитые одиночки...

С какой продуманной жестокостью мстили тем, кто был лучшим сыном своей земли – крестьянином!



Не раз и не два встречалась я с этими отчаявшимися одиноличниками, которым не давали ни жить, ни умереть и которых держали как бы другим в устрашение. И каждый раз удивлялась той изобретательности, с которой их подвергали пытке. Ни одна семья не была в полном составе, так как вместе им все же было бы легче. Не всех мужчин забирали сразу, так как пытка страхом – ожидание неизбежной беды – вдвойне мучительна. У них не отбирали все сразу, так как с каждой потерей они могли страдать снова и снова, могли надеяться... и вновь терять надежду, и каждый раз вновь отчаиваться.

Кто этого не видал, тот не поверит, как никто в Европе не верил ужасам голода 1933 года, террору 1937 года, раскулачиванию и ссылкам, начавшимся в конце двадцатых годов, испытанным нами в 1941 году и конца которым никто не мог предсказать!

### ФРАНЦУЗСКИЙ КЛЮЧ И РУССКАЯ ШПИОНОМАНИЯ

Раннее утро. Я бодро шагаю по замерзшей за ночь дороге, похрустывая тонким ледком, затянувшим лужицы. Лес отступил. Возле дороги – зябь, и борозды парят, пригретые солнцем.

Вдруг... Что это лежит на дороге? Да ведь это большой разводной ключ! «Паровозный» зовут их у нас. Не иначе тракторист его обронил. Растяпа! Я смотрела на ключ в раздумье. Потерян был он вчера – успел примерзнуть. За ним потерявший его не вернулся. Значит, не заметил. Не сегодня-завтра трактора выйдут в поле... Каково будет этому растяпе без ключа?

И я сделала непростительную глупость. Вместо того чтобы обойти стороной группу зданий, разукрашенных флагами и лозунгами, я направилась прямо туда, вошла в ворота, над которыми висел транспарант со словами «Добро пожаловать» под надписью с названием колхоза «Путь Ленина», вошла в здание правления колхоза и, протягивая ключ одному из тех, кто был в зале, сказала:

– Вот ключ, утерянный, должно быть, одним из ваших трактористов. Я нашла его на дороге.

Всякий добрый поступок должен быть награжден, но награда моих поступков, верно, на небесах, а на земле с добрыми поступками мне всегда не везло...

Когда я повернулась и пошла к двери, один из присутствующих заступил мне дорогу, а другой схватил за плечо. Набежала толпа правленцев – узнать их можно было по раскормленным рожам. О том, что допустила ошибку, я поняла лишь тогда, когда во дворе целая орава мальчишек стала кричать:

– Шпиона поймали! Немецкого!

Откуда-то появились два здоровых лба. Один отобрал у меня рюкзак, а другой крепко ухватил за ворот телогрейки. Через полчаса я услышала:

– Ведите ее в Боборыкино в сельсовет и сдайте под расписку.

Во дворе уже гудела толпа. В меня полетели камни, палки, комья грязи, и под свист и улюлюканье меня повели, причем мальчишки еще долго следовали за нами, продолжая швыряться камнями.

#### ЧЕРЕЗ ТЮРЕМНЫЙ ПОРОГ – НА ВОЛЮ!

*Заяц может убежать, птица – улететь, зверь – защититься, рыба – скрыться в глубине... Заключенный спастись не может. Сказанное слово (и даже несказанное), неуместный вопрос – все это могло погубить любого из нас. Одно остается – работа. И в работу я погрузилась с головой...*

*Но вот наступил август 1952 года и день, когда, учитывая зачеты, истек срок моего заключения.*

Все же тут чуть было не произошла осечка.

Что поделаешь, раз и навсегда приняла я решение – никогда не задавать себе вопроса: «Что мне выгодно?» – и не взвешивать все «за» и «против», когда надо принимать решение, а просто спросить себя: «А не будет мне стыдно перед памятью отца?» И поступать так, как велит честь.

Глупость? Донкихотство? Может быть... Но это придавало мне силы и закаляло волю: у меня не было сомнений, колебаний, сожалений – одним словом, всего, что грызет человеку душу и расшатывает нервы.

Отчего опять, в который уже раз возвращаюсь я к этому рассуждению? Да очень просто! Ведь вся жизнь – цепь соблазнов: уступи один раз – и прощай навсегда душевное равновесие! И будешь жалок, как раздавленный червяк. Нет! Такой судьбы мне не надо: я – человек!

Так как же должен был поступить этот человек, когда ему предлагают подписать... «обязательство», что я порываю всякие отношения с теми, кто остался в неволе, и вдобавок *обещаю забыть все, что там было, что я там видела и пережила, и никогда и никому ничего о лагере не разглашать!*

Ознакомившись с содержанием этого документа, я с негодованием отказалась его подписать...

– В неволе я встречала много хороших, достойных всякого уважения людей. Кое-кто еще там остается. Я сохраняю о них добрую память и буду рада быть им полезной! Забыть же то, что там видела и пережила, абсолютно невозможно! Даже проживи я еще сто лет!

– Но эта подпись – простая формальность!

– Подпись – это слово, данное человеком! И человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Я не могу так низко себя оценить!

И меня отвели обратно...

Но ненадолго:

– Керсновская! На выход! С вещами...

И вот я уже за вахтой. Хмурый, холодный день. Вернее, сумерки. Колючий морозный снег несется поземкой. Кругом белесая мгла. Я не оглянулась на 7-е лаготделение – я и без того знала, что и вахта, и ворота, и ряды бараков погружаются в снежную мглу. Впереди тоже ничего не видно, кроме вихрей сероватого снега. И где-то за этим белесым занавесом ждал меня чужой город – Норильск.

Но никто в этом городе не ждал меня...

1964 – 1968

«Время и пространство, пространство и время, — думала я, шагая по камере. — В начале XIX века Кант сформулировал их как координаты при постижении мира явлений. В начале XX века Эйнштейн доказал в теоретической физике относительность этих координат, а Герберт Уэллс, забегаая вперед художественным прозрением, подумал о машине времени. Весь XX век человечество разрешает задачу овладения пространством и временем, невероятно ускоряя возможности передвижения в пространстве. И — лишает миллионы людей всякого пространства, заключая их в тюрьмы и лагеря. Это сдвигает у них координаты времени: время в тюрьме, как вода, утекает сквозь пальцы. Правильно ведь подметил Юрий Тынянов: Кюхля вышел из тюрьмы таким же молодым, как вошел. Он не заметил времени, потому что не имел пространства и пространственных впечатлений. Можно: или выйти таким же, как вошел, или, не выдержав, свихнуться... если не научишься мысленно передвигаться в пространстве, доводя мысль-образ почти до реальности. Заниматься этим без ритма — тоже свихнешься. Помощником и водителем служит ритм». Вспомнилось, как, на койке лежа в Крестах, я увидела Африку:

В ласковом свете  
Платановой тени  
Черные дети  
Склонили колени  
На пестрой циновке плетеной.  
Дом, точно улей, без окон,  
Рыжие пальмы волокна,  
В синее небо вонзенной.  
Солнце огромно,  
И небо бездонно.  
Что я об Африке помню?  
Только случайные тени:  
Бивней слоновых осколки,  
Тонких и странных плетений  
Вещи в музее на полках:  
Щит носороговой кожи,  
Копья с древком из бамбука,  
Странно на что-то похожий

Каменный бог из Тимбукту,  
Слово как свист: ассегаи.  
Что я об Африке знаю?  
Так отчего же так странно знакомы  
Эти вот черные дети,  
Листья в платановом свете,  
Красной земли пересохшие комья?

Это оттого, что я сумела нырнуть в себя, собрав и сосредоточив в образе все, что когда-то знала об Африке. И, для себя, довела этот образ до чувства реальности – выхода из камеры...

Я засмеялась своей власти над пространством... Подошла к женщинам, которые сидели в углу, как куры на насесте.

– Хотите, я вам прочту стихи?

– Очень!

И я стала читать, попеременно свои и чужие.

В 37-м году с драгоценным другом моим, Верой Федоровной Газе, мы восстановили в памяти и прочли в камере «Русских женщин» Некрасова. Камера плакала вся.

В этот тур, в 48-м, память моя ослабела – выпадали куски, и не было помощника, с кем восстанавливать их. Но все, что я помнила, камера впитывала так жадно, как воду – засохшая земля. Впитывали и твердили стихи те, что на воле никогда и не думали ни о стихе, ни о ритме. Теперь каждый день стали просить: «Прочитайте что-нибудь!» И я читала им Блока и Пушкина, Некрасова, Мандельштама, Гумилева и Тютчева. Лица светлели. Будто мокрой губкой сняли пыль с окна – прояснились глаза. Каждая думала уже не только о своем – о человеческом, общем. А я вставала и начинала бродить по камере, отдаваясь ритму. Бормотала:

Если музу видит узник –  
Не замкнуть его замками,  
Сквозь замки проходят музы,  
Смотрят светлыми очами.  
Тесны каменные стены,  
Узок луч в щели окна,  
Но морским дыханьем пенным  
Келья тесная полна.  
Ты – вздыхающее море,  
И в твоей поют волне  
Девы-музы, звукам вторя,  
Затаенным в глубине.

Волны бьют в крутые скалы  
Многопенной синевой,  
И тогда – какая малость  
Плен с решеткой и тюрьмой!

Недаром знали шаманы, что ритм дает власть над духами: овладевший ритмом в магическом танце становился шаманом, то есть посредником между духами и людьми, а не овладевший кувыркком летел в безумие, становился «менериком», как говорили якуты: впадал в душевное заболевание. Стих, как и шаманский бубен, уводит человека в просторы «седьмого неба». Такие мысли, совершенно отрешенные от происходящего, давали чувство свободы, чувство насмешливой независимости от следователя.

Был уже третий следователь у меня, и я с ним поссорилась. Отказалась подписать протокол, им написанный и полный чудовищных обвинений, которые я должна признать. Следователь перевел меня в карцер. Карцер, или бокс, как его называли тюремщики, – низкая каменная коробка без окна. У стены вделана деревянная полка, покорооче среднего человеческого роста, на которой с трудом можно улечься. У противоположной стены – маленькая железная полочка, служащая столом. Расстояние между ними такое, чтобы мог встать или сесть человек. Это ширина бокса. Протянув руку – достанешь до железной двери с глазком и окошечком. Вентиляции нет. Смысл бокса в том, что очень скоро человек, использовав весь кислород, начнет задыхаться. В железной двери, у пола, есть маленькие дырочки, но сесть на пол, чтобы глотать идущий воздух, – не позволяют. Открывается глазок двери, и голос говорит: «Встаньте!»

Пленник мечется задыхаясь. Дежурный заглядывает в глазок примерно каждые полчаса. Когда видит, что у заключенного совсем мутится сознание, он открывает дверь и говорит: «В туалет!»

С радостью бросается туда заключенный. Пока идет до уборной и находится там – он дышит. Светлеет в глазах, яснееет сознание. Дверь бокса остается открытой, воздух входит туда. Его хватает примерно на два часа. После этого все опять начинается сначала. В уборную водят три раза в день. После отбоя полагается лечь на полку-топчан. Если человек лежит – дежурный не видит, спит он или совсем задохнулся. Поэтому

после отбоя пускают вентиляцию. Как работает она, я не знаю – звука нет, но дышать становится легче. Всю ночь можно дышать, это подтверждали все побывавшие в боксе, с кем я говорила. С подъемом опять начинается кислородное голодание. Цель его – замутить сознание. Но удушить совсем во время следствия нельзя, поэтому голодание кислородом регулирует часовой.

Выход из помутнения сознания можно найти, нырнув в образы, уводящие к ярким и ясным ощущениям простора, претворяя в ритм эти образы. Я постаралась уйти в свою юность на Севере. Вспомнила – доводя до предельной ясности воспоминания – и поплыла по великой и светлой реке Двине. И постаралась ритмизировать увиденное:

Широка прозрачность неба,  
Отраженная в светлой реке.  
Что тебе надо от жизни – потребуй  
И в детском сожми кулаке!  
Как сжимаешь ты гальку плоскую  
Перед тем, как ее швырнуть  
И следить, считая полоски,  
Которыми чертит она волну.  
Широки прозрачные плесы  
На прекрасной реке Двине,  
Мочат ивы зеленые косы  
В прозрачной ее волне.  
И, как лебеди, отплывают  
От песчаных ее берегов  
Черных карбасов стаи  
На морской, на звериный лов.

Можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что неба и воздуха нет. Есть особая радость в чувстве освобождения воли, в твоей власти над сознанием. Кажется: вольный ветер проходит сквозь голову, перекликаясь через тысячелетие со всеми запертыми братьями. И все мы, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы. Так наткнулась я на духовного свободолобца XVIII века, на уроженца Двины – Ломоносова. Стала думать о нем, и эти мысли пошли дальше, через все годы лагерей, давая чувство беседы с буйным и непокорным Михайлой. Я нашла себе оборону не только от душного карцера, но и от наступления

на меня всего, что не вмещало сознание: изолировала себя, уходя в ломоносовщину. Это превращалось в поэму в течение пяти лет. Не знаю, стало ли это поэмой в литературном смысле, но это памятник моей внутренней свободы, это прием к неуязвимости души.

Но возвратимся в карцер. Я сидела там двое суток, и было неясно, сколько еще сидеть: следователь сказал, что пока не соглашусь подписать протокол.

Я не допускала мысли о подписи под нелепыми обвинениями, однако сорвалась, как говорят в лагерях, «запсиховала» – решила объявить голодовку. В 1937 году, по окончании следствия, я голодала 7 дней, требуя снятия одиночной камеры и свидания с матерью.

Грозили новым сроком, орали, но на восьмой день уступили, выполнив то и другое. Я помнила, что голодовка – тоже взлет в иное сознание, чувство власти над своим телом. Но приступать к голодовке надо с собранной волей и твердым знанием того, чего хочешь добиться.

Теперь у меня этого не было. Была муть в голове, кислорода так не хватало, что даже образы простора перестали помогать.

В тот же день, когда я отказалась принимать пищу, меня повели в санитарный пункт. Посадили на стул, скрутили назад и связали руки.

– Будем кормить искусственно: вставьте расширитель, – сказал врач.

Я не сопротивлялась, да это было бессмысленно. Железный расширитель лязгнул по зубам, рот раскрыли и ввели кишку.

– Питательный раствор? – спросила сестра. (При длительных голодовках, когда начинали кормить искусственно, вливали питательный раствор – масло и яйца, взбитые с молоком.)

– Чего там, просто литр супу, – ответил врач.

Сестра молча стала лить через воронку красноватую жидкость. Голова была запрокинута, рот разжат расширителем, жидкость, переливаясь через край воронки, попала в дыхательное горло. Я потеряла сознание.

Очнулась в боксе, на топчане. Дверь была широко открыта, человек в белом халате делал мне какую-то инъекцию. Я заснула.



Когда очнулась, тело болело, сознание было не вполне ясным, но дышать было можно – значит, ночь?

Стукнуло окошко в двери, образуя подоконник. Положили пайку хлеба.

– Принимаете пищу? – спросил голос.

Я молча протянула руку и взяла пайку. На поднос поставили кружку с кипятком. Значит, утро. Скоро я ощутила его и по тому, что воздух перестал поступать. Бороться дальше? Можно бороться, можно пойти и на искусственное питание при нормальном дыхании. Без кислорода воля слабеет. «Просто задушат, как крысу», – подумала я. Есть не могла, болело оцарапанное горло, но в обед выплеснула суп под топчан, а не возвратила обратно. Они сломили меня.

Дальше провал в памяти, полузабытье. Вызвали через какое-то время к следователю, идти отказалась, пока не переведут в камеру. Еще какое-то время ушло. Потом перевели в камеру и сразу вызвали оттуда к новому следователю. О подписании прошлого протокола вопрос отпал. В камере мне сказали, что прошло четверо суток. Они волновались за меня.

Серым клубком покатались будни: январь, февраль, март.

Все койки давно заняты. Женщины свыклись друг с другом, с бегущими днями.

Утром: хлеб, кипяток, уборка камеры. Ожидание: не вызовут ли кого на допрос?

Обед: выстраиваемся с мисками. Вносят баланду, перловую кашу. Поели. Опять ожидание – когда поведут на прогулку?

Тишина. Глухая тишина во всем мире. Разговаривать позволяют лишь шепотом. Зажигается свет. Подходит ужин. Будет или не будет прогулка? Вызовут или не вызовут на допрос? Иногда никого не вызывают. День кончается. Отбой. Постель. Забытье.

Но и ночью знаешь: может щелкнуть замок, голос назовет фамилию. Чью? Тебя или соседку вызовут ночью на допрос?

«Я!» – вскакивает названная. «К следователю!» Судорожно собирается. Со всех коек смотрят взволнованные глаза, двигаться не полагается. Под сочувственный вздох камеры вызванная погружается в лабиринт коридоров. Камера замирает.

Я помнила: в 37-м году с допроса возвращались потрясенные, доведенные до катаклизма страдания люди. В 37-м прорезал иногда тишину страшный крик. Теперь этого не было. И на допросах не держали по суткам, как тогда: к утру

всегда возвращалась допрашиваемая. Дневные допросы тоже не длились больше 5–6 часов. Камера ждала; складывали фигурки из спичек, делали бусинки из хлеба, распускали чулки, чтобы потом вышивать или штопать. Прислушивались; шел день. Щелкал замок: возвращается!

Чуть побледневшей приходила Мария Самойловна, бросала несколько скупых слов, садилась на кровать – партийная выдержка!

Валя возбужденным шепотом рассказывала о брани и грубых насмешках следователя.

Аня восклицала, вернувшись: «Опять про 28-й год! Про университетскую оппозицию в Одессе. Ведь уже 20 лет прошло! На трех партийных чистках и у меня, и у мужа спрашивали. Когда же дойдут до дела?»

Собирались на соседних кроватях, оглядываясь на волчок, шептались: как вел себя следователь? На каком этаже была? Что удалось подметить, проходя по тюрьме? Пытались уловить ход мясорубки, перемалывающей судьбы. Молола – усовершенствованно: пятен крови не видно.

Щелкнул замок:

– Смирнова Валентина Андреевна.

– Я!

– С вещами!

Все вздрогнули. Валя стала торопливо собирать вещи, спрашивая шепотом:

– Что это? Что это? Куда?

– Наверное, на волю, Валюша, – утешала Надежда Григорьевна, помогая увязывать узелок.

– Вернее – в другую камеру, – скупой сказала Мария Самойловна.

– Но почему?

– Разве вещи знают, почему их переставляют? Мы – вещи, – ответила я.

– Что мы знаем о следующем часе? – подтвердила Мария Самойловна.

Торопливо: объятия, объятия. Валя вышла. Мы сидели, глядя на опустевшую койку, в урочный час выпили кипяток. Ждали: кого еще?

Человек не может быть в постоянном напряжении. Казалось бы: надо ждать неизвестного каждую минуту. Но мы ждали несколько часов, а потом начали развлекать себя – вы-

шиванием из старых ниток, гаданием на спичках, заплетением кос, разговорами. Будто и не придет сейчас неожиданное.

Но лязгнул замок. Все вздрогнули. На этот раз впустили высокую светлоглазую женщину с пледом в руке. По тому, как оглядывалась, остановилась, – все поняли: с воли. Подошли. Она отвечала по-русски с трудом. Оказалась эстонка из Таллина. Я заговорила с ней по-немецки, она как-то успокоенно ответила. На меня зашикали:

– Вы что? Вам не хватает шестого пункта? (Шпионаж.) Нельзя по-немецки!

Но заключенные умеют понимать друг друга почти без слов: мы скоро узнали ее историю.

– Как можно отказать отцу, когда он хочет взять к себе детей? – спрашивала она. – Как я могла не помогать брату взять детей в Америку? Их мать умерла, не дождалась мужа, дети остались со мной. Конечно, я была в американском консульстве! Сколько лет брат искал своих детей! Он уехал на заработки еще из буржуазной Эстонии. Потом она стала советской, потом пришли немцы. Он не знал, что случилось с женой и детьми, искал их. Когда пришли Советы – нашел, узнал, что жена умерла, дети у тетки. Умолял ее помочь отправить их в Америку. Разве это есть шпион? – спрашивала она, смотря прозрачными удивленными глазами.

Мы молчали. Она верила, что это недоразумение. Больше всего ее ужасало вначале, кого она встретит в тюрьме: воров, бандиток, преступниц? Увидела – обыкновенные женщины; жили, постепенно приспосаблиясь: стирали трусы и платки под краном в уборной, штопали иглой из рыбьей кости (металлических острых предметов в камеру не давали), учили друг друга мережить. Она оттаивала, улыбка добрела, но в глазах росло недоумение: что все это значит? За что сидят эти женщины?

Март подходил к концу. В тюрьме ход зимы, ход Земли к весне чувствуется по мелким приметам: пробился в камеру, стал задерживаться на серой стене узкий солнечный луч, как прожектор осветил трещины в масляной краске, потеки на потолке. Заплясали пылинки. Форточку откроют, и слышно восторженное чириканье воробьев. Их не видно, железный щиток закрывает окно, но за щитом – воробьи прославляют весну. На прогулке черный проугленный снег в колодце двора

таял под ногами. На водосточных трубах – ледяные сосульки. Поднимешь глаза – в синеве взбитой пеной плывут облака. Перемены в свете и воздухе, не заметные людям, занятым делами на воле, становились событиями в тюрьме – внимание обострено. Мы научились определять время по передвижению тени оконной решетки, людей – по вздергу губ или пойманному взгляду.

После обеда вызвали на допрос Аню. Вернулась вечером. Руки у нее тряслись, быстрые темные глаза округлились.

– Подписала окончание следствия! – воскликнула она, садясь на кровать. – Была у прокурора и подписала! Никаких новых материалов, только про двадцать восьмой год!

– Ну, значит, освободят, – радостно сказала Надежда Григорьевна.

– Значит...

Опять лязгнул замок:

– Гаген-Торн.

– Я!

– Как зовут?

– Нина Ивановна.

– К следователю!

Подняли в лифте, повели коридорами, опустили в лифте на один этаж. Опять коридорами... В них уже не было ничего тюремного: сияющий паркет, покрытый ковровой дорожкой, сияющие медные ручки белых дверей. Кабинет. Такой же солидно сияющий. Огромные окна, кожаная мебель. Два следователя: мой, молодой, и другой, пожилой.

– Садитесь, – сказал мой, как всегда не подпуская близко к столу. – Вы продолжаете утверждать, что не вели антисоветской деятельности?

– Не вела.

– И первый срок отсидели зря?! А показания, которые на вас имеются?

– Какие показания?! Я не видела никаких показаний!

– Как это не видели! Вот они, показания! – он постучал по папке рукой. – А вы утверждаете, что не видели! А?!

– Ничего мне тогда не показывали! – вскричала я. – Если бы видела, хоть знала бы, за что сидела на Колыме.

– Чушь городите, – рявкнул следователь, – не верю!

– Говорю вам, что не видела, – заорала я, – если они есть – покажите!

Другой, пожилой, сказал:

– Знаешь, в тридцать седьмом их не показывали. Может, и не видала.

– Ну-у? – удивился молодой. – Как это? Ну – смотрите!

Он вынул из папки и протянул мне лист. Прочла:

«Протокол допроса Ш... Ноэми Григорьевны, 1901 г. рождения». Я вздрогнула: Нама. Она так сердечно, так дружески отнеслась ко мне, когда я в 1945 году приезжала в Ленинград искать, не сохранилась ли моя диссертация. Мы знали друг друга со студенческих лет, учились у Богораза и Штернберга; вместе начали работать в музее... Что ее спрашивали? В 45-м году она так участливо расспрашивала о Колыме, я знала, что ее брат тоже там в лагерях, рассказала все, что слышала о нем. Мы вспоминали молодость, она пригласила меня в Филармонию, дала карточку в академическую столовую на те дни, что я была в Ленинграде. Что может быть плохого для меня в ее показаниях?

Стала читать. Да, несомненно, писал не следователь, точнее, следователь со слов этнографа, так сформулирована тематика и подготовка к 1-му этнографическому совещанию, которой я занималась в 28-м году. Но что это? «Мне известно, что у Гаген-Торн на дому были нелегальные сборища, на которых я присутствовала один раз. Там обсуждалось, как объединить этнографическую научную молодежь против коммунистов. Гаген-Торн призывала к этому, подготавливая нелегальную программу совещания. Она отличалась антисоветскими настроениями, брала темы по древним пережиткам, не желая заниматься современностью...»

– Позвольте! – возопила я. – Археологи все занимаются древностью, и никто не видит в этом антисоветских настроений! Никаких нелегальных сборищ не было! Если бы тогда, в тридцать седьмом году, мне показали это! Так просто было доказать!

Теперь, после войны и блокады, почти никого не осталось в живых, но в 37-м году были люди, которые могли подтвердить, что было на совещании у меня в квартире! Я вся дрожала от возбуждения.

– Был жив Николай Яковлевич Марр, был жив Михаил Петрович Кристи, который поручил мне подготовить программу всесоюзного совещания...

– Кто такой Кристи? – насторожился следователь, схватив перо.

– Вам бы надо знать! – сердито сказала я. – Это был зам. наркома по делам науки и высшей школы.

– Был такой, – подтвердил пожилой следователь.

– Он поручил нам подготовить программу.

– Почему же вы собирались на частной квартире?

– Да потому, что я была в декретном отпуску, доживала последние дни до родов, вот и пришли ко мне. Если бы мне дали эти показания в 1937 году! Так просто было бы доказать!

– Теперь все это не имеет значения, за прошлое вы отбыли срок наказания. Нет смысла его поднимать.

– Как нет смысла! Как нет смысла? Обвинения отпадут, и станет ясно, что это ошибка!

– Вас тем необходимее изолировать. Раз вы считаете это ошибкой – разве вы простите, что вам испортили жизнь? Ясное дело: вы стали врагом советской власти.

– Позвольте! – закричала я, но мой, молодой, поднялся:

– Не стоит об этом говорить! Допрос окончен. Пойдем к прокурору.

Он позвонил часовому. В сопровождении солдата мы пошли длинным коридором.

Еще импозантнее приемная: сияющие дверные ручки, сияющий паркет, пестрый ковер на полу, мягкие пружины кожаных кресел.

Такой же пружинящий, приглаженный человек в сером костюме. От возбуждения я заметила не лицо, только блеск пенсне и блеск пробора.

– Гражданин прокурор! Мне только что показали обвинения тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Я хочу просить о пересмотре дела. Я все могу опровергнуть. Я прошу...

– Да, да, мы рассмотрим, если понадобится... Вы считаете следствие законченным? – спросил прокурор следователя.

– Законченным, товарищ прокурор!

– Ну что же – прочтите последний протокол, – сказал прокурор, – подпишите, что вы уведомлены об окончании следствия, – он протянул мне бумажку.

– Но я не согласна! Оно не кончено – надо рассмотреть эти показания!

– Мы посмотрим, посмотрим... Это не имеет значения.

Он прошел в другую дверь, за приемную.

Часовой сказал:

– Пройдите!

И меня увели. Коридорами, лифтами, опять коридорами. Он отвел меня в камеру.

Я записываю факты. Мне самой теперь они кажутся неправдоподобными: как могло быть, что десятки тысяч людей отправляли в лагеря без суда, без проверки случайных показаний обвинения? Как могла существовать машина особого сощещения? Кто додумался до создания этой машины? Это менее понятно, чем процессы ведьм в средние века: те вытекали из общего мировоззрения, а это стояло в противоречии проповедуемому мировоззрению. Но – было! Память объективно и точно передает совершавшееся. Прошу верить: я веду записки как исторический документ для будущих поколений, в них нет ни прикрас, ни искажений. Это не агитка, не беллетристика, это запись о прожитом, это попытка наблюдателя точно фиксировать виденное. Так, как привыкли мы, этнографы, во время полевых работ.

\* \* \*

Подписавших окончание следствия переводили в пересыльную камеру, а потом, через несколько дней, для ожидания этапа перевозили в пересыльную тюрьму. В Ленинграде – в Кресты, в Москве – в Бутырку.

В пересылках – другой режим, чем в следственной: можно хоть целый день лежать на кровати, разрешена переписка с волей, приносят книги, можно, если, разумеется, есть деньги на лицевом счету, заказать из ларька продукты.

Приговор – лотерейный билет: никто даже не пытался найти объяснения, почему одни получали 10 лет, другие – 8, третьи – 5. Срок наказания – карты в азартной игре, где ставка – судьба человека.

Мы, повторники, знали, что не вернемся на волю, и все-таки это казалось бредом.

Можно ли передать сон, бред? Лев Толстой великолепно передал бредовый сон князя Андрея.

Но я чувствую бессилие передать существовавшую в действительности бредовую камеру, я лишь попытаюсь вылупить из сознания, как яйцо из скорлупы, происходившее.

Большая, окрашенная мутно-коричневым цветом, длинная комната. В конце ее такой же мутный свет окна мельтешит, ломаясь с неугасимой лампой под потолком. Комната

заставлена голыми деревянными нарами. На них рассованы чемоданчики, вещи, пальто. Сорок или пятьдесят женщин сидят и бродят по камере, знакомятся, непрерывно рассказывают ход своего дела, спрашивают: «Что будет? А? Что будет?»

Калейдоскоп женских лиц. На лицах – то пустота и безглазие, то вдруг выступают такие тревожные, освещенные скорбью глаза, что ничего, кроме них, уже и не видишь.

Смутное движение толпы. Кто эти женщины? Старые и молодые, работницы, интеллигентки, домохозяйки, студентки, они – глина, смятая и приготовленная к лепке. Ползет день. Отбой укладывает всех на нары и создает тишину. Подъем – начинается движение.

Как ковш, вытягивающий рыбину из живорыбного садка, голос из двери вытягивает, называя фамилию: «С вещами!»

Это ведут подписывать приговор. Потом уж не вернут в камеру.

Человеческой душе трудно выносить бессмыслицу, память старается стереть ее. И мне трудно восстановить бессмысленный ритуал объявления приговора. Но – надо.

Ковш выхватил меня из живорыбного садка «с вещами». Проводят через обыск. Раздевают догола, осматривают каждую складку тела, каждый шов одежды. Потом – в бокс. Не тот, без воздуха, где я сидела, а просто в узкую, окрашенную темно-коричневой краской, комнату, какие бывали на старых вокзалах. По коридору гулко слышны шаги и голоса – все время кого-то куда-то ведут, шелкают замки дверей.

Под потолком тускло горит лампочка. Как передать ожидание? Это не то ожидание, что перед опасной атакой или бомбежкой, где напряженно активен; не ожидание, когда близкий человек под ножом хирурга, – там ты веришь в разумность совершающегося; не ожидание наступающего стихийного бедствия – там ты готовишься, изыскиваешь шансы к спасению. Это, пожалуй, состояние мыши, попавшей в капкан. Ты – мелкое пойманное животное в руках слепой и всемогущей силы. У тебя бьется сердце, оно знает: пощадить может только случай.

Ах, я полюбила животных с тех пор братской любовью: я поняла их состояние безответной беспомощности!

Всеми нервами чувствуешь: за длинным рядом дверей другие, такие же, как ты, тоже ждут, и мы – в руках слепой силы.



Начала осторожно постукивать в стенку. Отвечает! Азбука тюрем.

– Кто вы?

– Женщина из десятой камеры. Ожидаю приговора.

– Аня?

– Кто стучит?

Называю фамилию. У сидевших в одной камере образуются свои сигналы, они легко отличают своих от «наседки» – специально подсаженного человека.

Слышу – правда, Аня, но...

Щелкнул замок камеры. Тишина. Шаги в коридоре...

Наконец повернулся ключ в моей двери:

– Проходите! Вещи оставьте.

Повели коридорами.

– Войдите!

Почти пустая комната. За черным школьным столом два человека с кипой папок, стопкой узких печатных повес-ток.

– Садитесь, – сказал голос. Лица не видела: сидело безликое, серое, в гимнастерке. – Прочтите и распишитесь.

Протянул узкую полоску бумажки, вроде пипифакса, на которой отпечатано: «Постановление Особого Совещания от ... марта 1948 г. Гр..... присуждается к отбытию срока наказания в исправительно-трудовых лагерях на ... лет».

В многоточиях от руки: день заседания, фамилия заключенного, срок наказания.

«Если пять – еще выдержу», – мелькнуло у меня. Поставлено «пять» – повезло!

Особое совещание давало срок на основании протоколов, без суда, без опроса обвиняемого. Расписалась, и ритуал окончен. Отвели обратно, к вещам. Откуда-то из конца коридора неслись рыдания – женщина вопила и билась в железную дверь. За другими дверями – молчание. Щелкали замки. Выводили и приводили. Производство было серийным. Из соседней камеры постучала Аня. От нее я узнала что Мария Самойловна получила 10, а она, Аня, – 8 лет.

Утихли замки и крики. Потекли часы – сколько? Время определялось тем, что внесли кашу: значит, ужин. Опять открылась дверь:

– С вещами!

Надела пальто, вышла. У всех дверей женские фигуры. Их

смели в строй, как рассыпанную крупу. Окружили солдатами, повели. Распахнули двери. Дохнуло морозом.

– По одной – в машину!

«Черный ворон»? В 37-м году он был действительно черный: железный короб с решетчатым окошком сзади. Он развезжал ночами по городу, забирая в тюрьму.

Нет, этот не был черным: моторный фургон светло-зеленых тонов с надписью во все бортовое поле: «Игрушки». Сзади – герметическая дверь и приставная лестница.

– Первая, вторая, третья! – Гуськом нас впускали в черноту машины. – Примите документы. Все! – сказал сдавший этап.

Считавший взял папку. Дверь захлопнулась.

Совершенная темнота. Испуганное дыхание. Мы чувствуем плотно прижатые тела.

– Куда? – чей-то шепот. – Куда нас везут?

– На пересылку.

– А это не камера? Трудно дышать...

– Вздор. Это от тесноты.

Время потерялось, осталось движение. Застопорилось урчанием. Щелкнула дверь:

– Вылезайте по одной. Первая, вторая...

Каждая становилась со своим узелком.

– Все?

– Все! Веди в баню.

Какая радость телу – вода! Стремительный поток теплой воды из двух десятков душевых кранов... Она брызжет и искрится, журчит и бежит по цементному полу. Изможденные тюрьмой, зеленоватые, как плесневелые, женские тела радуются теплой текучей живой воде. Отходит тревога, ужас, отчаяние – улыбаются лица, потому что смывает все мысли теплая, живительная вода. Мысль у всех одна: как суметь отрезком мыла величиной с два кусочка пиленого сахара, который был выдан каждой, – как суметь вымыть голову, вымыться, да еще и выстирать трусы или рубашку?

– На них я использую пену, которая стекает с головы, – звонко кричит чей-то молодой голос.

И кругом смеются.

– Правильно! Рационально! И просто как в первоклассную душевую попали! – кричит кто-то, звонко хлопая себя по бедрам.

И опять все смеются. Они забыли, что пережито и что ждет впереди. Тело, замученное тело радуется воде и гонит мысли.

А мысли вернулись, когда развели по камерам. В глазах – опять боль и страх, у рта – горькие продольные складки, одинаковые у старых и молодых.

Камеры в Бутырке небольшие. Когда-то это, верно, был корпус одиночных камер, теперь, из-за недостатка жилплощади, поставили по четыре кровати. Я – вот как хорошо! – оказалась в одной камере с Аней и Надеждой Григорьевной Антокольской.

Кто была четвертая? Я не помню четвертую. Столько лиц прошло, столько камер, что мешаются лица и камеры. Мы втроем обрадовались друг другу потому, что сидели вместе уже больше трех месяцев, вместе пережили потрясение.

Теперь удар нанесен, как-то остались живы, все закончено. Идут разговоры о лагерях.

– В тридцать седьмом, – говорю я, – мы еще месяцы ожидали на пересылке этапа. Попадем ли к лету теперь в лагерь?

– Поскорей бы! – вздыхают.

Открываем форточку. Небо слепит глубокой бархатной синевой, солнечный луч, как добрая рука, шарит по камере.

– Смотрите-ка, – говорит Аня, – решеток нет потому, что в стекло вплавлена проволока. Стекла-то не матовые – это вплавленная в стекло тонкая металлическая сетка. Вот здорово!

– А щиток совсем низкий, небо хорошо видно, – замечает Надежда Григорьевна, застилая свою постель.

У нас уже была передача, у всех есть свои одеяла и простыни. Мы чувствуем себя вроде как в паровой каюте. Приспосабливаем на столике зубные щетки и мыльницы, кладем ложки, кружки. Расставили. Сколько нам ждать здесь?

На прогулку выпускают по несколько камер вместе. Узнаем о сроках, разыскиваем знакомых. В тюрьме новости облетают сразу, вести распространяются неуловимо, стихийно, как круги по воде. Через несколько дней мы уже разузнали почти про всех, кто попал в этот корпус. В тюрьме свои интересы и свои законы. Скорей бы только уйти из нее, хоть в лагерь, хоть в этап! Хотя мы уже объяснили тем, кто не испытывал еще, всю тяжесть этапа.

Весна была в 1948 году теплая. К первому мая уже распустились листки на деревьях. Первого мая – в дни праздников всегда удваивали бдительность – никого из камер не выпускали, но второго мая нас выпустили из камер на прогулку.

За высокой кирпичной стеной бутырского двора шумела праздничная улица. Был яркий, солнечный день, с синими свежими тенями, с теплым воздухом.

На серый асфальт двора, на красные кирпичи стен тоже падали солнечные лучи. Беззвучно ходили заключенные – разговаривать не разрешалось, и новости передавались с помощью различных ухищрений. Зорко смотрели часовые. Я чуть отошла в сторону и глянула вверх: на кирпичной стене, на самом верху ее, в синеве неба, трепетали свежие молодые листочки. Тоненькая березка выросла в расщелине кирпича, протянула к небу гибкие ветки и трепетала, и радовалась. Белая березка пела зеленой листвой даже в этом кирпичном мешке, вопреки всему побеждая смерть.

Тюремщики не предвидели, как жизнь подаст нам сигналы, не сумели предугадать. Мы посмеялись вместе, я и березка: что могут сделать убивающие? Если даже теперь дадут приказ – срубить на стене березку, она уже осталась жить во мне. Ее маленькие зеленые листики утешили человеческое сердце (и не одно мое, верю, что не одно), и что могут сделать они, убивающие, с тем, кто понимает синеву неба и смех березки?

1963

ТЁПА

Она вошла в мою камеру, я взглянула на нее и подумала: «Ого! Каких детей начали сажать!» Небольшого роста, худенькая, в беленьких носочках. Мы очень быстро подружились, и она мне рассказала свою историю.

Родители ее были бедными людьми, батрачили где-то в Белоруссии. Когда девочки были еще маленькими (а у Тёпы была сестра, которую звали Брива, от латышского слова «свобода»), мать с ними переехала в Шемаху, город в Средней Азии, откуда родом Шемаханская царица. Валя окончила там семилетку и захотела учиться дальше. Но в Шемахе такой возможности не было, и она с сестрой поехала в Москву. Здесь эта девочка, помаявшись и ничего не добившись, пошла на прием к Калинин. Тот ее принял, выслушал и сказал: «Хорошо, Валя, ты будешь учиться в Москве, а Брива должна вернуться к матери, вот подрастет, тогда видно будет...»

И стала Валя учиться в каком-то техникуме, где-то снимая коечку. И вот прочла она в газете, что в одном из московских научно-исследовательских институтов ставятся опыты по оживлению тканей и результаты этих опытов успешны. Валя пришла в этот институт и сказала: «Вот вы делаете опыты по оживлению людей, почему же вы не оживляете товарища Ленина? Ведь он нам всем так нужен, ведь после его смерти все пошло вкривь и вкось!» Там ей мягко ответили, что все это очень сложно, что это только первые шаги, а оживление людей – дело далекого будущего...

Чем дольше жила Валя в Москве и чем больше наблюдала она тогдашнюю жизнь, тем больше изумлялась она несправедливости, неверности истинным революционным идеалам, нарушениям всех принципов, всех законов и конституций. И однажды, придя с занятий, Валя села и написала письмо Сталину, а сама собрала чемоданчик с бельем – на всякий случай – и стала ждать, когда за ней придут. Письмо она подписала полностью – Валентина Карловна (девичью фамилию ее я забыла, в замужестве она была Урсова)... и адрес поставила.

И за ней пришли. Пришел мужчина, увидел такую девочку, спросил:

– Это вы писали письмо Сталину?

– Да.

И он вступил с ней в разговор. Он сказал ей, что некоторые вещи в ее письме правильны, а другие нет, что многого она не знает, во многом не права, что ей надо учиться, строить свою жизнь и т.п. Валя ему ответила, что все, что она написала, верно и она это может повторить в любом месте. Он долго разубеждал ее, уговаривал, но понапрасну. Тогда он сказал: «Ну, что ж, поедем...» Валя пошла с ним, вот так, как была, и чемоданчик взять постеснялась...

Он привез ее, посадил в какой-то кабинет. Сидела она, сидела... Потом принесли чай с какими-то бутербродами. Потом ей понадобилось выйти. Ей сказали: «Подожди, девочка...» – и дали... провожатого, который довел ее до сортирчика, сам подождал снаружи, а потом опять отвел ее в этот кабинет. И опять она сидела, сидела... Наконец ее повели, привели в большой зал, где стояли столы с пишущими машинками и машинистки печатали. И тут какая-то панель в стене раздвинулась, и она оказалась в кабинете Берии.

Он приветливо предложил ей сесть в кресло. Она села. Он вынул из стола коробку шоколадных конфет и поставил перед ней. Она взяла одну конфетку, потом другую. Они болтали о пустяках. Тогда шел в Москве кинофильм «Большой вальс». Он спросил, сколько раз она смотрела этот фильм. Она сказала, что пять. Он смотрел три раза. Спросил, какая героиня ей больше понравилась. Она сказала – вот эта. А ему – та. А почему эта, а не та? Ну, и тому подобное. Потом они заговорили о другом, и – на разных языках, естественно. Берия говорил ей, что никакого беззакония и несправедливости в стране нет, что все идет хорошо. Валя говорила обратное. Наконец он спросил:

– А почему ты мне не веришь? Ведь я старше тебя, я давно уже коммунист, я занимаю ответственный пост, почему же ты мне не веришь, какие у тебя есть основания для этого?

И Валя ему ответила так:

– На вас надет очень хороший шерстяной костюм. Почему? Когда мы все раздетые. У вас в столе лежат шоколадные конфеты, а у всех этого нет. Как же я могу вам верить и какой же вы коммунист?

– Ого! – сказал Берия. – А знаешь, девочка, придется тебя изолировать от общества, пока ты не одумаешься.

– Пожалуйста, – сказала Валя, – я не боюсь...

– Но ведь это будет общий лагерь, вместе с уголовниками.

– Ничего, – сказала Валя, – я давно хотела посмотреть, а что же по ту сторону этого здания, теперь увижу.

– Придется и маму твою арестовать – за то, что она так плохо тебя воспитала.

– Что ж, – сказала Валя, – моя мама – большевичка, и любое испытание партии она выдержит. А потом ведь мама меня и не воспитывала: она работала, ей было некогда, я сама себя воспитала так.

– Ну, ладно, – сказал Берия, – была бы ты моя дочка, я бы тебя просто выпорол, а так мне ничего не остается, как посадить тебя в тюрьму.

На том они и расстались, и Валя прямо из его кабинета пришла в мою камеру.

Удивительная она была девочка! Помню, рассказывала я ей однажды про Карла Линдберга... Два раза помню я Париж, действительно вышедшим из берегов от восторга, – когда приезжал Линдберг, только что перелетевший Атлантический океан, и когда приезжал Чаплин. Так вот, рассказываю я ей, вскоре Линдберг женился на молоденькой американке и поселился где-то в Америке. Родился у них ребенок, и вдруг этого ребенка украли гангстеры, чтобы получить выкуп. Потом, правда, оказалось, что, когда один из них спускался с грудным младенцем по пожарной лестнице, он его нечаянно стукнул о водосточную трубу, так что выкуп-то они требовали, а ребенок уж давно был похоронен. Ты только представь себе, говорю я, что за люди! Что за страна! Чтобы поднялась рука сделать зло такому человеку! И для пущей наглядности привожу пример: ведь это все равно, как если бы у Сталина украли его Светлану! И вдруг Тёпа мне говорит:

– Ты неудачно сравнила. Этих людей нельзя сравнивать. Линдберг ведь герой, а Сталин – нет. Сталин лицо выборное, на его месте, может быть, кто-нибудь другой и был бы, но Сталин силой держит свой пост... Так что эти люди совсем не равнозначны.

И еще у меня была с Тёпой история прямо-таки мистическая. Я ей много всего рассказывала – из разных прочитанных книг, из фильмов, всяких случаев из жизни. Особенно много

я знала страшных историй. И вот сидим мы однажды друг против друга, каждая на своей коечке, и я рассказываю очередную страшную историю. А я была худая, бледная, уже давно там находилась, почти без воздуха, потом допросы очень тяжелые были, страшная, глаза здоровые... «И вдруг, – говорю я, – дверь в комнату открывается и входит человек... с ножом в руке!» – и вытаращиваю на нее глаза. И вдруг дверь в камеру открывается и входит мужчина с большим... ножом в руке! Первое движение у нас было почему-то подобрать ноги на койку, вторым движением Тёпы было завизжать во всю мочь, но тут вошел охранник и сказал: «Ну, чего вы!..» Оказывается, в коридоре рабочие стелили линолеум, и кусок, который подсовывался под каждую дверь, с боков обрезался, вот рабочий и зашел с ножом...

Потом Тёпу отправили в лагерь, а я еще оставалась, я ей сахару на дорогу накопила. Потом, уже во время войны, она меня разыскала, мы переписывались. Потом она жила в ссылке, потом вышла замуж за какого-то больного пожилого человека, которого вечно должна была подпирать собой. Кончила она финансовый институт, чтобы прибавить к своей маленькой зарплате лишние двадцать рублей. И ничего от той девочки, которая хотела оживить Ленина, не осталось... И стоило ли заглядывать по ту сторону здания такой ценой?.. Нет, не стоило.

### МОНАШКА

В моем первом лагере, в котором я была очень недолго, в Коми АССР, было несколько человек, посаженных «за религию», и среди них монашка – тетя Паша. Долагерная история ее такова. Она была крестьянской девочкой в многодетной семье, когда однажды попала в монастырь. И вот после курной избы монастырское благолепие так прельстило ее, что она хотела только туда. А там сказали: мы таких бедных в монахи не берем, нам ведь нужны вклады, чтобы монастырь богател. И взяли ее только в работницы – на самые тяжелые работы, безо всякого учения и без права пострига.

Она была трудолюбива, очень скромна, тиха и приветлива, делала любую работу и вскоре что-то начала получать по своим заслугам: ей позволили обучаться шитью, а вот грамоте так и не выучили, выдали какую-то одежду монастырскую, а потом выделили отдельную келейку. И тетя Паша была счаст-



лива. Она долго копила какие-то гроши и наконец – предел мечтаний! – обзавелась и собственным самоваром. И по вечерам у нее в келейке пили чай две-три монахини. «Сегодня пьем у матери Анны, завтра – у матери Манефы, а послезавтра – у Паши...»

Так и шла жизнь, тихая и счастливая, и вдруг – революция! Приехали красноармейцы. Комиссар, собрав монахинь, объяснил им, что они теперь свободные гражданки.

– Собирайте свои манатки и идите на все четыре стороны; даем вам сроку полгода, если через полгода здесь кто-нибудь останется, пеняйте на себя, женщины!

Ну, те, кто был поумнее и порасторопнее, ушли, остальные остались, питаюсь надеждами да упованиями. И тетя Паша тоже осталась.

Через полгода являются те же люди и говорят:

– Ну, женщины, мы вас предупреждали, теперь пеняйте на себя. Все здесь бросайте, никакого имущества забирать не разрешается, что наденете, в том и идите.

– И вот, Алечка, – рассказывала тетя Паша, – одеваюсь я, а сама плачу-плачу, одеваюсь-одеваюсь и все плачу – как же самовар-то оставить? И все одеваюсь-одеваюсь, чтобы им меньше осталось, и плачу-плачу, а наплакавшись, да и привязала самовар-то между ног и пошла. Тихо иду. А у ворот солдат стоит и каждой-то нашей сестре под зад поддает на прощание. А я иду тихо-тихо, а он мне как наподдаст, я и покатила! Так поверишь ли, Аленька, на самоваре-то до сих пор вмятина от сапога!

И вот в лагере нашем несколько женщин, которые «за религию» сидели, освобождаются. Прощание. Тетя Паша, крестя каждую по очереди, говорит:

– Вы уж отпишите, девоньки, как там на воле-то, целы церкви-то? И уж помолитесь там за нас...

А как писать – ведь цензура! И договорились: вместо «церковь» писать «баня». Ну, уехали они. Прошло какое-то время, пришло письмо. Тетя Паша ко мне:

– Читай, Аленька, читай, голубушка!

Читаю:

– «Низкий поклон вам, Прасковья Григорьевна, сестре Аллочке поклон, ну и т. д. Доехали мы до города, скажем, Серпухова, только вышли с вокзала, глядим – баня! И пошли-то мы сразу в баню и таково-то хорошо за вас там помылись! А в этой бане мы поговорили с женщиной, которая шайки

продает, все у ней расспросили, и она нам сказала: поезжайте вы, бабоньки, на кладбище. Мы поехали. Приходим на кладбище, глядим – баня! И такая красивая баня-то! И таково-то хорошо мы помылись там за всех вас и по шайке за каждую поставили! И такой банщик здесь хороший оказался, тоже помылся за вас...»

А теперь про настоящую баню.

Банный день нам назначили как раз под Троицу. И тетя Паша очень радовалась, что на праздник чистенькие будем. Собрались мы и пошли с узелочками. А банщик был у нас тоже из тех, кто «за религию» сидел, тихий, скромный, его потому и поставили банщиком, знали, что на голых баб пялиться не будет.

И вот встречает он нас на пороге – голый, в одном фартуке:

– С наступающим праздником вас, женщины! Очень хорошо сегодня в бане, я все чисто убрал и воду для вас от мужчин сэкономил, так что вам каждой будет не по три шайки, а по четыре. Мойтесь на здоровье, женщины!

И никогда не забуду я эту картину – тогда я от нее просто пополам перегнулась, до того было смешно! – банщик подсел на лавочку к тете Паше и завел тихую беседу:

– А помните, Прасковья Григорьевна, как под Троицу-то в церкву шли – нарядные, с березками...

Она – голенькая, только платочек на голове, он – в одном фартуке, сидят и разговаривают о «божественном», чистые и бесхитростные, как дети или ангелы.

1969 – 1973

*В записи Е. Коркиной*

*После ликвидации лагеря бывшие охранники, хозяева караульных собак, разъезжаются и бросают их на произвол судьбы. Лишенные привычной Службы, они находят пристанище в пристанционном поселке. Голод вынуждает брать пищу из чужих рук, охранять дворы или побираться у магазинов. В определенное время приходят они на станцию, откуда в прежние времена доводилось им конвоировать вновь прибывающие партии заключенных. С каждым днем собак там все меньше.*

*Наконец остается лишь один пес — Руслан, который исправно, изо дня в день встречает поезда. В лагере он усвоил, что высшая ступень Службы — конвоирование и охрана людей. В ожидании уехавшего Хозяина и поезда с «бежавшими» лагерниками, Руслан «охраняет» бывшего зэка Потертого, живущего в поселке. Он не берет пищу из чужих рук и добывает ее только охотой. Верный Службе, он и в новых условиях принимает лишь то, что не противоречит ей.*

<...> Вот он опять приближается, Неизвестный в сером балахоне, воняющий бараком. Он подходит со стороны солнца, его длинная утренняя тень вкрадчиво ползет к твоим лапам. Будь настороже и не тени бойся, а его руки, спрятанной в толстом рукаве. Рукав завернется — и на ладони покажется отрава. Но вот она, его ладонь, перед твоим носом, — она открыта и пуста. Он только хочет тебя погладить — нельзя же во всем подозревать одни каверзы! Теплая человеческая ладонь ложится тебе на лоб, прикосновения ласковы и бережны, и сладкая истома растекается по всему твоему существу, и все подозрения уходят прочь. Ты скидываешь голову — ответить высшим доверием: поддержать эту руку в клыках, чуть-чуть ее прихватив, совсем не больно. Но вдруг искажается смеющееся лицо, вспыхивает злобой, и от удивления ты не сразу чувствуешь боль, не понимаешь, откуда взялась она, — а рука убегает, вонзив в ухо иглу...

А ты и не видел ее, спрятанную между пальцами. Учись видеть.

Вот опять – стоило хозяину отлучиться на минутку, и ты сразу же наделал глупостей. Какой стыд! И – какая боль! А самое скверное, что придется признаться в своей глупости: вдруг выясняется, что от этой штуки тебе самому не избавиться – ни лапой стряхнуть, ни ухом потереться, что ни сделаешь, все только больнее. Ухо уже просто пылает, и меркнет день от этого жжения, такой безоблачный, синий, так начавшийся славно. Но вот и хозяин – ах, он всегда приходит вовремя и все-таки понимает. Он тебя нисколючки не наказывает, хотя ты это несомненно заслужил. Он куда-то ведет тебя, плачущего, ты и дороги не различаешь, и там быстро выдергивается эта мерзкая штука, а к больному месту прикладывается мокрая ватка. Один твой последний взвизг – и все конечно. Хозяин уже и треплет тебя за это ушко, а ничуть не больно. Но будь же все-таки умником, подумай: неужели и в следующий раз не постарайся рассмотреть, с чем к тебе тянутся чужие руки? А может быть, и не стоит труда присматриваться? Не лучше ли, как Джульбарс: никому не верь – и никто тебя не обманет?

Он недаром первенствовал на занятиях по недоверию – Джульбарс, покусавший собственного хозяина. Он не то что выказывал отличную злобу к посторонним, он просто сожрать их хотел, вместе с их балахонами. Несколько раз бывало, что он переставал понимать, что к чему, – а ему одному все сходило. Ничего не соображая, он впятеро, вдесятеро форсировал злобу, на нем чуть не дымилась шкура, и на всю площадку разлило псиной. Вот что он отлично усвоил: перестарайся – сойдет, хуже – недостараться.

– Всем вам учиться у него, учиться и еще раз учиться, – говорил инструктор, обнимая Джульбарса за шею, и молодые собаки, посаженные в полукруг, роняли слюну от зависти. – Этому псу еще б две извилины в башке – цены б ему не было.

Джульбарс, впрочем, считал, что ему и так нет цены. Но одна мысль ему не давала покоя: если он так и будет никого к себе не подпускать, то ведь он никого и не покусает! И однажды он усложнил номер, он сделал вид, что наконец-то его обманули, и позволил чужой руке лечь на его лоб. В следующий миг она оказалась в его пасти. Такого ужасного крика еще не слышали на площадке. Несчастный лагерник рухнул на землю и стал отбиваться ногами, и даже хозяева кинулись

его выручать: они и гладили, и хлестали Джульбарса поводками, и грозились его убить, – ничто не помогало, Джульбарс, по-видимому, решил умереть, но отгрызть эту руку напрочь. И тут с чего-то померещилось Грому, привязанному в дальнем углу, что это вовсе не лагерник вопит, а его собственный хозяин; Гром, разволнованный не на шутку, пролаял оттуда Джульбарсу, чтоб тот немедленно оставил его хозяина в покое. Но с Джульбарсом случился приступ самой настоящей мертвой хватки, он уже при всем желании не мог разжать челюсти, он должен был сначала успокоиться. Так вот, пока он успокоился и отпустил наконец-то, что раньше было рукою, лагерник уже и встать не мог, хозяевам пришлось его под руки утаскивать с площадки.

Свое подозрение Грому, к сожалению, не удалось проверить: с этого дня хозяин Грома навсегда исчез из его жизни. Ну, а Джульбарсу, конечно, и на этот раз все сошло, только славы еще прибавилось. И то правда – у кого б учиться молодежи! С ним в паре ставили доброватых и малозлобных, которые недопонимали, зачем бы им, к примеру, преследовать убегающего – ведь он уже не причинит им вреда – и какое тут, собственно, удовольствие. Джульбарс рассеивал все их сомнения; хрипло пролаяв: «Делай, как я!», он догонял бегущего, валил наземь и такую показывал вкусную трепку, что и самые бестолковые прозревали, в чем смысл жизни.

Руслан этого смысла долго не мог постичь, его пришлось дразнить помногу и терпеливо: дергать во время еды за хвост, наступать на лапу, утаскивать из-под носа кормушку, а то еще – посаженного на цепь – обливать водою и убегать после этого с диким хохотом.

Особенно же неприятные были занятия по воспитанию «небоязни выстрелов и ударов». Рожденный ровным счетом ничего не бояться, он с трудом переносил, когда серые балахоны палили ему в морду из большого пистолета и колошматили по спине бамбуковой тростью. Он, правда, быстро усвоил, что ничего ужасного этот дурацкий пистолет не причинит ему, и к бамбучине тоже притерпелся, но как раз терпеть-то и не следовало, а нужно было уклоняться, перехватывать руку, догонять, терзать – все это он проделывал без охоты.

– Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тугодупь, – говорил с сожалением инструктор, и его слова обид-

но пощипывали Руслана в сердце. – А вы с ним чересчур понарошку. С ним надо серьезнее, он вам не верит.

Инструктор сам брал бамбучину и, страшно оскалась, делал ужасающий замах.

– А ну, куси меня! Куси как следует!

Но хватать инструктора за голую кисть еще меньше хотелось Руслану, чем давиться ватой. Он старался взять легонько, чтоб даже не поцарапать. Инструктор ему нравился. Он на всех собак производил самое благоприятное впечатление, – одно его присутствие скрашивало все тяготы учений. Всем так нравилась его кожаная курточка, так дивно от нее пахло каким-то зверьем, что хотелось ее немедленно разорвать в клочки и унести на память. Нравилась его худоба и ловкость, его рыжий чубчик и востренькое личико, которое можно было только в профиль смотреть, – и в этом профиле угадывалось что-то собачье. Быстрый и неутомимый, он носился по всей площадке и всюду поспевал, каждой собаке умел все так толково объяснить, что она его тут же понимала – лучше, чем своего хозяина. Увлекаясь, он рычал и лаял, и собаки находили, что у него это очень неплохо получается; еще немного – и они поймут, *о чем он лает*. И тогда они бы простили ему, что у него нет такой же пушистой шкуры, как у них, из-за чего он вынужден носить чужую лысую кожу, и что он не насовсем оставил человеческую речь, отвратительно грубую и ничего не выражающую, и предпочитает еще ходить на двух ногах, когда гораздо удобнее на четырех.

Но, впрочем, инструктор уже делал некоторые попытки, и, признаться, не вовсе безуспешные. Один его фокус прямо-таки пленял собак – инструктор его применял не часто, но уж когда применял, то все занятие было – сплошной праздник!

– Внимание! – командовал инструктор, и все собаки заранее умирали от восторга. – Показываю!

И, опустившись на четвереньки, он показывал, как уклониться от палки или от пистолета и перехватить руку с оружием. Правда, иной раз инструктору все же попадало палкой по голове или по зубам, но он не выходил из игры. Он только на секундочку отрывал одну лапу от земли и проверял, нет ли каких повреждений, а затем командовал: «Не считается, показываю еще раз!» – и с коротким лаем снова кидался в атаку – до тех пор, пока упражнение не удавалось ему вполне.

Иногда собаки даже шли на хитрость: кто-нибудь притворялся непонимающим, – только б еще разик насладиться работой инструктора, услышать его «Внимание, показываю!». А как резво бегал он по бревну, – куда лучше, чем на двоих! – каким делался при этом изящным, поджарым, как ходили под курточкой острые лопатки и топорщился рыженький загривок, как ловко он перемахивал через канаву или барьер или взбегал единым духом по лестнице, а будучи в ударе, так и всю полосу препятствий преодолевал без задержки, только легкая испарина выступала на лбу. В конце полосы кто-нибудь из хозяев уже держал наготове поощрение – инструктор брал вкуску зубами, не вставая с четырех, и так смачно ее съедал! Собаки сглатывали слюну и рвались повторить хоть весь комплекс упражнений сразу.

Они бы на край света за ним пошли, только позови он. Ему даже Джульбарс позволял то, чего бы и своему хозяину не позволил, – сделать легкую смазь или разъять пасть и пощупать прикус. Инструктор даже сам просил его, вставляя палец между страшными Джульбарсовыми зубами:

– Ну-ка, милый, кусни. Так, сильнее...

Хозяева не могли в это поверить, им казалось, что инструктор останется без пальцев.

– Никогда! – он им отвечал. – Никогда собака не укусит того, кто ее безумно любит. Поверьте мне, я старый собаковод, я потомственный, с вашего разрешения, кинолог, на такое извращение способен только человек.

А про Джульбарса он сказал:

– Он не зверюга. Он просто травмирован службой.

Инструктор любил собак всем сердцем – и, конечно, в каждой немножечко ошибался. Они ему все казались травмированными, раз им досталась такая тяжелая служба. Но насчет Джульбарса собаки были другого мнения. Ему небось и инструктора хотелось покусать, да он боялся, что его тут же порвут на мелкие клочочки.

А вот что инструктор сказал однажды Руслану – с глазу на глаз и тихо, с печалью в голосе:

– Этот случай мне знаком. В чем несчастье этого пса, я знаю. Он считает, что служба всегда права. Это нельзя. Руслан, пойми – если хочешь выжить. Ты слишком серьезен. Смотри на все как на игру.

Руслана инструктор тоже ценил высоко – хоть тот и не проявлял нужной агрессивности, но кое-что умел получше Джульбарса, а одна вещь была такая, что и сам инструктор не мог бы показать, как она делается. И это коронный номер был у Руслана, в котором не имел он себе равных, – «выборка из толпы».

Эту работу – нелегкую, но чистую, вдумчивую и не очень шумную – Руслан больше всего полюбил. И надо же, чтоб так случилось, что не мог он теперь вспоминать о ней без чувства своей виноватости и греха, неясных для него – как неясным остался тот человек, с которого началось самое печальное. Этого человека Руслан по виду не выделил бы из толпы лагерников, а между тем хозяева чем-то его отличали – и, может быть, тем, что как бы не обращали на него внимания. Уж слишком не обращали – это только собака и могла бы заметить, которую незаметно придерживают, когда тот или иной лагерник случайно вышагнет из колонны. Одного или двух натяжений поводка уже достаточно было Руслану, чтоб он привыкал таких людей уважать. А однажды, морозным днем, когда они с хозяином намерзлись на лесоповале и забежали погреться в передвижную караулку, Руслан с удивлением увидел этого человека. Он сидел здесь, где обычный лагерник только стоять мог у порога, снявши шапку, он курил и беседовал – да с кем еще! – с самим Главным хозяином. «Тарш-Ктан-Ршите-Обратицца» был чем-то недоволен и выговаривал ему резко, а тот лишь твердил:

– Гражданин капитан, но вы же и в мое положение войдите. Понимаете? Вы войдите в мое положение.

Он сказал это несколько раз, прижав руку к груди, и Руслан решил, что так и зовут этого человека. «Войдите-В-Мое-Положение» ушел тогда очень расстроенный, тревожно озираясь, а день или два спустя собак привели поглядеть на него – лежащего неподалеку от караулки с железным тросом на шее. Живой он отчего-то не запомнился Руслану, а врезался в память таким, как лежал: глядя в облака тусклыми выпученными глазами, с багрово-синим раздутым лицом, завернув одну руку за спину, а другую – откинув и вцепившись скрюченными пальцами в снег. Эта рука, и лицо, и снег вокруг головы были посыпаны махоркой.

Собаки одна за другой подходили и воротили морды, виновато помаргивая и скуля. Когда подвели Руслана, он уже



понял, почему у них ничего не выходило. Они начинали с головы убитого, нюхали его страшную лиловую шею с витыми бороздками от троса и клочьями содранной кожи, нюхали усы троса, раскиданные в стороны, как разметавшийся шарф, и – нанюхивались одной махорки, после нее вся работа была уже бесполезна. Он начал – с рук. Осторожно приблизился к откинутой и вовремя отшатнулся, а затем поддел мордой окаменевшее тело, прося, чтоб убитого перевернули, и тогда спокойно обнюхал другую руку, сжатую так сильно, что ногти впились в ладонь. Но он увидел не только синюю кровь от ногтей, он увидел капельки смертного пота, выступившего по всей кости. Они смерзлись и стали мутными, как брызги известки, но если их чуть отогреть дыханием...

Закрыв глаза, он весь напрягся в неимоверном усилии. Хозяева в это время строили предположения, кто б это мог сделать; у каждого были свои счета с лагерниками и свои догадки, близко сходившиеся со счетами, а главное, что занимало их, – сколько же было участников? Трое? Четверо? И этим они сами себя путали, потому что начинать нужно всегда с одного. Они имели глаза, чтобы видеть, и разглядели махорку, которую для того и насыпали, чтоб ее сразу увидели и почуяли, а не заметили, например, возле троса мелких чешуинок коры – Руслан их прежде всего увидел. Они вообще слишком много размышляли, он же не размышлял вовсе, не имел ни счетов, ни догадок, а просто увидел, как все происходило – как видится галлюцинация или связный цветной сон, – и услышал скрип снега под сапогами жертвы и неровное дыхание притаившегося убийцы.

«Войдите-В-Мое-Положение» шел в синих сумерках из караулки, – да, именно оттуда, и там ему дали покурить хозяйских папирос, – и, проходя вот этой тропинкой, меж двух сосен, он не заметил троса, привязанного чуть повыше его головы. Другой конец этого силка убийца держал в руках. Он быстро опустил тяжелый виток, расхоженный и смазанный тавотом, на плечи «Войдите-В-Мое-Положение» и повернулся – конец троса лег на плечи убийцы, он его держал обеими руками и, навалившись всем телом, сделал всего полшага. И петля затянулась; убийца почувствовал, как дергается трос, – это руки жертвы пытались разжать петлю со всей силой, вспыхнувшей в них от смертельного страха, от жажды

глотнуть воздуха, – тогда, собрав все свои силы, весь свой страх и смертельную злобу к жертве, которая так долго не умирает, он лягнул ее наугад под ноги и вышиб из-под них земную твердь. И еще целую вечность он стоял, изнемогая, будучи один и палачом, и виселицей, а «Войдите-В-Мое-Положение» хрипел и дергался у него за спиной, все хватаясь безнадежно за трос. Но раз или два он схватился ненароком за одежду убийцы, за полу его бушлата – слабая, беспомощная хватка уже вспотевшей руки, убийца этого и не почувствовал. Но когда потом он отвязывал трос и тащил удушенника подальше от дерева, когда он сыпал махорку и считал, что все сделано на редкость удачно и тихо, он не знал, что весь он со своим бушлатом остался в этом стиснутом кулаке, в смерзшихся капельках: и тысячу раз утертые этой полою лицо и руки, и ею же прикрываемые ноги, стынувшие ночами под жиденьким одеялом, – и какая удача, что руку завернуло судорогой за спину, и она оказалась внизу, под телом. Что ж, можно считать – концы найдены. Руслан быстро отошел и ткнулся лбом в колени хозяину – это значило: «Я не обещаю, но я попробую. Веди меня скорей».

А выборка оказалась на удивление легкой. Любой, кто сдался в самом начале, выполнил бы ее без напряжения – наберись он только нахальства попробовать. Руслан даже не успел приблизиться к толпе, согнанной на пустыре перед воротами. Завидев медленно подходивших хозяев и рвущую поводок собаку, вся толпа с гудением подалась назад – и оставила одного, в черном бушлате. Весь скорчась, спрятав руки под мышками, он сам упал вниз лицом, крича, как в истерике:

– Собаку не надо! И так все скажу. Ну, не пускайте же зверя!..

И Руслан его не стал терзать, а лишь прихватил легонько полу бушлата – там, где хваталась рука убитого, – и качнул хвостом, показывая, что выборка им исполнена. За это получил он невиданное поощрение – из рук самого Главного – и с этого дня стал признанным отличником по выборке из толпы.

Отсюда, от этого дня его торжества, пролегла в памяти Руслана широкая прямая просека, по которой вели они с хозяином человека в бушлате. Ветер шумел в кронах огромных сосен, и, сталкиваясь, они роняли охапки снега, разлетающиеся радужной осыпью. Была великая тишина, покой, и всю до-

рогу человек шел спокойно и не спеша, нес лопату на плече или волочил за собою, чертя по снегу зигзаги, временами на-свистывал. Сам замороженный этим покоем, он и у Руслана не вызывал предчувствий, что может вдруг прыгнуть в сторону и кинуться в побег, и так же молча они свернули с просеки и прошли тропинкой к черной, выжженной костром поляне. В середине ее зияла яма – неглубокая, с рыжими стенками, хранившими полукруглые гладкие следы ломов и острые треугольнички от кайла. Вот тут он впервые заговорил, повернувшись к хозяину белым злым лицом, с крохотными шрам-чиками на щеке и на лбу. Ему не понравилась яма, он ступил в нее ногою, и там ему оказалось по колено, он даже сплюнул в нее от злости.

– Я один за всех на это дело пошел, – сказал он хозяину, – могли бы и все одного уважать.

– Чем тебя не уважили? – спросил хозяин.

– Понимаешь, черви – они всем полагаются, ты тоже с ними в свой час познакомишься, но, чтоб меня волки выкопали себе на харч, этого ж я не заслужил. Об этом и в приговоре не было – насчет волков.

Хозяину очень хотелось курить, он доставал портсигар и снова его прятал в карман белого своего полушубка – еще больше ему хотелось, чтоб все побыстрее кончилось.

– Значит, к своей же бригаде у ты претензии? – сказал хозяин. – Приговор-то чо обсуждать?

Человек опять сплюнул и вылез из ямы, воткнув лопату в комья насыпи.

– На! Потом хоть притопчешь как следует. Ни к кому у меня претензии нет, ради жмурика\* и я б не уродовался. Бушлат мой – может, снесешь им? Пускай разыграют. Снять – чтоб тебе не трудиться?

Хозяин, не отвечая ему, потянул автомат с плеча.

– Что же не отвечаешь? – спросил человек. – Или совсем уже я безгласный?

Все длилось мучительно долго, Руслан весь дрожал и стискивал челюсти, готовый завывать. И что-то еще случилось у хозяина с автоматом, он никак не мог дослать затвор, и человек этот так надеялся, что у него сегодня не получится. Но хозяин сказал: «Ща исправим, не бойся» – и вправду испра-

---

\* *Жмурик* – покойник (блатной жаргон).

вил. Он выбросил смятый патрон, затвор закрылся с лязгом, и случайно вылетела короткая очередь в небо. Тогда-то этот человек и приник к сапогам хозяина. Он добрался до них на четвереньках и прижался так сильно, что, когда оторвал лицо, на его лбу и на губах остались черные пятнышки. Он улыбался бледной заискивающей улыбкой и говорил совсем не так, как до этой минуты, когда прогрохотала страшная очередь и едко-приторно запахло пороховой синью. Он говорил, что выстрелы уже прозвучали и услышаны в зоне и теперь хозяин может его отпустить; он уползет в леса и станет там жить, как змея или крыса, ни с кем из людей не видясь до конца дней своих, которых, наверное, немного уже и осталось, и только одного человека в мире – хозяина – он будет считать братом своим, молиться за него всегда и вспоминать благодарно, будет любить его сильнее, чем мать и отца, чем жену и своих неродившихся детей. Не различая слов, Руслан слышал большее, чем слова, – страстное обещание любви, ее последнюю истину, ее слезы и толчки крови в висках, – и чувствовал с ужасом, как его самого переполняет ответная любовь к этому человеку; он верил его лицу с запавшими горящими глазами; ничуть не помраченный разум горел в них, не жаждал этот человек другой, лучшей жизни, которой нигде не было, а только той участи, которой довольно всему живому на свете.

– Ну, ты чо, маленький? Не слышишь, чо лепечешь? – уговаривал его хозяин. Он стоял спокойно, не боясь, что тот рванет его за ноги или выхватит автомат, он знал, как слаб против него любой из лагерников и как быстро кидается Руслан на помощь. Если б знал он сейчас, что Руслан как будто окаменел и не смог бы даже пошевелиться! – Ты походишь и объявисси, а мне тогда с тобой на пару – стенка. Потому что куда тебе деться? Листиками будешь питаться, ящериц жрать, а после за людей примешься. Чо, не правду я говорю? Не ты ж первый... Так что считай – дело кончено. И давай вставай, себя не мучай мечтами. Не бойсь, я тебе больно не сделаю, как другой кто-нибудь. Ну, вставай, не бойся, договорились же – больно не сделаю.

Он встал, этот человек, и крепко отер лицо рукавом.

– Делай, как умеешь. Шакалей жизни – и то ты мне пожалел. Вспомнишь еще не раз...

– Знаю, – сказал хозяин. – Все, что ты скажешь, уже знаю. Не наговорился еще?

Они не сделали больно тому человеку, но всю обратную дорогу Руслан не мог унять дрожи, скулил и рвался из ошейника, все хотелось ему вернуться и разгрести лапой мерзлые комья, задавившие белое успокоенное лицо. Никогда не вел он себя так плохо, и хозяин был вынужден жестоко отхлестать его поводком. Может быть, с этого дня хозяин и невзлюбил его.

Те мерзлые комья остались в душе Руслана, отягчив ее страхом и чувством вины, – будто он предал хозяина, обманул его надежды, будто и себя выдал, что не истинно служит в конвое, лишь притворяется, – а такую собаку можно без промедлений отвести за проволоку, потому что она в любую минуту может подвести, сделает что-нибудь не так или откажется сделать. И сколько они потом ни водили других людей в лес, хозяин уже не верил до конца Руслану, за которого сам когда-то поручился. В молодости Руслан прошел все науки, для которых и рождается собака; он прошел общую дрессировку – всю эту нехитрую премудрость: «сидеть», «лежать», «ко мне», – блестяще себя показал в розыске и в караульной службе, но когда подвинулся к высшей ступени – конвоированию, инструктор засомневался, выдержит ли Руслан этот последний экзамен. И не на площадке его надлежало выдержать, где всегда тебя поправят, а в настоящем конвое, где на все одна команда: «Охраняй!» – а там как знаешь, сам шевели мозгами. И предмет охраны не склад, который никуда не убежит и особых чувств у тебя не вызывает, а ценность высшая и труднейшая – люди. За них всегда бойся и не чувствуй к ним жалости, а лучше даже и злобы, только здоровое недоверие. «Ниче, – сказал тогда хозяин. – Обвыкнется. Не сорвется». А сколько срывались! Скольких отбраковывали и увозили куда-то на грузовике, и то если собака была молодая и могла пригодиться для другой службы. Познавшим службу конвоя один был путь: за проволоку.

Всех обманул Ингус. Он казался таким способным, все схватывал на лету. Он покорила инструктора в первое же свое появление на площадке. Инструктор только успел сказать:

– Так. Будем отрабатывать команду «ко мне».

Ингус тотчас же встал и подошел к нему. Инструктор пришел в восторг, но попросил повторить все сначала. Ингус вернулся на место и по команде опять подошел.

– Чудненко! – сказал инструктор. – А как насчет «сидеть»?

Ингус сел, хотя ему даже не надавливали на спину.

– Встанем.

Ингус встал. А инструктор присел перед ним на корточки.

– Дай лапу.

Ингус ее тотчас подал.

– Не ту, кто же левую подает?

Ингус извинился хвостом и переменял лапу. С тех пор он подавал только правую.

– Не может быть, – сказал инструктор. – Таких собак не бывает.

Он взял учетную карточку Ингуса, чтобы убедиться, что тот еще не проходил дрессировку и знает только свою кличку и команду «место!».

– Так я и думал, – сказал инструктор. – У него, конечно, исключительная анкета. На редкость удачная вязка! Какие производители! Я же помню Рема – редчайшего ума кобель. И матушка – Найда, ну как же, четырежды медалистка. Ее воспитывал сам Акрам Юсупов, большой знаток, кого с кем повязать. А сынишку он, видно, для Карацупы готовил, отсюда и кличка\*. И все-таки я говорю: «Не может быть».

Он созвал хозяев подивиться необыкновенным способностям Ингуса. Он спросил у них, видели ли они что-нибудь подобное. Хозяева ничего подобного не видели. Он спросил, не кажется ли им, что под собачьей шкурой скрывается человек. Хозяевам этого не показалось. Человек в любой шкуре от них бы не укрылся.

– Что я хочу сказать? – сказал инструктор. – Если б такая собака была на самом деле, я бы здесь уже не работал. Я бы с нею объездил весь мир. И все поразились бы, каких успехов достигло наше, советское собаководство, наши гуманные, прогрессивные методы. Потому что такие собаки могут быть только в нашей стране!

Ингус внимательно слушал, склонив голову набок, как ему и полагалось по возрасту, но глаза были недетски серьезны. И уже тогда, в первый день, заметили в этих янтарных глазах тоску.

---

\* Всех собак легендарного Карацупы, задержавшего около пятисот нарушителей границы, звали Ингус.

Он рос, и росла его слава. С легкостью необычайной переходил он от одной ступени к другой – да не переходил, а перепрыгивал. Сухошавый, изящный и грациозный, он стрелю мчался по буму, играючи одолевал барьеры и лестницу, с первого раза прыгнул в «горящее окно» – стальную раму, политую бензином и подожженную, в розыске показал отличное верхнее и нижнее чутье\*. Оправдал себя и в карауле, хотя хорошей злобности не выказал, а скорее какую-то неловкость и смущение за дураков в серых балахонах, пытавшихся стащить у него мешок с тряпками, порученный ему для охраны. В гробу он видел и этот мешок, и эти тряпки, но ни разу не отвлекли его, не смогли подойти незаметно или проползти на животе за кустами, чтобы напасть со спины. Он показывал, что видит все их проделки, и самим балахонам делалось неловко, когда с такой грустью смотрели на них эти янтарные глаза.

Джультбарс тогда обеспокоился не на шутку. Законный отличник по своим предметам – злобе и недоверию, он, однако, лез быть первым во всем, хотя чутьецо имел средненькое, а по части выборки был совершенная бестолочь: когда его подвели к задержанным, он до того переполнялся злобой, что запахов уже не различал, хватал того, кто поближе. Но он считал, что если собака не постоит за себя в драке, то все ее способности ничего не стоят, и всем новичкам, входившим в моду, предлагал погрызться. Не избежал его вызова и Руслан – и испытал натиск этой широкой груди и бьющей, как бревно, башки. Дважды он побывал на земле, но покусать себя все же не дал, а зато у Джультбарса еще прибавилось отметин на морде, к чему он, впрочем, отнесся добродушно, даже покачал хвостом, поощряя молодого бойца. С Ингусом все вышло иначе: он просто отвернулся, подставив для укуса тонкую шею, и при этом еще улыбался насмешливо, показывая, что не видит смысла в этих солдатских забавах. Старый бандит, конечно, впился в него сглупа и уж было пустил кровь, да вовремя сообразил, что нарушает правило хорошей гзызни: «Кусай, но не до смерти», – и отступил, не дожидаясь трепки от всех собак сразу.

Джультбарс, однако, скоро утешился. Он увидел – а другие собаки это и раньше видели, – что первенствовать Ингусу не

---

\* «Верхнее чутье» — способность улавливать запахи в воздухе, «нижнее» — читать следы на земле.

дано. Не рожден он был отличником – во всем, что так легко делал. Не чувствовалось в нем настоящего рвения, жажды выдвинуться, зато видна была скука, неизъяснимая печаль в глазах, а голову что-то совсем постороннее занимало, ему одному ведомое. И скоро еще одно заметили: он мог десять раз выполнить команду без заминки, и все же хозяин Ингуса никогда не мог быть уверен, что он выполнит в одиннадцатый. Он отказывался начисто, сколько ни кричали на него, сколько ни били, и, отчего это с ним происходило и когда следовало ждать, никто понять не мог. Вдруг точно столбняк на него напал, он ничего не видел и не слышал, и только инструктору удавалось вывести его из этого состояния.

Инструктор подходил и садился перед ним на корточки.

– Что с тобой, милый?

Ингус закрывал глаза и отчего-то мелко дрожал и покусывал.

– Не переутомляйте его, – говорил инструктор хозяевам. – Это редкий случай, но это бывает. Он все это знал еще до рождения, у мамы в животе. Теперь ему просто скучно, он может даже умереть от тоски. Пусть отдохнет. Гуляй, Ингус, гуляй.

И один Ингус разгуливал по площадке, когда все собаки тренировались до одури. К чему это приведет, заранее можно было догадаться. Однажды он просто удрал с площадки. Удрал вовсе из зоны.

Он должен был пройти полосу препятствий вместе с хозяином, но без поводка. И вот они вдвоем пробежали по буму, перемахнули канаву и барьер, прорвались в «горящее окно», а напоследок им надо было проползти под рядами колючки, натянутой на колышки, но туда полез только хозяин Ингуса, а сам Ингус помчался дальше, перепрыгнул каменный забор и понесся широкими прыжками по пустынному плацу. Его не остановила даже проволока, – ну, под проволокой собаке нетрудно пролезть, но как преодолел он невидимое «Фу!», стоящее перед нею в десяти шагах и плотное, как стекло, о которое бьется залетевшая в помещение птица? И куда смотрел пулеметчик на вышке, обязанный во все живое стрелять, нарушающее Закон проволоки!

Когда сообразили погнаться за Ингусом, он уже пересек поле и скрылся в лесу. Он мог бы и совсем уйти – бегал он



быстрее всех и ему не надо было тащить на поводке хозяина, но проклятая мечтательность и тут его подвела. Что же он делал там, в лесу, когда его настигли? Устроил, видите ли, «поваляски» в траве, нюхал цветы, разглядывал какую-то козявку, ползущую вверх по стеблю, и, как замороженный, тоскующими глазами провожал ее полет... Он даже не заметил, как его окружили с криками и лаем, как защелкнули карабин на ошейнике, и, только когда хозяин начал его хлестать, очнулся наконец и поглядел на него – с удивлением и жалостью.

Когда пришло время допустить Ингуса к колонне, тут были большие сомнения. Инструктор не хотел отпускать его от себя, он говорил, что у Ингуса еще не окрепли клыки и что лучше бы его оставить на площадке – показывать работу новичкам. Но Главный-то видел, что с ватным «Иван Ивановичем» Ингус справляется других не хуже, а насчет показа, сказал Главный, так это инструктор и сам умеет, за это ему и жалованье идет, а кормить внештатную единицу – на это фонды не отпущены. И сам Главный решил проэкзаменовать Ингуса. Все волновались, и больше всех инструктор, он очень гордился своим любимцем и все же хотел, чтоб тот себя показал в полном блеске. И что-то с Ингусом сделалось – может быть, не хотелось ему огорчать инструктора, а может быть, снизошло великое вдохновение, оттого что все только на него и смотрели, но был он в тот день неповторим и прекрасен. Он конвоировал сразу троих задержанных; двое пытались бежать в разные стороны, и всех их он положил на землю, не дал даже головы поднять и не успокоился, пока не подоспела помощь и на всех троих не защелкнулись наручники. Целых пять минут он был хозяином положения, Главный сам следил по часам и сказал инструктору:

– Вы еще в меня сомневаетесь! Работать ему пора, а не цветочки, понимаешь, нюхать.

Но когда допустили Ингуса к колонне, выяснилось, что работать он не хочет. Другим собакам пришлось работать за него. Колонна шла сама по себе, а он гарцевал себе поодаль, как на прогулке, не обращая внимания на явные нарушения. Лагерник мог на полшага высунуться из строя, мог убрать руки из-за спины и перемолвиться с соседом из другого ряда – как раз в эту минуту Ингуса что-нибудь отвлекало, и он отво-

рачивался. Но ведь помнился хозяевам тот экзамен, похвала Главного! Оттого, наверно, и прощалось Ингусу такое, за что другой бы отведал хорошего поводка. И только собаки предчувствовали, что ему просто везет отчаянно, а случись настоящее дело, настоящий побег – это последний день будет для Ингуса.

Так он и жил – с непонятной своей мечтой, или, как инструктор говорил, «поэзией безотчетных поступков», всякий день готовый отправиться к Рексу, а умер не за проволокой, а в лагере, у дверей барака, умер зачинщиком собачьего бунта.

В цепкой памяти Руслана был, однако, свой порядок событий, свое прихотливое течение, иногда и попятное. Все лучшее отодвигалось подальше, к детству; там, в хранилище его души, в прохладном сумраке, складывались впрок сладкие мозговые косточки, к которым он мог вернуться в тягостные минуты. Все же обиды и огорчения, все скверное он тащил на себе, как приставшие репы, которые нет-нет и стрекнут еще свежим ядом. И вот выходило по хронологии Руслана, что та счастливая выборка, тот день его отличия, торжества – остались чуть не на заре его жизни, и там же лежал «Войдите-В-Мое-Положение», удушенный тросом, – к несчастному собачьему бунту, как будто вчера случившемуся, он уже поэтому не мог иметь отношения. Но когда потекли воспоминания о бунте, когда наполнились запахами, звуками, цветом, «Войдите-В-Мое-Положение» вошел в них еще живой, он вошел в теплую караулку, дыша себе на руки, и сообщил хозяевам что-то тревожное, от чего они тотчас побросали окурки и поднялись, разбирая автоматы и поводки.

Вскочили и собаки, разомлевшие в тепле, одуревшие от вони овчинных полушубков, и уже рвались с хрипом на двор, позабывши начисто, почему их в этот день не гоняли на службу. Боже, какой мороз схватил их за морды когтистой лапой! Он калеными иглами пронзил ноздри и вытек из глаз слепящей влагой; даже во лбу от него заломило, точно они в прорубь окунулись. И уж тут не помнилось, куда же он делся, «Войдите-В-Мое-Положение», тут хронология прощалась с ним навсегда, – то ли остался в караулке, то ли это он, весь нахотленный, плечом отодвигал воротину и потом спрятался в будке у вахтера, а может быть, он исчез возле самого барака, рассеялся в тумане, осыпался льдыстыми искрами, и их замело

поземкой. Завидев барак, собаки опять стали рваться – там уж какая ни будет работа, а все же тепло! – но Главный хозяин, который шел впереди и время от времени оборачивался и тер себе рукавицей багровое лицо, всех остановил у дверей. А сам, подкравшись, отворил их без скрипа и стал слушать, вздев одно ухо на ушанке.

Из тамбура потянуло теплом и привычным смрадом и слышался неясный гул – вот так собачник гудит, возмущенно и неразборчиво, когда запаздывает кормежка. За тонкими вторыми дверьми что-то громадное ворочалось, стучалось глухо об пол или об стенки, исходило криками и причитаниями, быстрым запальчивым бормотанием. Похоже, происходила одна из тех свар, которые у людей невесть с чего начинаются, с полуслова, раздраженного спора, и неумолимо, бешено разрастаются в грызню, а потом так же быстро остывают, и все расходятся, но кто-нибудь, бывает, и остается лежать с прижатыми к животу руками, корчась в судороге, а то и вовсе не шевелясь.

Главный хозяин открыл и эти двери – пошире, точно в них должен был грузовик пройти, – и стал на пороге, по пояс в морозном облаке.

– Сука, закрой, а то ушибу! – И вслед за этим хриплым воплем, долетевшим из темной глубины, что-то еще прилетело тяжелое и шмякнулось о косяк рядом с его ушанкой.

Главный хозяин спокойно выждал, когда утихнет.

– Так, – сказал он, покачиваясь, заложив руки за спину, – Так. Значит, судьбы родины обсуждаем?

Барак совсем замолк. Но тотчас же кто-то, поближе к дверям, отозвался с готовностью:

– Что вы, гражданин капитан. И думать себе не позволим! Мы только о том, что не возбраняется в свободное время.

– Ага... А то я иду мимо – шо-то, смотрю, в их жарко сегодня. Может, думаю, поработать надо дать людям. А то ж стоятся.

Барак опять отозвался – тем же голосом, с легким быстрым смешком:

– Работать – это мы всегда, с большой радостью. Только градусник, сука, ниже нормы упал.

– Вы вже поглядели? А я ще нет. Так мне сдается, шо вроде потеплело.

– Гражданин капитан! – Он был неистощим, этот голос, и столько в нем было приветливости, вкрадчивого умиления. – За что мы вас так уважаем? За хороший, здоровый юмор. Зайдите, будьте добреньки, а я дверь закрою.

И неясная тень приблизилась к облаку, вошла в него. Но Главный ее отстранил рукою.

– Так я ж разве против шуток? Я и дебаты, если хотите, признаю, когда культурно, выдержанно. Но только ж работа страдает, это ж нехорошо.

В темном нутре барака опять возникло гудение. И другой голос – хриплый, таящий в себе надреманное тепло и тоску расставания с ним, – спросил с унылой безнадежностью:

– Стрелять будешь?

– Как это «стрелять»? – удивился Главный. – Шо в меня – восстание в зоне, шоб я стрелял? Нету ж восстания?

– Нету, – облегченно, радостно выдохнул барак. – Нету!

– Видите? Так шо – зачем я буду стрелять? Лучше я каток вам тут залью.

– Какой каток?

– Обыкновенный. Вы шо, катка не видели? В кого коньки есть, тот покатается.

Робкая тень опять приблизилась, попыталась проскользнуть в двери и была отодвинута рукою Главного.

– Нет, это мне толку мало, шоб один вышел или десять. Мне – шоб все, дружно.

Барак только на миг затих, только чтоб успело прозвучать тоскливое, молящее:

– Братцы! Ну, выйдем. Сами ж виноваты.

И тотчас опять заворчалось громадное, забилося в корчах, разразилось воплями:

– Ложись ты, сука, убую!..

– Закон есть!..

– Ниже нормы градусник!.. Не выгонишь!

– Ложись все!..

– Закон!..

Они не видели, что катушка с пожарным рукавом уже покатила от водокачки. Двое хозяев толкали ее, наваливаясь на лом, продетый в середину, и, не докатив немного до дверей, повалили ее на снег. К ним еще двое кинулись сбрасывать оставшиеся витки, а те ни секунды не ждали, схватили желтый

сияющий наконечник и с ним побежали к дверям. Главный хозяин отошел со скорбным лицом, грустно выдохнул пар изо рта и кому-то вдаль махнул рукавицей. И оттуда, куда махнул он, потек еле слышный шорох, сплюсненный рукав стал оживать, круглиться, из желтого наконечника выплунулось влажно-свистящее шипение, и те двое пошатнулись в тамбуре. Толстая голубая струя ударила под потолок барака, спустилась ниже, снесла лежащего на верхних нарах вместе с его пожитками, несколько робких теней, ринувшихся навстречу, отшибла вглубь. Двое хозяев, упираясь сапогами в скользкий порог, с трудом удерживали тяжелый наконечник, струя металась у них из стороны в сторону и раздавала удары, гулкие, как удары дубинки. Над их головами потекло из барака белое облако, и вместе с надышанным теплом вылился не крик, не вопль, а протяжный прерывистый вздох, какой издает человек, перед тем как надолго погрузиться в воду.

Этим вздохом забило уши Руслану, и он уже почти не слышал, как брызнули стекла в окошках и затрещали рамы, не понял, что за серая дымящаяся пена поползла из окон на снег, понял лишь, когда она стала распадаться на отдельных людей, пытавшихся подняться, в то время как сверху на них валялись другие. Главный хозяин вытащил руку из-за спины и показал в их сторону, — струя, потрескивая, опустилась на них плавно изгибающейся дугой, задержалась надолго и возвратилась в барак. Но те, выпавшие из окон, уже не пытались подняться, а только слабо шевелились на снегу, сами делаясь белыми прямо на глазах.

Руслан, не в силах устоять на месте, вертелся и взвизгивал, поджимая то одну, то другую лапу. Эти белые блестящие, покрывавшие их одежду кольчугой, он словно бы ощутил на своей шкуре, плотной и пушистой и все же продуваемой ледяным ветром. И понемногу блестящие стали желтеть, что случилось с ним в минуты наивысшей злобы, и сквозь желтую пелену он только и видел отчетливо — толстый, шевелящийся на снегу рукав. Эта гадина подползала к его лапам, брызгаясь из своих мельчайших прорех, а в одном месте, переламываясь складкой, которую хозяева не успевали расправлять сапогами, приподнималась и зависала прямо перед носом у него, угрожая броситься, но сразу же опадая, как только Руслан подавался навстречу.

На его счастье, кто-то был моложе, нетерпеливее – и не выдержал первым. Руслан услышал его звенящее рычание, и по краю желтой пелены промелькнул он сам – темно-серый и тонкий, вытянутый в прыжке. Угрозу, предназначавшуюся Руслану, Ингус перехватил на лету, упал с закушенным рукавом и придавил лапами. Тот сразу же стал вырываться, и это еще придало Ингусу злости; он рвал своего врага с остервенелым урчанием, мотая голову, и из-под клыков его брызгало радужными искрами. Те двое хозяев, что держали наконечник, закричали и потащили рукав к себе, но вместе с Ингусом. А поводок тащил его назад, сдавливая тонкую шею, и у Ингуса помутились глаза, налились кровью, но он не опустил взятое.

– Шо то с им? – спросил Главный хозяин. Он уже подходил не спеша, он надвигался – божество с голубыми страшными глазами, с гневным лицом, подпирая своей ушанкой голубой купол небес. А Ингус лишь покосился в его сторону, Ингусу было не до него. – Шо с им, я спрашиваю? Сбесился?

– Холера его знает, тарщ ктан, – сказал хозяин Ингуса. Он был в отчаянии. Он пнул Ингуса в бок сапогом, Ингус жутко всхрипнул, но не разжал клыков. – Что с ним всегда. Вы ж знаете...

– А ну, дайте сюда. – Главный хозяин протянул руку, и один из хозяев кинулся подать ему лом. Главный досадливо поморщился. – Та не, я ж вам не то показываю.

Он протягивал руку к автомату. Хозяин Ингуса торопливо, суетясь, стащил через голову ремень. И с болью, угнездившейся навсегда в душе Руслана, он увидел наконец, как же это бывает, когда собаку уводят за проволоку. Дырчатый вороненый кожух опустился, закачался над головой Ингуса, как бы примериваясь вонзиться между буграми крутого лба и оттянутыми в ярости ушами, но не вонзился, а в нем самом, в кожухе, что-то быстро задвигалось, и вокруг скошенного черного рыльца вспыхнул яркий, красно-оранжевый ореол, а из головы Ингуса... из черной рваной дыры плеснуло горячим, розовым, с белыми осколками. И, содрогнувшись, Ингус стал вытягиваться – голову к ногам Главного хозяина, точно тянулся еще напоследок положить закушенный рукав на его сапоги.

Хозяин Ингуса хотел выдернуть рукав – и голова Ингуса запрокинулась: он еще жил, еще шевелился, но лишь челю-

стями, сжимавшимися в последней хватке. Хозяин Ингуса бросил рукав и выпрямился. Он смотрел, и смотрел Главный, и другие хозяева, как толстая серая гадина мечется и возит по снегу окровавленную голову Ингуса. Но зверь на это смотреть не может, и Руслан не стал смотреть, он упал рядом с Ингусом. Еще и теперь, вспоминая, как все случилось, он ощутил фанерную твердость рукава и льдистый холод, пронзивший его клыки. И всю безнадежность перегрызть брезентовое горло он почувствовал сжавшимся сердцем, – только прокусить он мог, наделать еще прорех, из которых били с шипением колючие струйки, а загревок, беззащитный загревок дыбом встал от жгучей близости черного рыльца, из которого должна была, не могла же не грянуть расплата! Но, переживая не раз свой несчастный проступок, он все же не мог до конца почувствовать себя виноватым. Ведь и хозяева делали то, чего никак не могли одни двуногие делать с другими двуногими, и разве только он, Руслан, пошел за мертвым Ингусом? Его одиноличный грех длился только миг, и тотчас же его разделили другие. Что-то большое, сильное, серое перемахнуло через Руслана и, круто повернув, рухнуло всей тушей. Скосясь, он увидел Байкала, всегда такого спокойного и послушного, еще через мгновение бросилась хитрая Альма, совсем близко от челюстей Руслана приладил мохнатые челюсти Дик – отличник по охране задержанных, – и вот уже вся стая полезла грызть ненавистный рукав. Они все, все вышли из повиновения, презрели долг и приказ, забыли о вечном страхе перед черным рыльцем, и хозяевам пришлось узнать, что своих зверей они тогда только могут подчинять себе, когда те особенно не возражают. А сейчас они были глухи и к бешеным рывкам поводка, от которых чуть не ломалось горло, и к ударам сапогом под брюхо, и к тому, что сам Главный хозяин в гневе размахивал автоматом и кричал, чтоб все отошли и не мешали ему перестрелять этих тварей одной очередью: все равно они порченые и нужно набрать новых! А такие вещи понимает собака, как ни груб и ничтожен человеческий язык. Но кто же из них сумел опомниться, кто отступил благоразумно? Иногда то один, то другой поднимал морду к бездонному холодному небу и выл, жалуясь не на боль, а на свой же собственный грех, на свой бедный разум, который не в силах справиться с безумием. Если бы кто-нибудь разгадал собачьи молитвы, он

бы узнал, что это одна и та же извечная жалоба – на свою немощь проникнуть в таинственную душу двуногого и постичь его бессмертные замыслы. Да, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону Добра, и в сторону Зла, но не всюду его сможет сопровождать зверь, даже готовый умереть за него, не до любой вершины с ним дойдет, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт.

И кто бы подумал, что всех выручит Джульбарс? Единственный, кто сохранил спокойствие, всеми забытый, он вдруг сошел с места, потягиваясь со сладостью, как будто на драку выходил за свое первенство, когда уже все противники свели счеты. Никто не заметил, когда он успел перегрызть поводок – а он их постоянно грыз, когда нечего было грызть и некого кусать, – но все увидели, как он идет не спеша, с волочащимся по снегу обрывком. Он подошел вплотную к Главному и стал против черного зрачка, загораживая остальных собак, а своими полтора глазами зорко следил, чтоб Главный не положил палец на спуск: маленькое незаметное движение, но отлично известное Джульбарсу, – столько раз его показывал на площадке инструктор, – и оно могло стать последним в жизни Главного хозяина. И Главный не решился положить палец, он-то знал, что за деятель этот Джульбарс, которого он подпустил так близко. Он немножко растерялся, а Джульбарс и это отлично понял, поэтому и позволил себе небольшую вольность – поддел своей раздвоенной медвежьей башкою черный ствол и чуть подбросил кверху. Главный от этой наглости оторопел, но все же она ему понравилась, лицо у него смягчилось, и он сказал, утирая лоб варежкой:

– Ничо, пусть погрызут собачки. Воды хватит.

Тогда Джульбарс, все так же спокойно, повернулся к нему задом и пошел на место.

Их безумие скоро прошло, и все они поняли, с каким врагом схватились. Он наказал их, как они и не ждали, – Руслан об этом вспомнить не мог без дрожи. Так живо опять почувствовалось ему, как он захлебывается упругой и обжигающей, бьющей из прорех водою, а шерсть на его животе, где она так нежна, так длинна и пушиста, примерзает к ледяному намытому бугру и рвется с болью, и ему уже самому не встать. Во что превратились они все, укрытые всегда своими роскошны-



ми шубами, а теперь промокшие до последней шерстинки и враз отошавшие, жалкие, слезно молящие о пощаде!

Этой же струею хозяева потом вымывали их, примерзших к наледи, и бегом утаскивали в караулку, а некоторых, кто даже стоять не мог, волоком тащили на полушубках. Там они все сползались в один угол, вылизываясь и жалуясь друг другу на случившееся. Их растаскивали, а они сползались опять – их низкий закон повелевал им в несчастье ободрять друг друга, а в мороз греть и сушить.

А потом была полная ужасов ночь, когда их развели по кабинам и оставили каждого наедине со своим грехом. Конечно, они могли перелаиваться сквозь стенки, но это уже никого не грело, и больше им нечего было передать друг другу, кроме взаимных упреков и смертных предчувствий. Многим тогда приснился Рекс, они слышали его голос, хриплый от стужи и ветра, – Рекс плакался, как ему одиноко за проволокой, и звал всех к себе. А кто постарше, вспоминали какого-то Байрама, которого Руслан не застал, но который, оказывается, еще до Рекса торил эту тропу, а для совсем старичков первой была знаменитая Леди, которую хозяева называли еще «Леди Гамильтон», – она-то и открывала всю злосчастную плеяду, а до нее история лагеря тонула во мраке.

Утром хозяева пришли в обычный час, принесли еду, но к собакам не прикасались. Они чистили кабины, трясли в коридоре подстилки и переговаривались злыми голосами, неодобрительно отзываясь о Главном хозяине, и одни говорили, что он «конечно, справедливый, но зверь», а другие им возражали, что он «все ж таки зверь, хотя справедливый». Потом пришел сам Главный и велел пощупать у собак носы:

– В кого горячий, нехай отдыхают, а других – выводить. Та следить мне, шоб никаких таких эксцессов не було! Зачем в такую же стужу вывели их на службу? Зачем заставили сидеть полукругом в оцеплении перед тем же бараком, теперь безмолвным, не вызывающим у собак ничего, кроме смутной тягости от вчерашнего? Неужели же охранять огромный этот ящик на колесах, стоявший под окнами, эту дощатую фуру, которую они всегда видели, когда в лагере бывали смерти? Две заплаканные лошаденки, помахивая головами, похожими на молотки, уныло вкатывали ее в лагерные ворота и тащили от барака к бараку, а потом, нагруженную иной раз доверху,

трясли по колдобинам к лесу, и собакам в головы не приходило, чтоб кто-нибудь посягнул на то, что в ней везли. Да эта фура себя охраняла сама лучше любого конвоя: зимой она жуть наводила шуршанием и костяным стуком об ее высокие щелястые борта, а в летний зной, когда над нею густо роились мухи, бежать хотелось куда глаза глядят от ее тошнотного смрада. Когда бы Руслан мог давать названия запахам, он сказал бы, что от этой фуры пахнет адом. Как все его собратья, не принимал он смерти-небытия, где вовсе ничего нет и пахнуть ничем не может, — и что такое собачий ад, он все же смутно представлял себе: это, наверно, большой полутемный подвал, где всех их, байрамов и рексов, прикованных цепью к стене, день-деньской хлещут поводками и колют уши иглой, а есть дают одну сплошную горчицу. Картина человеческого ада представлялась ему загадочней, но, верно, и там веселого было мало, уже и того довольно, что люди отправлялись туда совершенно голыми. Их одежду делили между собою живые, и Руслан долго путал их с ушедшими или подозревал, что те где-то прячутся поблизости и вот-вот объявятся. На его памяти никто, однако, не объявился; в свой подвал они тоже уходили на долгий срок, и столько же было надежды их дожждаться, как встретиться с живым Рексом. Но что объединяло эти два ада — непонятный, неутешимый страх и глухая тоска, с которыми не совладать, от которых не деться никуда, стоит тебе лишь коснуться этой жуткой тайны.

В тишине безветрия был слышен мороз: шелестел пар из лошадиных ноздрей, с треском лопались комья навоза, потрескивало, постанывало все дерево фуры. Лошаденки, с заиндевевшими гривами и хвостами, стояли не шелохнувшись, и понуро сутулился возница на козлах, никак не откликаясь на громкий стук за спиною, будто кидали ему из окон большие белые свежерасколотые поленья. Лишь раз он обернулся поглядеть, не перегрузят ли его сегодня, и опять укутался до бровей в свой черный тулуп.

Главный хозяин, который один похаживал внутри оцепления, нервничал напрасно. Он мог быть доволен, как все спокойно происходило и как терпеливо несли свою службу собаки, хоть очень уж пристуживало зады на снегу и клыки плясали от судороги. Они чувствовали спинами, как из других барачков смотрят в продышанные зрачки окон чьи-то

горящие глаза, иногда и сами не выдерживали и оборачивались, – да в такой мороз, когда все запахи глохнут, по их понятиям, ничего произойти не могло. Ничего и не произошло, только вдруг один из двоих, нагружавших фуру, высунулся и крикнул, грозя кулаком Главному: «Вы за это ответите!» – но другой ему тут же зажал рот рукавицей и оттащил подальше в сумрак. Главный в это время стоял спиной к окну и не обернулся.

Эту скорбную службу они высидели до конца, как хотелось Главному, и за то, наверно, и были все прощены. Пожалуй, останься с ними Ингус, и он бы ее высидел, и тоже б его простили. Ужасно всех придавило, как все нелепо вышло с Ингусом; даже Джульбарс, который к нему всегда ревновал, и тот в себя не мог прийти, считал, что это его недосмотр. Но больше всех поразило то, что случилось, инструктора. После собачьего бунта он ходил как оглушенный. Он стал путаться в собачьих кличках, говорил, например, Байкалу или Грому: «Ко мне, Ингус!» – и удивлялся, что они его не слушаются. Ему всюду мерещился Ингус, постоянно он его высматривал в стае, хотя собаки давно уж сообщили инструктору, что Ингус лежит за проволокой с куском брезента в пасти, который пришлось вырезать, потому что он так и не отдал его своими «неокрепшими» клыками, а хозяевам лень было дробить ему челюсти ломом.

Так и не дождавшись своего любимца, инструктор вот что придумал: стал сам изображать Ингуса. В самом деле, в нем появилось что-то ингусовское: та же мечтательность, задумчивость, безотчетность поступков, он даже и бегал теперь на четырех, пританцовывая, как Ингус. И все больше эта игра захватывала инструктора, все чаще он говорил: «Внимание, показываю!», – и все лучше у него получалось, – а однажды он взял да и проделал это в караулке: о чем-то заспорив с хозяевами, вдруг опустился на четвереньки и залаял на Главного. Так, с лаем, он и вышел в дверь, открывши ее лбом. Хозяев он рассмешил до слез, но когда они отреготались и решили все-таки поискать инструктора – где же они его нашли? Он забрался в Ингусову кабину и вызверился на них с порога, рыча и скаля зубы.

– Я Ингус, поняли! Ингус! – выкрикивал он свои последние человеческие слова. – Я не собаковед, не кинолог, я больше не человек. Я теперь – Ингус! Гав! Гав!

И тут-то собаки впервые поняли – *о чем он лает*. В него переселилась душа Ингуса, вечно куда-то рвавшаяся, а теперь поманившая их за собою.

– Уйдемте отсюда! – лаял инструктор-Ингус. – Уйдемте все! Нам здесь не жизнь!

Хозяева связали его поводками и оставили на ночь в той же кабине, и во всю ночь не мог он успокоиться и будоражил собак своим неистовым зовом, всю ночь надрывал им души великой блазню густых лесов, пронизанных брызжущим сквозь ветви солнцем, напоенных сладостной прохладой, обещал такие уголки, где трава им повыше темени и кончиков вздернутых ушей, и такие реки, где чистая вода, как слеза, и такой воздух, который не вдыхается, а пьется, и самый громкий звук в этом воздухе – дремотное гудение шмеля; там, в заповедном этом краю, они будут жить как вольные звери, одной неразлучной стаей, по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку! Собаки засыпали и просыпались в жгучем томлении, предчувствуя дальнейшее путешествие, в которое отправятся утром же под руководством инструктора, – уж тут само собою решилось, что он у них будет вожаком, и даже Джульбарс не возражал, согласившись быть вторым.

А утром в прогулочном дворике в последний раз они видели инструктора. Хозяева вынесли его, связанного, и посадили в легковой «газик», крепко прикрутив к сиденью. И так как он лаял непрерывно, рот ему заткнули старой пилоткой. Собаки посидели перед ним, ожидая, что он им что-нибудь покажет – может быть, вытолкнет кляп или освободится от веревок, но он ничего не показывал, а только смотрел на них, и по его лицу катились слезы. Да впору было и собакам забиться в рыданиях – не так переживали они, когда мутноглазыми несмышленищами их отрывали от матерей, как теперь, когда только-только поманила их новая жизнь и заново открыли они и полюбили инструктора, – и все это обрывалось, и возвращалась к ним прежняя, унылая и беспросветная черед будней. <...>

\* \* \*

Он ждал – и дождался. Кто так неистово ждет, всегда дождется. И не какой-то счастливец принес ему эту весть – он

сам оказался в то утро на платформе, когда загорелся красный фонарь и чумазый охрипший паровозик, тендером наперед, закатил в тупик серо-зеленые пассажирские вагоны.

Еще стучало на стыках, еще только засипело внизу, под вагонами, а с подножек уже сыпалось, рушилось нечто невиданное, неслыханное – с криками, гомоном, смехом, топотом сапог и бутсов, шлепаньем тапочек, стуком чемоданов, баулов, рюкзаков. Его оглушило, ослепило, хлынуло ему в ноздри волною одуряющих запахов; он вскочил и помчался, захлебываясь лаем, в другой конец состава – чего не случалось с ним никогда. Ну, да никогда и не приходилось ему встречать такую огромную партию, и такую странную, голосистую, безалаберную, да еще наполовину из женщин, – этих-то зачем столько привезли!

Но Служба пришла – и он был готов к ней; уже через минуту он преобразился, сделался упругим, подобранным, пронзительно-желтоглазым; шерсть на загривке вздулась воротником, а уши и живот и кончик вытянутого хвоста вздрагивали от низкого металлического рыка. И тут же опять он повел себя неприлично, но уже от радости: схватил и поташил чей-то рюкзак, который у него с веселым реготом вырвали за лямки, чуть не с клыками вместе, а он не обиделся и стал кидаться на грудь парням, лизать их соленые лица, пока ему не сунули в пасть угол колючего солдатского одеяла, – и на это он не обиделся, хоть долго не мог отфыркаться. Ведь они все вернулись! И притом – вернулись добровольно! Они убедились, что нет никакой лучшей жизни там, за лесами, вдали от лагеря, – что и было известно всем хозяевам и собакам, – и сами радовались своему прозрению.

Однако и про свои обязанности он не забывал – проследить, чтоб все вышли из вагонов, остались бы только проводники в фуражках, и чтоб отошли на два шага и ждали, не сходя с платформы, пока не придут хозяева.

Ах, как безбожно они запаздывали, а то ведь обычно уже заранее стояли цепочкой – каждый со своей собакой против своей двери. Здесь, на этой бетонной плите, поездной конвой передавал новую партию лагерному; вновь прибывших сажали друг другу в затылок, и руки они держали на затылках, а между рядами ходили хозяева – выкликали, пересчитывали, ошупывали вещи; лишнее – отбиралось и складывалось на грузовик; если кому-нибудь это не нравилось, в дело без команды вмешивались собаки.

Нынче ж все как-то выходило не по правилам: никто не сел, вещи не положили рядышком, а с ними вместе все куда-то повалили гурьбой, – этим они ему рвали сердце. Но он успокоился, когда увидел, что они и не думают разбежаться, с платформы не спрыгивают, а пошли знакомым путем – по ступеням к скверу. Ему только надо было побеспокоиться, чтоб не больно растягивались, а кого и подтолкнуть лапами и мордой. Эта привычка – подталкивать отстающих – откуда у него взялась? Кто первый придумал? Ингус, наверное, в чью бы еще башку пришла этакая несуразица? Потому что тем, кого он подталкивал, это вовсе не нравилось; он-то их толкал – побыстрее в тепло, а они шарахались и вскрикивали в испуге – будто другой радости нет у собаки, как только покусать, ей бы самой поскорей до тепла добраться. Ну, потом это перенял Джульбарс – и, конечно, все испортил по своему сволочному обыкновению. Но ведь то – Джульбарс!

На площади, у ограды скверика, все опять сгрудились в толпу, вещи положили на землю и повернулись лицом к станции. Там на крыльце стояли уже два невысоких человечка в одинаковых серых костюмах, с чем-то малиновым под горлом, один потолще, другой похудее. Толстенький лишь улыбался, заложив руки за спину, тощий же водрузил очки на нос, развернул бумажку и стал ей говорить что-то длинное-длинное, иногда выбрасывая руку в воздух, как будто кидал апорт, и повторял после пауз – разика два или три: «И вот вы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Потом он сложил бумажку, и как раз в это время толстенький достал руки из-за спины и хлопнул в ладоши. Тогда и все стали хлопать и кричать «Ура-а!», а самые задние кричали «Вау!» и были этим очень довольны. Потом на крыльцо взшел кто-то из приезжих, поставил чемодан у ног и тоже достал бумажку. По своей бумажке он говорил уже чуть покороче и повторял немножко по-другому: «И вот *мы*, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Диковинные слова щекотали слух Руслану – как те, что любил выкрикивать Потертый, набравшись из своей бутылки: «санда», «палисандра», «белофинны»... «А кстати, – подумал Руслан, – хорошо бы и его сюда. Может, сбежать?»

Но сбежать-то у него уже не было времени – вот они наговорились, намахались, закурились, подобрали вещи с земли – которых так никто и не проверил! – и начали выстраиваться

в колонну. Вот это уже была новость – и из приятных: они сами построились в колонну! Уже сколько правил было нарушено, но самое главное из них – идти не вразброд, а колонною, – они помнили и соблюдали. И очень довольный, гордый безмерно, что один конвоирует такую большую партию и знает, куда вести ее, он так же привычно, как они, занял и свое место – с правой стороны, ближе к голове строя.

Колонна вышла на главную улицу. Она неторопливо текла по ее отверделым колдобинам, топча подорожник, пыля тысячью ног, и светлая глинистая пыль оседала на редких тополях и остроколых заборах палисадников. Где-то в глубине рядов тренькнула гитара, скрежетнули гармошки, и тотчас с готовностью выбежала вперед девица в мужских штанах, коротко стриженная, как мальчишка, пошла лицом к строю, мелко-мелко выплясывая в пыли и выпевая крикливым надорванным голосом:

Эх, дорожка торна, торна,  
Ты дорожка торная!  
Милый ждал мово покуру,  
А я – ни-па-корная!..

Это было неслыханное нарушение, но его совершила женщина, и Руслан потерялся – как с нею поступить. В его колоннах эти существа были диковинной редкостью, и с ними никаких морок не бывало, разве что они чаще отставали, и приходилось их подталкивать, но зато о побегах они и не помышляли – и в конце концов он к ним проникся безразличием. Он и эту решил не трогать, тем более что от ее выбега строй не разрушился. Гармошки меж тем заскрежетали во всю мочь; девица перевернулась вокруг своей оси и опять пошла спиною вперед, улыбаясь во все скуластое, обожженное загаром лицо. Она еще что-то пропела, но уже совсем беззвучно, потому что мужские голоса густо заревели свое: «Рупь за сено, два за воз, д’полтора за перевоз, ах, чечевика с викою, д’вика с чечевикою», а в других рядах – про «дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону», а еще подальше – что «на заборе сидит кот, поглощает кислород, оттого-то у народа не хватает кислорода».

А в домах приоткрывались слепенькие окошки, и из них выглядывали – кто обалдело, а кто с приклеившейся удивленной улыбкой; в палисадниках и на огородах женщины с по-

доткнутыми юбками разгибали спины и вглядывались, прикрывая глаза ладонью от солнца. Белоголовый старик в солдатской залатанной гимнастерке подошел к низкому штакетнику и молча, бесстрастно смотрел голубыми выцветшими глазами. Руки его, сжимавшие черенок лопаты, были в крупных венах и так же темны, как этот черенок, и таким же темным, в глубоких морщинах, было его лицо, а локти и открытая шея – тонкие и белые, с голубыми прожилками. Старик долго шевелил губами, потом погладил себя по голове и спросил:

– Вы, такие, откуда сгреблись-то? Московские либо? Ай не московские?

– Всякие, папаша! – отвечали ему. – И московские, и брянские, и смоленские. Не видал таких?

– Видал, – сказал старик. – Тут всякие проходили. И брянские, и смоленские. Не пели, однако.

Он улыбнулся шербатым ртом и побрел к своим грядкам.

Так она шла, эта колонна, – горланя, смеясь, перекрикиваясь с посторонними, и от этого счастье Руслана было неполно. Ему не нравились эти новые правила, нарушавшие молчаливое торжество Службы. Но он знал, что должен набраться терпения, эти их крикливость, нервозность, дурашливость пройдут очень скоро, как и излишняя мордастость, и станут они тихими, большелобыми и большеглазыми, как бы изнутри светящимися. И жалел он только, что не может им сообщить, о чем они даже не подозревают, – какой там для их просветления приготовлен просторный лагерь, какие большие, просто чудесные бараки, где они, пожалуй, все-все поместятся, ну разве что некоторых придется втолкнуть, а что нет еще проволоки – то не беда, они же ее и натянут. Свою проволоку, которую не перейдут они потом, даже подойти не посмеют, они всегда натягивали сами.

Вдруг он увидел – отовсюду к колонне сбегаются собаки. Они бегут из переулков, из дворов, перемахивают через заборы, все так похожие друг на друга – с черными гладкими спинами и желтыми пушистыми животами, с одинаковым – бестолково-радостным – оскалом; даже и языки у них, кажется, на одну сторону вывалены; все ему некогда свои – Джульбарс, Енисей, Байкал, неразлучницы Эра и Гильза, Курок и Затвор, Дик и Цезарь, Серый, Смелый, Седой, Альма со своим бело-



глазым, – ну, этому-то шпаку что тут за интерес? Да, впрочем, шпак не один прибежал, выкатилась целая орава дворняжек, все эти трезорки, бутоны, кабысдохи, милки и ремзочки, и та, что вовсе без имени. Последним появился Люкс, которого, впрочем, хозяева иначе как Люксиком не называли, – существо Руслану крайне неприятное, сукоподобное по виду, а душой растленное. В драках этот Люксик сразу валился на спину или жаловался Джульбарсу, который ему покровительствовал. А заслужил Люксик это покровительство тем, что выкусывал у него блох, которых у Джульбарса и не было, но Люксик это так изображал, что все их как будто видели. Вот он чем и держался в стае – подхалимствовал и потешал. Теперь он повалялся в пыли, а потом подпрыгнул и клацнул зубками, как бы ловя улетающую блоху, – для этого-то номера он и припозднился. И собаки его приветствовали за это улыбками и хвостами, тогда как Руслана они как будто и не заметили. Ну, да не он первый сталкивался с этим странным обыкновением толпы, которая обожает шута и тайно ненавидит героя.

Пробегая к своему месту, Джульбарс куснул его дружески в плечо. Руслан отвернулся и заворчал, он не забыл той пленницы и хиляка в безрукавке. Он не был завистлив, но сейчас остро и злобно позавидовал Джульбарсу – всегда эта сволочь ходила первой в колонне, а он, Руслан, только вторым, и теперь ему тоже приходилось попятиться. И вышло ему идти у бедра какого-то малого в новых ботинках на толстой резине – вот еще и резину эту нюхать! И все же не мог он не почувствовать влажной теплоты у глаз, не мог не признать, что бывшие его товарищи, несмотря на свое отступничество, явились по первому зову Службы. Приплелась даже ослепшая Аза и безошибочно заняла свое место – она ходила четвертой слева. Все было сделано как надо, без суеты, молча. Лаяли одни дворняжки, но те-то свой лай вели издалека, а как выкатились, то сразу и поостыли – зрелище было им привычное, хоть и слегка позабытое.

Оттого, что все вышло так просто, спокойно, никто из приезжих не напугался, не стал шарахаться от собак, пристроившихся по обеим сторонам колонны. Кое-кто отважился их погладить – не сказать, чтобы это нравилось собакам, но сносили, чуть только ворча. То ли обленились они, то ли подобрили.

– Мишка, а Мишк! – вдруг заорал этот, на резине, тонкий и с пухлым еще ртом, совсем мальчишка. – Ты чувствуешь, какой сервис? Какой эскорт!

– От поселкома прислали, – откликнулся Мишка. – Или непосредственно от дирекции комбината.

– Я и говорю – забота о живом человеке. Интересное кино! Слушай, а может, они и шмотки понесут?

– Это мысль!

Мальчишка и впрямь положил на спину Руслану свой рюкзак. И Руслан, опять потерявшись, тащил этот рюкзак, к общему их веселью, пока мальчишке это не наскучило.

– Мерси, – сказал он, приподняв кепку. – Будем по очереди.

Его соседка потянулась трепать Руслану загривок. Он отворачивался, сдерживая рычание, и думал о том, как мало они поумнели, эти помраченные, за свое долгое отсутствие. Если так хочется им доставить радость собаке, и непременно руками, то лучше бы убрали их за спину.

Те, кто видел колонну со стороны, кто наблюдал это странное шествие людей и собак, стоя на дощатых тротуарах, или из окон, или поверх заборов, те почему-то уже не улыбались, а смотрели молча и угрюмо. Понемногу и в колонне перестали смеяться и раздражать собак прикосновениями и кричать без толку, и наступила наконец тишина, в которой слышались только дробная поступь людей и жаркое собачье дыхание. В первый миг тишина показалась Руслану зловещей, пробудила недоброе предчувствие – они о чем-то догадались! Но о чем же, когда и так все знали наперед? Может быть, пожалели, что вернулись, раздумали идти, куда их ведут, и сейчас кинутся в побег? Он оглянулся, увидел плутоватую морду Дика, с не зажившей еще после битья ссадиной, за ним, держа интервал, шел вперевалку спокойный рослый Байкал, дальше, мелко подергивая лопатками, трусила Эра; все были заняты делом, для которого родились и выучились, никто не терзался предчувствиями, и он тоже успокоился и посмотрел вперед – туда, где кончалась улица и взбегала на холм пустынная дорога к лагерю. Он понял – они вернулись! Они по-настоящему вернулись! И то была величайшая минута жизни Руслана, звездная его минута. Ради нее, этой минуты, жил он голодным и бездомным, грелся на кучах шлака, и вымокал под весенними дождями, и ничего не принял из чужих рук – ни еды, ни даже

крова, ради нее сторожил Потертого и презрел хозяина, оказавшегося предателем. В эту минуту был он счастлив и полон любви к людям, которых сопровождал. Он их провожал в светлую обитель добра и покоя, где стройный порядок излечит их от всяческих недугов, – так брат милосердия провожает в палату больного, чей разум пошатнулся от чрезмерной заботы ближних. И эта любовь, и гордость так ясно читались в широкой, от уха до уха, ослепительной улыбке Руслана.

Еще с этой улыбкой он оборачивался, пораженный мгновенной слабостью, услышав глухое рычание и жуткий, точно предсмертный, человеческий вопль. Еще он улыбался, когда уже чувствовал себя самым несчастным из псов, все поняв сразу. Случилось то, чего не могло не случиться, потому что на главной улице поселка находились все его магазины, торговые палатки и ларьки, и никто не напомнил вернувшимся, что им ни в коем случае нельзя выходить из строя. С самого начала не было хозяев, чтобы прочесть им такую понятную инструкцию – не долдоня в бумажку: «Комбинат... Целлюлоза... И вот вы... И вот мы...», а коротко и вразумительно: «Шаг вправо, шаг влево... Конвой стреляет без...» А ведь ее приходилось читать этим помраченным каждый день, при каждом построении, потому что к следующему построению они могли и забыть.

Мимо него, прочищая глотку, не спеша протрусил Джульбарс. Он взял с собою Дика. Руслана они оставляли стеречь еще не потревоженные ряды. А там – уже все смешалось: злобный лай, вопли укушенных и только еще от страха, глухие удары – с хрипом, с натужным придыханием, – так бывает, когда бьют под брюхо. В каком-то оцепенении наблюдал он свалку в пыли, мельканье оскаленных пастей, падающих тел, кулаков и ног, вещей, которыми люди старались отбиться от разъяренных собак. На миг и он ощутил прилив азарта, радостно-злобного, все окрашивающего в желтый цвет, но тут же прилив отхлынул, осталась сосущая тоска – оттого, что все получилось так нелепо. Он вспомнил по рычанию, кто все начал: ретивая Гильза, любительница крайних мер; она сразу валит и – к горлу. Ну, и тут же, конечно, кидается Эра. Не предупредят, не затолкают обратно в строй – плечом или лбом, не возьмут хоть за коленку, для начала... Ох, да мало ли способов заставить человека подчиниться, не беря его за горло!

Он следил за свалкой почти безучастно, озабоченный лишь тем, чтоб никто не вышел из его рядов. Никто поначалу не выходил, а затем с криком выскочила девица – соседка того мальчишки на резиновом ходу. Руслан не успел ее задержать – да, впрочем, и не увидел в том опасности. Но она вернулась, схватила за локоть своего спутника, совсем как будто остолбеневшего. Руслан кинулся между ними и прихватил ей коленку. Она отскочила с визгом, немало его удивившим. Даже и молниеносно, когда церемониться некогда, он умел так сомкнуть челюсти, чтобы и кожи не поцарапать. Зато ее спутнику, высунувшемуся на полшага, не понадобилось и таких внушений. Руслан лишь привздернул дрожащие губы, и мальчик уже стоял, где надо, обиженный донельзя, но и напуганный до той же меры. Руслан к нему проникся чувством, чуть большим, чем доверие, – хороший мальчик, сразу усвоил, что к чему.

Но тут же он увидел нечто поразившее его: Джульбарса, выбегающего из схватки, – с кровавой пастью, с розовостью в кабаньих глазах, но – уходящего, когда там еще никакого порядка не было. Поодаль прихрамывал всплакивающий Люксик. Пожалуй, он преувеличивал свои страдания, боевых следов на нем не замечалось, зато на Джульбарсе их было не счесть, и он на них не то что не обращал внимания, он хрипел от восторга!

Мотнув башкою, он позвал Руслана за собой. Они все вместе добежали до угла переулка, но здесь Руслан остановился. Остановился и Джульбарс. Теперь стало видно, что не от одного восторга он хрипит, но скорее от усталости, что его тушу едва держат дрожащие лапы и так хочется ему прилечь! Теперь, не при хозяевах, он мог это показать. Руслан его понимал – и все же требовал вернуться. Он знал: собаки будут биться, пока бьется Джульбарс; пусть он устал, остарел, обленивел, но пусть хоть слышится его командный рык – никто не посмеет уйти. Джульбарс едва выдерживал его взгляд – не выдержал Люксик: забыв свою хромоту, подскочил к Руслану и с яркой злостью укусил в шею. Джульбарс, освирепев, двинулся покарать Люксика, а тот уже отскакивал, жалуясь, что и так наказан, прихватив невзначай колечко на ошейнике.

Еще раз они встретились глазами, Джульбарс – даже с какой-то жалостью. Не любил он этого неистового, но тут уже они перестали и понимать друг друга. Ну, накусались вволю –

и по домам, а дальше – не собачье дело, когда хозяева давно отступились. Да наконец, по праву старейшины он освободил Руслана с его поста. Все напрасно – неистовый уже возвращался. Джульбарс глядел ему вслед и горестно тряс башкою. Потом, рыкнув на Люксика, чтоб сгинул, пошел по переулку. Он уходил в свою старость царственной, лвиной победой, роняя каплями свою и чужую кровь, радуясь и тоскуя, что это – в последний раз.

Руслану же предстояло еще удивиться: он застал свои ряды такими же, как и покинул. Непостижимо и нам, грамотным, но давняя, древняя наша привычка к строю оставила голову колонны почти не разрушенной. Ведь никто ж не приказал разойтись! Он побегал вдоль рядов, предупредительно рыча, выравнивая, заглаживая строй.

Все побоище разыгралось у пивного ларька, но теперь почти всей сворой бились собаки, нападая и увертываясь, иногда отскакивая на дощатый тротуар дух перевести, а хвост колонны все напозал, топча и давя упавших. Здесь, на его стороне, был как будто порядок. В свободных позах, облокотясь на прилавок, стояли трое, держа каждый в руке по кружке с желтеньким, а в другой по рыбке с завернутой шкуркой. Они были из местных и для Руслана интереса не представляли; к тому же они вежливо убрали ноги, давая ему пройти.

Странно, он не увидел ни Эры, ни Гильзы, – хотя где ж им еще надлежало быть? Закон простой – пока одни бьются, другие держат все остальное стадо. Но он их не слышал и среди бившихся сейчас в смертельной злобе. Зато увидел пролом в штaketнике, куда уходил их след. Когда отсюда выдирали жердинки – побить неразлучниц, так этим лишь облегчили их бегство; какими жердинками их побьешь – оглобли нужны! Но вот, значит, как – самые ретивые, которые все и начали, первыми и ушли. А чуть подальше пролома он мог увидеть их работу. Сам ли сюда приполз этот человек, одолев канаву, или притащили его и посадили к штaketнику, но обработан он был на совесть. Обеими руками он держал горло, сквозь пальцы на белую разодранную рубаху сочилась кровь, глаза были мутны, голубая бледность проступала даже сквозь загар. Это они еще поспешили, а то бы он не сидел.

Зверь и человек встретились глазами. Человек сначала силился понять, не в бреду ли он видит клыкастое чудовище, от

которого его отделяла всего лишь канава, потом в глазах появились отчаяние и мольба, по лицу поползли крупные капли пота. Зверь же смотрел с угрюмым укором: ты все забыл, какой лагерьный пес кинется на лежачего без команды? Он пряднул ушами, что было признаком мира, и отвернулся. И тотчас проскочила женщина – в чем-то цветастом, с белым в руках. Она торопилась к раненому и не заметила Руслана. Но памятью бокового зрения, чуть запоздало, вспомнила его и оглянулась. Появившийся так неслышно и такой спокойный, он испугал ее сильнее, чем если бы рычал и кидался. Медленно попятясь, с расширенными ужасом глазами, что-то шепча, она прислонилась спиной к боковой стенке ларька, а руками машинально сворачивала свою белую тряпку в жгут. Этим-то жгутиком она надеялась отбиться!

Он уже хотел пройти, когда жестокий, дыхание отбивающий удар сшиб его с лап, отбрасывая к той же стенке. Он удержался лишь тем, что привалился боком к коленям цветастой. Дико завизжав, она принялась хлестать его своим жгутиком – от этого он только уверился мгновенно, что ее-то ему опасаться нечего.

Кто же из этих троих, надвигавшихся с искаженными лицами, с увесистыми своими пожитками в руках, ударил его под брюхо? Да, впрочем, это было и неважно. Просто пришло его время вступить. Всех их он оценил одним коротким взглядом. Один был раненый, с прокушенной рукою, только что он лежал, заваленный Байкалом, теперь бредет, ничего еще толком не соображая. Другой – невысокий, коренастый, с непроницаемым круглым лицом, на котором почти не видно запухших глазок, – был опасен настоящему, таких нелегко завалить, и думают они медленно, поэтому отступать не торопятся. А третий – был его мальчик, его обиженный пухлогубый мальчик с рюкзаком, на резиновых подошвах. Один раз ему простили нарушение, зачем же он снова ввязался? Зачем нападали они вторым, если только один чего-то стоил?

Вот зачем! Они переговаривались со своей цветастой, ободряли ее, они шли ее выручать. Самое нелепое, что он ей никакого зла не желал, она ему была безразлична. Просто она оказалась между ним и канавой, которую не догадывалась перепрыгнуть или не решалась – ей бы тогда пришлось повер-

нуться к нему спиной. Как все глупо сложилось!

Он пошел на них, оскалясь, слегка припадая на задние лапы. Они отступили, – вот уж нападения они не ждали, – но отступили не все. Коренастый остался. Но так ведь Руслан и рассчитывал и для того припадал, чтоб прыгнуть.

Он все же повалил коренастого, но тот успел выставить круглое плечо, твердое, как дерево. Было ошибкой терзать это плечо, но он уже начал стервенеть, – если б тот хоть закричал! Коренастый же молча, не торопясь, высвободил две руки и взял его за шею. Вот отчего мир делается тусклым и все внутри обжигает холодом. Бессильно царапая грудь коренастого когтями, он рвался и что было сил напряживал шею, даже не слыша ударов по спине, точно она одеревенела. Услышал лишь, когда обрушилось на голову тяжелое и плотное и острым рассекло надглазье. Но, верно, тем же добрым станковым рюкзаком досталось по пальцам и коренастому, хватка его ослабла, и Руслан, рванувшись, высвободился, глотнул воздуха, отскочил обратно к стене ларька. Цветастой там уже не было.

Колонна разваливалась, она превращалась в сущее безобразие, в кошмарную горланящую толпу, которая вся собиралась на той стороне улицы. Оттуда еще слышались голоса трех или четырех собак. Да, всего лишь трех-четырех, во главе с Байкалом. Он хороший боец, Байкал, спокойный, храбрый и сильный, он не суетится, и долго не устает, и умеет других заразить своим спокойствием, – но если б то был Джульбарс! Да все бы они легли, но укротили стадо.

Однако ж те трое, с которыми он вовсе не выиграл схватку, опять подступали. Коренастый встал спокойно и молча, даже не держась за свое плечо, – Руслан понял, что дело серьезно.

Их всех опередил четвертый, появившийся откуда-то сбоку. Он был в солдатской гимнастерке и галифе, в солдатских же сапогах, с короткой, соломенного цвета, челкой. И по тому, как он подходил, широко расставляя руки, чтоб схватить за ошейник, как говорил, подсвистывая, властно и ласково: «Ко мне, мой хороший, поди ко мне», Руслан догадался, что ему приходилось обращаться с собаками. Прежний Руслан, пожалуй, и послушался бы солдата, но не нынешний, принявший отраву из рук предателя. Солдат из породы хозяев, который был с помраченными заодно, был враг еще хуже, чем они, много хуже!

И вот что видел он краем зрения – Дика, вылезшего из-за чьих-то ног, ковляющего через всю улицу к подворотне. Переднюю лапу, окровавленную, он держал на весу. А сзади шли двое лагерников и колотили его по спине жердинами. Разъярясь, он оборачивался и кидался, но всякий раз забывая про свою лапу, и с воем валился наземь. Колотили слепую Азу, беспомощно тыкавшуюся в забор, – неужели и она сражалась? И все это видел солдат – и после этого: «Пооди, мой хороший»?!

Солдат лишь в последний миг бросил свои попытки, заслонился локтем, и Руслан, впившись в него, вместе с солдатом повалился в пыль. Солдат извивался под ним и стонал, слабо отпихиваясь другой рукой; пожалуй, он сдался, но вокруг собирались его сообщники, они били носками под ребро, хватали за хвост и за уши. Руслан выдержал и не отпустил локоть. Да все это было ни к чему, он понял, что не устрасит их, даже если перегрызет солдату кость, следующего нужно брать за горло. И едва они замешкались, отскочил рывком – отдышаться, оглядеться. В совершенном отчаянии увидел он Альму, уходившую в пролом, – право, ее белоглазый уходил достойнее, сумел даже тяпнуть хорошенько лагерника, наседавшего с палкой; ему б еще выучку, белоглазому, кто ж за ногу берет, когда палка в руке! – увидел сквозь проредь толпы Байкала, загнанного уже в переулок, нападавшего оттуда – на две жердины, которые ему с реготом совали в пасть... Это было все, он, Руслан, оставался один. Один – чтобы согнать в колонну все разбредшееся, орущее, вышедшее из повиновения стадо! – и хоть не до лагеря довести, на это он уже не надеялся, но удержать здесь до подхода хозяев – должны ж они были когда-нибудь появиться!

Сзади его прикрывала стена ларька. Тех троих у прилавка можно было не опасаться – за все время они, кажется, не переменили поз и глядели на происходящее с похмельным изумлением; не опасаться и той женщины, что стоит за забором, опершись на лопату и скорбно сморщив лицо, коричневое от солнца. Опасней всех был солдат, уже севший в пыли, прижав к животу прокушенный локоть, – этот кое-что знал о Службе и мог их всех, подлый предатель, подговорить, научить, – но, кажется, он слишком занят своей рукой. И еще



оставался низкий забор, через который можно махнуть при случае, обхитрить погоню, забежать с другой стороны. Вот вся была его опора. А толпа надвигалась уже на него одного, сходилась полукругом, со злобными лицами, с палками и тяжелыми своими пожитками в руках.

Он зарычал – грозно, яростно, исступленно, показывая, что не шутки он будет шутить, но убивать, и сам готов умереть, – и пошел на них, оскаливая дрожащие клыки. Они остановились, но не отпрянули. Нет, он не устрасил их. Напрасно он кидался – то на одного, то на другого, – они увертывались или выставляли вперед рюкзаки, заходили со стороны и пыряли жердинами в бока или нарочно открывались, дразня своей досягаемостью, чтоб сунуть брезентовую куртку или плащ. Он понял – они его нарочно выматывают, пока другие, за их спинами, разбегаются кто куда. Хоть одного из них нужно было взять по-настоящему. Так его учили хозяева, учил инструктор и серые балахоны: лучше взять одного по-настоящему, чем кое-как пятерых. Но он видел мир уже сильно желтым – желтыми траву и пыль, желтым синее небо полудня, желтыми их лица и свою же кровь, сочащуюся из рассеченного надглазья, – а в таком состоянии не было ему врага опаснее, чем он сам. Он выбрал мальчика, который отчего-то сильнее всех его злил, хоть держался поодаль и только смотрел, – но, может быть, потому и выбрал, что это бы всех поразило сильнее и удержало б надольше. И когда двое к нему сунулись, он их обхитрил, проскочил между, кинулся к своей жертве.

Длинное тело Руслана вытянулось в прыжке, неся впереди оскаленную, окровавленную морду с прижатыми ушами. Но еще в прыжке он почувствовал, что промахнется. Он видел теперь одним глазом, другой ему залила кровь, и он не рассчитал расстояние, прыгнул слишком рано. Мальчик вскрикнул дико, совсем по-звериному, и звериный, мгновенно в нем проснувшийся инстинкт согнул его тело почти вдвое. Руслан, проехав по нему животом, перевернулся через голову и покатился в пыли. Тотчас же, не давая встать, упали ему на голову две жердины, кто-то, невесть откуда подоспевший, с размаху, со всею силой обрушил на спину тяжелый, окованный по углам баул. После такого удара – какая же сила поднимет зверя с земли? Страх перед новым ударом? Но больше они его не

били, и он почувствовал – останься он лежать, его уже не тронут. Страх за детенышей – поднимет, но их не было в жизни Руслана, и не знал он этого чувства. Зато другое он знал, нами подsunутое, – долг, который мы в него вложили, сами-то едва ли зная, что это такое, – и этот-то долг его по-нуждал подняться.

<...> Та зловещая правда сегодня ему открылась, когда сбитый ударом, увидел он троих, надвигавшихся с искаженными лицами, и когда обрушился рюкзак, и когда взлетела лопата и Потертый сказал: «Добей». Никогда, никогда в этих помраченных не смирялась ненависть, они только часа ждут обрушить ее на тебя – за то лишь, что ты исполняешь свой долг. Правы были хозяева – в каждом, кто не из их числа, таится враг. Но и в их числе – разве были ему друзья? Один лишь инструктор, ставший потом собакою, и был по-настоящему другом, но что же он лаял тогда, в морозную ночь, под вой метели? «Уйдемте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного – враги!» Так все, что случилось сегодня, провидела она, мудрая сука, обреченная за свою похлебку рожать и вскармливать для Службы злобных и недоверчивых? Так потому и не терзалась, что знала – те пятеро, уплывавшие от нее в жестяном ведре, достаивались не худшей участи?

...Всякая тварь, застигнутая несчастьем, уползает туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Но Руслан приполз сюда не за этим, и его не могли бы спасти ни целительная слюна Азы, ни горькие травы и цветы, запах которых он всегда слышал, когда ему случалось приболеть или пораниться. Раненый зверь живет, пока он хочет жить, – но вот он почувствовал, что там, куда он уже проваливается временами, не будет никакого подвала, не будет ни битья поводом, ни уколов иглою, ни горчицы, ничего не будет, ни звука, ни запаха, никаких тревог, а только покой и тьма, – и впервые он захотел этого. Возвращаться ему было не к чему. Убогая, уродливая его любовь к человеку умерла, а другой любви он не знал, к другой жизни не прибился. Лежа в своем зловонном углу и всхлипывая от боли, он слышал далекие гудки, стуки приближающихся составов, но больше ничего от них не ждал. И прежние, еще вспыхивавшие в нем видения – некогда сла-

достные, озарявшие жизнь, – теперь только мучили его, как дурной, постыдный при пробуждении сон. Достаточно он узнал наяву о мире двуногих, пропахшем жестокостью и предательством.

Нам время оставить Руслана, да это теперь и его единственное желание – чтоб все мы, виновные перед ним, оставили его наконец и никогда бы не возвращались. Все остальное, что мог бы еще породить его разрубленный и начавший воспалиться мозг, едва ли доступно нашему пониманию – и не нужно нам ждать просвета.

<...>

*1963 – 1965, 1974*

*В 1944 году в ходе «разгрузки» подмосковных детдомов часть их воспитанников, рыскающих в поисках пищи по базарам и помойкам, отправляли на Кавказ, недавно освобожденный от фашистов. В поезде едут и Кузьменыши — неразлучные братья-близнецы Сашка и Колька. Ехать они вызвались сами, так как боялись, что в детдоме догадаются, что именно они, как кроты, всю зиму рыли обнаруженный взрослыми подкоп под хлеборезку. На «земле обетованной» их встречают оставленные людьми жилища. Ошеломляет обилие земных плодов, но урожай не убран. Колонисты узнают, что коренной народ — чеченцев — куда-то вывезли, а оставшиеся скрываются в горах. Взрослые, переселенные сюда из разных мест России, охвачены страхом. Всё, владельцами чего они стали, — чужое, и они чувствуют, что «духи», те, что в горах, будут мстить. На складе колонии Кузьменыши находят узорный горский ремешок и мохнатую папаху. Воспитательница Регина Петровна вечером кроит из нее шапки ребятам и, отрываясь от работы, видит в окне горящие гневом глаза. Тут же над ее головой свистит пуля. Но это еще только предупреждение.*

*Чечня наводнена войсками. Надгробиями с горского кладбища солдаты мостят дорогу. В станции беспокойно — то пожар, то взрывы. Стремление людей покинуть эти места передается и детям. Самый башковитый из Кузьменышей, Сашка, предлагает бежать, забравшись в железный ящик — «собачник» — под вагоном поезда. Братьям удастся сделать «заначку» за время работы на консервном заводе, которая должна спасти их в дороге от голода, но от задуманного побега они все же отказываются. Всей душой привязались они к воспитательнице Регине Петровне, впервые ощутив материнскую теплоту. Они не могут бросить ее здесь с двумя малышами на руках — чувствуют себя ее единственными защитниками. К ней неравнодушен и демобилизованный по ранению солдат Демьян, но она, вдова летчика, сдержанна с ним. Она увозит братьев с собой из колонии на подсобное хозяйство, где продолжает опекать их и устраивает первый в жизни Кузьменышей настоящий праздник — день рождения.*

*Обстоятельства заставляют ребят вместе с Демьяном поехать в колонию. Они находят ее разгромленной и безлюдной и бегут оттуда. В неубранном кукурузном поле, услышав приближение всадников, Демьян бросает ребят. В темноте они теряют друг друга. Колька, мимо которого, чудом не задев его, пронесется конный отряд чеченцев, находит утром Сашку распятым на заборе. На нем нет горского ремешка. Только потом Колька поймет, что этот злосчастный ремешок и стал причиной зверской расправы. Таясь от встречных, он на тележке везет брата на станцию и кладет его тело в «собачник» — ящик под вагоном поезда, направляющегося в Москву.*

*Не найдя Регины с малышами, Колька возвращается в колонию. Обессилевшего и больного, его выхаживает чеченский мальчик-сирота Алхузур, как огня боящийся русских солдат. Он заменяет ему брата. Столкнувшись с невозможностью жить как среди русских, так и среди чеченцев, они бегут от всех, но их ловят и отправляют в детприемник в Грозный. Там их находит Регина. Они с Демьяном готовы усыновить мальчиков, но Колька отказывается — он не может простить. Мальчикам устраивают допрос, подозревая, что они не братья, что один из них горец, но Колька непреклонен: «Это мой брат Сашка!»*

\* \* \*

Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся и притащил за собой на веревке тележку, ту самую, что они нашли у дома Ильи.

Тележка была запрятана в кустах возле закладки, Колька ее сразу нашел.

Закладка тоже была цела: и варенье, и мешки, и тридцатка с ключами от поезда — все было на месте.

Колька вытащил оба мешка, еще пол-литровую банку джема. Банку он открыл камнем, съел две ложки, но его тут же стошнило.

Он спустился к речке, умылся и голову окунул, чтобы немного взбодрить себя.

По пути, волоча за собой тележку, он завернул в кукурузу, где накануне оставляли они лошадь с телегой. Это место он нашел сразу. Был виден след от телеги, и рядом валялся недокурный бычок Демьяна.

Вернувшись в Березовскую, в дом, Колька снова перетащил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтоб брату не было слишком жестко, а под голову положил, свернув трубочкой, ватник.

Потом он принес веревку, найденную в углу прихожей, толстую, но гнилую, она рвалась, и ее пришлось для крепости сложить вдвое. Походя отметил, что ремешка серебряного на Сашке не было. Пропал ремешок.

Колька протянул веревку под тележку, а потом завязал узлом у Сашки на груди. Живота он старался не касаться, чтобы не было Сашке больно.

Завязал, посмотрел. Лицо у Сашки было спокойным и даже удивленным, оттого что рот так и остался открытым. Он лежал головой по ходу, и Колька подумал, что так Сашке будет удобнее ехать.

Пока собирался, наступили сумерки. Короткие, легкие, золотые. Горы растворились в теплой дымке, лишь светлые вершины будто сами собой догорали угольками на краю неба и скоро пропали.

Ровно сутки прошли с тех пор, как проснулись они на закате в телеге Демьяна. Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно. Они ступили на разоренный двор колонии, бежали сквозь заросли, а Демьян сидел на земле и трясущимися руками пытался закурить. Где-то он сейчас? Он-то все, все понимал!

Это они глупыми были.

О подсобном хозяйстве, о Регине Петровне с мужичками Колька не вспоминал. Они находились за пределами его сегодняшней жизни. Его чувств, его памяти.

Он отдохнул, поднялся. Подцепил тележку так, чтобы не резало руку, и повез по улице.

Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили поврозь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя.

За деревней стало просторней, светлей, но ненадолго.

Воздух загустел, чернела, сливаясь в непроницаемую стену, кукуруза по обеим сторонам дороги.

А потом вообще ничего не стало видно, Колька угадывал дорогу ногами. Да вроде бы впереди, где должны сомкнуться заросли, еле просматривался светлый в них проем на фоне совсем чернильного неба.

Кольку не пугала темнота и эта глухая беспросветность дороги, на которой не встречались ни люди, ни повозки.

Если бы Колька мог все осознавать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции.

Все, кто сейчас мог встретиться: чечены ли или другие, пусть и добрые, люди, – неминуемо стали бы помехой в том деле, которое он задумал.

Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом.

Он говорил ему: «Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше-то мы возили друг друга по очереди. Но ты не думай, я не устал, и я тебя доставлю до места. Может, ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варила быстрее. Я был твоими руками и ногами в жизни – так уж нам было поделено, – а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекали, а руки и ноги оставили... А зачем оставили-то?»

Колька поменял одну руку на другую. Затекала рука.

Но прежде, чем двинуться дальше, он ощупал Сашку и убедился, что тот лежит удобно и ватник не вывалился из-под головы.

Только Сашка будто застывать, замораживаться начал. Все в нем задубело, и руки, и ноги стали деревянными. Но все равно это был Сашка, его брат. И Колька, убедившись, что того не растрясло на ухабах и что ему ехать удобно, повез дальше.

Дальше потек и разговор их.

«Знаешь, – говорил Колька, – я почему-то вспомнил, как в Томилинский детдом привезли из колхоза корзину смороды. А я лежал тогда больной. А ты полез под телегу и нашел одну ягоду смороды и принес мне... Ты залез под кровать в изоляторе и прошептал: «Колька, я принес тебе ягоду смороды, ты выздоравливай, ладно?» Я и выздоровел... А потом на станции на этой, на Кубани, когда дристя нас одолела и ты загибался в вагоне, ты же смог все перебороть! Ты же встал, ты же доехал до Кавказа!»

Неужто мы с тобой через всю дорогу проволочились лишь для того, чтобы нам тут кишки вырезали и вместо них совали кукурузу? Мол, жрите, обжирайтесь нашим добром, так, чтобы изо рта торчало!»

Тут Колька услышал: возки гремят впереди. Когда приблизился скрип колес и мужские голоса, он торопливо в заросли свернул, затаился.

Как зверь затаивается при появлении человека.

Но глаз с дороги не сводил, смотрел во все глаза (теперь у них двоих только два глаза было!). Понял, что едут солдаты. Позвякивало оружие, погромыхивали повозки, фонарики вспыхивали, полосуюя обочины дороги. Разговаривали негромко, но можно было разобрать, что толковали о черных: что вот-де их окружили в горах, часть постреляли, а другая часть прорвалась в долину и устроила резню. Местные жители, кто уцелел, бежали. Теперь приказ такой: никого не жалеть, а если в саду, или в доме, или в поле спрячется, так палить вместе с домом и полем... Если враг не сдастся, его уничтожают!

Проехали. Растворились огоньки в темноте. Стихло все.

Колька высунулся, уши в одну, в другую сторону настаивил: нет ли кого следом? Выждал, убедился – никого.

Вернулся за Сашкой, пощупал, как ему лежится, снова выволок тележку на дорогу. Схватил веревку двумя руками, повез.

«Вот, – сказал, – небось сам слышал, как солдаты, наши славные боевые бойцы говорили... Едут чеченов убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот если бы он мне попался, я, знаешь, Сашка, не стал бы его губить. Я только в глаза посмотрел бы: зверь он или человек? Есть ли в нем живого чего? А если бы я живое увидел, то спросил бы его: зачем он разбойничает? Зачем всех кругом убивает? Разве мы ему чего сделали? Я бы сказал: «Слушай, чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем! Нас привезли сюда жить, так мы и живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь видишь, как выходит... Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты – погибнете. А разве не лучше было то, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтоб жили? Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем?»

Тут Колька хоть и был занят разговором, а услышал, что рядом станция. Сперва услышал ее, а потом выскочил на чистый луг, и стало видно: в глаза сверкнули лампочки вдоль линии, и можно было разглядеть, что на запасных путях стоит



эшелон. Там горят прожекторы, слышны ржание и грохот повозок; приехала еще одна воинская часть.

Колька приблизился, но лишь настолько, чтобы в случае чего можно было спрятаться. За кустом тележку поставил.

«Приехали, – сказал Сашке, – мы тут с тобой недавно были. Мечтали вместе уехать. Теперь мы будем с тобой ждать поезда. Я немного устал. Да и ты, наверное, устал, правда? Ты побудь здесь, а я на разведку схожу. Только не думай, что я тебя бросаю. Я вернусь, только посмотрю, что там на станции делается...»

Колька оставил Сашку за кустом, а сам продвинулся поближе к огням и к линии.

Никого, кроме военных, он не увидел. Военные же были заняты своим делом: сустились, кричали, грохотали повозками, которые спускали по наклонным доскам из вагона.

Колька прикинул: эшелон ему не помеха. Как поезд пойдет, он закроет собой братьев от солдат, и никто их не увидит.

Он вернулся к Сашке. Сказал ему: «Видишь, я пришел. Там сейчас солдаты, они приехали твоего чечена убивать, который кукурузы в тебя натолкал. Но, когда поезд придет, нас не видно будет. Ты ведь знаешь, я не такой башковитый, и мне пришлось долго соображать. Но это я сам придумал. Теперь-то я понимаю, как тебе было нелегко ворочать мозгой. Но как же ты не додул чеченов-то на коне обдурить? Может, ты, я сейчас подумал, сам к ним вышел... Поверил, что они тебе ничего не сделают, как не убили они Регину Петровну, хотя наставляли на нее ружье?»

Колька посмотрел из-за куста на станцию и задумчиво добавил: «Наверное, утро скоро. Если бы поезд пришел до света... При свете нам тяжелее с тобой будет».

Тут и поезд вынырнул, распластался вдоль дальней сопки, как Сашкин пропавший ремешок. А паровоз у него – пряжка с двумя сверкающими камнями.

Отчего ж Колька опять о том серебряном ремешке вспомнил? Не давал пропавший ремешок покоя. Ведь если посудить, это последнее, что видел он, когда они расстались. Сашка бросился в заросли, лишь ремешок сверкнул в сумерках...

А вдруг ремешок, старинный чеченский, и выдал Сашку с головой?

А вдруг он стал причиной казни?

Но ведь еще по дороге в колонию не Сашка, а Колька был подвязан тем ремешком! Это случай с пуговицей все изменил... Поезд приближался. Уже доносился отраженный от сопков глухой перестук вагонов.

Колька спохватился и вместе с тележкой брата поскакал по лугу. Подоспели они с Сашкой прямо в тот момент, когда состав резко затормозил и встал, а под колесами зашипело.

Колька оставил тележку в лопухах под насыпью, а сам побежал вдоль вагонов. Нагибался, искал собачник.

У первого вагона собачника не было и у второго, лишь у третьего обнаружил он железный ящик.

Пощупал, крышку открыл, даже руку засунул: нет ли там каких пассажиров?

Потом сбегал, подвез Сашку к вагону, веревку развязал. Ватник постелил на дно ящика. Стал Сашку подтягивать под мышки и все молился, чтобы поезд не отправляли. Сашка был твердый, не гнулся, но показался легче, чем раньше.

Колька, запыхавшись, перевалил его в ящик, лицом вверх, а сверху и сбоку мешками обложил. Чтобы холодно не было. Все-таки кругом железо!

Тележку с веревкой он в траву отпихнул. Все, отъездилишь.

Но поезд продолжал стоять, и Колька опять придвинулся к ящику, сел перед ним на корточки, сказал Сашке через дырку:

– Вот, уезжаешь. Ты ведь хотел поехать к горам... А я пока побуду здесь. Я бы поехал вместе с тобой, но Регина Петровна с мужичками одна осталась. Не бойся, Сашка, я о тебе буду думать.

Колька постучал кулаком по ящику, чтобы Сашке не было страшно одному.

Поезд дернулся, клацкнул буферами и поехал быстрее и быстрее в сторону невидимых отсюда гор. И Сашка поехал. А Колька один у черной насыпи остался. <...>

Не помнил, как добрался он до Сунжи. Приник к ней, желтенькой, плоскенькой речонке, лежал, поднимая и опуская в воду голову.

Долго-долго так лежал, пока не начало проясняться вокруг. И тогда он удивился: утро. Солнышко светит. Птицы чирикают. Вода шумит. Из ада – да прямо в рай. Только в ко-

лонию скорей надо, там Регина Петровна его ждет. Пока сюда огонь не дошел, ее вызволять скорей требуется. А он себе приятную купань устроил!

Вздыхнул Колька, пошел, не стал на себе одежду выжимать. Само высохнет. Но в колонию через ворота не пошел, а в собственный лаз полез, привычной так да и безопасней.

Ничего не изменилось с тех нор, как ходил тут с Сашкой. Только посреди двора увидел он разбитую военную повозку, лежащую на боку, рядом холмик. В холмике дощечка и надпись химическими чернилами:

*Петр Анисимович Мешков. 17.10.44 г.*

Колька в фанерку уткнулся. Дважды по буквам прочел, пока сообразил: да ведь это директор! Его могила-то! Если бы написали Портфельчик, скорей бы дошло. Вот, значит, как обернулось. Убили, значит. И Регину Петровну убить могут...

Он встал посреди двора и сильно, насколько мочи хватало, крикнул: «Ре-ги-на Пет-ро-в-на!»

Ему ответило только эхо.

Он побежал по всем этажам, по всем помещениям, спотыкаясь о разбросанные вещи и не замечая их. Он бежал и повторял в отчаянии: «Регина Петровна... Регина Петровна... Реги...»

Вдруг осекся. Встал как вкопанный. Понял: ее тут нет.

Ее тут вообще не было.

Стало тоскливо. Стало одиноко. Как в западне, в которую сам залез. Бросился он за пределы двора, но вернулся, подумал, что опять через огонь пройти уже не сможет. Сил не хватит. Может, с ней, с Региной Петровной, да с мужичками он бы прошел... Ради них прошел, чтобы их спасти. А для себя у него сил нет.

Он прилег в уголке, в доме, на полу, ничего под себя не подстелив, хотя рядом валялся матрац и подушка тоже валялась. Свернулся в клубочек и впал в забытие.

Временами он приходил в себя, и тогда он звал Сашку и звал Регину Петровну... Больше у него никого в жизни не было, чтобы позвать.

Ему представлялось, что они рядом, но не слышат, он кричал от отчаяния, а потом вставал на четвереньки и скулил как щенок.

Ему казалось, что он спит, долго спит и никак не может проснуться. Лишь однажды ночью, не понимая, где находится, он услышал, что кто-то часто и тяжело дышит.

– Сашка! Я знал, что ты придешь! Я тебя ждал! Ждал! – сказал он и заплакал.

\* \* \*

Он открывал глаза и видел Сашку, который тыкал ему в лицо железной кружкой. Колька мотал головой, и вода проливалась ему на лицо.

Сашка просил, ломая свой язык: «Хи... Хи... Пит, а то умырат сопсем... Надо пит водды... Хи... Пынымаш, хи...».

Колька делал несколько глотков и засыпал. Ему бы сказать Сашке, как смешно он «умырат» произносит, да сил не было. Даже глаз открыть сил не было. Какие уж тут хи-хи.

Сашка накрывал брата чем-то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой.

Однажды Колька открыл глаза и увидел незнакомое лицо. Верней, лицо было ему знакомо, потому что у Сашки, когда он тыкал кружкой в губы, оно оказывалось вдруг такое странное, чернявое, широкоскулое... Но раньше это почему-то Кольку не смущало. У Сашки такая голова, что он себе любое лицо придумает.

А тут Колька лишь взглянул и понял: никакой это не Сашка, а чужой пацан в прожженном ватнике до голых колен сидит перед ним на корточках и что-то бормочет.

– Хи, хи, – бормочет. – Бениг... Надто кушыт. А не пымырат...

Колька закрыл глаза и опять подумал, что это не Сашка. А где тогда Сашка? И почему этот чужой, чернявый Сашкино новое лицо взял и Сашкиным новым ломаным голосом говорит? Недодумался ни до чего Колька и заснул. А когда проснулся, спросил сразу:

– А где Сашка?

Голоса своего не услышал, но чужой голос он услышал:

– Саск нет. Ест Алхузур... Мына так зыват... Алхузур... Пынымаш?

– Не-е, – сказал Колька. – Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет...

Это ему казалось, что он сказал. На самом деле ничего он не сказал, а лишь промычал два раза. Потом он опять спал, ему виделось, что чернявый, чужой Алхузур кормит его по одной ягоде виноградом. И кусочки ореха в рот сует. Сначала сам орех разжевывает, а потом Кольке дает.

Однажды он сказал:

– Я, я Саск... Хоти, и даэк зыви... Буду Саск...

И опять орех жевал... И по одной ягоде виноград давил прямо в губы.

– Я Саск... А ты жыват... Жыват... Харош будыт...

И Колька первый раз кивнул. Дело пошло на поправку.

Алхузур откликнулся на имя Сашка, оно ему нравилось. Колька лежал в углу на матрасе, куда его переташил Алхузур, накрыв вторым матрасом.

Однажды не выдержал, заглядывая в лицо Алхузур, спросил:

– А Сашки правда не было?

Алхузур грустно посмотрел на больного товарища и покачал головой.

– Сылдат был, – сказал он. – Я это... Со ведда... Убыгат...

– Испугался солдата? Нашего?

Алхузур с опаской посмотрел в окно и не ответил. Лицо у него было скуластое, остренькое и такие же остренькие, блестящие глаза.

– А пожар? – спросил Колька.

– Пазар? – повторил Алхузур, уставившись на него. – Пазар? Рыных?

– Да нет... Я про огонь хотел спросить: кукуруза-то горит?

Тот закивал, указывая на свой ватник, на многочисленные дырки.

– Мнохо охон... Хачкаш харыт... Хадыт нелза... В мэнэ мнох дым...

Колька смотрел на удрученного Алхузур и хихикнул. Уж очень смешно прозвучало, что в нем много дыма.

Алхузур отвернулся, а Колька сказал:

– Не сердись, я же не со зла... У тебя карандаша не найдется?

Алхузур покосился на Кольку и не ответил.

– Или угля... Надо!

Алхузур молча ушел и вернулся с куском горелой деревяшки.

Колька повертел в руках обгарок.

– От дома директора, – сказал, вздохнув. – Когда в него гранату бросили. Всю ночь горел, представляешь...

Алхузур кивнул. Будто мог знать о пожаре. Колька удивился:

– А ты что, видел? Ты правда видел?

– Я не выдыт, – отрезал Алхузур и, отвернувшись, стал

смотреть в окно. Что-то он недоговаривал. А может, Кольке показалось.

Он придвинулся к краю матраца и стал рисовать на полу схему, ломким углем изобразил колонию, речку, кладбище. Алхузур смотрел на размазанные линии, ткнул пальцем в кладбище:

– Чурт!

– Ну, пусть черт, – согласился Колька. – А по-нашему – так кладбище. А тут Березовская, значит.

Алхузур размазал Березовскую, а руки вытер о себя.

– Нет Пересовсх... Дей Чурт – так называют!

– А почему?

– Дада... Отэц... Махил отэц...

– Могила отца? – сообразил Колька. – Твоего отца здесь могила?

Алхузур задумался. Наверное, вспомнил об отце.

– Нэт мой отэц... Всэх отэц...

Вот теперь Колька дотумкал: селение так прозывается – Могила отцов. Кладбище – Чурт, а деревня – Дей Чурт...

Колька обратился к чертежу, приподымаясь, чтобы видней было. Куст около речки обозначил, а возле куста дырку начертил.

– Найдешь? Нет? – спросил тревожно.

Никогда и никому бы в жизни не открыл он тайну значки. Это все равно что себя отдать. Но Алхузур теперь был Сашкой, а Сашка знал, где хранятся их ценности. Да и самому Кольке не добрести до них. Сил не хватит.

– Найдешь... Банку джема таши!

Сказал и откинулся. Длинный этот разговор вымотал его.

Алхузур еще раз взглянул на рисунок и исчез. Как провалился. Кольке стало казаться, что названный его брат пропал навсегда. Нашел значку, забрал и скрылся. На хрена, если посудить, нужен теперь ему Колька? Больной да немощный! Теперь-то он сам богат! Но Колька так не думал, не хотел думать. Мысли, помимо него, возникали, а он их отгонял от себя. Но почему Алхузур не возвращался?..

Часы прошли... вечность! Когда раздался грохот и влетел Алхузур, лицо его было искажено. Он споткнулся, упал, вскочил, снова упал и так остался лежать, глядя на дверь и вздрагивая при каждом шорохе.

Колька голову поднял.

– Ты что? – спросил. – Ударился? Не ушибся?

Но Алхузур, не отвечая, натянул на себя с головой матрац и затих под ним.

– Оглох, что ли! – крикнул Колька сердито. Подождал, потом подполз и откинул край: Алхузур лежал, закрыв глаза, будто ждал, что его ударят. И вдруг заплакал. Плакал и повторял: «Чурт... Чурт...»

– Ну, перестань! – попросил Колька. – Я же тебя не трогаю!

Алхузур повернулся лицом вниз, а руками закрыл голову. Будто приготовился к самому худшему.

– Ну, ты даешь! – сказал Колька и попытался встать. От слабости его качало. На четвереньках дополз до оконного проема, подтянулся, со звоном осыпая осколки стекол на пол.

В вечерних сумерках разглядел он двор и на нем группу солдат. Солдаты пытались вытолкать застрявшую повозку, на которой лежали – Колька сразу узнал – длинные могильные камни. «Неужто с кладбища везут? – подумалось. – Куда? Зачем?»

Телега, видать, застряла прочно.

Один из возчиков махнул рукой и поглядел по сторонам.

– Ломик бы... Сейчас пойду пошукаю.

Он огляделся и направился в сторону их дома. Колька увидел, отпрянул, но не успел спрятаться под матрацем. Так и остался сидеть на полу. Как глупыш птенец, выпавший из гнезда.

Солдат не сразу заметил Кольку. Сделал несколько шагов, осматривая помещение, и вдруг наткнулся взглядом на Кольку. Даже вздрогнул от неожиданности.

– Эге! А ты чего тут делаешь? – спросил удивленно.

Солдат был белобрыс, веснушчат, голубоглаз. От неожиданности шмыгал носом.

– Живу, – отвечал Колька хрипло.

– Живешь? Где?

– Тут, в колонии...

Солдат огляделся и вдруг прояснел.

– Ты говоришь, колония? – он присел на корточки, чтобы лучше видеть пацана. И опять шмыгнул носом. – Где же тогда остальные?

– Уехали, – сказал Колька.

– А ты чего же не уехал? Ты один? Или не один?

Колька не ответил.

Солдат-то был остроглазым. Он давно заметил, как по-дергивается матрац на Алхузуре. И пока беседовал, несколько раз покосился в его сторону:

– А там кто прячется?

– Где? – спросил Колька.

– Да под матрацем.

– Под матрацем?

Он тянул время, чтобы получше соврать. Сашка бы сразу сообразил, а Колька после болезни совсем отупел, голова не варила.

Выпалил первое, что пришло на ум.

– А-а, под матрацем... Так это Сашка лежит! Брат мой... Его Сашкой зовут. Он болеет. – И добавил для верности: – Мы оба, значит, болеем.

– Так вас больных оставили! – воскликнул солдат и поднялся. – А я-то слышу вчерась, будто разговаривают... Я на часах стоял... А ведь знаю, что кругом никого... Как же это вас одних бросили?

Он подошел к Алхузуре и заглянул под матрац.

– Конечно! У него же температура! А может, малярия! Вон как трясет!

Помедлил, рассматривая Алхузур, и накрыл матрацем.

Солдат направился к выходу, но обернулся, крикнул Кольке:

– Сейчас приду.

Колька насторожился. Зачем придет-то? Или засек, что Алхузур не брат?

Но солдат вернулся с железной, знакомой Кольке, мисочкой из-под консервов, принес пшеничную кашу и кусок хлеба. Поставил на пол перед Колькой:

– Вот, значит... Тебе. И ему дай. И вот еще лекарства...

Он положил рядом с миской шесть желтых таблеток.

– Это хинин, понял? У нас многие малярией мучаются, так хинин спасает... Тебя как зовут?

– Колька, – сказал Колька.

Менять свое имя сейчас не имело смысла. Да и кем теперь назовешься? Алхузуром?

– А я боец Чернов... Василий Чернов. Из Тамбова.



Солдат постоял над Колькой, все медлил уходить. Шмыгал носом и с жалостью смотрел на больного. Уходя, произнес:

– Так ты, Колька, не все сам ешь... Ты брату оставь... А я, значит, санитаров пришлю... Завтра. Ну, бывай!

Лишь когда стемнело, Алхузур выглянул в дырку из-под матраца. Он хотел убедиться, что солдата уже нет.

Колька крикнул ему:

– Вылезай... Нечего бояться-то! Вон боец Чернов сколько принес! Тебе принес и мне...

Алхузур смотрел в дырку и молчал. Матрац на нем шевельнулся.

– Будешь есть? – спросил Колька. – Кашу?

Алхузур высунулся чуть-чуть и покрутил головой.

– Пшенка! – добавил аппетитно Колька. – С хлебом! Ты пшенку-то когда-нибудь ел?

Алхузур приоткрылся, посмотрел на миску и вздохнул.

– Давай... Давай... – приказным тоном солдата Чернова произнес Колька. – Он велел поесть.

Алхузур поворочался, повздыхал. Но вылезти из-под матраца не решался. Так и полз к Кольке со своим матрацем, который тянул за собой. В случае опасности можно укрыться. Ему, наверное, казалось, что так он защищен лучше.

Колька разломил хлеб пополам и таблетки разделил. Вышло по три штуки.

Указывая на хлеб, спросил:

– Это как по-вашему?

– Бепиг...

Алхузур с жадностью набросился на хлеб.

– Ты не торопись, ты с кашей давай, – посоветовал Колька. – С кашей-то всегда сытней! А воды мы потом из Сунжи принесем...

– Солжа... – поправил Алхузур. – Дыва река, таэк зови...

– Разве их две? – удивился Колька, пробуя кашу.

– Одын, но как дыва.

– Два русла, что ли? – удивился Колька. – Прямо как мы с Сашкой... Были... Мы тоже двое – как один... Солжа, словом!

Кашу брали руками, съели все и мисочку пальцами вычистили. Корочкой бы, но корочку сжевали раньше. Довольные, посмотрели друг на друга.

– Теперь ты мой брат, – сказал, подумав, Колька. – Мы с тобой Солжа... Они завтра придут за нами, фамилию спросят,

а ты скажи, что ты Кузьмин... Запомнишь? По-нормальному – так Кузьмёныш... А хлеб это для нас с тобой бепиг, а для них хлеб – это хлеб... Не проговорись смотри... Сашка Кузьмин – вот кто ты теперь!

– Я Саск, – подтвердил Алхузур. – Я брат Саск... – Он спросил, вздохнув: – А дыругой брат Саск где?

– Уехал, – ответил Колька. – Он на поезде в горы уехал.

– Я тоже хадыт буду, – заявил Алхузур. – Я бегат буду... Ат баэц...

– Зачем? – не понял Колька. – Бойцы хорошие... Боец Чернов нам каши дал.

Алхузур закрыл глаза.

– Баэц чурт ломат...

– Могилы, что ли? Ну и пускай ломают, нам-то что!

Но Алхузур твердил свое:

– Плох, кохда ламат чурт... плох...

Он закатил глаза, изображая всем своим видом, насколько это плохо.

– Ну чего ты разнылся-то! – крикнул Колька. – Плох да плох! Могиле не может быть плохо! Она мертвая!

Алхузур вытянул трубочкой губы и произнес, будто запел, вид у него при этом был ужасно дурашливый:

– Камен нэт, мохил-чур-нэт... Нэт и чечен... Нет и Алхузур... Зачем, зачем я?

– А я тебе твердю, – сказал, разозлившись, Колька. – Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть. Разбираешь? Как Солжа твоя.

Алхузур посмотрел на небо, зачернившее окно, ткнул туда пальцем, потом указал на себя:

– Алхузур у чечен – пытыца, так зави. Он лытат будыт... Хоры. Дада-бум! Нана-бум! Алхузур не лытат в хоры, и ему... бум...

Он выразительно показал пальцем, изобразив пистолет.

\* \* \*

На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, и с поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробрались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями. Видать, ее вчера так и не смогли вытащить.

Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу.

Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да рыже-ла вывернутая земля.

Но когда мы полем направились к реке, мы снова наткнулись на могильные камни, положенные в ряд.

Это и была дорога, необычная дорога, проложенная почему-то не в станицу, а в сторону безлюдных гор.

Мой спутник на первом же камне будто загнулся. Постоял, глядя себе под ноги, потом наклонился, присел на корточки, на колени. Неловко выворачивая набок голову, что-то вслух прочел.

– Что?– спросил я нетерпеливо. – Что ты там читаешь?

Не отрываясь от своего странного занятия, он сказал:

– Тут лежат Зуйбер...

– Зуйбер? Кто это?

Он пожал плечами.

– Дада... Отэц...

И переполз к следующему камню...

– Тут лежат Умран...

– А это кто?

Как и в первый раз, он повторил, не глядя на меня:

– Дада... Отэц...

И далее, от камня к камню:

– Хасан... Дени... Тоита... Вахит... Рамзан... Социта... Ваха...

Я оглянулся кругом. Рассвело уже настолько, что нас было видно издалека. Надо было спешно и скрытно уходить.

Я поторопил своего спутника:

– Пойдем, пойдем... Пора!

Он не слышал меня.

Переползая от камня к камню, он прочитывал имена, словно повторял на память историю своего рода.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы дорога не уткнулась в высокий обрывистый берег реки... В пропасть. Наверное, дальше будет мост, его уже начинали строить.

Миновав опасный обрыв, мы спустились к реке, перешли по камням на другую сторону и стали удаляться в сторону гор.

Мой спутник все оглядывался, пытаясь запомнить это место.

Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время – и дети, и внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю.

Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся, придя сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место.

Они унесут ее всю, и дороги, ведущей в пропасть, не станет.

– Может, рвануть к станции?– спросил последний раз Колька. – На подсобном хозяйстве знаешь как здорово?! Будем чуреки печь... Дылду сварим... А?

Алхузур покачал головой и указал на горы.

– Тут стрылат, там не стрылат, – бормотал упрямо и смотрел себе под ноги.

– Ладно, – согласился Колька. – Раз брат, то вместе идти надо. Мы с братом порознь не ходили. Ты понял?

– Панымат, – кивал Алхузур. – Одын брат – дыва хлаз, а дыва брат – четыре хлаз!

– Во дает! – воскликнул Колька и тут же оглянулся, заткнул себе рот. Негромко продолжал: – Ты прям как Сашка... он то же самое говорил!

– Я Саск... – подтвердил Алхузур. – Я будыт хырош Саск... А там... – Он указал на горы. – Я буду хырош Алхузур... А хлеб будыт бепиг, а кукуруза – качкаш... А вода будыт хи...

Колька нахмурился. В памяти, навечно врезанная, возникла рыжая теплушка на станции Кубань, из окошек зарешетчатых тянулись руки, губы, молящие глаза... И до сих пор бьющий по ушам крик: «Хи! Хи! Хи! Хи!» Так вот что они просили!

Ребята пробирались вдоль узких оврагов, переходящих в складки гор. Попалось огромное дерево грецкого ореха, и Алхузур ловко сшибал орехи палкой, а Колька собирал за пазуху. Потом они ели дикий сладкий шиповник, нашли несколько грибов, но те оказались горькими.

Тяжелый дым сопровождал беглецов всю дорогу, и Колька, еще слабый после болезни, часто садился отдыхать.

Алхузур же карабкался по камням, лишь голые ноги изпод ватника мелькали. Пока Колька отдыхал, он успевал пробежать по кустам и приносил дикие кислые яблочки и груши.

– Былшой полза, – обычно говорил он, протягивая фрукты и улыбаясь. – А в Хор дым нэт... Там хырош будыт...

Один раз наткнулись на солдат, но те ребят не заметили. Они возились с машиной, которая невесть каким образом сползла на обочину и там застряла. Солдаты матерились, кляли горы, кляли чеченцев и свою машину в придачу.

Колька следил за ними из-за кустов, с горки, которая была над ними. Он прошептал Алхузур:

– Хочешь, я к ним спущусь? Попрошу поесть? А?

Алхузур задрожал весь, как тогда в колонии.

– Нэт! Нэт! – закричал он, двое из солдат оглянулись.

Едва успели мальчишки пригнуться, как раздалась автоматная очередь. Но солдаты пальнули и снова занялись машиной, стреляли они, видно, на всякий случай. Эхо разносило выстрелы по горам. Так что могло показаться – палят со всех сторон.

Ребята отползли от края и пошли в противоположную сторону.

К ночи пришли они к ветхому сарайчику, кошаре, в которо обычно живут пастухи. Так пояснил Алхузур. Около кошары был небольшой садик и огород; сейчас они оказались в полном забросе. И все-таки ребята отрыли несколько моркови, почистили их о траву и съели. И орехи доели.

Ночь была холодной, горы давали о себе знать.

Они спали, обнявшись, на соломенной подстилке, но все равно мерзли, а накрыться им было нечем. Под утро стало невмочь, оба дрожали и даже говорить не могли: языки позастывали.

Тогда Алхузур стал бегать вокруг кошары и петь свои странные, булькающие песни.

Колька тоже побежал, заорал изо всех сил свою песню: «От края до края по горным вершинам, где гордый орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасные песни слагает народ...» Но песня о Сталине его не согрела. Он стал вспоминать песни о Буденном и Климе Ворошилове... Они все скаковые, под лошадиный ритм бегать удобней. А потом пришла на ум та, которую они орали в спальне: «Бродили мы с приятелем вдвоем... Бродили мы с приятелем по диким по горам, по диким по горам...»

Он стал учить Алхузур этой песне. Вдвоем они кричали что есть мочи, прыгали, бегали, толкали друг друга плечами...

А потом вышло солнце, пробилось сквозь густой туман, стало чуть теплее.

Они легли прямо на траву и снова заснули, счастливые оттого, что не надо им больше дрожать от холода.

Алхузур снился родной дом, и мать ругала его, что он не выучил уроков. А Кольке приснился брат Сашка, который пришел к кошаре и спрашивал: «Зачем спыш? Смытры, хоры кругом, а ти спыш? Да?» И все дергал за плечо.

Колька проснулся и не мог понять, что же происходит. Над ним стояли Алхузур и еще какой-то мужчина, в рыжей бараньей шубе, в зимней шапке и с ружьем в руках.

– Спыш, да? – кричал мужчина странным, переливчатым голосом, который шел прямо из горла. – С руским свиным спыш? Да? А сам чычен, да?

Алхузур тянул его за руку, державшую ружье, это ружье он направлял на Кольку.

Спросонья Колька ничего и не понял. Он глаза протер и хотел подняться, но мужчина пхнул ногой, и Колька полетел наземь, больно ударился плечом.

– Лыжат! – закричал мужчина громко. – Стрылат буду!

Он опять наставил на Кольку ружье, и Колька лег, глазами в землю. Так он лежал и слышал, как кричал мужчина и кричал Алхузур. Но Алхузур громко говорил по-своему, а мужчина отвечал ему по-русски, наверное, чтобы слышал Колька. Чтобы ясно ему было, что его сейчас убьют.

Мужчина гремел:

– Мой зымла! Он на мой зымла приходит! Мой дом! Мой сад! А я стрылат за то... Я убыват...

– Ма тоха цунна! – кричал Алхузур. – Не убей! Он мынэ от быэц спысат... Он мынэ брат называт...

Мужчина посмотрел на Кольку:

– Хан це хун ю? Разбырат? Нэт? Как зыват?

Колька повернулся. Мужчина посмотрел на Кольку холодно, жестко, и цвет его глаз был такой же стальной, как дуло его ружья, направленного на Кольку.

Колька хотел опять приподняться, но мужчина прикрикнул:

– Лыжат! Отвычат! Хан це хун ю? Хо мила ву?

– Ну, Колька, – сказал Колька, лежа и глядя на мужчину.

Он опустил глаза от ружья и увидел, что на ногах у мужчины обмотки и галоши, крест-накрест повязанные лыком.

А тулуп у него драный, видать, долго ходил по колючкам. На голове папаха, такая же драная, а тулуп перепоясан блестящим серебряным ремешком... Ну, точно таким, какой был у них с Сашкой. Странно, но именно папаха и ремешок поразили Кольку, который и думать о них не должен, его убивать собирались...

– Колка?– переспросил мужчина. – А зачэм прышел? Хор – зачэм? Чычен слыдыш зачэм?

– Я не слежу, – сказал Колька. – Я вот с ним...

– Ми брат! Ми брат!– выкрикнул Алхузур.

– Со кхеру хёх, – сказал горец, повернувшись к Алхузuru.

– Ма хеве со, – отвечал тот.

Горец смотрел на Кольку, на Алхузuru и добавил по-русски:

– Его убыт надта! Он будыт быэц прывадыт!

– Ма хеве со! – крикнул Алхузур. И заплакал.

Так и было: Колька лежал и смотрел на мужчину, на ружье, а рядом плакал Алхузур. Колька без страха подумал, что, наверное, его сейчас убьют. Как убили Сашку. Но, наверное, больно только, когда наставляют ружье, а потом, когда выстрелят, больно уже не будет. А они с Сашкой снова встретятся там, где люди превращаются в облака. Они узнают друг друга. Они будут плыть над серебряными вершинами Кавказских гор золотыми круглыми тучками, и Колька скажет:

«Здравствуй, Сашка! Тебе тут хорошо?»

А Сашка ответит:

«Ну конечно. Мне тут хорошо».

«А я с Алхузуром подружился, – скажет Колька. – Он тоже нам с тобой брат!»

«Я думаю, что все люди братья», – скажет Сашка, и они поплывут, поплывут далеко-далеко, туда, где горы сходят в море и люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата.

Пришел Колька в себя не скоро, он не знал, сколько времени миновало с тех пор, как его убивали.

А может, его уже убили?

Рядом с Колькой сидел Алхузур и по-прежнему плакал. Но горца нигде не было, и стояла в сумерках тишина.

Колька удивился, что Алхузур еще плачет, и спросил:

– Он тебя обидел?

Алхузур услышал голос и заплакал еще сильнее. Он выти-

рал слезы рукой и полой ватника, из дырок которого торчала горелая вата. От ватника пахло пожаром. Алхузур выдерживал вату и пускал ее по ветру.

И Колька опять спросил:

– Чего реवेशь? И зачем дергаешь вату?

Тот вытер рукавом лицо и посмотрел на Кольку:

– Я думаю, что ты умират.

– Вот еще придумал!

– Ты глыза закрыват, и так вот: хыр-хыр... – Алхузур изобразил хрип. – А я стыновится плох... Одын брат нэ брат...

Колька сказал:

– Если он не стрелял, то я живой. Он ушел?

Алхузур показал на горы:

– Он там... Он свой зымла стырыжыт... Он ее сыжалт... Он ее лубыт...

– А если бы он застрелил меня? – спросил Колька.

И ему вдруг стало холодно. Тоскливо-тоскливо стало. Даже присутствие Алхузура не помешало этому чувству. Он понял, что его и правда хотели убить. И сейчас он валялся бы тут с выпавшими кишками, и вороны расклевали бы ему глаза, как Сашке.

Алхузур посмотрел на Кольку.

– Я плакыт, – сказал он и правда заплакал. И тогда Кольке стало легче, совсем легко. И он стал утешать названного брата и стал объяснять, что им надо породниться по-настоящему. То есть разрезать руку и смешать кровь.

Они нашли стекляшку, и сперва Колька, а потом Алхузур надрезали на левой руке кожу и потерялись ранками.

– Вот, – сказал Колька. – Теперь мы совсем родные. А отсюда нам надо уходить. Чечены меня все равно застрелят.

Алхузур молчал.

– Давай спустимся обратно, – предложил Колька. – Там внизу теплей.

– Там быэц стрылат, – с боязнью произнес Алхузур.

– А здесь чечен стреляет... – воскликнул Колька.

– Выздэ плох! – вздохнул Алхузур. – А зычем они стрылат? Ты пынымаш?

– Нет, – сказал Колька. – Я думаю, что никто не понимает.

– Но оны же болше... Оны же умыны... Так?

Колька ничего не ответил. Наступил вечер. Они смотрели



на горы, сверкающие в высоте, и не знали, как им дальше жить.

\* \* \*

Их поймали на склоне, близ долины, где они, обнявшись, спали в кустах. Набрел на них солдатик, свернувший с дороги по нужде.

Когда их стали разнимать, оба они закричали. Алхузур стал кусаться, а Колька извивался изо всех сил и что-то вопил нечленораздельное.

Солдаты из обоза их скрутили, а потом развязали и дали поесть.

Ели они из миски руками и ни на кого не глядели. Они смотрели только друг на друга и переговаривались жестами да мычанием. Ни на какие вопросы ответить они не смогли.

Приехавшая женщина-врач констатировала, что оба мальчика в состоянии дистрофии и невозможно сейчас сказать, будут ли они вообще жить. Кроме истощения заметны у обоих нарушения психики.

Дети разлучать себя не позволили и поднимали невероятный крик, если одного из них уводили на медосмотр.

А через месяц и десять дней из детской клиники номер шестнадцать города Грозного ребят перевели в детприемник, где держали выловленных и собранных беспризорных перед тем, как отправить их в разные колонии и детдома.

Я запомнил этот дом, размещавшийся на тихой окраинной улочке в деревянном здании бывшей школы.

Здесь никого не учили, но в комнатах стояли парты, и за неимением столов за этими партами нас и кормили, давали привычную затируху: мука с водой да лук, да в редкие удачливые деньки – мерзлую черную картофелинку... Утром – два финика к чаю или десять изюминок, вечером – кусок протухшей селедки и снова чай. Иногда каша – в праздники и на воскресенье.

В нашей спальне жили дети разных национальностей.

Веселый, прыщавый, нескладно длинный татарин Муса. Он любил всех разыгрывать, но, когда ярился, мог и зарезать, становился белым и скрипел зубами. Муса помнил свой

Крым, мазанку в отдалении от моря, на склоне горы, и мать с отцом, которые трудились на винограднике.

Балбек был ногаец. Где находится его родина, Ногайя, никто из нас, да и сам Балбек, не знал. Был он низкоросл, скуласт, справедлив. Как-то пытались они разговаривать с Мусой, каждый на своем языке, и даже что-то у них получилось. Оба умели играть в кости. Балбек учил нас ругаться по-ногайски...

Лида Гросс, попавшая в мальчиковую спальню потому, что она одна была девочка, а жить одной в холодной спальне невозможно, просила нас называть ее по-русски: Гроссова. Она знала наизусть все лекарства, была очень аккуратной девочкой и всем убирала постели. Она и пол подметала. О своем прошлом помнила лишь, что жила у большой реки, но однажды ночью пришли люди и велели им уезжать. Мать плакала от страха. А потом в поезде маме стало плохо, и ее вынесли, Лида тоже вышла; ее подобрали, умирающую, где-то в чужом городке, на вокзале...

Еще жили в нашей комнате два брата, Кузьмины, мы их звали Кузьмёныши. И хотя не были они похожи, уж куда разней: один светлый, курносый, русачок, а другой черный, стриженный и черноглазый, он и по-русски едва говорил... Но Кузьмёныши твердили, хоть их никто о том не спрашивал, что они кровные братья!

В соседней с нами комнате жили армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина. А через комнату жили слепые.

Слепые дети жили здесь давно, это можно было понять по тому, что они сами находили дорогу в столовую и спальню, знали свои места за столом и даже могли гулять по улице, вдоль забора.

С одним из слепых мы успели познакомиться, его звали Антоша. Был он мал, лицо его было усеяно черными крапинками, будто дробью. Антон рассказал, что он нашел гранату и пытался ее разобрать. При этом он показал свои руки, где не было трех пальцев на левой руке и двух на правой.

Антон принес книгу, странную книгу с пупырышками, и, водя пальцем, прочитал несколько строк.

– Вырасту – заведу попугая и буду на рынке билетки продавать, – говорил Антон. – У нас многие гадают на рынке. Столько заколачивают – ахнешь.

Кузьмёныши спали вместе, на одной кровати; был декабрь, бесснежный, но ветренный, в спальне стояла холодина.

Они, как все мы, выжидали, как повернется их судьба. В детприемниках судьбы поворачивались по-разному: одних отправляли в распределители и колонии, других – в детдома, а некоторых – в ФЗУ и ремесленные училища, если выходило по возрасту.

Но случались и чудеса: кого-то находили родители или родственники или брали какие-нибудь люди на воспитание, из тех, кто имел жилье и мог кормить и одевать.

По поводу последнего слухов и легенд было особенно много. Да и как иначе! Живешь, живешь, как кролик, выставленный на рынке в корзине: купят или не купят? А тут вдруг появляется волшебник и уводит тебя. Куда – неважно. Важно, что отсюда. И – навсегда. Фантазия? Но ведь должна же быть у безродных сказка? Как им без веры в сказку жить?

Однажды в распределитель пришла женщина, и вызвали к заведующей Кольку. Все как-то возбудились и старались отираться поближе к кабинету. Вдруг их тоже вызовут? Никто не сомневался, что Кольку хотят усыновить.

Алхузур ни на шаг не отставал от Кольки, но в кабинет его не пустили. Как ни кричал он, как ни скандалил, дверь закрыли, и он остался один.

Впрочем, Колька успел ему шепнуть:

– Не бойся, я без тебя не уеду!

Заведующая детприемником была толстая пожилая женщина Ольга Христофоровна. Фамилия у нее была Мюллер. Рядом с ней, Колька еще в дверях увидел, сидела Регина Петровна, похудевшая, но красивая. На волосы был накинут платок, в руке – папироса.

Ольга Христофоровна сказала:

– Кузьмин? Вот тобой... интересуются!

Колька стоял посреди комнаты с письменным, обляпаным чернилами, столом, таким же шкафчиком и тремя одинаковыми стульями, глазами он уперся в пол.

– Я так понимаю, вы знакомы? – спросила заведующая.

Колька молчал.

Ольга Христофоровна бросила взгляд на Регину Петровну и добавила:

– Можете поговорить тут...

Она тяжело поднялась и вышла. Из прихожей попытался пробиться Алхузур; он заорал в дверную щель: «Я тут! Я тут!»

Дверь опять плотно прикрыли.

– Ну, здравствуй, – произнесла Регина Петровна и улыбнулась. Папироску она погасила и поднялась навстречу Кольке.

Но Колька стоял, не двигаясь и никак не проявляя себя. На лице его было тупое безразличие.

Регина Петровна остановилась на полпути, но, помедлив, все-таки подошла к Кольке и тронула за плечо. Он поежился и отступил на один шаг. Чужая рука ему мешала.

– Ты что? Коля? Ты меня не узнаешь?

– Нет, – сказал он.

– Не узнаешь? – переспросила она с застывшей улыбкой.

– Нет.

Она натянуто рассмеялась:

– Не валяй дурака... Кстати, ху из ху... Ты и вправду Колька?

– Нет.

– Ты Сашка, да?

– Нет.

– А где... другой?

Колька посмотрел на ноги Регины Петровны и вздохнул.

– Ну, садись! Садись! – сказала Регина Петровна и сама села.

Колька присел на кончик стула. Но присел так, чтобы можно было в случае чего вскочить и убежать.

– Я ведь вас искала! – Регина Петровна достала папироску и стала ее закуривать. Руки ее дрожали. Колька посмотрел на ее руки и отвел глаза.

– Меня тогда увез Демьян... Иваныч, – продолжала Регина Петровна и глубоко затаилась. – Он приехал на телеге, говорит, ребята пропали. А нам, говорит, надо бежать, чечены в долину прорвались. Мы мужичков положили на телегу, они у меня оба расхворались после дня рождения, и скорей на станцию... На поезд... А потом я пришла в себя, хотела вернуться, но Демьян Иваныч меня не пустил. Там бои, сказал. Там давно никого нет... И вдруг тебя нашли... Кстати, что там за мальчик? – спросила Регина Петровна и кивнула на дверь. – Твой новый дружок? Мне кажется, я его видела...

– Не знаю, – сказал Колька.

Регина Петровна нахмурилась. Лицо у нее потемнело.

– Так и будешь со мной разговаривать? Да?

В это время вернулась Ольга Христофоровна. Медленно прошла к своему столу, спросила, тяжело дыша:

– Ну? Поговорили?

– Да, спасибо, – торопливо произнесла Регина Петровна. – Я к вам, если можно, еще зайду?

– Не очень тяните, – сказала заведующая и посмотрела на Кольку.

– А что? Есть разрядки?

Заведующая промычала что-то неопределенное. Потом наклонилась к уху Регины Петровны и что-то прошептала. Регина Петровна удивленно спросила:

– А он откуда?

Заведующая пожала плечами.

– Вот приедут – разберутся. Оттого и держат, и не отсылают.

– Ладно, – сказала Регина Петровна. – Я на днях приду... Ну, до свидания, Коля?

Колька поднял голову. Впервые посмотрел ей в глаза. Так посмотрел, что она не выдержала, отшатнулась. А он не спеша повернулся и пошел к двери.

Уже за своей спиной услышал – заведующая произнесла:

– Это еще цветочки... Вы бы других видели!

\* \* \*

За несколько дней до Нового, сорок пятого года – уже и елку в классной комнате поставили, и самодеятельность готовили – приехали двое на машине, военный и штатский, и тут же торопливо объявили:

– Кузьминых срочно в канцелярию!

Ребята сидели возле кровати Мусы, который вдруг затемпературил, и развлекали его. Балбек рассказывал свои легенды про батыров. Все они у него были одинаковые: батыр вырастет и побеждает врагов, и народ становится свободным.

А тут позвали Кузьмёнышей, да как-то неестественно громко, как на пожар. Но у дверей Кольку задержали, а Алхузура увели одного. Колька начал стучать в дверь и орать, да так сильно, что дверь отворилась, и мужской голос произнес:

– Ну, пусть войдет! Это даже к лучшему, что оба!

Колька влетел в комнату и увидел, что Алхузур сидит на стуле прямо посреди комнаты, перед ним военный, а другой,

штатский, стоит у окна. А этот, лысый, в очках, в блестящих высоких сапогах и с папкой, и говорит, и говорит. Что он говорит, Колька сперва не понял. Потом сообразил, что он пересказывает Алхузуру историю самого Кольки. Откуда только узнал... Оттого и лысый, как Демьян. Лысые ушлые, Сашка говорил! Военный спросил:

– А где вы встретились? Ты и Николай? Вы встретились в Березовской?

Алхузур молчал.

Военный повернулся к Кольке, вкрадчиво спросил:

– Ты-то помнишь, где вы познакомились? Я от твоего приятеля не могу добиться.

– Он не приятель. Он мой брат.

– Какой брат? – оживился военный. – Названный?

– Он мой родной брат, – повторил Колька.

– Так уж родной! – насмешливо повторил военный.

– Да.

– Как же его зовут?

– Сашка.

– Это он – Сашка? Да ты посмотри! – И военный сверху двумя пальцами взял Алхузура за виски и силой повернул лицом к Кольке. – Он же черный! А ты светлый! Какие же вы братья?

– Настоящие, – сказал Колька.

Военный шепнул Ольге Христофоровне, и та вышла.

Он продолжал ходить, вышагивал, поскрипывая сапогами, по комнате и будто с разных сторон оглядывал Алхузура. На Кольку он не обращал внимания.

А штатский молчал. Он все время молчал. Его вроде бы и не было.

Вдруг вошла вместе с Ольгой Христофоровной Регина Петровна.

– Садитесь, – предложил, будто приказал, ей военный. – Вы были воспитательницей в колонии под Березовской?

– Да, – тихо ответила Регина Петровна и посмотрела на Кольку. Какой-то жалкий, просящий был у нее на этот раз взгляд.

– Вы помните братьев Кузьминых, которые жили там?

Регина Петровна кивнула.

– Хорошо помните? – спросил военный и сердито посмотрел на Регину Петровну.

– Да. Помню, – отвечала она.

– Вот посмотрите... Вы их узнаете? – и военный повел рукой в сторону Алхузура. Колька стоял сбоку.

– Да, – едва слышно произнесла Регина Петровна.

– Это кто? – и военный ткнул пальцем в сторону Кольки.

Регина Петровна помолчала, назвала:

– Кажется... это Коля.

– Ага, – кивнул удовлетворенно военный. – А это? – и указал на Алхузура.

Регина Петровна продолжала смотреть на Кольку.

– Я думаю... – начала она и запнулась.

– Вы думаете? Или вы знаете?

Регина Петровна молчала.

– Но я вас слушаю! Слушаю! – громко проговорил военный и многозначительно посмотрел на штатского. Тот никак не реагировал.

– Это... Саша... – слабым голосом произнесла Регина Петровна.

– Вы уверены, что он именно Саша, его брат?

Регина Петровна едва кивнула.

– Вы хорошо подумали, отвечая на мой вопрос?

Военный прошел за спину Регины Петровны и теперь разговаривал с ней, как бы обращаясь к ее затылку.

Регина Петровна, испугавшись, рывком обернулась к нему.

– Что? – спросила она и тут же повторила, чуть суетливо: – Да. Ну конечно, уверена. Их, правда, было много, и я их сперва путала...

– Значит, можно предположить, что вы и сейчас способны спутать? – нависая над головой Регины Петровны, настаивал военный. Даже Колька устал от его прямолинейно-твердого тона. Будто их всех, допрашиваемых здесь, перепиливали одной тупой пилой.

Регина Петровна вздохнула. Ей, наверное, очень хотелось курить.

– Нет, я думаю, что я...

– Опять думаете! А вы не думайте! – посоветовал вдруг, усмехнувшись, военный. – Вы же воспитательница, да? И небось учили детишек не лгать? А как же вы теперь – да еще при них! – лжете?

– Я не лгу, – как провинившаяся школьница произнесла, потупясь, Регина Петровна.

– Вот и отлично! – произнес военный и сделал несколько шагов по комнате. – Так вы говорите, что способны спутать детей, и поэтому вы не уверены, что здесь, перед вами, братья? Я вас правильно понял?

Регина Петровна не отвечала.

– Так, да? – военный повысил голос и вдруг прикоснулся рукой к затылку Регины Петровны. Она дернулась, но не отстранилась.

– Нет, – произнесла и поглядела на Кольку.

– Что – нет?! Что – нет?! – крикнул военный и стукнул ладонью по папке, которую держал в руке. Раздался громкий хлопок. Все вздрогнули.

– Нет... То есть я могу... Я хочу сказать... Что они... Что они... братья...

Военный уже не слушал ее, складывал в папку бумажки.

Не простившись, он вышел из комнаты; было слышно, как отъехала машина.

Остальные остались в комнате. И штатский остался. Все молча ждали, что он скажет, а он тоже молчал. Создалась мертвая пауза.

Ольга Христофоровна решила к нему обратиться:

– А у вас... простите, никаких вопросов?

Человек даже не шевельнулся. Он продолжал смотреть в окно, будто это не к нему обращались. Но вдруг повернулся, сказал через сомкнутые губы:

– Дайте, пожалуйста, список.

– Список детей? – спросила заведующая.

Он протянул руку, не пытаясь ничего объяснять, и Ольга Христофоровна подала ему листок.

Он быстро, мельком заглянул и поинтересовался:

– А вот это Муса? Он что, татарин?

– Да, – сказала Ольга Христофоровна. – Он сейчас тяжело болен.

– Откуда? – спросил штатский, пропустив мимо ушей про болезнь. – Не из Крыма, случайно?

– Кажется, из Казани, – ответила заведующая.

– Кажется... А Гросс? Немка?

– Не знаю, – сказала заведующая. – Какое это имеет значение? Я тоже немка!

– Вот я и говорю.

Голос у штатского звучал очень ровно, в нем было что-то



тихое, бесшумное почти, будто два крыла сзади шелестели. Все в нем понравилось бы Кольке, только губы, тонкие, чуть кривые, жили как бы сами по себе, и в них, в том, как они изгибались, было что-то чужое, холодное.

– Понабрали тут, – повторил человек и бросил список прямо на стол, хотя Ольга Христофоровна, уловив его движение, уже протянула руку.

– Мы их не набираем, – сказала Ольга Христофоровна. – Мы их принимаем.

– Надо знать, кого принимаете! – чуть громче произнес человек, и опять же никакого зла или угрозы не было в его словах. Но почему-то взрослые вздрогнули.

И только Ольга Христофоровна упрямылась, хотя видно было, что она больна и ей тяжело продолжать разговор.

– Мы принимаем детей. Только детей, – отвечала она. Взяла список и будто погладила его рукой.

На следующий день всех детприемовских, в том числе и слепых, повели в театр. Шли попарно, зрячие вели слепых. В театре открылся занавес, и началось волшебство под названием «Двенадцать месяцев».

Колька сидел рядом с Антоном, по другую сторону сидел Алхузур. Они пытались пересказывать Антоше все, что видели на сцене, но это было так трудно! Злая мачеха велит своей падчерице принести зимой красных ягод земляники, и девочка уходит в ледяной лес. Она замерзает от холода, но вдруг... Как бы Колька описал это, если вдруг прямо посреди поляны загорелся, вспыхнул огромный костер и вокруг него сидели двенадцать месяцев?..

Алхузур онемел от восторга, а Колька рот открыл, и слюнка потекла.

Антоша же дергал их за руки и просил: «Ну что там? Что там?»

Никогда ребята не были в театре и выходили будто пьяные. Дорогой Колька молчал, боялся со словами растерять что-то из увиденного.

Вечером всем раздали – сама Ольга Христофоровна это делала – по конфетке, по два печенья и по два бублика – такой шикарный подарок, и всех зрячих выстроили по одну сторону елки, а слепых напротив. Слепые спели им песню про елку, а потом Ольга Христофоровна громко закричала:

– Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!  
Все ребята закричали «ура!». Даже больной Муса слышал из своей спальни этот крик, тоже подхватил его.

А потом зрячие ребята выступали, каждый с чем мог, Колька стал читать стихи... Про тучку золотую.

...Но остался влажный след в морщине  
Старого утеса...

Колька замолчал и посмотрел на слепых: они, вытянув шею, напряженно слушали. Будто боялись пропустить даже его молчание... А оно затягивалось, потому что у Кольки перехватило дыхание и сжало горло. Он никак не мог выговорить слово «одиного»...

Хотелось заплакать.

Он вдруг понял вот сейчас, стоя перед слепыми, что кончилась его кавказская жизнь, а завтра, как им сказали, их повезут куда-то, где будет у них совсем другая жизнь.

<...>

1981

3

**НЕПОКОРЕННЫЕ**



От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени: ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами — так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успеваешь доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь «высшие сферы».

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культурбота в лагере хромает на обе ноги, «культурторг» майор Пугачев сказал гостю:

— Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит.

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из центральной больницы в район военных действий.

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитаря из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо это было написано левой рукой — правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей навывлет.

Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как «ложное алиби», как преступное бездействие или как это еще называется на юридическом языке.

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли, — словом, таких качеств,

которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умирать. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне – от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами.

На смену им после войны пароход за пароходом шли «репатриированные» – из Италии, Франции, Германии прямой дорогой на крайний северо-восток.

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, – со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового. Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»:

– Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам:

– Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же.

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, ломающего волю, – и что нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить возможно дольше процесс еды: в бараке с кружкой горячей безвкусной снеговой «топленой» воды доесть, дососать свою «пайку» хлеба в величайшем блаженстве.

Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону.

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть – сменить вот этих живых мертве-

цов. Привезли их осенью, – глядя на зиму, никуда не побежишь, – но летом если и не убежать вовсе, то умереть – свободным.

И всю зиму плелась сеть этого чуть не единственного за двадцать лет заговора.

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда.

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в обслугу: Солдатов – стал поваром, сам Пугачев – культоргом, был фельдшер, два бригадира, а былой механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны.

Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку».

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды – до будущего года. И намеченный день настал.

В дверь крошечного помещения вахты – у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь лагеря и наружу за лагерь, где по уставу всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять», – подумал дежурный. Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар, заключенный Солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар Солдатов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно.

Надо бы дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара – безнадежное дело, никакие замки не помогут, если повар захочет украсть, – и доверял ключи повару. Тем более в пять часов утра.

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное жалованье и тысячи раз давал в руки поварам ключи.

– Возьми, – и дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортнику.

Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту, в дверь со стороны

лагеря вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Солдатову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф.

Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя, тоже за ключами, которые случайно унес муж.

– Бабу не будем душить, – сказал Солдатов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол.

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя «надзирателями». Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев.

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели.

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на севере может сказать, что рано и что поздно? Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже.

Бригада – десять человек – строем по два двинулась по дороге в забой. Впереди и сзади в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках.

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы – весь отряд в шестьдесят человек.

Спальная конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны.

«Это, наверное, Черненко, – не узнавая конвоира, подумал дежурный. – Обязательно напишу на него рапорт».



Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании.

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты, все бросились к пирамиде – винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев с силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы еще в белье, босые кинулись было к двери, но две автоматных очереди в потолок остановили их.

– Ложись, – скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога.

«Бригада», не спеша, стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запастись оружием и патронами.

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и патронов было взято сколько можно.

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи.

Беглецы почувствовали себя снова солдатами.

Перед ними была тайга, но страшнее ли она болот Стохода?

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик.

– Вылезай! – он открыл дверцу кабины грузовика.

– Да я...

– Вылезай, тебе говорят.

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним – Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.

– Как будто здесь поворот.

– Бензин весь!..

Пугачев выругался.

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду, – исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая напрямик через удивительный здешний бурелом.

Деревья на севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной

мерзлоте отходили тысячи мелких шупалец-отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень-шупальце.

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое могучее тело на этих слабых корнях.

Поваленные бурей деревья падали навзничь головами все в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зеленого цвета. Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно. И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться.

– Что вы там? – спросил Пугачев.

– Да вот Ашот мне все доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали.

– Как на Цейлон?

– Так у них, магометан, говорят, – сказал Ашот.

– А ты что – татарин, что ли?

– Я не татарин, жена – татарка.

– Никогда не слыхал, – сказал Пугачев, улыбаясь.

– Вот-вот, и я никогда не слыхал, – подхватил Малинин.

– Ну, – спать!..

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени, весь – внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами Полярную звезду – любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России, – карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползала к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают, – лесная тишина для него была трижды тревожна.

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот

надпись «конец фильма» – они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни...

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу, в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча-допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор – двадцать пять лет тюрьмы.

Майор Пугачев вспомнил приезды эmissаров Власова с его «манифестом», приезд к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам.

– От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный – изменник в глазах вашей власти, – говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане – пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских – не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Немудрено, что в «Русскую освободительную армию» вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных.

Майор Пугачев не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась.

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем – многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима.

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних, вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов!

У ног его лежал летчик капитан Хрусталеv, судьба которого сходна с пугачевской. Подбитый немецкий самолет, плен, голод, побег – трибунал и лагерь. Вот Хрусталеv повернулся боком – одна щека краснее, чем другая, – «належал» щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев тому назад заговорил

о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных.

И Хрусталева, и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько, и вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой.

Хрусталева и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд, – Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. Вот он спит, Хрусталева, спокойно и крепко.

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнал всё нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко – бывший разведчик.

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович – оба летчики, товарищи капитана Хрусталева.

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей – гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин, лагерный – раньше военный – фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы.

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней.

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть – они не боялись смерти.

«И никто ведь не выдал, – думал Пугачев, – до последнего дня». О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, – отказывались, но никто не побежал на

вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью.

– Вот молодцы, вот молодцы, – шептал он и улыбался.

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их.

– Медвежья, – сказал Селиванов, сибирский охотник.

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к картографической треноге, и стали смотреть в бинокль вниз на две серые полосы – реку и шоссе. Река была как река, а шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми.

– Заключенные, наверно, – предположил Хрусталев.

Пугачев взгляделся.

– Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделиться, – сказал Пугачев. – Восемь человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если все будет хорошо.

Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. Пора назад.

– Смотри-ка, слишком много, давай по ручью наверх.

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.

Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз.

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередь из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго – автомат его умолк, и стреляла только винтовка.

Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал.

– Иди один, – сказал Хрусталеву майор, – постреляю.

Он бил не спеша, каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича: «Идут!» И упал. Из-за большого камня выбежали люди.

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им при падении, грохотали, не долетев еще до низу.

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел.

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто прятался в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме – со всех сторон поляны.

– Конец, что ли? – сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем.

– Зачем конец? – сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе.

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам.

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны.

Атака была отбита. Несколько раненых лежало в болотных кочках.

– Санитар, ползи, – распорядился какой-то начальник.

Из больницы был предусмотрительно взят санитар из заключенных Яшка Кучень, житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на полдороге.

Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны – того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал:

– Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены! Вам некуда деться!

– Иди, принимай оружие! – закричал Иващенко из стога.

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам.

Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко – пуля попала Бобылеву прямо в лоб.

– Молодчик, – похвалил товарища Солдатов. – Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему все равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись!

Отовсюду стреляли. Затакали привезенные пулеметы.

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко.

Другой стог молчал. С десятков трупов лежало в болоте.

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его в голову, и он потерял сознание.

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с «двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом», – как говорилось в телефонограмме.

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полутонный, выдавший виды больничный грузовичок двинулся в

указанном направлении. На шоссе больничную машину беспрерывно обгоняли мощные студебеккеры, груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за беспрерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через три часа.

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Браудэ, и Артемьев были старые колымчане, судьба их сводила вместе уже не в первый раз.

– Что тут, война, что ли? – спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.

– Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите сами.

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге.

– А вы, – сказал Браудэ, закуривая, – вызвали бы самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой.

– Вам все смешки, – сказал генерал-майор. – А я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо – уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало.

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей, пока этап шел. Из трех тысяч человек в живых осталось человек триста. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под суд.

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только солдаты охраны – ни одного беглеца среди них не было.

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания.

Браудэ оказал ему первую помощь и, по приказу Артемьева, вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую

больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции.

Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом, – там были сложены тела убитых беглецов. И рядом – вторая машина с телами убитых солдат.

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового шоссе.

Двенадцатого – майора Пугачева – не было.

Солдатова долго лечили и вылечили – чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из шестидесяти – такое количество друзей и знакомых беглецов угодило «под трибунал». Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальник санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана, и, едва закончился процесс, она переменяла место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел – он был снят с работы, уволен со службы в охроне.

Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры – это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски.

«Вот как скоро все кончилось, – думал Пугачев. – Приведут собак и найдут. И возьмут».

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь – трудную мужскую жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей – всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшим вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он.

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.



Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая морщинистая прошлогодняя ягода лопнула у него в пальцах, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку.

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь – Хачатурян.

Майор Пугачев припомнил их всех – одного за другим – и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.

1959

Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадежило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.

И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой (но без авиационной птички), до сей поры самые почётные, самые несомненные во всех Вооружённых Силах, — вдруг понесли на себе как бы печать порока и не только в глазах заключённых или их родственников (шут бы с ними), — но не в глазах ли и правительства?

В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату («за звёздочки»), то есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные, конечно. Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, мы становимся не нужны?

Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как?

Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением: побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было принимать меры. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат.

Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шёл случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным.

Застрелили ту девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике.

Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру — с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил.

Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключённому собрать и застрелил его.

Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. (А ещё десятка два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.)

Тут эки не смолчали – повторилась история Экибастуза: 3-й лагпункт Кенгира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных.

Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто эков позовут на суд, и они проверят!..). Вышли на работу.

Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного – *евангелиста*, как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была – обмазывать сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки – и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Эки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. (Всё это время близ зоны Деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева-«Бородавки», названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить всё это убийство.)

Всё в зоне заволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» – кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово: виноват убитый сам – он первый стал бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? – что ему три месяца осталось и что он евангелист?..)

Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идёт не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулемётчики, готовые к стрельбе (уже кенгирцам известно было, что – слишком готовые...). Пулемётчики дежурили и на крышах конвойного городка.

Это было опять всё на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, норосло чувство незащищённости, обречённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто.

Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: «Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком.

Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был, и обдуманно раньше не раз, сумели объявить и там. На 2-м лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники, и у многих сроки шли к концу – однако они присоединились.

Утром мужские лагпункты – 3-й и 2-й – на работу не вышли.

Такая повадка – бастовать, а от казённой пайки и хлеба не отказываться – всё больше начинала пониматься арестантами, но всё меньше – их хозяевами. Придумали: надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки, и, вдвоём берясь за одного эка, – выталкивали, выпирали его из барака. (Система слишком гуманная, так пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отважился первый отдать приказ стрелять по зоне из пулемётов.) Этот труд, однако, себя не оправдал: заключённые шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод.

Два дня так они выстояли.

Простая мысль – наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам, уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно, полковник из Караганды с большой свитой: «Долго думаете *волынку* тянуть?»\* И наугад, никого не зная тут, тыкал пальцем: «Ты! – выходи!.. Ты! – выходи!.. Ты! – выходи!» И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на «волынку». Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: «И я пойду!» – «Иди!» – охотно

---

\* Слово «волынка» очень прижилось в официальном языке берлинских волнений в июне 1953 года. Если простые люди где-нибудь в Бельгии добиваются прыжка зарплаты, это называется «справедливый гнев народа», если простые люди у нас добиваются чёрного хлеба – это «волынка».

согласился полковник. Он даже и не понял, наверно, что это был – протест, и против чего тут можно было протестовать.

В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и не вышедшие на работу будут получать штрафной паёк. 2-й лагпункт утром вышел на работу. 3-й не вышел ещё и в третье утро. Теперь к ним применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами: мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием папах и блеском погонов, пробирались нагнувшись между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек: «Ну, подвинься, подвинься, ты же видишь, я подполковник!» И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали дальше к разводу, а тех, кто и тут ещё слишком упирался, – в тюрьму. (Ограниченный объём двух кенгирских тюрем очень стеснял командование – туда помещалось лишь около полутысячи человек.)

Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо? и опасно было ошибиться! Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии. Но не достававшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же подручным.\* К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка, и несокрушаемость штатов, и индивидуальную отвагу.

Применены были и все проверенные ранее способы. В марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. (Поползла зараза дальше!) Человек семьдесят (среди них и Тэнно) были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой: «все меры исправления исчерпаны, разлагающе влияет на за-

---

\* Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий в Кенгире он ушёл в отпуск, затем след его мы теряем — и обнаруживаем уже персональным пенсионером в Караганде. — Не знаем, как скоро ушёл из Озёрлага его начальник полковник Евстигнеев. «Замечательный руководитель... скромный товарищ», он стал заместителем начальника Братской ГЭС. (У Евтушенко его прошлое не отражено.)

ключённых, содержанию в лагере не подлежит». Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того чтобы хозрасчёт, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключённым свободу и справедливость, – в ларьки, до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов. И даже – о, невозможность! – выдали заключённым аванс, чтобы эти продукты брать. (ГУЛаг верил туземцу в долг! – это небывало.)

Так второй раз нараставшее здесь, в Кенгире, не дойдя до назреву, рассасывалось.

Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против Пятьдесят Восьмой – за блатными. (Ну в самом деле: зачем же пачкать руки и погоны, когда есть *социально-близкие?*)

Перед первомайскими праздниками в 3-й мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов Особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себя *понять*, – хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и бытовиков (в том числе много малолеток). «Прибывает *здоровый контингент!* – злорадно предупреждали они Пятьдесят Восьмую. – Теперь вы не шелохнётесь.» А к привезенным ворах воззвали: «Вы у нас наведёте порядок!»

И хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно *порядок* начинать: чтоб воровали, чтоб жили за счёт других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже канючили в развязной своей манере: «Покажи нам баб, начальничек!»

Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в 3-й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замирённый лагерь, а самый крупный мятеж в истории Архипелага Гулага!

\* \* \*

Как ни огорожены, как ни разбросаны по видимости островки Архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в Особлагах не остались для воров

неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что *воры уважали каторжан*.

И если это так – что же мешало нам добиться воровского «уважения» – раньше? Все двадцатые, все тридцатые, все сороковые годы мы, Укропы Помидоровичи и Фан Фанычи, так озабоченные своей собственной общемировой ценностью и содержимым своего *сидора*, и своими ещё не отнятыми ботинками или брюками, – мы держали себя перед ворами как персонажи юмористические: когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов, мы отводили стыдливо глаза и жались в своём уголке; а когда подчеловеки эти переходили расправляться с нами, мы также, разумеется, не ждали помощи от соседей, мы услужливо отдавали этим образинам всё, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши умы были заняты не тем, и сердца приготовлены не к этому! Мы никак не ждали ещё этого жестокого низкого врага. Мы терзались извидами русской истории, а к смерти готовы были только публичной, вкрасне, на виду у целого мира и только спасая сразу всё человечество. А может быть, на мудрость нашу довольно было самой простой простоты. Может быть, с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы все, кто тут есть, получить ножи между рёбрами и слечь в сыром углу, на парашной слизи, в презренной потасовке с этими крысолюдьми, которым на загрызание бросили нас Голубые.\* И тогда-то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потерь и воспрянули бы раньше, выше и даже с ворами этими об руку разнесли бы в щепки сталинские лагеря? В самом деле, за что было ворам нас *уважать*?..

Так вот, приехавшие в Кенгир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись и прежде чем слизались с начальством, – пришли к *паханам* выдержанные широкоплечие хлопцы, сели *поговорить о жизни* и сказали им так: «Мы – представители. Какая в Особых лагерях идёт рубиловка – вы слышали, а не слышали – расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас – шестьсот человек, нас – две тысячи шестьсот. Вы – думайте и выберите. Если будете нас давить – мы вас перережем.»

---

\* «Голубые погоны, голубые канты» – это была форма офицеров МГБ и лагерных оперативников.

Вот этот-то шаг и был мудр и нужен был давно! – повернуться против блатных всем остриём! увидеть в них – главных врагов!

Конечно, Голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей Пяťдесят Восьмой один к четырём идти им не стоит. Покровители – всё-таки за зоной, да и хрена ли в этих покровителях? Разве воры их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы, – был весёлой небывалой авантюрой, да ещё, кажется, открывал и дорожку – через забор в женскую зону.

И ответили воры: «Нет, мы умнее стали. Мы будем с *мужиками* вместе!»

Эта конференция не записана в историю, и имена участников её не сохранились в протоколах. А жаль. Ребята были умные.

Ещё в первых же карантинных бараках *здоровый контингент* отметил своё новоселье тем, что из тумбочек и вагонок развёл костры на цементном полу, выпуская дым в окна. Несогласие же своё с запираанием барачков они выразили, забивая щепками скважины замков.

Две недели воры вели себя как на курорте: выходили на работу, загорали, не работали. О штрафном пайке начальство, конечно, и не помышляло, но при всех светлых ожиданиях и зарплату выписывать вора́м было не из каких сумм. Однако появились у воров боны, они приходили в ларёк и покупали. Обнаджилось начальство, что здоровый элемент начинает-таки воровать. Но, плохо осведомлённое, оно ошиблось: среди политических прошёл сбор на выручку воров (это тоже было, наверно, частью конвенции, иначе вора́м неинтересно), оттуда у них были и боны. Случай слишком небывалый, чтобы хозяева могли о нём догадаться!

Вероятно, новизна и необычность игры очень занимала блатных, особенно малолеток: вдруг относиться к «фашистам» вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без приглашения на вагонки.

Париж прошлого века называл своих блатных (а у него, видимо, их хватало), сведенных в гвардию, – *моби́ли*. Очень верно схвачено. Это племя такое мобильное, что оно разрывает оболочку повседневной косной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично



было *вкалывать* на казённой работе, – но что-то же надо было делать! Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков и через высокую стену из 3-го лагпункта во 2-й, сбивал счёт, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор.

Когда режимные офицеры, или воспитатели, или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки-малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки или с верхних нар вдруг оборачивали куму фуражку козырьком на затылок – небывалое для Гулага обращение! – но и обстановка сложилась невиданная. Воры и раньше всегда считали своих гулаговских отцов – дураками, они тем больше презирали их всегда, чем те индюшачее верили в успехи *перековки*, они до хохота презирали их, выходя на трибуну или перед микрофон рассказать о начале новой жизни с тачкою в руках. Но до сих пор не надо было с ними ссориться. А сейчас конвенция с политическими направляла освободившиеся силы блатных как раз против хозяев.

Так, имея низкий административный рассудок и лишённые высокого человеческого разума, гулаговские власти сами подготовили кенгирский взрыв: сперва бессмысленными застрелами, потом – вливом воровского горячего в этот накалённый воздух.

События шли неотвратимо. Нельзя было политическим не предложить ворами войны или союза. Нельзя было ворами отказываться от союза. А установленному союзу нельзя было коснеть – он бы распался и открылась бы внутренняя война.

Надо было *начинать*, что-нибудь, но начинать! А так как начинателей, если они из Пятьдесят Восьмой, подвешивают потом в верёвочных петлях, а если они воры – только журят на полдебесадах, то воры и предложили: мы – начнём, а вы – подёржите!

Заметим, что всё кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой, поперёк длины, нарезаны были внутренние зоны: сперва 1-го лагпункта (женского), потом хоздвора (о его индустриальной мощи мы говорили), потом 2-го лагпункта, потом

3-го, а потом – тюремного, где стояли две тюрьмы – старая и новая – и куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей посёлка.

Естественной первой целью было – взять хозяйственный двор, где располагались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днём в нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили влезли на крыши своих бараков и усеяли стену между 3-м и 2-м лагпунктами. Потом по команде паханов, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во 2-й лагпункт, там выстроились в колонну и так строем пошли по линейке. А линейка вела по оси 2-го лагпункта – к железным воротам хоздвора, в которые и упиралась.

Все эти ничуть не скрываемые действия заняли какое-то время, за которое надзор успел сорганизоваться и получить инструкции. И вот преинтересно! – надзиратели стали бегать по баракам Пятьдесят Восьмой и к ним, тридцать пять лет давимым, как мразь, взывать: «Ребята! Смотрите! Воры идут ломать женскую зону! Они идут насиловать ваших жён и дочерей! Выходите на помощь! Отобьём их!» Но уговор был уговор, и кто рванулся, о нём не зная, того остановили. Хотя очень было вероятно, что при виде котлет коты не выдержат условий конвенции, – надзор не нашёл себе помощников из Пятьдесят Восьмой.

Уж как там защищал бы надзор от своих любимцев женскую зону – неизвестно, но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат, а сзади ими руководил Бородавка-Беляев, который то ли от усердия оказался в воскресенье в зоне, то ли потому что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Не применяя дрынов, воры стали отступать к своему 3-му лагпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал в солдат камнями и саманами, прикрывая отступление.

Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Всё ещё видя в этом лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед, а вечером с темнотою близ столовой 2-го лагпункта стали, как в летнем кинотеатре, показывать фильм «Римский-Корсаков».

Но отважный композитор не успел ещё уволиться из консерватории, протестуя против гонений на свободу, как зазвенели

от камней фонари на зоне: мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по 2-му лагпункту, и заливчатые их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. (Были с ними и молодые из Пятьдесят Восьмой.)

При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, всё тот же опер капитан Беляев ворвался в хоздвор извне, через его вахту, со взводом автоматчиков и – впервые в истории Гулага! – открыл огонь по *социально-близким!* Были убитые и несколько десятков раненых. А ещё – бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. А ещё сзади, по разделению карательного труда, принятому уже в Экибастузе, и в Норильске, и на Воркуте, бежали надзиратели с железными ломami и этими ломami до смерти добивали раненых. (В ту ночь в больнице 2-го лагпункта засветилась операционная, и заключённый хирург испанец Фустер оперировал.)

Хоздвор теперь был прочно занят карателями, пулемётчики там расставились. А 2-й лагпункт (мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили политические) соорудил против хоздвора баррикаду. 2-й и 3-й лагпункты соединились проломом, и больше не было в них надзирателей, не было власти МВД.

Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают *баб*. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся к женщинам оказались уже не жадные добытки, а – товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли безоружные солдаты, потом – и вооружённые. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали и в тюрьму (в жензоне была предусмотрительно своя тюрьма), а в иных мужчин стреляли.

Испытывая недостаток карательного состава, командование ввело в женскую зону «чернопогонников» – солдат строительного батальона, стоявшего в Кенгире. Однако солдаты стройбата не стали выполнять несолдатского дела! – и пришлось их увести.

А между тем именно здесь, в женской зоне, было главное политическое оправдание, которым перед своими высшими могли защититься каратели. Они вовсе не были простаками. Прочли ли они где-нибудь такое или придумали, но в понедель-

ник впустили в женскую зону фотографов и двух-трёх своих верзил, переодетых в заключённых. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографы фотографировать. Вот от какого произвола защищая слабых женщин, капитан Беляев вынужден был открыть огонь!

В утренние часы понедельника напряжённость сгустилась над баррикадой и проломленными воротами хоздвора. В хоздворе лежали неубранные трупы. Пулемётчики лежали за пулемётами, направленными на те же всё ворота. В освобождённых мужских зонах ломали вагонки на оружие, делали щиты из досок, из матрасов. Через баррикаду кричали палачам, а те отвечали. Что-то должно было сдвинуться, положение было неустойчиво слишком. Зэки на баррикаде готовы были и сами идти в атаку. Несколько исхудалых сняли рубахи, поднялись на баррикаде и, показывая пулемётчикам свои костлявые груди и рёбра, кричали: «Ну, стреляйте, что же! Бейте по отцам! Добивайте!»

И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор.

Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст, только валялись там и здесь лагерные чёрные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров.

(Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Казахстана, он только что прилетел из Алматы. Унесенные трупы отвезли в степь и закопали, чтоб устранить экспертизу, если её потом потребуют.)

Покатилось «Ура-а-а!.. Ура-а-а...» – и хлынули в хоздвор и дальше в женскую зону. Пролом расширили. Там освободили женскую тюрьму – и всё соединилось! Всё было свободно внутри главной зоны! – только 4-й тюремный лагпункт оставался тюрьмой.

На всех вышках стало по *четыре* краснопогонника! – было кому в уши вбирать оскорбления. Против вышек собирались и кричали им (а женщины, конечно, больше всех): «Вы – хуже фашистов!.. Кровопийцы!.. Убийцы!..»

Обнаружился, конечно, в лагере священник, и не один, и в морге уже служили панихидную службу по убитым и умершим от ран.

Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек, всё время и давеча и только что бывших разобшёнными рабами – и вот соединившихся и освободившихся, не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен, под взглядами этих счетверённых конвоиров?! Экибастузское голодное лежание в запертых бараках – и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут – революция! Столько подавленное – и вот прорвавшееся братство людей! И мы любим блатных! И блатные любят нас! (Да куда денешься, кровью скрепили. Да ведь они от своего *закона* отошли!) И ещё больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве, и сёстры наши по судьбе.

В столовой прокламации: «Вооружайся, чем можешь, и нападай на войска первый!» На кусках газет (другой бумаги нет) чёрными или цветными буквами самые горячие уже вывели в спешке свои лозунги: «Хлопцы, бейте чекистов!» «Смерть стукачам, чекистским холуям!» В одном-другом-третьем месте лагеря, только успевай – митинги, ораторы! И каждый предлагает своё! Думай – тебе *думать* разрешено – за кого ты? Какие выставить требования? Чего мы хотим? Под суд Беляева! – это понятно. Под суд убийц! – это понятно. А дальше?.. Не запирать бараков, снять номера! – а дальше?..

А дальше – самое страшное: для чего *это* начато и чего мы хотим? Мы хотим, конечно, свободы, одной свободы! – но кто ж нам её даст? Те суды, которые нас осудили, – в Москве. И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами ещё разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой... нас всех в этой степи закопают.

А тогда – чего мы хотим? Проламывать стены? Разбежаться в пустыню?..

Часы свободы! Пуды цепей свалились с рук и плеч. Нет, всё равно не жаль! – этот день стоил того!

А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна, они не смотрят зверьми, они без автоматов, да ведь и то сказать – они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаём, что из Москвы прилетели генералы, – гулаговский Бочков и заместитель генерального прокурора Вавилов. (Они служили и при Берии, но зачем бередить старое?) Они считают, что наши требования вполне справедливы. (Мы сами ахаем: справедливы? Так мы не бунтов-

щики? Нет-нет, вполне справедливы.) «Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности.» – «А за что женщин избили?» – «Женщин избили? – поражается делегация. – Быть этого не может.» Аня Михалевич приводит им вереницу избитых женщин. Комиссия растрогана: «Разберёмся, разберёмся.» – «Звери!» – кричит генералу Люба Бершадская. Ещё кричат: «Не запирать барakov!» – «Не будем запирать.» – «Снять номера!» – «Обязательно снимем», – уверяет генерал, которого мы в глаза никогда не видели (и не увидим). – «Проломы между зонами – пусть остаются! – наглеем мы. – Мы должны общаться!» – «Хорошо, общайтесь, – согласен генерал. – Пусть проломы остаются.» Так братцы, чего нам ещё надо? Мы же победили!! Один день побушевали, порадовались, покипели – и победили! И хотя среди нас качают головами и говорят – обман, обман! – мы верим. Мы верим нашему в общем неплохому начальству. Мы верим потому, что так нам легче всего выйти из положения...

А что остаётся угнетённым, если не верить? Быть обманутыми – и снова верить. И снова быть обманутыми – и снова верить.

И во вторник 18 мая все кенгирские лагпункты вышли на работу, примирясь со своими мертвецами.

И ещё в это утро всё могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кенгире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьёзно признать правоту заключённых! Не могли же они серьёзно наказывать военнослужащих МВД! Их низкий рассудок извлёк один только урок: недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать *огневые* зоны!

И в этот день усердное начальство впрягло в работу тех, кто отвык работать годами и десятилетиями: офицеры и надзиратели надевали фартуки: кто знал, как взяться, – брал в руки мастерок; солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки; инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. И к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены часовые с командой: открывать огонь!

А когда вечером колонны заключённых, отдавших труд дневной государству, входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорей запереть. По генеральской диспозиции, нужно было выиграть этот первый вечер –

вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, – а там как-нибудь привыкнется и втянется в колею.

Но раздались перед сумерками те же залихватые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, – перекликались ими третья и вторая зоны, как на большом хулиганском гулянии (эти свисты были ещё один удачный вклад блатных в общее дело). И надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Один только офицер сплоховал (старший лейтенант интендантской службы Медвежонок), задержался по своим делам и взят был до утра в плен.

Лагерь остался за эсками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам – вышки открывали пулемётный огонь. Несколько уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки светили ракетами. Вот тут 3-му лагпункту пригодился хозофицер: с одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к стене (с их стороны предзонника не сделали), и он вопил из темноты своим: «Не стреляйте, здесь я, Медвежонок! Здесь я, не стреляйте!» – а с вышек его матюгали: а ты врагам не попадайся. В конце концов эски пожалели его и отпустили, с расстройством.

Длинными столами били по колючке, по свежим столбикам предзонника, но под огнём нельзя было ни проломить стену, ни лезть через неё, – значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски.

В эту ночь, с 18 на 19 мая, безоружные люди под пулемётным огнём прошли подкопами и проломами все стены и снова соединили все лагпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла насмарку. Под кровом ночи ломали предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западнёй (в другие дни их сделали шириной метров в двадцать).

В эту же ночь пробили стену и в 4-й лагпункт, тюремный. Надзорсостав, охранявший тюрьмы, бежал кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания: бывший полковник Красной армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; после войны он командовал полком

в Германии, и кто-то у него сбежал в Западную – за это и получил он срок; а в лагерной тюрьме он сидел «за очернение лагерьной действительности» в письмах, отосланных через вольняшек); бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слученков (он побывал в плену, как некоторые говорят – и власовцем).

В «новой» тюрьме сидели жители посёлка Кенгира, бытовики. Сперва они поняли так, что в стране – всеобщая революция, и с ликованием приняли неожиданную свободу. Но быстро узнав, что революция – слишком местного значения, бытовики лояльно вернулись в свой каменный мешок и безо всякой охраны честно жили там весь срок восстания – лишь за едою ходили в столовую мятежных эзков.

Мятежных эзков! – которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они не знали, и больше боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж.

Что оставалось им? Верить обещаниям? Снова обманут, это хорошо показали рабовладельцы вчера, да и раньше. Стать на колени? Но они все годы стояли так и не выслужили милости. Проситься сегодня же быть наказанными? – но наказание сегодня, как и через месяц свободной жизни, будет одинаково жестоко от тех, чьи суды работают машинно: если *четвертаки*, так уж всем вкруговую, без пропуска.

Бежит же беглец, чтоб испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько *бежали в свободу*, хоть и не надолго! Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им – жить! Привычно ожесточённые лица смягчились до добрых улыбок.\* Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались изощрёнными тайными путями и никогда не видели друг друга, – теперь познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксёндзы через стену, теперь увидели своих законных по церкви мужей – их брак спустился от Господа на землю! Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своём языке об этой странной азиатской революции. Всё продовольст-

---

\* Это отметил недоброжелатель Макеев.



вие лагеря оказалось в руках заключённых. Никто не гнал на развод и на одиннадцатичасовой рабочий день.

Над бессонным взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них эки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из каптёрки. Кое-кто из хлопцев нахлобучил папахи и кубанки. (Скоро будут и расшитые рубашки, на азиатках – цветные халаты и тюрбаны, серо-чёрный лагерь расцветёт.)

Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы Комиссии – комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления (так скромно, так боязливо она себя назвала).

Её избирали, может быть, на несколько всего часов, но суждено было ей стать сорокадневным правительством кенгирского лагеря.

\* \* \*

Если б это всё свершилось на два года раньше, то из одного только страха, чтоб не узнал *Сам*, степлаговские хозяева не стали бы медлить, а с вышек перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу. И надо ли было бы при этом уложить все восемь тысяч или четыре – ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые.

Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже постреляно было немало, и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. И так создавалась заминка, а значит – время для мятежников начать свою независимую новую жизнь.

В первые же часы предстояло определиться политической линии мятежа, а значит, бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов: «Хлопцы, бейте чекистов»?

Едва выйдя из тюрьмы – и тут же силою обстоятельств, военной ли хваткой, советами ли друзей или внутренним позывом направляясь к руководству, Капитон Иванович Кузнецов сразу, видимо, принял сторону и понимание немногочисленных и затёр-

тых в Кенгире ортодоксов: «Пресечь эту стряпню (листовки), пресечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями!» (Эти выражения я цитирую по записям другого члена Комиссии А. Ф. Макеева об узком разговоре в вешкаптёрке Петра Акоева. Ортодоксы кивали Кузнецову: «Да за эти листовки нам всем начнут мотать новые сроки.»)

В первые же часы, ещё ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и ещё позже не раз, полковник Кузнецов, встречая настроения крайние и озлобленность жизней настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая:

– Антисоветчина – была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги – нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше – в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями *как подобает советским гражданам!*

И уже громче потом: «Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов!» (Да впрочем, пока он те речи держал, а на вагонках громко целовались. Не очень-то в речи его и вникали.)

Это подобно тому, как если бы поезд вёз вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него, – вам пришлось бы соскакать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт:

«Да здравствует Советская Конституция!»

«Да здравствует Президиум ЦК!»

«Да здравствует советская власть!»

«Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел!»

«Долой убийц-бериевцев!»

«Жёны офицеров Степлага! Вам не стыдно быть жёнами убийц?»

Хотя большинству кенгирцев было отлично ясно, что все миллионные расправы, далёкие и близкие, произошли под болютным солнцем *этой* конституции и утверждены *этим* составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать – да здрав-

ствует эта конституция и это Политбюро. И теперь, перечитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твёрдость под ногами и стали успокаиваться: движение их – не безнадёжно.

А над столовой, где только что прошли выборы, поднялся видный всему посёлку флаг. Он висел потом долго: белое поле, чёрная кайма, в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг этот значил:

«Терпим бедствие. На борту – женщины и дети.»

В Комиссию было избрано человек двенадцать во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы:

- агитации и пропаганды (руководил им литовец Кнопкус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания);
- быта и хозяйства;
- питания;
- внутренней безопасности (Глеб Слученков);
- военный и
- технический, пожалуй самый удивительный в этом лагерном правительстве.

Бывшему майору Makeеву были поручены контакты с начальством. В составе Комиссии был и один из воровских паханов, он тоже чем-то ведал. Были и женщины (очевидно: Шахановская, экономист, партийная, уже седая; Супрун, пожилая учительница из Прикарпатья; Люба Бершадская).

Вошли ли в эту Комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. *Центры*, а особенно украинский (во всём лагере русских было не больше четверти), очевидно, остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941 воевавший то против немцев, то против советских, а в Кенгире публично зарубивший стукача, являлся на заседания молчаливым наблюдателем от *того* штаба.

Комиссия открыто работала в канцелярии женского лагпункта, но военный отдел вынес свой командный пункт (полевой штаб) в баню 2-го лагпункта. Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживлёнными: надо было всё придумать и наладить.

Прежде всего надо было укрепиться. (Makeев, ожидавший неизбежного войскового подавления, был против создания какой-либо обороны. На ней настояли Слученков и Кнопкус.) Много самана образовалось от широких расчищенных проломов

во внутренних стенах. Из этого самана сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне (и входов извне), которые остались во власти охранников и любой из которых в любую минуту мог открыться для пропуска карателей. В достатке нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из неё наматывали и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали Бруно. Не упустили кое-где выставить и дощечки: «Осторожно! Минировано!»

А это была одна из первых затей Технического отдела. Вокруг работы отдела была создана большая таинственность. В захваченном хоздворе Техотдел завёл секретные помещения, на входе в которые нарисованы были череп, скрещенные кости и написано: «Напряжение 100000 вольт». Туда допускались лишь несколько работающих там человек. Так даже заключённые не стали знать, чем занимается Техотдел. Очень скоро распространён был слух, что изготавливает он *секретное оружие* по химической части. Так как и экам и хозяевам было хорошо известно, какие умники-инженеры здесь сидят, то легко распространилось суеверное убеждение, что они *всё могут*, и даже изобрести такое оружие, какого ещё не придумали в Москве. А уж сделать какие-то мины несчастные, используя реактивы, бывшие на хоздворе, — отчего же нет? И так дощечки «минировано» воспринимались серьёзно.

И ещё придумано было оружие: ящики с толчёным стеклом у входа в каждый барак (засыпать глаза автоматчикам).

Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки — отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчинённые Военному отделу. Начальником всех караулов стал Михаил Келлер. По точному графику все угрожаемые места занимали пикеты, особенно усиленные в ночное время. Учитывая ту особенность мужской психологии, что при женщине мужчина не побежит и вообще проявит себя храбрее, пикеты составляли смешанные. А женщин в Кенгире оказалось много не только горластых, но и смелых, особенно среди украинских девушек, которых и было в женском лагпункте большинство.

Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решётки с барачков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, ещё работали станки в хоздворе, и из прутьев этих решёток сделали множество *пик*, заостряя и обтачивая их концы. Вообще, кузня и

станочники эти первые дни непрерывно делали оружие: ножи, алебарды-секиры и сабли, особенно излюбленные блатными (к эфесам цепляли бубенчики из цветной кожи). У иных появлялись в руках кистени.

Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону в отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим (было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин), шли, ошетиленные кончиками пик.

Это всё было бы невозможно, рассыпалось бы от глумления или от похоти, если бы не было оваяно суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечной была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрьма в будущем. Пики были игрушечные, но хоть их послала судьба! – эту первую возможность защищать свою волю. В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на баррикаде тоже становится оружием, – мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо.

Если кто в эти дни и вёл расчёты низменного сладострастия, то – хозяева в голубых погонах там, за зоной. Их расчёт был, что, предоставленные на неделю сами себе, заключённые захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям посёлка, что заключённые взбунтовались для разврата. (Конечно, чего другого могло недоставать арестантам в их обеспеченной судьбе?)\*

Главный же расчёт начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся, и пойдёт резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД! – и это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствуют, что воры вели себя *как люди*, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Встречено – и политические и сами женщины относились к ним подчёркнуто дружелюбно, с доверием. А что скрытей того – не относится к нам. Может быть, ворами всё время помнились и кровавые их жертвы в первое воскресенье.

---

\* После мятежа хозяева не постеснялись провести повальный медицинский осмотр всех женщин. И обнаружив многих с девственностью, изумлялись: как? чего ж ты смотрела? столько дней вместе!..

Они судили о событиях на своём уровне.

Если кенгирскому мятежу можно приписать в чём-то силу, то сила была – в единстве.

Не посягали воры и на продовольственный склад, что, для знающих, удивительно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, Комиссия, посоветовавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты. Верноподданная боязнь переест казённый харч и потом отвечать за растрату! Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестантам! Наоборот – почти смешной изворот: всё лагерное начальство, оставшееся за зоной, должно было получать снабжение с хоздвора, а как же! – и по их *просьбе* Комиссия допустила на хоздвор старшего лейтенанта Болтушкина (невредного, бывшего фронтовика), и он регулярно отгружал продукты начальству, например сухие фрукты, из расчёта норм для вольных – и эки отпускали.

Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежней норме, кухня получала, варила, но в новом революционном воздухе не воровала сама, и не являлся посланец от блатных с указанием *носить для людей*. И не наливалось лишнего черпака придуркам. И вдруг оказалось, что из той же нормы – еды стало заметно больше!

И если блатные продавали вещи (то есть награбленные прежде в другом месте), то не являлись тут же по своему обыкновению отбирать их назад. «Теперь не такое время», – говорили они...

Даже ларьки от местного ОРСа продолжали торговать в зонах. Вольной инкассаторше штаб обещал безопасность. Она без надзирателей допускалась в зону и здесь в сопровождении двух девушек обходила все ларьки и собирала у продавцов их выручку – боны. (Но боны, конечно, скоро кончились, да и новых товаров хозяева в зону не пропускали.)

В руках у хозяев оставалось ещё три вида снабжения зоны: электричество, вода, медикаменты. Воздухом распоряжались, как известно, не они. Медикаментов не дали в зону за сорок дней ни порошка, *ни капли йода*. Электричество отрезали дня через два-три. Водопровод – оставили.

Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки на тонкой проволоке забрасывать с силой на внешнюю линию, идущую за лагерной стеной, – и так несколько дней воровали ток, пока щупальцы не были обнаружены и отрезаны.

За это время Техотдел успел испробовать ветряк и отказаться от него и стал на хоздворе (в укрытом месте от прозора с вышек и от низко летающих самолётов У-2) монтировать гидроэлектростанцию, работающую от... водопроводного крана. Мотор, бывший на хоздворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и... радиопередатчик! А в бараках светили лучины... Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа.

В самом начале мятежа генералы приходили в зону как хозяева (ну, не слишком-то свободно по самой зоне, остерегались). Правда, нашёлся и Кузнецов: на первые переговоры он велел вынести из морга убитых и громко скомандовал: «Головные уборы – снять!» Обнажили головы зэки – и генералам тоже пришлось снять военные картузы перед своими жертвами. Но инициатива осталась за гулаговским генералом Бочковым. Одобрив избрание Комиссии («нельзя ж со всеми сразу разговаривать»), он потребовал, чтоб депутаты на переговорах сперва рассказали о своём следственном деле (и Кузнецов стал длинно и, может быть, охотно излагать своё); чтобы зэки при выступлениях непременно вставали. Когда кто-то сказал: «Заключённые требуют...», Бочков с чувствительностью возразил: «Заключённые могут только просить, а не требовать!» И установилась эта форма – «заключённые просят».

На просьбы заключённых Бочков ответил лекцией о строительстве социализма, небывалом подъёме народного хозяйства, об успехах китайской революции. Самодовольное косоое ввинчивание шурупа в мозг, отчего мы всегда слабеем и немеем... Он пришёл в зону, чтобы разъяснить, почему применение оружия охраной было правильным (скоро они заявят, что вообще никакой стрельбы по зоне не было, это ложь бандитов, и избиений тоже не было). Он просто изумился, что смеют просить его нарушить «инструкцию о раздельном содержании зэ-ка зэ-ка». (Они так говорят о своих инструкциях, будто это до вечные и домировые законы.)

Вскоре прилетели на «дугласах» ещё новые и более важные генералы: Долгих (будто бы в то время – начальник ГУЛага) и Егоров (замминистра МВД СССР). Было назначено собрание в столовой, куда собралось до двух тысяч заключённых. И Кузнецов скомандовал: «Внимание! Встать! Смирно!» – и с почётом пригласил генералов в президиум, а сам по субординации стоял

сбоку. (Иначе вёл себя Слученков. Когда из генералов кто-то обронил о *врагах* здесь, Слученков звонко им ответил: «А кто из вас не оказался враг? Ягода – враг, Ежов – враг, Абакумов – враг, Берия – враг. Откуда мы знаем, что Круглов лучше?»)

Макеев, судя по его записям, составил проект соглашения, по которому начальство обещало бы никого не этапировать и не репрессировать, начать расследование, а зэки за то соглашались немедленно приступить к работе. Однако когда он и его единомышленники стали ходить по баракам и предлагали принять проект, зэки честили их «лысыми комсомольцами», «уполномоченными по заготовкам» и «чекистскими холуями». Особенно враждебно встретили их на женском лагпункте, и особенно неприемлемо было для зэков согласиться теперь на разделение мужских и женской зон. (Рассерженный Макеев отвечал своим возражателям: «А ты подержался за сисю у Параси и думаешь, что кончилась советская власть? Советская власть на своём настаит, всё равно!»)

Дни текли. Не спуская с зоны глаз – солдатских с вышек, надзирательских оттуда же (надзиратели, как знающие зэков в лицо, должны были опознавать и запоминать, кто что делает) и даже глаз лётчиков (может быть с фотосъёмкой), – генералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет погрома, нет насилий, лагерь сам собой не разваливается, и повода нет вести войска на вырубку.

Лагерь – стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед. Их всех пропускали, но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты хоздвора, главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой, сносить обыск, когда какая-нибудь украинская дивчина в телогрейке охлопывала генеральские карманы, нет ли, мол, там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников *гарантировал* им личную безопасность!..

Генералов проводили там, где можно (конечно, не по *секретной* зоне хоздвора), и давали им разговаривать с зэками и собирали для них большие собрания по лагпунктам. Блеща погонами, хозяева и тут рассаживались в президиумах – как раньше, как ни в чём не бывало.

Арестанты выпускали ораторов. Но как трудно было говорить! – не только потому, что каждый писал себе этой речью бу-



душий приговор, но и потому, что слишком разошлись знания и представления об истине у серых и у Голубых, и почти ничем уже нельзя было пронять и просветить эти дородные благополучные туши, эти лоснящиеся дынные головы. Кажется, очень их рассердил старый ленинградский рабочий, коммунист и участник революции. Он спрашивал их, что это будет за коммунизм, если офицеры пасутся на хоздворе, из ворованного с обогатительной фабрики свинца заставляют делать себе дробь для браконьерства; если огороды им копают заключённые; если для начальника лагпункта, когда он моется в бане, расстилают ковры и играет оркестр.

Чтоб меньше было такого бестолкового крику, эти собеседования принимали и вид прямых переговоров по высокому дипломатическому образцу: в июне как-то поставили в женской зоне долгий столовский стол и по одну сторону на скамье расселись золотопогонники, а позади них стали допущенные для охраны автоматчики. По другую сторону стола сели члены Комиссии, и тоже была охрана – очень серьёзно стояла она с саблями, пиками и рогатками. А дальше подталпливались зэки – слушать толковище, и подкрикивали. (И стол не был без угощений! – из теплиц хоздвора принесли свежие огурцы, с кухни – квас. Золотопогонники грызли огурцы, не стесняясь...)

И ещё было как-то полускрытое совещание лагерной Комиссии с пятью генералами МВД в домике у вахты 3-го лагпункта.

Требования-просьбы восставших были сформулированы ещё в первые два дня и теперь повторялись многократно:

- наказать убийцу евангелиста;
- наказать всех виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоздворе;
- наказать тех, кто избивал женщин;
- вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посланы в закрытые тюрьмы;
- не надевать больше номеров, не ставить на бараки решётки, не запирают бараков;
- не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами;
- восьмичасовой рабочий день, как у вольных;
- увеличение оплаты за труд (уж не шла речь о равенстве с вольными);

- свободная переписка с родственниками и иногда свидания;
- пересмотр дел.

И хотя ни одно требование тут не сотрясало устоев и не противоречило конституции (а многие были только – просьба о возврате в старое положение), – но невозможно было хозяевам принять ни мельчайшего из них, потому что эти подстриженные жирные затылки, эти лысины и фуражки давно отучились признавать свою ошибку или вину. И отвратна, и неузнаваема была для них истина, если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций, а из уст чёрного народа.

Но всё-таки затянувшееся это сидение восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить, только вот (для правдоподобия) трудно будет оставить открытой женскую зону, это не положено (как будто в ИТЛ двадцать лет было иначе), но можно будет обдумать, какие-нибудь устроить дни встреч. А вот начать в зоне работу следственной комиссии (по обстоятельствам расстрелов) генералы внезапно согласились. (Но Слученков разгадал и настоял, чтоб этого не было: под видом показаний будут стукачи *дуть* на всё, что происходит в зоне.) Пересмотр дел? Что ж, и дела, конечно, будут пересматривать, только *надо подождать*. Но что совершенно безотложно – надо выходить на работу! на работу! на работу!

А уж это ээки знали: разделить на колонны, оружием положить на землю, арестовать зачинщиков.

Нет, – отвечали они через стол и с трибуны. Нет! – кричали из толпы. Управление Степлага вело себя провокационно! Мы не верим руководству Степлага! Мы не верим МВД!

– *Даже* МВД не верите? – поражался заместитель министра, вытирая лоб от крамолы. – Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?

Загадка.

– Члена Президиума ЦК! Члена Президиума ЦК! Тогда поверим! – кричали ээки.

– Смотрите! – угрожали генералы – Будет хуже!

Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо.

– Если войдёте в зону с оружием, – предупреждал он, – не забывайте, что здесь половина людей – бравших Берлин. Овладеют и вашим оружием!

Капитон Кузнецов! Будущий историк кенгирского мятежа разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку? В каком состоянии представлял своё судебное дело? давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришло из Москвы *освобождение* (кажется, с реабилитацией)? Только ли профессионально-военной была его гордость, что в таком *порядке* он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения потому, что оно его захватило? (Я это отклоняю.) Или, зная командные свои способности, – для того, чтобы умерить его, ввести в берега (и взаимные расправы предотвратить, сдерживая Слученкова) и укрощённой волною положить под сапоги начальству? (Так думаю.) Во встречах, переговорах и через второстепенных лиц он имел возможность передать карателям то, что хотел, и услышать от них. Например, в июне был случай, когда отправляли за зону для переговоров ловкача Маркосяна с поручением от Комиссии. Воспользовался ли такими случаями Кузнецов? Допускаю, что и нет. Его позиция могла быть самостоятельной, гордой.

Два телохранителя – два огромных украинских хлопца – всё время сопровождали Кузнецова, с ножами на боку.

Для защиты? Для расплаты?

(Макеев утверждает, что в дни восстания была у Кузнецова и временная жена – тоже бандеровка.)

Глебу Слученкову было лет тридцать. Это значит, в немецкий плен он попал лет девятнадцати. Сейчас, как и Кузнецов, он ходил в прежней своей военной форме, сохранённой в каптёрке, выявляя и подчёркивая военную косточку. Он чуть прихрамывал, но это искупалось большой подвижностью.

На переговорах он вёл себя чётко, резко. Придумало начальство вызывать из зоны «бывших малолеток» (посажённых до 18 лет, – сейчас уже было кому и 20-21 год) – для освобождения. Это, пожалуй, не был и обман, около того времени их действительно повсюду освобождали или сбрасывали сроки. Слученков ответил: «А вы спросили бывших малолеток – *хотят* ли они переходить из одной зоны в другую и оставить в беде товарищей?» (И перед Комиссией настаивал: «Малолетки – наша гвардия, мы их не можем отдать!» В том и для генералов был ча-

стный смысл освобождения этих юношей в мятежные дни Кенгира; уж там не знаем, не рассовали бы их по карцерам за зоной?) Законопослушный Макеев начал всё же сбор бывших малолеток на «суд освобождения» и свидетельствует: из *четырёхсот девяти*, подлежащих освобождению, удалось ему собрать на выход лишь *тринадцать* человек. Учитывая расположение Макеева к начальству и враждебность к восстанию, этому свидетельству можно изумиться: 400 молодых людей в самом расцветном возрасте, и даже в массе своей не политических, *отказались не только от свободы — но от спасения!* — остались в гиблом мятеже...

А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так: «Присылайте! Присылайте в зону побольше автоматчиков! Мы им глаза толчёным стеклом засыпем, отберём автоматы! Ваш кенгирский гарнизон разнесём! Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним, на ваших спинах войдём в Караганду! А там — наш брат!»\*

Можно верить и другим свидетельствам о нём. «Кто побежит — будем бить в грудь!» — и в воздухе финкой взмахнул. Объявлял в бараке: «Кто не выйдет на оборону — тот получит ножа!» Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения...

Новорождённое лагерное правительство, как и извечно всякое, не умело существовать без службы безопасности, и Слученков эту службу возглавил (занял в женском лагпункте кабинет опера). Так как победы над внешними силами быть не могло, то понимал Слученков, что его пост означал для него неминуемую казнь. В ходе мятежа он рассказывал в лагере, что получил от хозяев тайное предложение, — спровоцировать в лагере национальную резню (очень на неё золотопогонники рассчитывали, и удивительно, что она не случилась! добрый прообраз к нашему будущему) — и тем дать благовидный предлог для вступления войск в лагерь. За это хозяева обещали Слученкову жизнь. Он отверг предложение. (А кому и что предлагали ещё? Те не рассказывали.) Больше того, когда по лагерю пущен был слух, что ожидается еврейский погром, Слученков предупредил, что переносчиков будет публично *сечь*. Слух угас.

---

\* Может быть, эти угрозы и повлияли на начальство, когда выбиралось оружие подавления.

Ждало Слученкова неизбежное столкновение с благонамеренными. Оно и произошло. Надо сказать, что все эти годы во всех каторжных лагерях ортодоксы, даже не сговариваясь, единомысленно осуждали резню стукачей и всякую борьбу арестантов за свои права. Не приписывая это непременно низменным сообщениям (немало ортодоксов были связаны службой у кума), вполне объясним это их теоретическими взглядами. Они признавали любые формы подавления и уничтожения, также и массовые, но сверху – как проявление диктатуры пролетариата. Такие же действия, к тому ж порывом, разрозненные, но снизу, – были для них бандитизм, да к тому ж ещё в «бандеровской» форме (среди благонамеренных никогда не бывало ни одного, допускавшего право Украины на отделение, потому что это был бы уже буржуазный национализм). Отказ каторжан от рабской работы, возмущение решётками и расстрелами огорчило, удручило и напугало покорных лагерных коммунистов.

Так и в Кенгире всё гнездо благонамеренных (Генкин, Апельцвейг, Талалаевский, очевидно Акоев, больше фамилий у нас нет; потом ещё один симулянт, который годами лежал в больнице, притворяясь, что у него «циркулирует нога», – такой интеллигентный способ борьбы они допускали; а в самой Комиссии явно – Макеев, очевидно и Бершадская) – все они с самого начала упрекали, что «не надо было начинать»; и когда проходы заделали – не надо было подкапываться; что всё затеяла бандеровская накипь, а теперь надо поскорее уступить. (Да ведь и те убитые шестнадцать были – не с их лагпункта, а уж евангелиста и вовсе смешно жалеть.) В записках Макеева выбрюзжано всё их сектантское раздражение. Всё кругом – дурно, все – дурны, и опасности со всех сторон: от начальства – новый срок, от бандеровцев – нож в спину. «Хотят всех железяками запугать и заставить гибнуть.» Кенгирский мятеж Макеев зло называет «кровавой игрой», «фальшивым козырем», «художественной самодетельностью» бандеровцев, а то чаще – «свадьбой». Расчёты и цели главарей мятежа он видит в распутстве, уклонении от работы и оттяжке расплаты. (А сама ожидаемая расплата подразумевается у него как справедливая.)

Это очень верно отражает отношение благонамеренных ко всему лагерному движению свободы 50-х годов. Но Макеев был весьма осторожен, ходил даже в руководителях мятежа, – а Талалаевский эти упреки рассыпал вслух – и слученковская служба

безопасности за агитацию, враждебную восставшим, посадила его в камеру кенгирской тюрьмы.

Да, именно так. Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою. Извечная усмешка. Правда, всего посажено было по разным поводам (сношение с хозяевами) человека четыре, и ни один из них не был расстрелян (а наоборот, получил лучшее алиби перед Руководством).

Вообще же тюрьму, особенно мрачную старую, построенную в 30-е годы, широко показывали: её одиночки без окон, с маленьким люком наверху; топчаны без ножек, то есть попросту деревянные щиты внизу, на цементном полу, где ещё холодней и сырей, чем во всей холодной камере; рядом с топчаном, то есть уже на полу, как для собаки, грубая глиняная миска.

Туда отдел агитации устраивал экскурсии для своих – кому не привелось посидеть и, может быть, не придётся. Туда водили и приходящих генералов (они не были очень поражены). Просили прислать сюда и экскурсию из вольных жителей посёлка – ведь на объектах они всё равно сейчас без заключённых не работают. И даже такую экскурсию генералы прислали – разумеется, не из простых работяг, а персонал подобранный, который не нашёл, чем возмутиться.

Встречно и начальство предложило свозить экскурсию из заключённых на Рудник (1-е и 2-е лаготделения Степлага), где, по лагерным слухам, тоже вспыхнул мятеж (кстати, слова этого *мятеж*, или ещё хуже *восстание*, избегали по своим соображениям и рабы и рабовладельцы, заменяя стыдливо-смягчающим словом *сабантуй*). Выборные поехали и убедились, что там-таки действительно всё по-старому, выходят на работу.

Много надежд связывалось с распространением таких забастовок! Теперь вернувшиеся выборные привезли с собой уныние.

(А свозили-то их вовремя. Рудник, конечно, был взбудоражен, от вольных слышали были и небылицы о кенгирском мятеже. В том же июне так сошлось, что многим сразу отказали в жалобах на пересмотр. И какой-то пацан полусумасшедший был ранен на *запретке*. И на Руднике тоже началась забастовка, сбили ворота между лагпунктами, вывалили на линейку. На вышках появились пулемёты. Вывесил кто-то плакат с антисоветскими лозунгами и кличем «Свобода или смерть!». Но его сняли, заменили плакатом с *законными* требованиями и обязательством полностью возместить убытки от простоя, как только

требования будут удовлетворены. Приехали грузовики вывозить муку со склада – не дали. Что-то около недели забастовка продолжилась, но нет у нас никаких точных сведений о ней, это всё – из третьих уст, и вероятно – преувеличено.)

Вообще, были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешнее радио не умолкало: через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращения к заключённым с информацией, дезинформацией и одной-двумя заезженными, надоевшими, все нервы источившими пластинками.

Ходит по полю девчёнка,  
Та, в чьи косы я влюблён.

(Впрочем, чтобы заслужить даже эту невысокую честь – проигрывание пластинок, надо было восстать. Коленопреклонённым даже этой дряни не играли.) Эти же пластинки работали в духе века и как глушилка – для глушения передач, идущих из лагеря и рассчитанных на конвойные войска.

По внешнему радио то чернили всё движение, уверяя, что начато оно с единственной целью насиловать женщин и грабить (в самом лагере эки смеялись, но ведь громкоговорители доставалось слышать и вольным жителям посёлка; да ни до какого другого объяснения рабовладельцы не могли и подняться – недостижимой высотой для них было бы признать, что эта чернь способна искать справедливости). То старались рассказать какую-нибудь гадость о членах Комиссии (даже об одном пахане: будто, этапирюясь на Колыму на барже, он открыл в трюме отверстие и потопил баржу и триста зэ-ка. Упор был на то, что именно бедных зэ-ка, да чуть ли всё не Пятьдесят Восьмую он потопил, а не конвой; и непонятно, как при этом спасся сам). То терзали Кузнецова, что ему пришло освобождение, но теперь отменено. И опять шли призывы: работать! работать! почему Родина должна вас содержать? не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству! (Это должно было пронзить сердца, обречённые на вечную каторгу.) Простаивают целые эшелоны с углем, некому разгружать! (Пусть постоят! – смеялись эки, – скорей уступите! Но даже и им не приходила мысль, чтоб золотопогонники сами разгрузили, раз уж так сердце болит.)

Однако не остался в долгу и Технический отдел. В хоздворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители и были использованы для громкоговора, конечно, более слабого по мощно-

сти. А питались усилители от засекреченной гидростанции. (Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радиопередатчик да не стали бы о своём восстании передавать за границу. Такие слухи в лагере тоже кто-то пускал.)

Появились в лагере свои дикторы (известна Слава Яри-мовская). Передавались последние известия, радиогазета (кроме того, была и ежедневная стенная, с карикатурами). «Крокодиловы слёзы» называлась передача, где высмеивалось, как охранники болеют о судьбе женщин, прежде сами их избив. Были передачи и для конвоя. Кроме того, ночами подходили под вышки и кричали солдатам в рупоры.

Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных сочувствующих, кто мог найтись тут в Кенгире, – для вольных жителей посёлка, часто тоже ссыльных. А именно их, уже не по радио, а там где-то, недоступно для эков, власти посёлка заморочивали слухами, что в лагере верховодят кровожадные бандиты и сладострастные проститутки (такой вариант имел успех у жительниц\*); что здесь истязают невинных и живьём сжигают в топках (и непонятно только, почему Руководство не вмешивается!..).

Как было крикнуть им через стены, на километр, и на два, и на три: «Братья! Мы хотим только справедливости! Нас убивали невинно, нас держали хуже собак! Вот наши требования...»?

Мысль Технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась, напротив, к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги (на хоздворе чего только не было, мы писали о нём\*\*), много лет он заменял джезказганским офицером и столичное ателье и все виды мастерских ширпотреба) склеен был по примеру братьев Монгольфье огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток тёплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огром-

---

\* Когда уже всё было кончено и повели женскую колонну по посёлку на работу, собрались замужние русские бабы вдоль дороги и кричали им: «Проститутки! Шлюхи! Захотелось ...?», и ещё более выразительно. На другой день повторилось то же, но зэчки вышли из зоны с камнями и теперь засыпали оскорбительниц в ответ. Конвой смеялся.

\*\* Часть третья, глава 22.



ному удовольствию собравшейся арестантской толпы (арестанты уж если радуются, то как дети), это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но увы! – ветер был быстрее, чем оно набирало высоту, и при перелёте через забор жаровня зацепилась за проволоку, лишённый горячего тока шар опал и сгорел вместе с листовками.

После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая посёлку крупные надписи:

- Спасите женщин и стариков от избиения!
- Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!

Охрана стала расстреливать эти шары.

Тут пришли в Техотдел эки-чечены и предложили делать змеев (они на змеев мастера). Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над посёлком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели, если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. (Листовки кончались просьбою к каждому нашедшему кенгирцу – доставить её в ЦК.)

По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашёл скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать.

Война воздушных змеев во второй половине XX века! – и всё против слова правды...

(Может быть, читателю будет удобно для привязки кенгирских событий по времени вспомнить, что происходило в дни кенгирского мятежа на воле? Женевская конференция заседала об Индокитае. Была вручена сталинская премия мира Пьеру Коту. Другой передовой француз писатель Сартр приехал в Москву, для того чтобы приобщиться к нашей передовой жизни. Громко и пышно праздновалось 300-летие воссоединения Украины и России.\* 31 мая был важный парад на Красной площади. УССР и

---

\* Кенгирские украинцы объявили тот день траурным.

РСФСР награждены орденами Ленина. 6 июня открыт в Москве памятник Юрию Долгорукому. С 8 июня шёл съезд профсоюзов (но о Кенгире там ничего не говорили). 10-го выпущен заём. 20-го был день воздушного флота и красивый парад в Тушине. Ещё эти месяцы 1954 года отмечены были сильным наступлением на литературном, как говорится, *фронте*: Сурков, Кочетов и Ермилов выступали с очень твёрдыми одёргивающими статьями. Кочетов спросил даже: *какие это времена?* И никто не ответил ему: *времена лагерных восстаний!* Много *неправильных* пьес и книг ругали в это время. А в Гватемале достойный отпор получили империалистические Соединённые Штаты.)

В посёлке были ссыльные чечены, но вряд ли *тех* змеев клеили они. Чеченов не упрекнёшь, чтоб они когда-нибудь служили угнетению. Смысл кенгирского мятежа они поняли прекрасно и однажды подвезли к зоне автомашину печёного хлеба. Разумеется, войска отогнали их.

(Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей, говорю по Казахстану, грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество – и расположение чеченов тотчас было завоёвано! Когда кажется нам, что нас мало уважают, – надо проверить, так ли мы живём.)

Тем временем готовил Техотдел и пресловутое «секретное» оружие. Это вот что такое было: алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция (все ящики со спичками укрыли за дверью «100000 вольт»). Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части.

Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу в баньке предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то, по прошествии недель двух от начала, в одну из тёмных, ничем не освещённых ночей раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Однако в этот раз не беглецы и не бунтари долбили её – разрушали стену сами войска конвоя! В лагере был переполох, метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали атаки. Но войска в атаку не пошли.

К утру оказалось, что в разных местах зоны, кроме существующих и забаррикадированных ворот, внешний противник проделал с десяток проломов. По ту сторону проломов, чтоб зэ-

ки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулемётами. Это, конечно, была подготовка к наступлению через проломы, и в лагерном муравейнике закипела оборонная работа. Штаб восставших решил: разбирать внутренние стены, разбирать саманные пристройки и ставить свою вторую обводную стену, особенно укреплённую саманными навалами против проломов – для защиты от пулемётов.

Так всё переменялось! – конвой разрушал зону, а лагерники её восстанавливали, и воры с чистой совестью делали то же, не нарушая своего закона.

Теперь пришлось установить дополнительные посты охранения против проломов; назначить каждому взводу тот пролом, куда он строго должен бежать ночью по сигналу тревоги и занимать оборону. Удары в вагонный буфер и те же заливчатые свисты были условлены как сигналы тревоги.

Эки не в шутку готовились выходить с пиками против пулемётов. Кто и не был готов – подчас, привыкал.

Лихо до дна, а там дорога одна.

И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона Управления Степлага, на котором толпились чины, крытые погонями строевыми широкими и прокурорскими узкими, с кинокамерами и фотоаппаратами в руках, – в пролом были двинуты автоматчики. Они не спешили. Они лишь настолько двинулись в пролом, чтобы подан был сигнал тревоги и прибежали бы к пролому назначенные взводы, и, потрясая пиками и держа в руках камни и саманы, заняли бы баррикаду, – и тогда с балкона (исключая автоматчиков из поля съёмки) зажужжали кинокамеры и защёлкали аппараты. И режимные офицеры, прокуроры и политработники, и кто там ещё был, все члены партии, конечно, – смеялись дикому зрелищу этих воодушевлённых первобытных с пиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона над своими голодными обманутыми согражданами, и им было очень смешно.\*\*

---

\* Говорят, опыт проломов был норильский: там тоже сделали их, чтобы через них выманить дрогнувших, через них натравливать урок и через них же ввести войска под предлогом наведения порядка.

\*\* Эти фотографии ведь где-то сейчас подклеены в карательных отчётах. И может быть, не достанет у кого-то расторопности уничтожить их перед лицом будущего...

А ещё к проломам подкрадывались надзиратели и вполне как на диких животных или на снежного человека пытались набросить верёвочные петли с крючьями и затащить к себе языка.

Но больше они рассчитывали теперь на перебежчиков, на дрогнувших. Гремело радио: опомнитесь! переходите за зону в проломы! в этих местах – не стреляем! перешедших – не будем судить за бунт!

По лагерному радио отозвалась Комиссия так: кто хочет спастись – валите хоть через главную вахту, не задерживаем никого.

Так и сделал... член самой Комиссии бывший майор Макеев, подойдя к главной вахте как бы по делам. (*Как бы* – не потому, что его бы задержали, или было чем выстрелить в спину, – а почти невозможно быть предателем на глазах улюлюкающих товарищей!\*) Три недели он притворялся – и только теперь мог дать выход своей жажде поражения и своей злости на восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Макеев, не хочет. Теперь, отрабатывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал к сдаче и поносил всех, кто предлагал держаться дальше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи: «Кто-то решил, что свободы можно добиться с помощью сабель и пик... Хотят подставить под пули тех, кто не берёт железок... Нам обещают пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слученков рассматривает это как их слабость. Комиссия – ширма для бандитского разгула... Веди-те переговоры, достойные политических заключённых, а не (!!)

готовьтесь к бессмысленной обороне.»

Долго зияли проломы – дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежало за зону человек лишь около дюжины.

Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось! И терзались, и эту возможность обдумывали втайне, может быть, тысячи. А бывших малолеток вызывали и на самом законном основании. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по-

---

\* Ещё и спустя десяток лет это так стыдно, что в своих мемуарах, вероятно и затеянных для оправдания, он пишет, будто случайно выглянул за вахту, а там – на него накинулись и руки связали...

новому души, и слишком низкие законы, по которым «жизнь даётся однажды», и бытие определяет сознание, и шкура гнёт человека в трусость, – не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдать вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали! Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам:

– Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите!

И операция, так хорошо задуманная, что заключённые разбегутся через проломы как крысы и останутся самые упорные, которых и раздавить, – операция эта провалилась потому, что изобрели её шкуры.

И в стенной газете восставших рядом с рисунком – женщина показывает ребёнку под стеклянным колпаком наручники – «вот в таких держали твоего отца», – появилась карикатура: «Последний перебежчик» (чёрный кот, убегающий в пролом).

Но карикатуры всегда смеются, людям же в зоне было мало до смеха. Шла вторая, третья, четвёртая, пятая неделя... То, что по законам ГУЛага не могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже мучительно долго – половину мая и потом почти весь июнь. Сперва люди были хмельны от победы, свободы, встреч и затей, – потом верили слухам, что поднялся Рудник, – может, за ним поднимутся Чурбай-Нура, Спасск, весь Степлаг! там, смотришь, Караганда! там весь Архипелаг извергнется и рассыпется на четыреста дорог – но Рудник, заложив руки за спину и голову опустив, всё так же ходил на одиннадцать часов заражаться силикозом, и не было ему дела ни до Кенгира, ни даже до себя.

Никто не поддержал остров Кенгир. Уже невозможно было и рвануть в пустыню: прибывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведен снаружи ещё двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовая точка: приедет барин (ждали Маленкова) и рассудит. Приедет добрый и ахнет и всплеснёт руками: да как они жили тут? да как вы их тут держали? судить убийц! расстрелять Чечева и Беляева! разжаловать остальных... Но слишком точкою была, и слишком розовой.

Не ждать было милости. Доживать было последние свободные денёчки и сдаваться на расправу Степлагу МВД.

И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто-то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто-то тихо смекал, что он ни в чём не замешан, и если осторожно дальше – то и не будет. А кто-то был молодожён (и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а заботами ГУЛага были тут священники всех религий). Для этих молодожёнов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, которой не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, – каждое утро было для них даром неба.

А верующие – молились и, переложив на Бога исход кенгирского смятения, как всегда, были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий. Иеговисты дали волю своим правилам и отказались брать в руки оружие, делать укрепления, стоять в караулах. Они подолгу сидели, сдвинув головы, и молчали. (Заставили их мыть посуду.) Ходил по лагерю какой-то пророк, искренний или поддельный, ставил кресты на вагонках и предсказывал конец света. В руку ему наступило сильное похолодание, какое в Казахстане надувает иногда даже в летние дни. Собранные им старушки, не одетые в тёплое, сидели на холодной земле, дрожали и вытягивали к небу руки. Да и к кому ж ещё...

А кто-то знал, что замешан уже необратимо и только те дни осталось жить, что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди не были самыми несчастными. (Самыми несчастными были те, кто не был замешан и молил о конце.)

Но когда эти все люди собирались на собрания, чтобы решить, сдаваться им или держаться, – они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих. Или боялись насмешки больше, чем будущей смерти.

– Товарищи! – уверенно говорил статный Кузнецов, будто знал он много тайн и все тайны были *за* арестантов. – У нас есть *средства огневой защиты*, и пятьдесят процентов от наших потерь будут и у противника!

И так ещё он говорил:

– Даже гибель наша не будет бесплодной!

(В этом он был совершенно прав. И на него тоже действовала та общая температура.)

И когда голосовали – держаться ли? – большинство голосовало *за*.

Тогда Слученков многозначительно угрожал:

– Смотрите же! С теми, кто остаётся в наших рядах и захочет сдаться, мы разделаемся за пять минут до сдачи!

Однажды внешнее радио объявило «приказ по ГУЛагу»: за отказ от работы, за саботаж, за... за... за... кенгирское лаготделение Степлага расформировать и всех отправить в Магадан. (ГУЛагу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того посланы в Магадан, – за что те?) Последний срок выхода на работу...

Но прошёл и этот последний срок, и всё оставалось так же.

Всё оставалось так же, и вся фантастичность, вся сновиденность этой невозможной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни восьми тысяч человек только ещё более разила от аккуратной жизни лагеря: пища три раза в день; баня в срок; прачечная; смена белья; парикмахерская; швейная и сапожная мастерские. Даже примирительные суды для спорящих. И даже... освобождение на волю!

Да. Внешнее радио иногда вызывало освобождающихся: это были или иностранцы одной и той же нации, чья страна заслужила собрать своих вместе, или кому подошёл (или якобы подошёл?..) конец срока. Может быть, таким образом Управление и брало «языков» – без надзирательской верёвки с крючками? Комиссия проверить не могла и отпускала всех.

Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов? Но они знали, что протянется долго. Считались с мнением посёлка? Им не приходилось. Разрабатывали план подавления? Можно было быстрее. (Правда, потом-то узнали, что за это время из-под Куйбышева выписали полк «особого назначения», то бишь карательный. Ведь это не всякий и умеет.) Согласовывали подавление *наверху*? И как высоко? Нам не узнать, какого числа и какая инстанция приняла это постановление.

Несколько раз вдруг раскрывались внешние ворота двора – для того ли, чтобы проверить готовность защитников? Дежурный пикет объявлял тревогу, и взводы высыпали навстречу. Но в зону не шёл никто.

Вся разведка защитников лагеря была – дозорные на крышах барачков. И только то, что доступно было увидеть с крыш через забор, было основанием для предвидения.

В середине июня в посёлке появилось много тракторов. Они работали или что-нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта ночная работа тракторов была непонятна. На всякий случай стали рыть против проломов ещё ямы (впрочем, У-2 все их сфотографировал или зарисовал).

Этот недобрый какой-то рёв добавил мраку.

И вдруг – посрамлены были скептики! посрамлены были отчаявшиеся! посрамлены были все, говорившие, что не будет пощады и не о чем просить. Только ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внешнее радио объявило: требования лагерников приняты! В Кенгир едет член Президиума ЦК!

Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо! Значит, можно добиться! Значит, есть справедливость в нашей стране! Что-то уступят нам, в чём-то уступим мы. В конце концов и в номерах можно походить, и решётки на окнах нам не мешают, мы ж в окна не лазим. Обманывают опять? Так ведь не требуют же, чтобы мы *до* этого вышли на работу!

Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегчённо опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели.

И даже противные трактора, поработав с вечера 24 июня, замолкли.

Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверно, завтра *он* и приедет, может, уже приехал...\* Эти короткие июньские ночи, когда не успеваешь выспаться, когда на рассвете спится так крепко. Как тринадцать лет назад.

На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах, ракеты взвились и с вышек – и наблюдатели на крышах барачков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударил пушечные выстрелы! Самолёты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие исходные позиции под маскировочный рёв тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. (Один из них всё-таки попал в яму.) За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали

---

\* А может быть, и правда приехал? Может быть, он -то и распорядился?..



штурмовики с автоматами в касках. (И автоматчики и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни были *спецвойска*, а всё же давить безоружных спящих легче в пьяном виде.) С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков и оттуда при дневном свете ракет (а одну вышку зэки подожгли своими угольниками, она горела) подавали команды: «Берите такой-то барак!.. Кузнецов находится там-то!..» Они не прятались, как обычно, на наблюдательном пункте, потому что пули им не грозили.\*

Издалека, со строительных конструкций, на подавление смотрели вольные.

Проснулся лагерь – весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон, под стрельбу, на бой или просто ища быстрой смерти.

Бился Третий лагпункт – тот, который и начал (он был из двадцатипятилетников, с большим перевесом бандеровцев). Они... швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверно, и серными угольниками в танки... О толчёном стекле никто и не вспомнил. Какой-то барак два раза с «ура» ходил в контратаку...

Танки давили всех попадавших по дороге (киевлянку Аллу Пресман гусеницей переехали по животу). Танки наезжали на крылечки барачных, давили там (эстонку Ингрид Киви и Махлапу).\*\* Танки притирались к стенам барачных и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семён Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались под дощатые стены барачных и даже били внутрь барачных холостыми пушечными выстрелами. Вспоминает Фаина Эпштейн: как во сне, отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам, прошёл танк; женщины вскакивали, метались; за танком шёл грузовик, и полуодетых женщин туда бросали.

---

\* Они только спрятались от истории. Кто были эти расторопные полководцы? Почему не салютовала страна их славной кенгирской победе? С трудом мы разыскиваем теперь имена не главных там, но и не последних: начальник оперчеккистского отдела Степлага полковник Рязанцев; начальник политотдела Степлага Сёмушкин... Помогите! Продолжите!

\*\* В одном из танков сидела пьяная Нагибина, лагерный врач. Не для оказания помощи, а – посмотреть, интересно.

Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок – боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их, – кололи и женщин! Опер Беляев в это утро своей рукой застрелил десятка два человек. После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи, а фотограф делал снимки убитых *бандитов*. Раненная в лёгкое, скончалась член Комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там.

Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обзём (приём блатных).

Потом стрельба утихла. Кричали: «Выходи из барачков, стрелять не будем!» И, действительно, только били прикладами.

По мере захвата очередной группы пленных её вели в степь через проломы, через внешнюю цепь конвойных кенгирских солдат, обыскивали и клали в степи ничком, с протянутыми над головой руками. Между такими распято лежащими ходили лётчики МВД и надзиратели и отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек.

(За этой заботой никому не был досуг развернуть «Правду» того дня. А она была тематическая – день нашей Родины: успехи металлургов, шире механизированные уборочные работы. Историку легко будет обозреть нашу Родину, какой она была *в тот день*.)

Любознательные офицеры могли осмотреть теперь тайны хоздвора: откуда брался ток и какое было «секретное оружие».

Победители-генералы спустились с вышек и пошли позавтракать. Никого из них не зная, я берусь утверждать, что аппетит их в то июньское утро был безупречен и они выпили. Шумок от выпитого нисколько не нарушал идеологической стройности в их голове. А что было в груди – то навинчено было снаружи.

Убитых и раненых было: по рассказам – около шестисот, по материалам производственно-плановой части кенгирского отделения, как мои друзья познакомились с ними через несколько месяцев, – более *семисот*<sup>\*\*</sup>. Ранеными забили лагерную больни-

---

\* Эй, «Трибунал Военных Преступлений» Жана Поля Сартра! Эй, философы! Матерьял-то какой! Отчего не заседаете?

\*\* 9 января 1905 года было убитых около 100 человек В 1912 году, в знаменитых расстрелах на Ленских приисках, потрясших всю Россию, было убитых 270 человек, раненых – 250.

цу и стали возить в городскую. (Вольным объяснили, что войска стреляли только холостыми патронами, а убивали друг друга заключённые сами.)

Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых, но для большего неразглашения это сделали войска: человек триста закопали в углу зоны, остальных где-то в степи.

Весь день 25 июня заключённые лежали ничком в степи под солнцем (все эти дни – нещадно знойные), а в лагере был сплошной обыск, взламывание и перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что – жив, давали пайку и тут же разделяли людей по спискам.

Члены Комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрьму, переставшую служить экскурсионным целям. Больше тысячи человек – отобраны для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто на Колыму. (Как всегда, списки эти были составлены полуслепо: и попали туда многие ни в чём не замешанные.)

Да внесёт картина усмирения – спокойствие в души тех, кого коробили последние главы. Чур нас, чур! – собираться в «камеры хранения» никому не придётся, и возмездия карателям не будет никогда.

26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проёмы.

27 июня вывели на работу. Вот когда дождались железнодорожные эшелоны рабочих рук.

Танки, давившие Кенгир, поехали самоходом на Рудник и там поелозили перед глазами зэков. Для умозаключения...

Суд над верховодами был осенью 1955 года, разумеется закрытый, и даже о нём-то мы толком ничего не знаем... Говорят, что Кузнецов держался уверенно, доказывал, что он безупречно себя вёл и нельзя было придумать лучше. Приговоры нам не известны. Вероятно, Слученкова, Михаила Келлера и Кнопкуса расстреляли. То есть расстреляли бы обязательно, но, может быть, 1955 год смягчил?

А в Кенгире налаживали честную трудовую жизнь. Не преминули создать из недавних мятежников *ударные* бригады. Расцвёл хозрасчёт. Работали ларьки, показывалась кинофильмовая дрянь. Надзиратели и офицеры снова потянулись в хоздвор – делать что-нибудь для дома: спиннинг, шкатулку, починить замок на дамской сумочке. Мятежные сапожники и портные

(литовцы и западные украинцы) шили им лёгкие обхватные сапоги и обшивали их жён. И так же велели экам на обогатилровке сдирать с кабеля свинцовый слой и носить в лагерь для перелива на дробь – охотиться товарищам офицерам на сайгаков.

Тут общее смятение Архипелага докатилось до Кенгира: не ставили снова решёток на окна, и баракон не запирали. Ввели условно-досрочное «двух-третное» освобождение и даже невиданную «активировку» Пятдесят Восьмой – отпускали полумёртвых на волю.

На могилах бывает особенно густая зелёная травка.

А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали – и тогда тамошние жители из неухавших ссыльных разведали всё-таки, где похоронили *тех*, – и приносили степные тюльпаны.

*Мятеж не может кончиться удачей.  
Когда он победит – его зовут иначе...  
(Бёрнс)*

Всякий раз, когда вы проходите в Москве мимо памятника Долгорукому, вспоминайте: его открыли в дни кенгирского мятежа – и так он получился как бы памятник Кенгиру.

1967

*Глава из книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛлаг» печатается с сохранением авторской орфографии и пунктуации.*

19 мая 1992 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов открылась международная конференция «Сопротивление в ГУЛАГе». Впервые встретились бывшие политзаключенные, под дулами автоматов отстаивавшие свои человеческие права на огороженном пространстве за колючей проволокой.

Московскому историко-литературному обществу «Возвращение» – организатору этой конференции – удалось разыскать многих участников забастовок и восстаний в сталинских лагерях, в том числе тех, о ком пишет Александр Исаевич Солженицын в главе «Сорок дней Кенгира». Сделать это было нелегко. Сопротивление в ГУЛАГе – одна из самых закрытых страниц в истории ГУЛАГа, все связанные с ним документы шли под грифом «Совершенно секретно».

Конференции (всего их было три) не только положили начало изучению сопротивления в ГУЛАГе, но и пробудили живой интерес к его участникам. Как сообщила год спустя на второй конференции помощник Генерального прокурора России Г. Весновская, все бывшие заключенные, повторно осужденные за участие в Кенгирском и Норильском восстаниях, реабилитированы. Но Сопротивление в советских лагерях отнюдь не ограничивается названными островами Архипелага, оно происходило на протяжении всего советского периода и география его несравненно шире.

Достаточно вдуматься в затянувшийся на полстолетия и еще не заверченный процесс реабилитации жертв большевистского режима – и становится очевидной противоречивость и непоследовательность нашего расставания с тоталитарным прошлым. Об этом говорили многие участники конференции. В Западной Европе никому и в голову не пришло реабилитировать узников нацистских лагерей, созданных преступным режимом. Юстиция занимается там совсем иным делом: выявляет

и судит причастных к преступлениям эсэсовцев, гестаповцев и прочую нечисть. Если сам советский режим преступен, зачем пересматривать дела сотен тысяч осужденных за критические высказывания о советской действительности, «за недоносительство»?!

В 1948 году на Архипелаге ГУЛАГ появились новые острова — особые лагеря для содержания политических заключенных: в Норильске Горный лагерь — Горлаг, на Воркуте — Речлаг, на Колыме — Берлаг, в Тайшете — Озерлаг, в Мордовии — Дубровлаг, в Казахстане — Песчанлаг и Степлаг...

Кто же были эти «особо опасные»?

Участники Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры, партизаны, узники фашистских концлагерей, жители западных областей Украины и Белоруссии, а также прибалтийских республик — территорий, отошедших в 1939–1940 годах к Советскому Союзу по тайному сговору Сталина и Гитлера, жители оккупированных нацистами городов и сел, студенты и школьники, а также немногие уцелевшие лагерные старожилы, тянущие свой срок с 20-х–30-х годов.

Среди этой массы ни в чем не повинных людей были и совершившие тяжкие преступления: пособники фашистских оккупантов — полицаи, каратели. Как правило, эти особи находили общий язык с лагерной администрацией: попав в лагерь, они просто сменили хозяина.

Были в лагере и уголовники, повторно осужденные по статье 58 за отказ от работы, лагерные бунты и убийства должностных лиц.

В 1941 году по вине Сталина, обладавшего властью, куда большей, чем русские цари, в фашистском плену в нечеловеческих условиях оказались миллионы красноармейцев и командиров. Они оставались верны родине. Многие там погибли. Но нашлись и такие, кто согласился вступить в части, воевавшие на стороне немцев, сформированные в основном из числа военнопленных: РОА (Русская освободительная армия генерала Власова), Туркестанский легион и ряд других. Чтобы многие тысячи россиян воевали на стороне захватчиков — такого в истории нашей страны не было: ни в совсем давние времена, ни при наполеоновском нашествии, ни в Первую мировую

войну — это стало последствием необъявленной войны против собственного народа, которую вели большевики, превращавшие трудолюбивых хозяев и их детей в бесправных рабов, выброшенных из родных мест, из отчих домов.

В лагере я знал этих людей. Трагедия их заключалась в том, что, воюя на стороне нацистов, они ненавидели их так же, как прежде своих притеснителей-палачей. Жертвы советского режима, потом и сами сотворившие немало зла, они в большинстве своем все же остались отзывчивы на добро и справедливость и были способны воспрянуть духом. То же можно сказать о партизанах-националистах из западных областей Украины и Прибалтики. Среди заключенных этой категории было множество осужденных по подозрению и оговору. Но встречались и такие, у которых, как говорится, руки были по локоть в крови. За колючей проволокой послевоенного ГУЛАГа находились люди, еще недавно воевавшие друг против друга. Затравленность, безысходность, голод, холод, непосильный труд, номера на спинах — и все вперемешку: коммунисты, националисты, демократы, монархисты, вчерашние профессора и безграмотные крестьяне... Десятки языков и наречий, заглушенных гнусным лагерным: пайка, баланда, доходяга, фитиль, жмурик, кум, попка... Но мораль «умри ты сегодня, а я завтра» вовсе не была всеобщей. Наибольшим авторитетом среди лагерников пользовались люди стойкие, непокоренные, человеческие.

Все это и служит ответом на вопрос «Как смогли столь разные люди в огромных сталинских лагерях объединиться, сообща отстаивать свои человеческие права, стоять насмерть?»

Главным на конференциях «Сопротивление в ГУЛАГе» было стремление их участников предостеречь новые поколения от повторения прошлого.

Здесь были и борцы европейского Сопротивления — французы, голландцы, поляки... — узники нацистских лагерей. Были и немцы с их передающимся от поколения к поколению комплексом вины за содеянное гитлеровцами.

*У нас же в массовом сознании подобного комплекса пока нет. Между тем понять, что произошло с Россией в XX веке, ощутить себя в живой связи поколений, невольно втянутых в преступления слепыми поводами, — это и есть покаяние, очищение.*

*Объем нашей книги не позволяет осветить в ней другие, не менее драматические страницы борьбы узников советских лагерей с тоталитарным режимом. По этой теме «Возвращение» отдельно подготавливает адресованный школьникам сборник.*



4

**ДУША МОЯ, ПЕЧАЛЬНИЦА...**



## ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт  
И вид парохода угрюмый.  
Как шли мы по трапу на борт  
В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман.  
Ревела стихия морская.  
Стоял впереди Магадан,  
Столица Колымского края.

Не песня, а жалобный крик  
Из каждой груди вырывался.  
«Прощай навсегда, материк!» —  
Хрипел пароход, надрывался.

От качки страдали зэка,  
Обнявшись, как рóдные братья.  
И только порой с языка  
Срывались глухие проклятья:

— Будь проклята ты, Колыма,  
Что названа чўдной планетой.  
Сойдешь поневоле с ума —  
Отсюда возврата уж нету.

Прощай, моя мать и жена!  
И вы, мои милые дети.  
Знать, горькую чашу до дна  
Досталось мне выпить на свете!

## ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,  
Посреди опасностей и бед,  
В испареньях мерзлого тумана  
Шли они за розвальнями вслед.  
От солдат, от их луженых глоток,  
От бандитов шайки воровской  
Здесь спасали только околодок  
Да наряды в город за мукой.  
Вот они и шли в своих бушлатах —  
Два несчастных русских старика,  
Вспоминая о родимых хатах  
И томясь о них издалека.  
Вся душа у них перегорела  
Вдалеке от близких и родных,  
И усталость, сгорбившая тело,  
В эту ночь снедала души их.  
Жизнь над ними в образах природы  
Чередой двигалась своей.  
Только звезды, символы свободы,  
Не смотрели больше на людей.  
Дивная мистерия вселенной  
Шла в театре северных светил,  
Но огонь ее проникновенный  
До людей уже не доходил.  
Вкруг людей посвистывала вьюга,  
Заметая мерзлые пеньки.  
И на них, не глядя друг на друга,  
Замерзая, сели старики.  
Стали кони, кончилась работа,

Смертные доделались дела...  
Обняла их сладкая дремота,  
В дальний край, рыдая, повела.  
Не нагонит больше их охрана,  
Не настигнет лагерный конвой,  
Лишь одни созвездья Магадана  
Засверкают, став над головой.

*1956*

\* \* \*

Мы шли этапом. И не раз,  
колонне крикнув: «Стой!» —  
садиться наземь, в снег и в грязь  
приказывал конвой.

И, равнодушны и немые,  
как бессловесный скот,  
на корточках сидели мы  
до окрика: «Вперед!»

Что пересылок нам пройти  
пришлось за этот срок!  
И люди новые в пути  
вливались в наш поток.

И раз случился среди нас,  
пригнувшихся опять,  
один, кто выслушал приказ  
и продолжал стоять.

Минуя нижние ряды,  
конвойный взял прицел.  
«Садись! — он крикнул. — Слышишь ты?!  
Садись!» — Но тот не сел.

Так было тихо, что слышать  
могли мы сердца ход.  
И вдруг конвойный крикнул: «Встать!  
Колонна! Марш! Вперед!»

И мы опять месили грязь,  
не ведая куда.  
Кто — с облегчением смеясь,  
кто — бледный от стыда.

По лагерям — куда кого —  
нас растолкали врозь.  
И даже имени его  
узнать мне не пришлось.

Но мне — высокий и прямой —  
запомнился навек  
над нашей согнутой толпой  
стоящий человек.

\* \* \*

За гремучую доблесть грядущих веков,  
За высокое племя людей  
Я лишился и чаши на пире отцов,  
И веселья и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,  
Но не волк я по крови своей,  
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав  
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,  
Ни кровавых костей в колесе,  
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы  
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,  
И сосна до звезды достает,  
Потому что не волк я по крови своей  
И меня только равный убьет.

*17–28 марта 1931*



\* \* \*

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, —  
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,  
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ —  
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, — то малина  
И широкая грудь осетина.

*Ноябрь 1933*

**МИЛЫЙ ВРАГ**

У врагов на той стороне  
Мой давний друг.  
О смерть, прилети ко мне  
Из милых рук.

Сижу, грустя на холме,  
А у них – огни.  
Тоскующую во тьме,  
Мой друг, вспомяни!

Не травы ли то шелестят,  
Не его ли шаги?  
Нет, он не вернется назад,  
Мы с ним – враги.

Сегодня я не засну...  
А завтра, дружок,  
На тебя я нежно взгляну  
И взведу курок.

Пора тебе отдохнуть,  
О, как ты устал!  
Поцелует пуля в грудь,  
А я – в уста.

*1921*

\* \* \*

Смотрим взглядом недвижимым и мертвым,  
Словно сил неизвестных рабы,  
Мы, изгнавшие Бога и черта  
Из чудовищной нашей судьбы.

И желанья и чувства на свете  
Были прочны, как дедовский дом,  
Оттого, словно малые дети,  
Наши предки играли с огнем.

День весенний был мягок и розов,  
Весь — надежда, и весь — любовь.  
А от наших лихих морозов  
И уста леденеют, и кровь.

Красоту, закаты и право —  
Все в одном схоронили гробу,  
Только хлеба кусок кровавый  
Разрешит мировую судьбу.

Нет ни Бога, ни черта отныне  
У нагих обреченных племен,  
И смеемся в мертвой пустыне  
Мертвым смехом библейских времен.

1931

\* \* \*

Где верность какой-то отчизне  
И прочность родимых жилищ?  
Вот каждый стоит перед жизнью —  
Могуч, беспощаден и нищ.

Вспомянем с недоброй улыбкой  
Блужданья наивных отцов.  
Была роковою ошибкой  
Игра дорогих мертвецов.

С покорностью рабскою дружно  
Мы вносим кровавый пай  
Затем, чтоб построить ненужный  
Железобетонный рай.

Живет за окованной дверью  
Во тьме наших странных сердец  
Служитель безбожных мистерий,  
Великий страдалец и лжец.

*1932*

\* \* \*

Хоть в метелях душа разметалась,  
Все отпето в мертвом снегу,  
Хоть и мало святынь осталось, —  
Я последнюю берегу.

Пусть под бременем неудачи  
И свалюсь я под чей-то смех,  
Русский ветер меня оплачет,  
Как оплакивает нас всех.

Может быть, через пять поколений,  
Через грозный разлив времен  
Мир отметит эпоху смятений  
И моим средь других имен.

*1954*

\* \* \*

Как дух наш горестный живуч,  
А сердце жадное лукаво!  
Поэзии звенящий ключ  
Пробьется в глубине канавы.  
В каком-то нищенском краю  
Цинги, болот, оград колючих  
Люблю и о любви пою  
Одну из песен самых лучших.

*1955*

## ОТРЕЧЕНИЕ

От веры или от неверия  
Отречься, право, все равно.  
Вздыхнем мы с тихим лицемерием:  
Что делать? Видно, суждено.

Все для того, чтобы потомство  
Текло в грядущее рекой,  
С таким же кротким вероломством,  
С продажной нищенской рукой.

Мы окровавленного Бога  
Прославим рабским языком,  
Заткнем мы пасть свою убогую  
Господским брошенным куском.

И надо отрекаться, надо  
Во имя лишних дней, минут.  
Во имя стад мы входим в стадо,  
Целуем на коленях кнут.

*1971*

\* \* \*

Ты опять стоишь на перепутье,  
Мой пророческий, печальный дух,  
Перед чем-то с новой властной жутью  
Напрягаешь зрение и слух.

Не родилось, но оно родится,  
Не пришло, но с торжеством придет.  
Ожиданье непрерывно длится,  
Ожиданье длится и растет.

И последняя минута грянет,  
Полыхнет ее последний миг,  
И земля смятенная восстанет,  
Изменяя свой звериный лик.

*50-е годы*



## РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном,  
Невысокий старый человек.  
Взгляд спокойный кажется покорным  
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,  
Только он один еще не спит:  
Все он занят отливаньем пули,  
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.  
Возвращается. Блестит луна.  
Дома ждет его в большой постели  
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет  
Над седою, вспененной Двиной,  
Пуля, им отлитая, отыщет  
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,  
Прошлое увижу наяву,  
Кровь ключом захлещет на сухую,  
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой  
За недолгий мой и горький век.  
Это сделал, в блузе светло-серой,  
Невысокий старый человек.

1916

ИЗ ЦИКЛА «РЕКВИЕМ»

\* \* \*

Уводили тебя на рассвете.  
За тобой, как на выносе, шла.  
В темной горнице плакали дети.  
У божницы свеча оплыла.  
На губах твоих холод иконки,  
Смертный пот на челе... не забыть!  
Буду я, как стрелецкие женки,  
Под кремлевскими башнями выть.

1935

## ЭПИЛОГ

### 1

Узнала я, как опадают лица,  
Как из-под век выглядывает страх,  
Как клинописи жесткие страницы  
Страдание выводит на щеках,  
Как локоны из пепельных и черных  
Серебряными делаются вдруг,  
Улыбка вянет на губах покорных,  
И в сухоньком смешке дрожит испуг.  
И я молюсь не о себе одной,  
А обо всех, кто там стоял со мною  
И в лютый холод, и в июльский зной  
Под красную ослепшею стеною.

### 2

Опять поминальный приблизился час.  
Я вижу, я слышу, я чувствую вас.  
И ту, что едва до окна довели,  
И ту, что родимой не топчет земли,  
И ту, что, красивой тряхнув головой,  
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».  
Хотелось бы всех поименно назвать,  
Да отняли список, и негде узнать.  
Для них соткала я широкий покров  
Из бедных, у них же подслушанных слов.  
О них вспоминаю всегда и везде,  
О них не забуду и в новой беде.  
И если зажмут мой измученный рот,

Которым кричит стомиллионный народ,  
Пусть так же оне поминают меня  
В канун моего погребального дня.  
А если когда-нибудь в этой стране  
Воздвигнуть задумают памятник мне, —  
Согласье на это даю торжество,  
Но только с условием: не ставить его  
Ни около моря, где я родилась  
(Последняя с морем разорвана связь),  
Ни в царском саду у заветного пня,  
Где тень безутешная ищет меня,  
А здесь, где стояла я триста часов  
И где для меня не открыли засов.  
Затем, что и в смерти блаженной боюсь  
Забуть громыхание черных марушь,  
Забуть, как постылая хлопала дверь  
И выла старуха, как раненый зверь.  
И пусть с неподвижных и бронзовых век  
Как слезы струится подтаявший снег,  
И голубь тюремный пусть гулит вдали,  
И тихо идут по Неве корабли.

*Около 10 марта 1940*

*Фонтанный Дом*

## РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу,  
в Россию поплывет кровать,  
и вот ведут меня к оврагу,  
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,  
где спички и часы лежат,  
в глаза, как пристальное дуло,  
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —  
вот-вот сейчас пальнет в меня —  
я взгляда отвести не смею  
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания  
коснется тиканье часов,  
благополучного изгнания  
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,  
чтоб это вправду было так:  
Россия, звезды, ночь расстрела  
и весь в черемухе овраг.

1927

*Берлин*

ДУША

Душа моя, печальница  
О всех в кругу моем!  
Ты стала усыпальницей  
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,  
Им посвящая стих,  
Рыдающею лирою  
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное  
За совесть и за страх  
Стоишь могильной урною,  
Покоющей их прах.

Их муки совокупные  
Тебя склонили ниц.  
Ты пахнешь пылью трупною  
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница,  
Все виденное здесь,  
Перемолов, как мельница,  
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай  
Все бывшее со мной,  
Как сорок лет без малого  
В погостный перегной.

1956

## АМНИСТИЯ

Еще жив человек,  
Расстрелявший отца моего  
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

Вероятно на пенсию вышел.  
Живет на покое  
И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер, —  
Наверное жив человек,  
Что пред самым расстрелом  
Толстой  
Проволокою  
Закручивал  
Руки  
Отцу моему  
За спиной.

Верно, тоже на пенсию вышел.  
А если он умер,  
То наверное жив человек,  
Что пытал на допросах отца.

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.  
Может быть, конвоир еще жив,  
Что отца выводил на расстрел.

Если б я захотел,  
Я на родину мог бы вернуться.

Я слышал,  
Что все эти люди  
Простили меня.

1986

## РАССВЕТ НА РЕЛЬСАХ

Покамест день не встал  
С его страстями стравленными,  
Из сырости и шпал  
Россию восстанавливаю.

Из сырости – и свай,  
Из сырости – и серости.  
Покамест день не встал  
И не вмешался стрелочник.

Туман еще шадит,  
Еще в холмы запахнутый  
Спит ломовой гранит,  
Полей не видно шахматных...

Из сырости – и стай...  
Еще вестями шалыми  
Лжет вороная сталь –  
Еще Москва за шпалами!

Так, под упорством глаз –  
Владением бесплотнейшим  
Какая разлилась  
Россия – в три полотнища!

И – шире раскручу!  
Невидимыми рельсами  
По сырости пушу  
Вагоны с погорельцами:



С пропавшими навек  
Для Бога и людей!  
(Знак: сорок человек  
И восемь лошадей.)

Так, посредине шпал,  
Где даль шлагбаумом выросла,  
Из сырости и шпал,  
Из сырости – и сырости,

Покамест день не встал  
С его страстями стравленными –  
Во всю горизонталь –  
Россию восстанавливаю!

Без низости, без лжи:  
Даль – да две рельсы синие...  
Эй вон она! – Держи!  
По линиям, по линиям...

*12 октября 1922*

## ОБ АВТОРАХ

**ПЛАТОНОВ  
АНДРЕЙ  
ПЛАТОНОВИЧ**  
(1899–1951)

Родился в Воронеже в семье слесаря железнодорожных мастерских. В юности сменил много рабочих профессий. В 1918–1921 активно занимается журналистикой, совмещая ее с работой на железной дороге и учебой в Воронежском политехническом институте. После публикации рассказа «Усомнившийся Макар» (1929) и «бедняцкой хроники» «Впрок» (1931) – иронического описания коллективизации – Платонов оказывается в опале. В 1938 по сфабрикованному делу был арестован единственный сын Платонова, пятнадцатилетний подросток. В прозе Платонова мир предстает как противоречивая, часто трагическая целостность человеческого и природного бытия: повести «Епифанские шлюзы» (1927), «Город Градов» (1928), «Река Потудань» (1937). В посмертно опубликованных романах «Чевенгур», «Счастливая Москва», повестях «Котлован», «Ювенильное море», «Джан» – неприятие навязываемых форм переустройства жизни. Боль за людей, принесенных в жертву социалистическому эксперименту, пульсирует в тяжелых, как перевернутых плугом, пластах платоновской прозы.

**КОРОЛЕНКО  
ВЛАДИМИР  
ГАЛАКТИОНОВИЧ**  
(1853–1921)

Писатель и публицист, почетный академик Российской академии наук. В 1879 г. был арестован по подозрению в связях с революционными деятелями; в 1881–1884 гг. отбывал ссылку в Якутии. Рассказы и повести «Сон Макара», «Слепой музыкант», «Без языка», «Павловские очерки», «Река играет», автобиографическая повесть «История моего современника» (опубликована посмертно, в 1922 г.) и другие проникнуты демократическими и гуманистическими идеями. Редактор журнала «Русское богатство» (1895–1918). Во время Гражданской войны призывал к прекращению красного и белого террора. Предвидел губительные для России последствия захвата власти большевиками.

**ГЕЛЛЕР  
МИХАИЛ  
ЯКОВЛЕВИЧ**  
(1922–1997)

Участник Великой Отечественной войны, узник сталинских лагерей (1950–1956). Доктор исторических наук. В конце 60-х годов был вынужден уехать из СССР. С 1969 г. жил и работал в Париже. Профес-

сор Сорбонны. Автор ряда книг, исследующих различные аспекты истории и литературы советского периода: «История российской империи», «Утопия у власти» (в соавторстве с А. Некричем), «Россия на распутье» и других.

**ЧУДАКОВА  
МАРИЭТТА  
ОМАРОВНА**  
(р. 1937)

Доктор филологических наук, член Комиссии по вопросам помилования при Президенте России. Автор книг о Юрии Олеше (1972), Михаиле Зощенко (1979), книги «Беседы об архивах» (1975, 1980), «Жизнеописания Михаила Булгакова» (1988). Еще в подцензурной печати обратила к читателям призыв собирать и создавать неофициальные источники по истории советского времени (письма, дневники, мемуары).

**БУЛГАКОВ  
МИХАИЛ  
АФНАСЬЕВИЧ**  
(1891–1940)

Раньше многих, в первые же месяцы увидел страшные последствия и перспективы Октябрьского переворота, о чем и написал в письме сестре от 31 декабря 1917 года: «...видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... тупые и зверские лица... Видел газетные листки, в которых пишут, в сущности, об одном: о крови, которая льется и на юге, и на востоке, и на западе, и о тюрьмах. Все воочию видел и понял окончательно, что произошло».

В романе «Белая гвардия» (1925–1927), пьесах «Дни Турбиных» (постановка в 1926 г.), «Бег» (1926–1928, постановка в 1957 г.) показал трагические коллизии Гражданской войны. Многие произведения писателя при жизни не публиковались. Повесть и рассказы: «Роковые яйца», «Дьяволиада» (обе книги – 1925), «Собачье сердце» (1925, опубликована в 1987). «Театральный роман» (незаконченный, 1936–1937, опубликован в 1965). Роман «Мастер и Маргарита» (1929–1940, опубликован в 1966–1967 гг.).

**АРМАН  
МАЛУМЯН**  
(р. 1928)

Родился во Франции. В годы фашистской оккупации, прибавив возраст, попал в дивизию генерала Леклерка.

В 1946 г. в Париже появились советские агитаторы, которые старались вернуть на «историческую родину» эмигрантов – армян из Турции. Им обещали свободную жизнь в советской Армении, где сохранялись язык и обычаи предков. В 1947 г. семья Малумянов – родители и двое сыновей – приехали

в Ереван. Самым страшным открытием оказалась атмосфера страха и всеобщего доноительства, царившая в советской Армении. В комнату Малумянов было вмонтировано два подслушивающих устройства.

Семья стремилась получить выездную визу для возвращения в Париж. Арман трижды ездил в Москву, чтобы разъяснить свое положение во французском посольстве. А это тогда считалось преступлением.

31 октября 1948 г. Армана арестовали. 14 месяцев он просидел в одиночной камере. Дни и ночи продолжались допросы и пытки. Наконец, был вынесен приговор – смертная казнь. Три долгих месяца Арман вздрагивал, когда дверь в камеру открывалась: «Я думал, что сейчас меня поведут на казнь». Потом ему объявили, что расстрел заменен 25 годами лагерей.

Участвовал в восстании заключенных Воркутинского лагеря.

Освобожден в 1956 г. Тогда же получил право вернуться во Францию. Организовал и возглавил Интернационал Сопротивления тоталитаризму. В 90-е трижды приезжал в Россию на конференции «Сопротивление в ГУЛАГе».

Живет на севере Франции, в Нормандии.

**ДОМБРОВСКИЙ  
ЮРИЙ  
ОСИПОВИЧ  
(1909–1978)**

Впервые арестован в 1932 г. и выслан из Москвы в Алма-Ату. В 1939–1943 гг. находился в заключении на Колыме, в 1949–1955 гг. – в Тайшете.

История в свете нравственных проблем XX века в романах «Державин» (1939), «Обезьяна приходит за своим черепом» (1959), «Смуглая леди. Три новеллы о Шекспире» (1969). Поведение людей в период массовых репрессий 30-х гг., противоборство с тоталитарной системой и духовное восхождение героя – в имеющих автобиографический характер повести «Хранитель древностей» (1964) и ее продолжении, романе «Факультет ненужных вещей» (опубликован на родине в 1988 г.).

В Москву Домбровский вернулся в середине 50-х после 17 лет лагерей и ссылки ничуть не сломленным. Независимый в своих суждениях, как магнит, притягивал он к себе самых разных людей. Но, и реабилитированного, Домбровского КГБ не оставлял в покое. За ним следили, угрожали по телефону. Незадолго до смерти он был жестоко избит неизвестными.

**ЯШИН  
АЛЕКСАНДР  
ЯКОВЛЕВИЧ**  
(1913–1968)

Родился на Вологодчине в крестьянской семье. После окончания педагогического техникума был сельским учителем. В сборниках лирики («Совість», 1961; «День творенья», 1968) – поэзия русского Севера, стремление переосмыслить свой жизненный путь в свете нравственного идеала. В рассказах и повестях («Рычаги», 1956; «Вологодская свадьба», 1962; «Баба Яга», опубликовано в 1985 г.; «В гостях у сына», опубликовано в 1987 г.) – осуждение духовного рабства, двоемыслия, правдивая картина жизни деревни.

**СОЛЖЕНИЦЫН  
АЛЕКСАНДР  
ИСАЕВИЧ**  
(р. 1918)

Родился в Кисловодске. Отец его, подпоручик-артиллерист, вернувшийся с фронта германской войны, погиб от несчастного случая за полгода до рождения сына.

В Ростове-на-Дону Солженицын окончил среднюю школу (1936), затем физмат Ростовского университета (1941). Одновременно учился, два года перед войной, на литературном факультете заочного отделения Московского института истории, философии и литературы (ИФЛИ).

Во время Отечественной войны командовал батареей артиллерийской звуковой разведки, награжден орденами. В составе своей части – непрерывно на фронте до февраля 1945 г., когда, уже в Восточной Пруссии, арестован за критические высказывания о Сталине в переписке с другом. Осужден на 8 лет лагерей с последующей «вечной ссылкой». Часть срока провел в закрытом НИИ для заключенных («шарашка»), последние 4 года – в лагере особого режима в Казахстане. Ссылку отбывал в Джембульской области, где работал в школе преподавателем математики, физики, астрономии. В последний год лагеря и в ссылке болел раком, излечился.

В 1956 г., по общему снятию ссылки, переехал в сельскую местность Средней России, во Владимирскую область. В 1956–1957 учебном году преподавал в школе в поселке Торфопродукт. В начале 1957 г. реабилитирован. С 1957 по 1962 г. учительствовал в Рязани.

В 1962 г. разрешен был к печати рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В последующие годы напечатали четыре его рассказа («Матренин двор» и др.), а все остальные произведения (роман «В круге первом», повесть «Раковый

корпус», пьесы, сценарии) были наглухо запрещены, но ходили в самиздате.

В 1969 г. исключен из Союза советских писателей.

В 1970 г. стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

В августе 1973 г. КГБ захватывает тайно хранящуюся рукопись Солженицына «Архипелаг ГУЛАг», после чего автор решает немедленно опубликовать ее на Западе. В феврале 1974 г., через месяц после выхода книги, Солженицына арестовывают и насильственно высылают из СССР, с лишением советского гражданства. Сразу по высылке писатель создает Фонд помощи политзаключенным, куда передает все мировые гонорары за «Архипелаг ГУЛАг». Книга эта, получившая широкое распространение в самиздате и переведенная на все основные языки мира, разрушила десятилетиями создаваемый советской пропагандой образ большевистского рая.

Писатель прожил за границей 20 лет, написал эпопею «Красное Колесо» – историю российской революции, много выступал с публицистикой.

С 1989 г. произведения Солженицына вновь стали печататься на родине. В 1994 г. и сам он возвратился в Россию.

Женат. Имеет троих детей.

Созданный им в 1974 г. Фонд, во времена СССР помогавший узникам совести в лагерях и тюрьмах и их семьям, – единственная в России организация, на постоянной основе оказывающая материальную помощь бывшим советским политзаключенным.

**ШАЛАМОВ  
ВАРЛАМ  
ТИХОНОВИЧ**  
(1907–1982)

Родился в Вологде, в семье священника. С детства воспринял идеи служения добру и людям. Но в 1918 г. на его глазах прервалась связь времен: вчерашние прихожане сшибали кресты с церковей.

В 1923 г. Шаламов блестяще окончил школу, но высшее образование было не для него, сына священника. В 1926 г. он поступил все-таки по свободному конкурсу в Московский университет, но через 2 года был отчислен за «сокрытие социального происхождения». Вместе с университетскими друзьями, не будучи членом партии, ни даже комсомольцем, поддерживал внутрипартийную оппозицию, участвовал в демонстрации под лозунгом «Долой Сталина!».

В ту пору он верил, что устранение Сталина от власти принесет стране свободу. «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни», – напишет он спустя десятилетия.

19 февраля 1929 г. Шаламов был арестован у входа в подпольную типографию, осужден на 3 года концлагерей и отправлен на Северный Урал в Вишерский лагерь. В 1932 г. вернулся в Москву, работал в профсоюзных журналах, но ясно понимал, что судьба его предопределена. В январе 1937 г. он был вновь арестован и осужден Особым совещанием НКВД на 5 лет заключения. Этот срок в 1943 г. был продлен еще на 10 лет.

С 1937 по 1951 г. Шаламов находился в лагерях Колымы. Работал на золотых приисках и в угольных шахтах. Много раз «доходил» – погибал от холода и голода. Его спасали лагерные врачи Нина Савоева и Андрей Пантюхов, который в 1946 г. направил его на фельдшерские курсы.

Начало своей литературной работы Шаламов относит к 1928 г. С тех пор она не прекращалась – даже в лагерях. Долгие годы, лишенный возможности записывать свои стихи, хранил их в памяти. При жизни Варлама Тихоновича в СССР вышли лишь пять небольших сборников его стихов, искалеченных цензурой.

«Колымские рассказы», созданные им в ссылке и в Москве, куда он смог вернуться в 1956 г. после реабилитации, не предназначались для советской печати – в них этот высокий, сутулый, глуховатый, знающий свое предназначение старик библейски полно свидетельствует о советской каторге. Теперь, посмертно, они принесли ему всемирную славу.

**АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ  
ОЛЬГА  
ЛЬВОВНА**  
(1902–1991)

Родилась в Самаре в семье портного. Училась в гимназии и в Московском университете, получила диплом экономиста. В 1936 г., вскоре после ареста мужа, доцента МГУ, забрали и ее. В тюрьму Ольга Слиозберг попала из круга благополучных людей, не сомневавшихся в справедливости советской власти. Прошла соловецкий и колымские лагеря, а затем и казахстанскую ссылку.

Свои воспоминания она не случайно назвала «Путь». Это путь прозрения, сопричастности людскому горю, осознания бесчеловечности советской системы.

**КЕРСНОВСКАЯ  
ЕВФРОСИНИЯ  
АНТОНОВНА**  
(1907–1994)

Родилась в Одессе в дворянской семье. В годы Гражданской войны семья спасается от преследования большевиков и переезжает в свое родовое имение в Бессарабию, которая тогда была частью Румынии. Керсновская своим трудом поднимает пришедшее в упадок хозяйство, становится фермером. После ввода советских войск в Бессарабию в 1940 г. мать и дочь Керсновских выгоняют из дома.

В 1941 г. ее, как и многих других бессарабцев, ссылают в Сибирь, на лесоповал. Там она вступает за слабых, беззащитных. За это ей самой грозит голодная смерть. Она решается на побег. Прежде чем ее схватили, она прошла по тайге полторы тысячи километров.

Ее судят, приговаривают к расстрелу. Хотя она и отказывается писать прошение о помиловании, расстрел заменяют 10 годами лагерей. В Норильском лагере она по собственной воле занимается самым тяжелым трудом – шахтерским.

С 1960 г. жила в Эссентуках. Там и написаны ее воспоминания, иллюстрированные сотнями ее рисунков. Впервые частично опубликованы в 1990 г. в журнале «Знамя».

**ГАГЕН-ТОРН  
НИНА  
ИВАНОВНА**  
(1901–1986)

Родилась в Петербурге в семье врача. Училась в гимназии, с 1918 по 1922 г. – в Петербургском университете на юридическом факультете. Но призвание свое нашла в этнографии. В студенческие годы посещала заседания Вольфилов – Вольно-философской ассоциации, членами которой были А. Белый, А. Блок. В дальнейшем многие из участников философских диспутов тех лет сгинули в ГУЛАГе.

В 1936 г. арестована, обвинена в антисоветской агитации, приговор – 10 лет лагерей. Срок отбывала на Колыме. В 1947 г. – повторный арест, 5 лет лагерей. В 1953–1954 гг. находилась на положении ссыльной в Красноярском крае.

Именно там, в неволе, в стремлении быть внутренне свободной, независимо от внешних обстоятельств, раскрылся писательский талант Нины Гаген-Торн. Ее стихи, рассказы и воспоминания, написанные без оглядки на цензуру, при жизни автора не могли быть опубликованы. Они лишь теперь входят в литературу.



**ЭФРОН  
АРИАДНА  
СЕРГЕЕВНА**  
(1912–1975)

Литератор, художник, дочь Марины Цветаевой. В 1920 г. выехала с матерью в Чехию. В 1924–1937 гг. жила во Франции, окончила Училище изящных искусств при Лувре. В 1937 вернулась на родину. Арестована в 1939 г. Освобождена из лагеря в 1947 г. С 1949 по 1955 г. находилась в ссылке в г. Туруханске Красноярского края.

Ариадна Эфрон – признанный мемуарист, мастер поэтического перевода.

**ВЛАДИМОВ  
ГЕОРГИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**  
(р.1931)

Родился в семье учителя. В 1953 г. окончил юридический факультет Ленинградского университета. В 1967 г. в письме, обращенном к четвертому съезду Союза писателей СССР, выступил с требованием открытой дискуссии по поводу письма А. Солженицына о цензуре. В 1977 г. исключен из Союза писателей. В 80-е гг. эмигрировал, в 90-е – вернулся на родину. Повесть «Большая руда» (1961) и роман «Три минуты молчания» (1969) – о советской действительности, роман «Генерал и его армия» (1994) – о Великой Отечественной войне. В центре внимания писателя – проблемы сохранения нравственного достоинства в драматических обстоятельствах. Наиболее ярко это выражено в повести «Верный Руслан».

**ПРИСТАВКИН  
АНАТОЛИЙ  
ИГНАТЬЕВИЧ**  
(р. 1931)

«Коротко о себе. Родился в г. Люберцы под Москвой, рано потерял мать, отец был на фронте, воевал, кстати, и на Кавказе в районе Малгобека. Но чеченцев он не выселял. Всю войну я бродяжил: побывал в Сибири и на Кавказе, сменил десяток детских домов и колоний. Когда нечего было есть, воровал. Работать пошел с 12 лет, на авиационном заводе под Москвой делал шины для раненых (1943), в станице Асиновской на консервном заводе мыл банки... В 15 лет работал на аэродроме в г. Жуковском под Москвой, закончил авиационный техникум, затем – литературный институт им. Горького. Строил Братскую ГЭС (1960), был корреспондентом «Литературной газеты», вступил в Союз писателей в 1961 г.

Издal более 25 книг, за роман «Ночевала тучка золотая» был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Этот роман переведен на все европейские языки. За повесть «Кукушата» в 1992 г. я получил общегерманскую национальную премию по детской литературе.

Живу в Москве, трое детей, младшей дочке 13 лет. Возглавляю Комиссию по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации».

**ЗАБОЛОЦКИЙ  
НИКОЛАЙ  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
(1903–1958)

Родился в семье агронома. В 1910–1920 гг. семья жила в Вятской губернии. Окончил Ленинградский пединститут. Арестован в 1938 г. До 1944 г. находился в заключении в лагерях на Дальнем Востоке и в Алтайском крае. После освобождения продолжал работать в строительном управлении лагеря, перемещенного в Караганду. С 1946 г. жил в Москве «под агентурным наблюдением» органов госбезопасности. Реабилитирован посмертно.

В сборнике «Столбцы» (1929) – гротескное изображение нэповского быта. В поэме «Торжество земледелия» (1933) – философское осмысление темы преобразования природы, в поздней лирике – размышление о месте человека в мироздании, общественно-психологические, нравственные проблемы. Переводчик грузинской поэзии, «Слова о полку Игореве». Опыт жертвы сталинских репрессий в мемуарах «История моего заключения» (опубликованы за рубежом на английском языке в 1981 г., в СССР – в 1988 г.).

**ВЛАДИМИРОВА  
ЕЛЕНА  
ЛЬВОВНА**  
(1902–1962)

Родилась в Петербурге, в семье потомственных моряков. Окончила институт благородных девиц. С 1919 г. в Красной Армии, участвовала в боях с басмачами. После окончания Ленинградского университета сотрудничала в газетах и журналах. Арестована в 1937 г. Срок отбывала на Колыме. В 1944 г. за участие в антисталинской организации заключенных и «писание стихов» приговорена к расстрелу, замененному каторгой. Там сочинила поэму «Колыма» (4 тысячи строк), позднее записанную на папиросной бумаге и вынесенную из зоны друзьями.

После реабилитации (1955) жила в Ленинграде.

**МАНДЕЛЬШТАМ  
ОСИП  
ЭМИЛЬЕВИЧ**  
(1891–1938)

Юность Мандельштама прошла в Санкт-Петербурге. В 1909–1910 гг. изучал философию в Гейдельберге. Член объединения акмеистов «Цех поэтов». В 1934 г. за стихи «Мы живем, под собою не чуя страны...» арестован и сослан в Чердынь, а затем в Воронеж. В 1938 г. арестован вторично. Погиб в лагере под Владивостоком.

Поэзия Мандельштама насыщена культурно-историческими образами и мотивами, отмечена трагическим переживанием гибели культуры.

**БАРКОВА  
АННА  
АЛЕКСАНДРОВНА**  
(1901–1976)

Родилась в Иваново-Вознесенске в семье сторожа гимназии, в которой потом училась. В 1922 г. вышла ее первая и единственная книга стихов «Женщина» с предисловием Луначарского, в ту пору наркома просвещения, предрекавшего, что она станет лучшей русской поэтессой.

В 1934 г. Баркова была арестована за антисоветскую агитацию и «клевету на советский строй». С тех пор она арестовывалась трижды, четверть века провела в тюрьмах, лагерях и ссылках. Впервые большая подборка лагерных стихов Барковой вместе с рассказом о ней ее подруг по заключению Ирины Угримовой и Надежды Звездочетовой, сохранивших эти стихи, была напечатана в 1989 г. в сборнике «Доднесь тяготее» вместе с воспоминаниями еще 22-х узниц ГУЛАГа.

Те немногие, кто знаком со стихами Анны Барковой, ставят их в один ряд с творениями выдающихся поэтов XX в.

Общество «Возвращение» и Ивановский государственный университет подготовили к изданию двухтомник ее стихов и прозы.

**ГУМИЛЕВ  
НИКОЛАЙ  
СТЕПАНОВИЧ**  
(1886–1921)

Из семьи морского врача. Учился в Петербургском университете, в Сорбонне. Путешествовал по многим странам. В начале Первой мировой войны ушел на фронт добровольцем, награжден за мужество двумя георгиевскими крестами.

Его исполненные достоинства, неторопливые, насыщенные романтикой странствий, экзотическими реалиями стихи, как бы специально написанные для декламации, были любимы несколькими поколениями читателей, многие помнили их наизусть.

В 1921 г. арестован и расстрелян как участник контрреволюционного заговора. Спустя 70 лет дело Николая Гумилева было пересмотрено и отменено «за отсутствием состава преступления».

«Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь», – надпись, оставленная Николаем Гумилевым 24 августа 1921 года на стене камеры №77 петербургской тюрьмы на Шпалерной.

**АХМАТОВА  
АННА  
АНДРЕЕВНА**  
(1889–1966)

Настоящая фамилия – Горенко. Ее предки по материнской линии восходили к татарскому хану Ахмату (отсюда псевдоним). Отец – инженер-механик на флоте. В детстве Анна жила в Царском Селе. После гимназии училась на юридическом отделении высших женских курсов в Киеве, затем посещала историко-литературные курсы Раева в Петербурге. Вышедший в свет первый сборник ее стихов «Четки» (переиздавался 10 раз) приносит ей всероссийскую славу.

Продолжила пушкинскую традицию в русской поэзии.

В 1946 г. в Постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» ее творчество квалифицировалось как упадническое, чуждое советскому народу.

Автобиографический цикл стихов «Реквием» (1935–1940; опубликован в 1987 г.) – о жертвах репрессий 30-х гг. В «Поэме без героя» (1940–1965, полностью опубликована в 1976 г.) воссоздана эпоха «серебряного века». В ее стихах – верность нравственным основам бытия, осмысление общенародных трагедий XX века, сопряженное с личными переживаниями.

**НАБОКОВ  
ВЛАДИМИР  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(1898–1977)

Русский и англоязычный (с 1940 г.) писатель. В 1919 г. эмигрировал из России; жил в Кембридже, Берлине (1922–1937), Париже, с 1940 г. в США, с 1960 г. – в Швейцарии. В романах «Защита Лужина» (1929–1930), «Дар» (1937), «Приглашение на казнь» (антиутопия; 1935–1936) – трагическое столкновение духовно одаренного одиночки с примитивным миром пошлости, где властвуют мнимости, иллюзии, фикции. Роман «Лолита» (1955) – соединение эротики и критического нравоописания. Лирика с мотивами ностальгии; мемуары («Память, говори», 1966). Эссеистика («Николай Гоголь», 1944). Переводы на английский язык «Евгения Онегина» А.С. Пушкина и «Слова о полку Игореве».

**ПАСТЕРНАК  
БОРИС  
ЛЕОНИДОВИЧ**  
(1890–1960)

Писатель. Сын художника Л.О. Пастернака. В поэзии (сборники «Сестра моя – жизнь», 1922; «Второе рождение», 1932; «На ранних поездках», 1943; цикл «Когда разгуляется», 1956–1959) – постижение мира человека и мира природы в их многосложном единстве, ассоциативность, метафоричность, соединение экспрессионистического стиля и классической поэти-

ки. В судьбе русского интеллигента — героя романа «Доктор Живаго» (опубликован за рубежом, 1957; Нобелевская премия, 1958, от которой Пастернак под угрозой выдворения из СССР вынужден был отказаться) — обнажены трагические коллизии революции и Гражданской войны. Автобиографическая проза. Выдающиеся переводы произведений Шекспира, Гете, Верлена, грузинских поэтов.

**ЕЛАГИН  
ИВАН  
ВЕНЕДИКТОВИЧ**  
(1918–1987)

Поэт и переводчик. Его отец, поэт-футурист Венедикт Март, был расстрелян в Киеве в 1938 г.

С 1943 г. жил в Германии, с 1950 г. — в США. Там окончил аспирантуру в области славянских языков и литератур и получил место профессора русской литературы в Питтсбургском университете.

**ЦВЕТАЕВА  
МАРИНА  
ИВАНОВНА**  
(1892–1941)

Поэт. Дочь создателя музея изобразительных искусств в Москве И.В. Цветаева. Стихам ее присущи духовная мощь, сжатость мысли и стремительное развертывание действия. Характерные для лирики Цветаевой романтические мотивы отверженности, бездомности, сочувствия гонимым созвучны ее жизни. В 1918–1922 гг. вместе с малолетними детьми она находится в Москве, в то время как ее муж С.Я. Эфрон сражается в Белой Армии (стихи 1917–1921, полные сочувствия белому движению, составили цикл «Лебединый стан»). В 1922 г. эмигрировала — Берлин, Прага, с 1925 г. — Париж. Лучшие поэтические произведения эмигрантского периода — «Поэма горы», «Поэма конца», лирическая сатира «Крысолов», трагедии на античные сюжеты «Ариадна» (опубликована под названием «Тезей») и «Федра», поэтический цикл «Стихи к Чехии» — отмечены философской глубиной, психологической точностью.

Летом 1939 г. вслед за мужем и дочерью Ариадной возвращается на родину и Цветаева. В том же году и дочь и муж были арестованы. Цветаева не могла найти ни жилья, ни работы; ее стихи не печатались. Оказавшись в начале войны в эвакуации, безуспешно пыталась получить поддержку со стороны писателей; покончила жизнь самоубийством.

*Раздел «Об авторах» подготовлен  
Галиной Агмашкиной и Людмилой Новиковой*

СПИСОК РАБОТ  
ХУДОЖНИКОВ И ФОТОГРАФОВ,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОФОРМЛЕНИИ КНИГИ

Переплет (первая сторона)	Бениамин Басов. Иллюстрация к роману « <i>Белые ночи</i> » Ф.М. Достоевского <i>На репетиции</i> . Фотография Габриелы Чапковой из серии, посвященной театру
Переплет (вторая сторона)	Ян Штурса. <i>Раненый</i> . Фотография Тибора Гонты
Первый форзац	Портрет <i>Альберта Джакометти</i> . Фотография Христера Стрёмхольма. <i>Улица Шаседлер</i> . Фотография Манфреда Паула
Второй форзац	<i>Старик на дороге</i> . Фотография Эугена Вишковского
Первый шмуцтитул	Юрий Красный. Иллюстрация к пьесе « <i>Оптимистическая трагедия</i> » Всеволода Вишневского
Второй шмуцтитул	Винсент Ван Гог. <i>Плачущий старик</i>
Третий шмуцтитул	Кете Кольвиц. <i>Прорыв</i>
Четвертый шмуцтитул	Пабло Пикассо. <i>Мать и сын</i>

О МОСКОВСКОМ  
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Оно объединяет бывших узников ГУЛАГа – в большинстве своем авторов воспоминаний, художественных произведений, исторических исследований, свидетельствующих о преступлениях советского режима, а также участников европейского Сопротивления – узников нацистских лагерей, и тех, кто помогает «Возвращению» в его деятельности по сохранению исторической памяти.

В 1989 году в Москве в издательстве «Советский писатель» вышел в свет сборник воспоминаний двадцати трех бывших узниц ГУЛАГа «Доднесь тяготееет».

К сбору материалов для этой книги были причастны более ста человек: родственники, друзья-солагерники авторов этих воспоминаний. Они и создали общество.

Вскоре «Возвращение» стало выпускать книги и журнал «Воля», а также собирать воспоминания и письма бывших советских политзаключенных. Наиболее содержательные из них мы стараемся публиковать. К сожалению, наши книги выходят небольшим тиражом, но в начале 2001 года в Интернете появится сайт «Возвращение». Там можно будет найти электронные версии некоторых из наших книг и подписаться на новые номера «Воли». Что же касается сборника «Доднесь тяготееет», изданного стотысячным тиражом, он есть во многих библиотеках, так же как и выпущенные другими издательствами рассказы Варлама Тихоновича Шаламова, романы Юрия Осиповича Домбровского и произведения Александра Исаевича Солженицына.

Нам было бы полезно и интересно получить отзывы учителей и школьников о хрестоматии «Есть всюду свет...».

Наш адрес: *125195, г. Москва, ул. Беломорская, 26*  
Адрес электронной почты: *vozvrashchenie@mtu-net.ru*  
Факс: *(095) 455-30-11 (для «Возвращения»)*

# СОДЕРЖАНИЕ

3 Семен ВИЛЕНСКИЙ Суд идет...

## 1. МИРОВОЙ ПОЖАР РАЗДУЕМ

- 11 Андрей ПЛАТОНОВ Владимир Галактионович  
Короленко
- 13 Владимир КОРОЛЕНКО Письма к Луначарскому
- 44 Михаил ГЕЛЛЕР О голоде, хлебе и советской  
власти

## 2. ПО ОБЕ СТОРОНЫ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

- 67 Мариэтта ЧУДАКОВА О Михаиле Булгакове
- 72 Михаил БУЛГАКОВ Нехорошая квартира. Глава из  
романа «Мастер и Маргарита»
- 82 Юрий ДОМБРОВСКИЙ Из романа «Факультет  
ненужных вещей»
- 93 Александр ЯШИН Рычаги
- 105 Александр СОЛЖЕНИЦЫН Один день Ивана Денисовича
- 212 Варлам ШАЛАМОВ Одиночный замер
- 215 Ольга АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ Из книги «Путь»
- 254 Евфросиния КЕРСНОВСКАЯ Из книги «Сколько стоит  
человек»
- 282 Нина ГАГЕН-ТОРН Из книги «Второй тур»
- 299 Ариадна ЭФРОН Устные рассказы
- 305 Георгий ВЛАДИМОВ Из повести «Верный Руслан»
- 346 Анатолий ПРИСТАВКИН Из романа «Ночевала тучка  
золотая»

## 3. НЕПОКОРЕННЫЕ

- 379 Варлам ШАЛАМОВ Последний бой майора  
Пугачева
- 392 Александр СОЛЖЕНИЦЫН Сорок дней Кенгира. Глава из  
книги «Архипелаг ГУЛаг»
- 435 Семен ВИЛЕНСКИЙ Сопротивление в ГУЛАГе



#### 4. ДУША МОЯ, ПЕЧАЛЬНИЦА...

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 441 | Неизвестный автор  | Ванинский порт                                 |
| 442 | Николай ЗАБОЛОЦКИЙ   | Где-то в поле, возле Магадана                  |
| 444 | Елена ВЛАДИМИРОВА  | «Мы шли этапом...»                             |
| 446 | Осип МАНДЕЛЬШТАМ   | «За гремучую доблесть<br>грядущих веков...»    |
| 447 |  | «Мы живем, под собою не чуя<br>страны...»      |
| 448 | Анна БАРКОВА   | Милый враг                                     |
| 449 |  | «Смотрим взглядом недвижимым<br>и мертвым...». |
| 450 |  | «Где-то верность какой-то<br>отчизне...»       |
| 451 |  | Хоть в метелях душа<br>разметалась...».        |
| 452 |  | «Как дух наш горестный живуч...»               |
| 453 |  | Отречение                                      |
| 454 |  | «Ты опять стоишь на<br>перепутье...»           |
| 455 | Николай ГУМИЛЕВ  | Рабочий  |
|     | Анна АХМАТОВА  | Из цикла «Реквием»:                            |
| 456 |  | «Уводили тебя на рассвете...»                  |
| 457 |  | Эпилог   |
|     |  | 1. «Узнала я, как опадают<br>лица...»          |
| 457 |  | 2. «Опять поминальный<br>приблизился час...»   |
| 459 | Владимир НАБОКОВ   | Расстрел                                       |
| 460 | Борис ПАСТЕРНАК  | Душа   |
| 461 | Иван ЕЛАГИН  | Амнистия                                       |
| 462 | Марина ЦВЕТАЕВА  | Рассвет на рельсах                             |
| 464 | Об авторах   |  |
| 476 | Список работ художников и фотографов, использованных<br>в оформлении книги   |  |
| 477 | Краткая справка о Московском историко-литературном<br>обществе «Возвращение» |  |

E86      Есть всюду свет... / Сост. С. С. Виленский. – 2-е изд. –  
М.: Возвращение, 2001. 480 с.: ил.

**ISBN 5-7157-0127-9**

Хрестоматия адресована школьникам, изучающим советский период российской истории. Ее авторы – выдающиеся русские писатели, поэты, мемуаристы, не приемлющие античеловеческую суть тоталитаризма. Их произведения, полностью или фрагментарно представленные в этой книге, образуют цельное историческое полотно. Одновременно она является и учебным пособием по русской литературе XX века.

**ББК 84(2Рос=Рус)6я72**

Редактор

*Г. В. Азмашкина*

•

Художник

*Ф. С. Меркуров*

•

Корректор

*В. С. Антонова*

•

Макет и техническое редактирование

*А. И. Батыгиной, Л. А. Шелковой*

•

ЛР № 030850 от 01.09.98.

Подписано в печать 06.08.2001. Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Ньютон»

Печ. л. 30. Тираж 7000 экз. Заказ № 0110990.

•

Издательство «Возвращение». Тел.: 196-02-26; факс: 455-30-11;

e-mail: [vozvrashchenie@mtu-net.ru](mailto:vozvrashchenie@mtu-net.ru)

ISBN 5-7157-0127-9



9 785715 701275 >

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленных диапозитивов  
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.





